

Михаил Ардов

ВОКРУГ
ОРДЫНКИ

МЕМОАРЫ
ИНАПРЕСС

МИХАИЛ АРДОВ

ВОКРУГ ОРДЫНКИ

мемуары

повести

МИХАИЛ АРДОВ

ВОКРУГ ОРДЫНКИ

*мемуары
повести*



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИАНАПРЕСС

2000

ББК 84.4
А 79

МИХАИЛ АРДОВ

ВОКРУГ ОРДЫНКИ
мемуары
повести

Редактор Н. Кононов
Художник М. Покшищевская

ISBN 5-87135-096-8



© М. Ардов, 2000

© Н. Александров, статья, 2000

© ИНАПРЕСС, 2000

Вокруг Ордынки
(портреты)



Надо вспоминать только того,
о ком можно сказать хоть
что-нибудь хорошее.

Анна Ахматова

I

Мой отец Виктор Ефимович Ардов родился в Воронеже 8/21 октября 1900 года. Дед мой был инженером, но сведений о нем у меня почти нет. Отец крайне неохотно вспоминал о своем родителе. В зрелом возрасте, уже после смерти Сталина, я узнал, что во время гражданской войны мой дед был расстрелян по прямому приказу Троцкого. Отец данный факт почти всю свою жизнь вынужден был скрывать, и именно этим объясняется его нарочитое молчание.

Вот то небольшое, что я знаю о своем деде с отцовской стороны. Он окончил Харьковский технологический институт, затем служил на железной дороге, а перед революцией перешел в какую-то частную фирму. Отец иногда цитировал такие его слова:

— Если долго проживешь с женой, не праздную серебряную свадьбу — отмечай тридцатилетнюю войну.

Гораздо охотнее и чаще мой отец вспоминал семейство моего прадеда — его деда со стороны матери. Фамилия его была Вольпьян, он жил в Воронеже и владел там

аптекарским магазином. Надобно заметить, что у моего отца был врожденный порок сердца и он рос весьма болезненным ребенком. Родители его очень берегли и держали в строгости, а бабушка с бабушкой, наоборот, баловали. Ардов вспоминал такой эпизод. В возрасте семи лет он пришел в гости к деду и там его угостили арбузом. Он ел, ел, ел, и никто его не останавливал. В результате он съел столько, что, когда шел домой, мелкие кусочки арбуза выходили у него через нос...

В те годы болезнь сердца угрожала самой жизни моего отца. Это подтверждается таким семейным преданием: однажды его мать встретила врача, который когда-то лечил ее детей (у отца был младший брат Марк). Так вот этот доктор спрашивал ее о младшем сыне.

— Почему вы спрашиваете о Марке? — сказала она, — Ведь вы гораздо больше занимались здоровьем Виктора...

— Как? — удивился врач. — А разве ваш Виктор жив?

И еще воронежские воспоминания отца, они относятся к четырнадцатому году. Как известно, с началом войны царское правительство запретило производство и продажу водки. Но парфюмерные фабрики немедленно стали выпускать одеколоны, вполне пригодные для питья, и назывались они — «Апельсинный», «Лимонный» и пр. Аптекарский магазин моего прадеда стоял возле самого базара, а потому там происходили такие сценки: к прилавку подходит деревенский мужик, покупает флакон одеколona, тут же у окна открывает пузырек и выпивает содержимое прямо из горлышка.

С началом войны семейство моего прадеда перебралось в Москву. Тут они наняли квартиру в Филипповском переулке, в доме, который принадлежал Иерусалимскому подворью. (Это здание и сейчас благополучно стоит на своем месте.) Ардов вспоминал тучных и важных греческих монахов — ближних соседей.

Осенью четырнадцатого года мой отец поступил в расположенную неподалеку московскую Первую мужскую

гимназию, которая только что отпраздновала свой 125-летний юбилей. В те годы у Ардова уже вполне проявилась любовь к юмору, он был усердным читателем аверченковского «Нового Сатирикона». Мало того, он сам рисовал карикатуры и даже издавал рукописный журнал.

Ко времени революции, в свои семнадцать лет, Ардов был уже сложившимся человеком и вполне сознательно разделял программу кадетской партии. Мне вспоминается забавный эпизод, происходивший в начале шестидесятых годов. Некий художник, которого отец каким-то образом благодетельствовал, пришел на Ордынку и выражал свою признательность такими словами:

— Спасибо тебе, Виктор, за то, что ты выручил меня... Ты — настоящий большевик-ленинец..

— Дурак ты! — отвечал ему Ардов. — Какой я тебе ленинец? Я всю жизнь был либералом! Я — сторонник буржуазной демократии...

Но возвращаюсь к ранним годам отца. Весной 1918 года он перешел в восьмой — последний — класс гимназии. Было известно, что большевики уже вознамерились кардинально изменить программу средней школы... И тогда группа учителей предложила ученикам в течение лета пройти те предметы, которые преподавались в восьмом классе. Среди тех, кто таким образом завершил гимназический курс, был и мой отец.

В девятнадцатом и двадцатом годах ему довелось служить в каких-то советских учреждениях, но у него возникло желание учиться в институте. Однако же было препятствие для поступления в советский вуз, а именно происхождение — «из служащих» или даже «из мещан». В то время уже существовал рабфак, а в институты набирали главным образом «пролетариев» и «крестьян».

Но тут Ардову помогла протекция: на одной из его теток был женат историк-марксист, впоследствии академик В. П. Волгин. Он-то и помог отцу поступить в экономический институт, тот самый, который теперь носит имя

Плеханова. Об этом заведении отец рассказывал немного, но я с его слов кое-что запомнил.

Шел экзамен по какой-то дисциплине, кажется по юриспруденции. Советские студенты, почти поголовно «рабфаковцы», отвечали старому, благообразному профессору... От их косноязычия и безграмотности у экзаменатора разболелась голова, и он слушал молодых людей с закрытыми глазами. Настала очередь Ардова, который в самом начале своего ответа произнес латинскую цитату. На лице профессора появилась блаженная улыбка, он приоткрыл глаза, взглянул на моего отца и спросил:

— Вы — гимназист?

— Да, — отвечал Ардов.

— «Отлично», — сказал экзаменатор, — идите, идите...

И он снова опустил веки, чтобы слушать очередного «рабфаковца».

Ардов со своим гимназическим образованием и «буржуазным происхождением» был в институте белой вороной, и перед самым окончанием у него произошел конфликт с тамошними комсомольцами. Хотя мой отец не состоял членом их организации, его вызвали для разговора. Надобно заметить, что к этому времени Ардов был уже вполне сложившимся литератором, автором многочисленных театральных рецензий и газетных фельетонов.

В комитете комсомола ему заявили:

— Вы, как состоятельный студент, должны внести нам определенную сумму денег на общественные нужды.

Возмущенный этим вымогательством, отец отвечал:

— Ничего я вам не должен, и ничего я вам не внесу.

— В таком случае вы не получите на руки диплом об окончании!

— Можете подтереться моим дипломом! — сказал им Ардов и навсегда покинул здание института.

В те годы интерес к театру в интеллигентской среде был, как известно, всеобъемлющим, и Ардов в юности от-

дал дань этой моде. В девятнадцатом году он был членом драматического кружка при Студенческом клубе, который помещался в Охотном Ряду. Именно там он познакомился с будущими театральными знаменитостями — О. Абдуловым, М. Астанговым, Р. Симоновым, И. Ильинским...

С течением лет его увлеченность театром уменьшалась. В пятидесятых и шестидесятых годах, уже на моей памяти, он посещал спектакли крайне редко. В конце жизни ему была свойственна любовь к самим актерам — за их инфантилизм, готовность к розыгрышам, шуткам...

Но так или иначе свою литературную карьеру мой отец начал в качестве театрального рецензента. Однако же природная склонность к юмору, умение шутить и смешить людей взяли свое, и Ардов принялся за написание газетных фельетонов и юмористических рассказов...

Существенную роль в его судьбе сыграли знакомство и дружба с Львом Никулиным, который был старше на девять лет и в начале двадцатых годов являлся довольно известным писателем. Ардов привлек его своей живостью и остроумием, они стали соавторами и вместе сочинили несколько комедий. Я помню только два названия — «Статья 114» и «Таракановщина».

Еще мне запомнился краткий диалог, который звучал за сценой в какой-то из этих пьес:

— Извозчик! На улицу Проклятия убийцам Розы Люксембург и Карла Либкнехта!

— А! На Проклятую?.. Полтинничек положим, барин.

Комедии эти имели успех, и тому свидетельством юмористическое стихотворение, которое написал в свое время Михаил Пустынин:

Кто, рьяно вдвоем собирая монету,
Четой мастерзингеров бродят по свету?
Иль — в роли советских лирических бардов?
— Никулин и Ардов! Никулин и Ардов!

Кто, зная новейшим художествам цену,
Агиткам на смену выводят на сцену
Родных Тартаренов, советских Личардов?
— Никулин и Ардов! Никулин и Ардов!

Кто устали в деле авансов не знали,
Кто жадно в театре, кино и журнале
Аванс вырывает рывком леопардов?
— Никулин и Ардов! Никулин и Ардов!

Осенью 1927 года мой отец на несколько месяцев переехал в Ленинград — принял приглашение стать заведующим литературной частью тамошнего Театра сатиры. Жил он на углу Симеоновской улицы и Литейного проспекта. В этой же квартире снимали комнаты главный режиссер театра Давид Гутман и эстрадный актер Николай Смирнов-Сокольский. Там они все вместе принимали некоторых «почетных гостей», например Маяковского и Зощенку. Очень часто бывал на этой квартире и Леонид Утесов.

Почти каждый вечер вся их компания отправлялась ужинать в какой-нибудь из ресторанов. И вот однажды Смирнов-Сокольский запротестовал:

— Ну почему мы каждый вечер идем или в «Асторию» или в «Европейскую»?.. Мне это уже надоело. Вот говорят, в здешнем порту открылся роскошный новый ресторан... Не поехать ли нам для разнообразия туда?

Сказано — сделано. Друзья наняли два автомобиля и отправились в порт. Долго ехали по пустынным улицам Васильевского острова и наконец приблизились к какому-то слабо освещенному зданию.

Расплатились с водителями и вошли в вестибюль. Сквозь стеклянные двери они увидели, что в ресторанном зале идет драка, в которой участвуют не менее пятидесяти человек... В этот момент один из дерущихся высоко поднял стул и ударил другого по голове. Тот ухватился рукою за лоб и буквально залился кровью... После этого раненый, растал-

кивая дерущихся, поспешил к выходу, беспрестанно повторяя короткую фразу:

— В приемный покой!.. В приемный покой!..

Когда он таким образом проследовал через вестибюль, Давид Гутман посмотрел ему вслед и сказал:

— Красавец-ресторан!

После этого артистическая компания предпочла вновь погрузиться в автомобили и поехала ужинать в «Асторию».

Карьера театрального драматурга продолжалась у Ардова и в тридцатые годы, но истинным его призванием была все же чистая юмористика. Покойный друг моих родителей, необычайно умный и талантливый М. Д. Вольпин называл отца «автором двадцати рассказов». Михаил Давыдович говорил:

— Среди огромного множества вещей посредственных и не очень хороших, которые написаны Виктором, у него есть два десятка превосходнейших новелл. И таких смешных, что даже Ильфу и Петрову за ним не угнаться...

Кстати сказать, Ардов был дружен с авторами «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца», он написал теплые воспоминания о знаменитом литературном дуэте. Мой отец высоко ценил их дарование, но пальму первенства в своем жанре он всегда отдавал Михаилу Зощенке.

Отец свидетельствовал, что Ильф и Петров ревниво относились к необычайной славе и популярности Зощенки. Как-то раз Ардов был в гостях у Евгения Петрова, там же присутствовали Ильф и Зощенко. Раздался телефонный звонок, и некий администратор предложил юмористам выступить с чтением своих рассказов. Притом приглашение распространялось лишь на троих — Ардова на этот раз не позвали. Тогда Зощенко сказал:

— Давайте поедем все вместе, и вы, Витя, тоже...

Эта реплика явно расстроила Ильфа и Петрова, ибо, по их мнению, Зощенко был им ровней, а Ардов рангом ниже. А тут Михаил Михайлович приравнял их к моему отцу...

Отец иногда рассказывал о таких совместных выступлениях:

— Ильф никогда и ничего с эстрады не читал. Выступал всегда только Петров. Вот он читает, а Ильф сидит в президиуме, волнуется, пьет воду и все время кашляет... Будто не у Петрова, а у него от чтения пересыхает в горле...

Ардов вспоминал, что Зоценко читал свои рассказы мрачно, без тени улыбки... А зал в это время буквально корчился от смеха. Вот речь отца, записанная мною дословно:

— Как-то я спросил Михаила Михайловича, отчего он так мрачно читает. На это он мне сказал: «Когда я сочиняю свои рассказы, я смеюсь так, что валюсь от смеха на диван. Но раз отсмеявшись над чем-нибудь, я уже больше никогда не смеюсь». Но вот однажды я заметил, что во время чтения какого-то рассказа Зоценко против обыкновения улыбнулся. Когда он окончил, я спросил его: «Почему вы улыбнулись?» Он отвечал: «Просто я забыл это место».

Ардов и сам великолепно читал свои рассказы, и даже очень это дело любил. В ответе на анкету журнала «Вопросы литературы» (1967, № 10) он в свое время писал:

«Только тот, кто испытал хотя бы раз счастье дарить людям смех, сумеет понять, насколько пленительна наша профессия — профессия сатирика. Когда мне удастся расшевелить аудиторию — рассказом, рисунком, публичным исполнением моего произведения, — я испытываю ни с чем не сравнимую радость».

Среди поклонников ардовского дарования были люди самые неожиданные. Я, например, узнал от своего друга Максима Шостаковича, что его отец Дмитрий Дмитриевич частенько цитировал рассказ Ардова. Если великий композитор слышал какой-нибудь громкий звук, доносившийся из кухни, то всякий раз выкрикивал такое двустигшие:

— Граждане! На кухонном фронте
Горящий примус не уроньте!

Это — из ардовского рассказа «Лозунгофикация», он написан в 1926 году. Я знал нескольких людей, которые цитировали забавные двустишия из той же новеллы. Ну, например, такие:

Контрреволюция в том зарыта,
Кто марает чужое корыто!

Прикройте дверь — и она не дует
Под прикрывшего сознательного индивидуя!

Одернут немедленно должен быть всякий,
Кто кусает прохожих посредством собаки!

Вхождению без доклада
Мировая буржуазия только рада!

Мой отец был женат два раза. Первой его женою была умная и обаятельная женщина — Ирина Константиновна Иванова. (Один старый москвич рассказывал у нас на Ордынке, что во времена предреволюционные Ира Иванова считалась одной из самых красивых гимназисток во всей Москве.)

В двадцатые годы за ней некоторое время ухаживал Осип Максимович Брик. Ардов передавал такой эпизод: они были в какой-то многолюдной компании, где присутствовали и Брик, и Маяковский. Осип Максимович разговаривал с Ириной Константиновной, и тут к ним подошел Маяковский. Он сказал:

— Ося, я звонил домой. От Лилечки уже ушли. Она говорит, что ей страшно находиться в квартире одной. Кому-нибудь из нас надо ехать...

— Вот ты и поезжай, Володенька, — сказал Брик не без некоторого злорадства.

Брак Ардова с Ириной Ивановой был недолгим, они вскоре разошлись, но до конца жизни сохранили добрые

отношения. Ирина Константиновна была превосходной машинисткой, и отец постоянно пользовался ее услугами. С этим связаны мои первые самостоятельные поездки в московском метро. В возрасте семи лет я возил рукописи отца в Сокольники, в двухэтажный деревянный дом, где Ирина Константиновна жила с мужем и дочкой Наташей.

Со своей второй женой, моей матерью Ниной Антоновной Ольшевской Ардов познакомился при следующих обстоятельствах. Году в тридцатом состоялась гастрольная поездка молодых артистов Художественного театра по провинциальным городам. Мой отец сопровождал эту группу, с тем чтобы писать для них репертуар на злобу дня. Во время этого путешествия будущие мои родители оказались в одном купе. Ардов в какой-то момент стал есть соленые маслины, а мама, которая их никогда до той поры не видела, поинтересовалась:

— Что это такое?

— Хотите попробовать? — спросил отец и угостил ее.

— Какая гадость! — вскричала мама и выплюнула маслину.

Так состоялось знакомство. Надобно тут добавить, что впоследствии она оценила маслины и ела их с удовольствием.

Когда мои родители поженились, моему старшему единственному брату Алексею Баталову было года три. Это был очень занятный курносый мальчик, и Ардов сразу привязался к нему. Их взаимная любовь никогда и ничем не омрачалась в течение всех последующих десятилетий. Уже в старости Ардов рассказывал, что слегка опасался Алешиной устремленности в актерство, которая проявлялась у того с самого детства. Отец говорил:

— Я боялся, что этот милый ребенок вырастет и станет артистом. По вечерам он будет сидеть в ресторане при Доме актера, пить водку и говорить своим собутыльникам: «Выхожу я на сцену — публика: “Ря-а-а-а”...»

Но опасения Ардова оказались напрасными, Алексей Баталов далек от актерской богемы и притом почти ничего не пьет.

В первое время после женитьбы наши родители ютились в крошечной комнате в коммунальной квартире на улице под названием Садовники. Но в 1934 году Ардову удалось приобрести квартиру в писательском кооперативном доме (Нащокинский переулок, № 5).

За новое жилище надобно было внести большую сумму, и деньги эти достались моим родителям самым неожиданным образом. В те годы среди писательской и актерской братии были весьма распространены карточные игры, и ставки бывали довольно высокие. Так вот, незадолго до того, как надо было вносить пай за квартиру в Нащокинском, моя мать играла в карты, если не ошибаюсь, в покер. Ей очень везло, а тем партнером, который все время проигрывал, был не кто иной, как сам Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Так что та квартира была куплена, так сказать, на деньги Шостаковича.

В Нащокинском переулке мои родители прожили всего года три, потом отцу удалось получить более удобную квартиру — в Лаврушинском переулке. Но о своей жизни возле Пречистенских ворот мать и отец часто вспоминали и довольно много рассказывали.

Ардов там подружился с легендарным Мате Залкой, они оба входили в правление кооператива. Отец занятно изображал венгерский акцент своего приятеля и помнил рассказанные им истории. Так, по словам Мате Залки, в первые годы советской власти Ленин помогал Кемалю Ататюрку в войне с Антантой. В Анкару послом был назначен М. В. Фрунзе, который на самом деле командовал турецкой армией, а сам Залка был одним из его главных помощников.

— Виктор, — говорил он отцу, — я никогда так не жил, как в то время, когда был турецким генералом...

Еще одним соседом, с которым Ардов сблизился в Нащокинском, был М. А. Булгаков. Отец очень высоко ценил дарование Михаила Афанасьевича, но не был поклонником «Мастера и Маргариты». Гораздо больше ему нравились «Собачье сердце», «Дьяволиада», «Роковые яйца»...

Сатирический и юмористический талант Булгакова приводил моего отца в совершенное восхищение. Он знал и ценил не только большие вещи Мастера, он помнил его юмористические новеллы и фельетоны, которые Булгаков в свое время опубликовал в газете «Гудок». Все это писалось с резвостью необыкновенной. Ардов вспоминал, например, такую деталь: в одном из своих газетных опусов Михаил Афанасьевич повествовал о женщине, муж которой был инвалидом — у него не было ни рук, ни ног. Булгаков, между прочим, сообщал читателю, что когда она приводила в порядок кровать, то брала оттуда своего сожителя и «ставила его на подоконник, как бюст».

Я хочу привести здесь небольшой отрывок из воспоминаний отца:

«Когда пьеса “Дни Турбиных” с огромным успехом шла в Художественном театре, целый легион попрошайек, “стрелков” — так назывался этот род аферистов, одолевал Михаила Афанасьевича, считая, что он стал богачом и что ему ничего не стоит выбросить даже сотни рублей на подачки. “Стрелки” и писали Булгакову, и навещали его на квартире, и ловили на улице. А один такой тип позвонил по телефону в пять часов утра. Именно время поразило Михаила Афанасьевича. Днем-то звонили часто.

“А тут, — рассказывал Булгаков, — во время самого сладкого утреннего сна затрещал звонок. Я вскочил с постели, босиком добежал до аппарата, взял трубку. Хриплый мужской голос заговорил:

— Товарищ Булгаков, мы с вами на знакомы, но, надеюсь, это не помешает вам оказать услугу... Вообразите: только

что, выходя из пивной, я разбил свои очки в золотой оправе! Я буквально ослеп! При моей близорукости... Думаю, для вас не составит большого урона дать мне сто рублей на новые окуляры?..

Я в ярости бросил трубку на рычаг, — продолжал Булгаков, — вернулся в постель, но еще не успел заснуть, как новый звонок. Вторично встаю, беру трубку. Тот же голос вопрошает:

— Ну, если не с золотой оправой, то на простые-то очки можете?»

В Нащокинском было еще одно соседство, которое имело для Ардова да и для всей нашей семьи необычайно важное значение. У моих родителей была квартира на первом этаже, а на пятом, в том же подъезде, поселился Осип Эмильевич Мандельштам со своей женой Надеждой Яковлевной. Между моими родителями и этой четой установилось то, что теперь именуется «добрососедскими отношениями».

Как о том свидетельствуют современники, да и фотографические портреты, моя мать в молодости была очень привлекательной. Эмма Герштейн в своих мемуарах о Мандельштаме пишет:

«Иногда, ведя к себе домой кого-нибудь из встретившихся на улице знакомых, Осип Эмильевич по дороге звонил в квартиру Ардовых. Если дверь открывала Нина Антоновна, он представлял ее своему спутнику такими словами: “Здесь живет хорошенькая девушка”. После чего вежливо раскланивался, говорил улыбаясь: “До свиданья” — и вел своего гостя на пятый этаж».

Как известно, в Нащокинском у Мандельштамов иногда гостила Ахматова.

А вот еще отрывок из воспоминаний моего отца:

«В самом конце тридцать третьего года вместе с матерью приехал в Москву и Лева Гумилев. В квартире Мандельштама ему решительно не было места для ночевки.

Мы с женой узнали о том и предложили Леве переночевать у нас... и не только переночевать, но и прожить все его пребывание в столице. Наша квартира была тоже невелика. Но свободное место в семиметровой комнате, которая носила высокое наименование моего кабинета, нашлось. Лева пожил у нас и доложил матери, что Ардовы — симпатичные люди. Анна Андреевна пришла к нам на обед вместе с сыном...

А вскоре, как известно, Осип Эмильевич был выслан из Москвы, и Анна Андреевна стала останавливаться у нас, спала на той же узенькой коечке, на которой доводилось ночевать и «ее сыну».

По словам моих родителей, когда Ахматова впервые поселилась у них, они изнемогали от почтительности и смущения. Однако отцу, человеку живому и острому, такая атмосфера в доме явно не подходила. Однажды вечером хозяева куда-то отправлялись, Ахматова сказала, что посидит дома — хочет поработать. Уходя, от самой двери, едва ли не зажмурившись от страха, Ардов сказал:

— Словарь рифм — на полке слева.

Анна Андреевна громко рассмеялась в ответ.

С этой минуты лед отчужденности растаял и неловкость исчезла, с тем чтобы больше никогда не возникнуть.

К тем, «нащокинским», временам относится и еще одна история, которую иногда вспоминали на Ордынке. Брат Алексей рос довольно избалованным ребенком. Однажды нянька кормила его котлетами, а он капризничал, хныкал, отказывался их есть... Свидетельницей этой сцены была Ахматова. В какой-то момент она взглянула на мальчика и весьма вежливо осведомилась:

— Алеша, вы не любите котлеты?

Самый тон и обращение на «вы» произвели на брата такое сильное впечатление, что он тут же принялся есть. И впредь в присутствии Анны Андреевны уже никогда не капризничал.

В тридцатые годы литературные дела Ардова шли превосходно. У него выходили книги, в московском Театре сатиры с успехом шла его пьеса «Мелкие козыри», его скетчи исполнялись на эстраде, его смешные рассказы читали замечательные артисты, такие, как Игорь Ильинский и Владимир Хенкин...

В те времена Ардов был знаком с удивительным человеком, звали его Александр Морисович Данкман — он был создателем и руководителем ГОМЭЦа. (Если не ошибаюсь, это расшифровывалось так: Государственное объединение музыки, эстрады и цирков.)

Данкман никогда не состоял в большевицкой партии, а потому в тридцатых годах он не мог быть номинальным руководителем своего учреждения. Он принужден был довольствоваться должностью заместителя директора, а начальником числился коммунист. Сначала это был какой-то латыш. Делами своей конторы он вовсе не занимался, а поскольку в то время шла сталинская «коллективизация», то его все время отправляли в подмосковные деревни, где надо было организовывать колхозы. После каждой такой командировки он привозил протокол, который выглядел примерно так:

«Мы, нижеподписавшиеся крестьяне деревни Черная Грязь, на общем собрании постановили объединиться в колхоз имени Розы Люксембург и Карла Либкнехта».

По какой-то причине этот латыш проникся доверием к своему заместителю и чувства эти выразил весьма своеобразно. Вернувшись из очередной командировки, он привез такой протокол:

«Мы, крестьяне деревни Ивановки, на общем собрании решили объединиться в колхоз имени тов. А. М. Данкмана».

Александр Морисович поблагодарил управляющего за оказанную ему честь, а копию протокола отослал в Московский комитет ВКП(б). На другой день наивного латыша с должности сняли.

Дольше всех в должности управляющего ГОМЭЦа пробыл старый большевик по фамилии Ганецкий. У них с Данкманом была общая секретарша.

Вот появляется посетитель.

— Могу я видеть товарища Ганецкого?

Секретарша спрашивает:

— А вы по какому вопросу?

— Я — по делу.

— Ах, по делу?.. Тогда, пожалуйста, в этот кабинет к Данкману...

В те годы по инициативе Данкмана в цирке снова стали проводиться «чемпионаты по борьбе». У публики это имело огромный успех. Но вот однажды Ганецкий призвал своего заместителя.

— Александр Морисович, — с возмущением заговорил управляющий, — я только что узнал, что наша цирковая борьба — сплошное жульничество!..

— То есть как — жульничество?

— Да так! Оказывается, это — не настоящие чемпионы. Там заранее известно, кто кого и на какой минуте положит на лопатки... И даже каким именно приемом!.. Это же обман!..

— Простите, — сказал Данкман, — вы когда-нибудь слушали оперу «Евгений Онегин»?

— Да, слушал..

— Так вот, когда вы идете в театр на эту оперу, вы прекрасно знаете, что там будет сцена дуэли и в определенный момент спектакля Онегин застрелит Ленского. И ведь это вас нисколько не возмущает...

Данкман всегда чувствовал себя хозяином ГОМЭЦа, а потому был рачительным даже до скупости. Ардов вспоминал такую сценку. Они с Данкманом гуляли в фойе московского цирка и обсуждали какой-то договор — мой отец должен был написать либретто. Когда они проходили мимо буфетной стойки, Данкман взял с блюда пирожное и протянул собеседнику:

— Угощайтесь, пожалуйста.

Ардов пирожное не взял и сказал:

— Благодарю вас, не стоит. Я сейчас съем это пирожное, а потом буду вынужден уступить вам несколько сот рублей из моего гонорара..

— Ах, вы этот приемчик знаете, — отозвался Данкман и положил пирожное обратно на блюдо.

До войны Ардов пробовал свои силы и в кинематографе. Однако опыт этот был неудачным: он написал сценарий под названием «Светлый путь», а режиссер Григорий Александров снял на этой основе свой бредовый фильм. Я картину никогда не видел, но родители говорили, что от ардовского сценария там осталась лишь одна шутка — вывеска с надписью «Гостиница Малый Гранд-отель».

Мама вспоминала, как они с отцом сидели на первом просмотре этой ленты. Глядя на летающий в небе автомобиль и прочие в том же роде режиссерские находки, Ардов то и дело восклицал:

— Ух ты!.. Ух ты!..

Однако же рассориться с Александровым и убрать свою фамилию из титров мой родитель все же не решился.. (А вот у Ильфа и Петрова решительности было достаточно, они в подобном случае пошли на конфликт, и фильм Г. Александрова «Цирк» вышел на экраны без указания имен сценаристов.)

Я родился в 1937 году, а через год после этого мои родители еще раз меняли место жительства. На этот раз наша семья переехала из Лаврушинского переулка на Большую Ордынку, в ту самую квартиру, которая благодаря Ахматовой получила наименование «легендарная».

Со временем квартира была обжита и обставлена не без некоторой роскоши. В кабинете Ардова была мебель карельской березы, в столовой — красного дерева.. На кухне жила домашняя работница по имени Оля, в детской ком-

нате — нянька Мария Тимофеевна. А кроме того, у Ардова появилась секретарша — Наталья Николаевна.

Но все это благополучие было весьма зыбким — в стране господствовал террор, во Владимире были арестованы родители моей матери. Ардов рассказывал:

— В тридцать седьмом году я встретил одну из дочерей знаменитого фотографа Наппельбаума. Спрашиваю: «Что подсылает отец?» Она отвечает: «Отец? Он бьет негативы...»

Тут требуется некоторое пояснение. Моисей Наппельбаум в течение многих лет фотографировал знаменитых людей — политиков, писателей, актеров, музыкантов... А в тридцать седьмом этих деятелей арестовывали в первую очередь, и ему всякий день приходилось разбивать стеклянные негативы с изображением очередных жертв террора.

В феврале сорокового года родился мой младший брат Борис.

Когда разразилась война, Ардова на фронт не призвали, у него был так называемый белый билет — из-за порока сердца. Отец ушел в армию добровольно уже в сорок втором году. Нас он отправил в эвакуацию вместе с семьями других писателей, а сам остался в Москве.

В те дни в городе практиковались ночные дежурства, во время воздушных тревог люди поднимались на крыши домов, чтобы сбрасывать зажигательные бомбы... Отцу несколько ночей довелось дежурить в Союзе писателей. Пока тревога не объявлялась, дежурный мог находиться в какой-то комнате, где стояли стулья и огромный стол, покрытый зеленой скатертью. Ардов, недолго думая, улегся на этот стол, а сукно использовал как одеяло.

Через некоторое время в комнату заглянула уборщица:

— Ой, — удивилась она, — это я в первый раз вижу!

— Неужели никто из дежурных тут не ложился? — спросил ее отец.

— Нет, на столе они все лежали. Но еще никто не догадался накрыться скатертью...

В самом начале войны кто-то из приятелей так отозвался о моем отце:

— Ардов такой нахал, что даже не трус.

В нем не было не только трусости, но и склонности к хвастовству. О войне он рассказывал не часто и не много, хотя получил несколько медалей и даже орден — «Красную звезду».

Мне теперь вспоминается лишь одно военное приключение, о котором Ардов иногда говорил. Это было в Краснодаре, в тот самый момент, когда к городу подошли немцы. Отец ехал в грузовике рядом с шофером. И вот они разглядели, что впереди стоят какие-то танки. Тогда водитель предложил:

— Давай подъедем поближе, посмотрим — наши или немецкие...

Ехать долго не пришлось, один из танков выстрелил, снаряд разорвался впереди грузовика, и машина тут же заглохла. Ардов и шофер выбрались из кабины и пустились наутек... Отец вспоминал:

— В этот момент я вовсе забыл про свой порок сердца. Я с легкостью перепрыгивал через полутораметровые плетни. И при том еще, выхватив пистолет, стрелял назад, в сторону предполагаемой погони...

У Ардова было звание майора, и всю войну он служил в армейской печати. В той газете, где ему пришлось пробыть дольше всего, редактором был некий полковник по фамилии Березин. Он Ардова очень не любил и старался изводить мелкими придирками.

Происходило это следующим образом. Отец приносил редактору фельетон, тот смотрел его и говорил:

— Это — г..., а не материал.

Ардов удалялся, и через два часа у него был готов новый фельетон. (Писать для фронтовой газеты было вовсе не трудно.)

Редактор опять браковал:

— И это никуда не годится...

Еще через два часа отец приносил третий фельетон...

За единоборством Ардова с Березиным с интересом и сочувствием к отцу следили прочие сотрудники редакции.

Те же тексты, что редактор браковал, Ардов отсылал в Москву, в «Крокодил», где их частенько публиковали. И то, что отвергнутые им вещи выходят в центральной печати, симпатии к отцу у Березина не прибавляло.

Уже в конце войны моя мать где-то встретилась с Александром Фадеевым, который, как известно, был первым секретарем Союза писателей. Между прочим он ей сказал:

— Березин все время шлет нам в Союз доносы на Ардова. Но судя по тому, что он пишет, будто Виктор беспробудно пьет, там и остальное — вранье...

(Все, кто знал Ардова, были осведомлены о том, что он в рот не берет спиртного.)

А еще я вспоминаю, как Ардов осуждал некоторых военных деятелей за излишнюю жестокость. В частности, он говорил это о Кагановиче, который был «членом военного совета фронта». То же самое относилось и к Жукову. Отец говорил, что, приезжая в какую-нибудь подчиненную ему часть, знаменитый маршал то и дело проносил:

— Расстрелять и оформить через трибунал...

После войны отец довольно скоро демобилизовался. Он сдал свой пистолет «ТТ», но у него еще оставался маленький браунинг, который хранился в ящике письменного стола. С этим пистолетом связана памятная мне история.

Мой старший брат Алексей Баталов в ранней юности отличался тем, что когда-то называли любострастием. Когда ему было всего шестнадцать, он всерьез вознамерился жениться на даме двадцати двух лет.

— Алеша, — внушали ему, — в таком возрасте твой брак не станут регистрировать...

А он, как всегда, рассчитывал на покровительство и помощь Ардова и потому с беспечностью говорил:

— Виктор мне это устроит.

Так вот, когда к Алексею в гости приходили знакомые девушки, он доставал браунинг из ардовского стола и со свойственным ему артистизмом разыгрывал перед ними драматические сценки. И это едва не стало причиной трагедии.

Однажды у нас в гостях был какой-то мальчик, наш с младшим братом приятель. Мы втроем зашли в кабинет к отцу и попросили его показать нам пистолет. Ардов достал свой браунинг, шутя навел его на брата Бориса и сказал:

— Сейчас я тебя застрелю...

При этом он был убежден, что патрона в стволе нет. Отец не догадывался, что Алексей при помощи этого оружия развлекает своих приятельниц...

Слава Богу, в последнюю секунду Ардов отвел пистолет в сторону, а вслед за тем прогремел выстрел — пуля вошла в стену... Мы опешили, а отец побледнел, как полотно... Браунинг был удален из дома в тот же день.

Когда брат Алексей стал учиться в школе-студии при Художественном театре, Ардов стал называть его «народный артист нашей квартиры». Шли годы, и вот ему действительно присвоили звание «народного». Узнав об этом, отец покачал головой и сказал:

— Вот тебе и «народный артист нашей квартиры»!

После войны на Ордынке еще некоторое время продолжалось относительное благоденствие. Был даже приобретен трофейный автомобильчик, самый маленький, назывался он, кажется, «Опель Адмирал». Алексей от него буквально не отходил, на этой машине он и научился вождению...

И еще памятная мне история. С раннего детства я терпеть не мог кипяченого молока и манной каши. (Я и теперь испытываю к ним отвращение.) И вот году в сорок

пятом отец решился приучить меня к манной каше. С этой целью он повел меня в роскошный ресторан, в гостиницу «Москва». Там Ардова знали, к нашему столику приблизилась метрдотель, и отец попросил, чтобы нам приготовили изысканное блюдо — гурьевскую кашу...

Минут через тридцать официант поставил передо мною глубокую тарелку, которая выглядела весьма привлекательно. Сверху был пестрый узор, его составляли цукаты, варенье из различных ягод и сиропы... Но под всем этим великолепием была все та же столь ненавистная мне манная каша.

Я зачерпнул ложку, другую — и категорически отказался это есть. Отец был весьма разочарован...

А еще гостиница «Москва» мне памятна потому, что в ней останавливался Райкин, когда он приезжал из Ленинграда. Мой отец сочинял для него монологи и сценки, работа над репертуаром происходила в номере, где жил Аркадий Исаакович. Однажды я присутствовал при этом и до сих пор помню впечатление от мгновенных метаморфоз — Райкин как никто умел перевоплощаться буквально на глазах зрителя.

«А потом случилось то, что случилось» — таким эвфемизмом Ахматова обыкновенно обозначала смуту 1917 года. А я в данном случае отношу эту формулировку к году 1946-му, когда вышло постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и был опубликован погромный доклад Жданова.

Это странное событие коснулось нашей семьи двояко. Во-первых, Анна Ахматова на несколько последующих лет стала фигурой одиозной, а сын ее, Л. Н. Гумилев, был арестован и получил длительный лагерный срок; а во-вторых, появился негласный запрет на публикацию произведений Ардова: хотя его имя не фигурировало ни в постановлении, ни в докладе, но то, что там говорилось о творчестве Зоценки, автоматически распространялось на всех сатириков и юмористов.

Отца отказывались печатать даже в «Крокодиле», а ведь Ардов был одним из основателей журнала и до войны некоторое время исполнял там обязанности главного редактора. Впрочем, это юмористическое издание в конце сороковых годов имело устрашающий вид. Мне вспоминаются жуткие картинки, долженствующие играть роль карикатур, — Уинстон Черчилль в обнимку с атомной бомбой, Франко и Тито — оба с окровавленными топорами...

Начиная с сорок шестого года и вплоть до хрущевской «оттепели» Ардову было очень трудно кормить семью. Он был принужден писать репертуар для артистов эстрады и цирка, но и там действовала жесточайшая, бессмысленная цензура. А кроме того, отцу разрешалось выступать с чтением своих рассказов, но лишь в глухой провинции или в маленьких залах на окраинах Москвы... Тогда, в конце сороковых, был продан рояль, с довоенных времен стоявший в большой комнате, а потом его участь разделили все более или менее ценные книги, в том числе полное собрание сочинений Льва Толстого...

Но вот настал март пятьдесят третьего. Страна погрузилась в траур, газеты и радио сообщали о болезни «великого вождя и учителя». А шестого марта было объявлено о его смерти...

Я хорошо запомнил этот день. У нас в школе, по существу, никаких занятий не было — все рыдали, и учителя, и ученики... Мой младший брат Борис вернулся домой из своей школы, где тоже все плакали. Но войдя в столовую, он вдруг увидел, что наш отец стоит перед зеркалом и, приплясывая, тихонько напевает:

— Наконец-то сдох, наконец-то сдох...

Боря потом говорил нам, что в его душе на какой-то момент пробудились «чувства Павлика Морозова»...

В те времена мой отец и Ахматова имели обыкновение прогуливаться по вечерам, они шли в сторону Москва-реки и Красной площади. Там, в самом начале нашей Ордынки,

был небольшой скверик, Анна Андреевна и Ардов усаживались на скамейку и беседовали... Оба они были людьми наблюдательными, а потому заметили, что майскими ночами пятьдесят третьего Москва жила какой-то особенно напряженной жизнью — туда-сюда сновали машины, и притом военные... Разгадка не заставила себя ждать: вскоре стало известно, что пал Лаврентий Берия. В память этого события Ахматова и Ардов дали название своему излюбленному месту — «скверик имени товарища Берии».

С годами мой отец, что называется, прижился в Замоскворечье, полюбил эту часть Москвы. Первые два квартала Пятницкой 'улицы всегда были, да и остаются, торговым местом — здесь множество разнообразных магазинов. И вот во всех этих лавках и лавчонках Ардов был своим человеком. Он дружил с продавцами, разговаривал с ними, шутил, дарил им свои книжки.

В начале шестидесятых на Пятницкой открылась шашлычная, вполне пристойное по тем временам заведение. Мой отец иногда захакивал туда — поесть мясца. И вот однажды, выходя из этой шашлычной, Ардов остановился в дверях, высыпал на ладонь и пересчитал мелкие монеты. Это заметила проходившая мимо старушонка, и она сказала ему с ехидством:

— Ну что, дед, пропился? Теперь тебе твоя старуха дать!

Но вернусь к пятьдесят третьему году. Тем летом произошло событие, которое предвещало наступление хрущевской «оттепели». В нашей квартире на Ордынке раздался звонок, мама открыла дверь и увидела перед собою высокую женщину, в темном платье, в платочке и с узелком в руках... Вглядевшись, мама ахнула — это была исхудавшая и измученная тюрьмой Лидия Русланова.

Эта замечательная певица была дружна с моими родителями, а потому, освободившись из заключения, она пришла именно на Ордынку. (Собственная ее квартира в Лав-

рушинском переулке, разумеется, была занята, туда вселился какой-то важный чин с Лубянки.)

Сама Лидия Андреевна впоследствии рассказывала, что Ардов, верный своему веселому нраву, едва поздоровавшись с нею, произнес:

— Лидка, я тебе сейчас новый анекдот расскажу...

А дня через два-три после этого события на Ордынке появился и муж Руслановой — генерал Владимир Викторович Крюков. Тут надобно заметить, что до настоящей, массовой реабилитации было еще далеко. Но Крюков и Русланова пострадали из-за своей близости к Жукову, и маршал добился их освобождения сразу же, как только Берия был низвергнут.

Я хорошо запомнил фразу, которую мой отец любил произносить в конце пятидесятых, в шестидесятые и даже в семидесятые годы:

— С тех пор, как умер товарищу Сталин, мне не на что жаловаться...

И он в большой мере был прав. У него опять стали выходить книги, он много печатался в газетах и журналах, выступал по радио и на телевидении. Годы унижительного безденежья и насильственной немоты вроде бы миновали...

Но мне представляется, что причины для жалоб у него по-прежнему оставались. Ведь Ардов был необычайно остроумным и одаренным человеком, и если бы он прожил жизнь, не ощущая гнета советской — даже и послесталинской — цензуры, он мог бы стать писателем иного масштаба.

Мой отец был широко образованным человеком, прекрасно знал историю, а русская литература была для него чем-то вроде религии. Когда он произносил имя обожаемого им Льва Толстого, его глаза увлажнялись. Но при том он ценил графа именно как великого писателя, а не как моралиста и «пророка».

Кстати сказать, Ардов очень любил и часто рассказывал «яснополянские анекдоты». Ну, например, такой. Софья

Андреевна из медицинских соображений негласно добавляла в вегетарианскую еду своего мужа мясную пищу. В какое-то из блюд по ее приказу клали вареную курятину, которая предварительно проворачивалась в мясорубке. Тайна эта была не великая, и кухарка громко говорила своим помощникам:

— Графовую курицу пора перемалывать...

Но чаще всего мой отец вспоминал еще один анекдот. Году эдак в 1909-м кто-то из сыновей Льва Толстого прибыл в Ясную Поляну. Обстановка там была жуткая, ссора между родителями в разгаре, а потому молодой граф отправился в гости к своему приятелю — помещику, который жил неподалеку. Вернулся он под самое утро — его привезли в пролетке к воротам яснополянской усадьбы. По причине сильнейшего опьянения идти граф не мог и двинулся к дому на карачках. В этот момент навстречу ему вышел Лев Николаевич, он, по обыкновению, собственноручно выносил ведро из своей спальни. Увидевши человека, который приближается к дому на четвереньках, Толстой воскликнул:

— Что это такое?!

Молодой граф поднял голову, взглянул на фигуру отца и отвечал:

— Это — одно из ваших произведений. Быть может, лучшее.

Ардов был отнюдь не только любителем и коллекционером забавных историй. Его авторству принадлежали блистательные шутки, которые иногда имели хождение в качестве анекдотов.

Еще в двадцатых годах Ардов однажды был в Доме искусств. Там он проходил мимо ресторанного столика, за которым сидела опереточная примадонна Татьяна Бах и ее муж — известнейший, а потому и состоятельнейший врач-гомеопат. Этот человек обратился к моему отцу с такими словами:

— Говорят, вы очень остроумный человек. Скажите нам что-нибудь смешное.

Отец взглянул на него и, не задумавшись, произнес:

— Гомеопат гомеопатую, а деньги загребает ал-лопатою...

В шестидесятых годах я часто бывал в Коктебеле и там подружился с Марией Сергеевной Благовоиной. Она была адвокатессой, дед ее — известный московский протоиерей, а отец — еще более знаменитый профессор-гинеколог. Однажды она мне сказала:

— А ты знаешь, как твой отец переименовал нашу фамилию?

— Нет, — говорю, — не знаю.

— В одном своем фельетоне, еще в двадцатых годах, он так написал: «Известный гинеколог профессор Влагодоблин...»

Был у Ардова приятель, который почти всю жизнь работал в Московском планетарии. Отец сказал ему:

— Знаешь, почему тебя там так долго держат? Потому что ты звезд с неба не хватаешь...

Близкую приятельницу Ахматовой — Эмму Герштейн, которая долгие годы занималась творчеством М. Ю. Лермонтова, Ардов называл так:

— Лермонтоведка Палестины.

О другой даме он говорил:

— Гетера инкогнито.

На Ордынку пришел некий литератор, который публиковался под псевдонимом Басманов. Отец надписал ему свою книжку:

Сунь это в один из карманов — (В. Е. Ардов)
Отверженный Богом Басманов. (А. К. Толстой)

Отец совсем неплохо писал шуточные стихи и эпиграммы. Например, такая:

Скажу про басни Михалкова,
Что он их пишет бестолково.

Ему досталась от Эзопа,
Как видно, не язык...

Я хочу привести тут еще одну эпиграмму, но ее нужно снабдить неким предисловием. В начале шестидесятых годов в ЦК партии было решено добиться, чтобы советский классик Михаил Шолохов был удостоен Нобелевской премии. С этой целью его несколько раз посылали в Швецию, где он читал лекции и всячески себя рекламировал. В этот самый период Ардов сочинил эпиграмму, но — увы! — содержащееся в ней пророчество не сбылось.

Зря Шолохов к шведам в столицу
Все ездит за премией Нобеля —
Немыслимо красному кобелю
Под цвет либеральный отмыться.
В Стокгольме и малую толику
Донскому не взять алкоголику.

И еще о советской литературе мне вспоминаются такие слова отца:

— В полном собрании сочинений любого нашего классика последний том должен иметь такой подзаголовок: «Письма, заявления и доносы».

Ардов говорил:

— Политика кнута и пряника известна еще со времен Древнего Рима. Но большевики тут ввели некое новшество: они первыми догадались выдавать кнут за пряник...

Отец учил нас с братом:

— Огорчаться и расстраиваться от повсеместного хамства и идиотизма жизни в нашей стране совершенно бессмысленно... Представь себе: ты бежал по лесу и ударился лбом о сук березы — ну вот и обижайся на этот лес, на эту березу...

Помнится, когда мне надоела мелкая литературная поденщина, которая кормила меня в шестидесятые и се-

мидесятые годы, я поделился с отцом своими планами — бросить это унижительное дело. Тут он мне сказал лишь одну фразу:

— Куском хлеба в футбол не играют...

Я хорошо запомнил и еще одно его суждение:

— Пожилых мужчин подстерегает страшная опасность. Некоторые из них в шестьдесят расстаются со старыми женами и уходят к молодым возлюбленным. Это — смертники...

Слава тебе Господи, самого Ардова сия чаша миновала, хотя он был, что называется, «ходоком по этой части». И не просто любителем «клубнички», а даже и теоретиком в данном вопросе. Но умолкаю, ибо писать об этом мне крайне неприятно...

О некоторых своих знакомых Ардов говорил так:

— Это — ужаснувшийся.

Такой термин применялся к людям, которые смогли пережить кровавый сталинский террор, но у которых появился патологический страх перед самой советской системой — реальное ощущение того, что в этой стране любой человек в любую минуту может быть раздавлен, уничтожен, превращен в лагерную пыль...

Сам Ардов к этой категории не принадлежал. Но нельзя сказать, что десятилетия, прожитые под гнетом большевицкого режима, прошли для него даром. Ему было свойственно то, что я бы обозначил словом «мимикрия». Благополучие отца и всей нашей семьи всегда зависело от всевластного племени советских бюрократов, и сама жизнь научила Ардова общаться с ними таким образом, чтобы не вызывать у них ни малейшего подозрения в нелояльности.

20 декабря 1963 года Л. К. Чуковская — а ей никогда и ни в какой степени не была свойственна эта «мимикрия» — возмутилась письмом, которое Ардов адресовал главному ленинградскому начальнику — Толстикovu. (Мой отец пытался защитить Иосифа Бродского.)

Лидия Корнеевна пишет в своем дневнике, что это написано «фальшивым, заискивающим тоном», но она тут же признает: «Необходимо спасти Иосифа. Ардов к Толстикову вхож и знает, на каком языке с ним разговаривать».

К стыду всей нашей семьи, существует еще одно письмо Ардова, написанное в подобном «тоне» и на том же «языке», и оно тоже было адресовано в Ленинград. Я имею в виду позорное обращение отца в тамошний суд, когда разбиралось дело о судьбе архива Ахматовой. Ардов единственный из всех друзей Анны Андреевны выступил против законного наследника — А. Н. Гумилева.

В те времена и моя мать, и мой отец осуждали его за жестокость, которую Лев Николаевич проявлял по отношению к своей старой и больной матери. Но в данном случае привычная «мимикрия» Ардова подвела, и его письмо воспринималось как политический донос на Гумилева.

Ардову в большой степени было свойственно то, что он сам характеризовал термином «общественный темперамент». Он состоял членом множества комиссий, ходил на какие-то совещания, что-то организовывал сам... И все это совершенно бескорыстно. К тому же мой отец был очень добрым и отзывчивым человеком. По этой причине у нас на Ордынке был нескончаемый поток тех, кому он пытался оказывать помощь, — самодеятельные и провинциальные артисты, «юные дарования» и просто графоманы, люди, пострадавшие от советских бюрократов и т. д. и т. п.

В начале семидесятых здоровье Ардова пошатнулось. К его всегдашним недомоганиям прибавился диабет. Но он не сдавался, продолжал сочинять рассказы и фельетоны, ездил на публичные выступления...

В это самое время я стал показывать отцу мои собственные сочинения, «в стол». Он отнесся к этому с полным одобрением, и вот тогда-то я рискнул обратиться к нему с таким предложением:

— Напиши настоящие, честные мемуары. Ведь ты прожил долгую жизнь, общался с интереснейшими людьми... Твоя память хранит столько замечательных историй. Я берусь тебе в этом помочь. Мы возьмем магнитофон, ты будешь говорить, я буду печатать на машинке. Потом мы будем вносить исправления... Пойми, ты обязан это сделать!

Но — увы! — уговоры мои не подействовали, отец решительно отказался. И мне кажется, что причиной тому были не только его немощи, но и все та же привычная «мимикрия». Ему уже невозможно было отбросить проклятый «советский» язык и заговорить на простом, человеческом...

21 октября 1975 года отцу исполнилось семьдесят пять. По этому случаю был устроен юбилейный вечер в Доме актера (Дом литераторов Ардов не любил.) Чувствовал он себя совсем плохо, но его усадили на сцене, и он с улыбкой выслушивал обычные в таких случаях комплименты, лесть и благие пожелания.

Когда чествование закончилось, мы с братом Борисом повели отца к автомобилю. Но он вдруг заупрямился и заявил:

— Я хочу рыбки поесть...

Желание его было исполнено, и Ардов последний раз в жизни посетил свое любимое заведение — ресторан при Доме актера.

В самом начале семьдесят шестого года его пришлось уложить в больницу. Тамошние врачи Ардова знали и любили. Дежурный доктор осмотрел его, потом вышел в коридор и сказал нам с братом:

— Вы его живым отсюда не увезете...

Ардова положили в отдельной палате, но обеспечить ему постоянный уход врачи не могли, а потому мы с братом Борисом были при нем неотлучно: сутки — один, следующие — другой... Это было весьма изнурительно, ночью

приходилось дремать сидя на стуле, другой койки в палате не было.

Двадцатого февраля наступило резкое ухудшение. Врачи, то и дело появлявшиеся в палате, выглядели мрачными и озабоченными... И вдруг через сутки — двадцать второго — состояние отца улучшилось.

Тут я впервые ощутил, насколько человеческая природа противится смерти близких людей. Ведь отец лежал совершенно беспомощный, с ним даже разговаривать было невозможно, мы с братом уставали от дежурств... Но когда наступило это последнее улучшение, я подумал: наплевать на усталость; я готов, я согласен вот так же молча сидеть у кровати отца! Пусть это длится бесконечно — лишь бы знать, что он еще жив, что он еще дышит.

Отец был первым человеком, который расстался с жизнью на моих глазах. (В последующие годы я видел много умиравших, этот опыт мне дало священство.) Но именно в те дни я получил на прочтение поразительную книжку, она называется «Невероятное для многих, но истинное происшествие» (издатель К. Иксуль, Сергиев Посад, 1916). Она написана интеллигентным, литературно одаренным человеком, который вкусил телесную смерть, а потом чудесным образом был возвращен к жизни.

И вот тогда, в феврале семьдесят шестого года, сидя у постели своего умирающего отца, я удивлялся, насколько автор «Невероятного происшествия» был точен в своем описании. Отец был совершенно беспомощен, но на лице его отражалась работа мысли. Он как будто бы говорил мне те самые слова, что я читал в раскрытой книге:

«Все мое внимание сосредоточилось на мне же самом, но и здесь была удивительная особенность, какая-то раздвоенность: я вполне ясно и определенно чувствовал и сознавал себя, и в то же время относился к себе же настолько безучастно, что казалось, будто даже утерять способность физических ощущений. Я видел, например, что доктор про-

тягивал руку и брал меня за пульс — и я видел, я понимал, что он делал, но прикосновения его не чувствовал.

Во мне как бы вдруг обнаружилось два существа: одно — крившееся где-то глубоко и главнейшее; другое — внешнее и, очевидно, менее значительное; и вот теперь словно связывающий их состав выгорел или расплавился, и они распались, и сильнейшее чувствовалось мною ярко, определенно, а слабейшее стало безразличным. Это слабейшее было мое тело».

25 февраля в двенадцать часов дня я в очередной раз пришел в больницу, чтобы сменить на дежурстве брата Бориса. Со мною пришла наша мать. Отец лежал на спине с полузакрытыми глазами. Казалось, он уже был без сознания. Но едва заметное движение губ — попытка улыбнуться — дала нам понять, что он наше появление заметил... Теперь его лицо выражало какую-то невероятную усталость — не боль, не страдание, а именно крайнее утомление. Я опять взял «Невероятное происшествие», открыл нужную страницу и передал книжку матери. Мы с ней стали читать вдвоем:

«Я вдруг почувствовал, что меня с неудержимой силой потянуло куда-то вниз. В первые минуты это ощущение было похоже на то, как бы ко всем моим членам подвесили тяжелые многопудовые гири, но вскоре такое сравнение не могло уже выразить моего ощущения, представление такой тяги уже оказывалось ничтожным.

Нет, физических болей я не чувствовал никаких, но я несомненно страдал, мне было тяжело, томно... Я чувствовал только непреодолимое стремление куда-то, тяготение к чему-то, о котором говорил выше. И я чувствовал, что тяготение это с каждым мгновением усиливается, что я уже вот-вот совсем близко подхожу, почти касаюсь того влекущего меня магнита, прикоснувшись к которому я всем моим естеством припаяюсь, срастусь с ним так, что уже никакая сила не в состоянии будет отделить меня от него. И чем

сильнее чувствовал я близость этого момента, тем страннее и тяжелее становилось мне, потому что вместе с этим ярче обнаруживался во мне протест, яснее чувствовал, что я не весь могу слиться, что что-то должно отделиться во мне, и это что-то рвалось от неведомого мне предмета притяжения с такою же силою, с какою что-то другое во мне стремилось к нему. Эта борьба и причиняла мне истому и страдания».

Мама молча взглянула на меня и закрыла книгу. Краткий зимний день угасал. В палате было полутемно, горела только лампа на столике у кровати. Она освещала худое изможденное лицо, на котором было написано напряжение и мука, смертная мука... И вдруг знакомые черты исказились гримасой — видно было, что отец силится, хочет пошевелиться... Это длилось лишь несколько мгновений... Тут он глубоко вздохнул, чуть дернулся — и душа его отлетела...

II

Моя мать, Нина Антоновна Ольшевская, родилась во Владимире 31 июля/13 августа 1908 года. Ее отец Антон Александрович был сыном главного лесничего Владимирской губернии. А женою этого моего прадеда была польская аристократка — урожденная графиня Понятовская. В семейном предании сохранилась романтическая история. Сам прадед Ольшевский был дворянином незнатного рода, и родители прабабки противились их браку. Тогда молодые уехали из родных мест, обвенчались без родительского благословения и поселились достаточно далеко от Польши — во Владимире. Мама вспоминала, как в раннем детстве ее и младшего брата Анатолия на католическое Рождество возили поздравлять дедушку и бабушку...

Мой дед Антон Александрович был личностью занятой. Смолоду он собирался стать врачом, но с медицинско-

го факультета его исключили за то, что во время пения российского гимна «Боже, Царя храни» он не встал, как все прочие студенты, а продолжал сидеть. Эта «революционная выходка» стоила ему профессии — стать целителем людей ему не позволили, и он поневоле стал ветеринаром.

Дед был невысокого роста, с правильными чертами лица. Характер у него был весьма своеобразный: при удивительной доброте — необычайная горячность и вспыльчивость, он то и дело выкрикивал свое «ко псам!». Однажды его пригласили поохотиться на вальдшнепов. Там, стоя на опушке леса, он подвергся нападению целой тучи комаров, и, не выдержав укусов, горе-охотник стал разгонять насекомых выстрелами из ружья!

Моя бабушка со стороны матери Нина (Антонина) Васильевна была довольно известным во Владимире зубным врачом. Родом она из дворянской семьи Нарбековых, у нее было две сестры и брат Николай Васильевич. Как это бывало в тогдашней интеллигентской среде, все они были враждебно настроены по отношению к власти и даже формально являлись членами партии эсеров (социалистов-революционеров). Притом Нина Васильевна возглавляла местную ячейку своей партии. (Впоследствии, уже при большевистском режиме, это обстоятельство сыграло роковую роль в судьбе моей бабушки и ее брата.)

У Нарбековых был во Владимире собственный дом с садом. Он и по сию пору стоит на главной улице, совсем неподалеку от знаменитых соборов — Дмитриевского и Успенского. Мама вспоминала, как в детстве их с братом туда водили на службу.

Насколько можно судить, у моей матери довольно рано пробудился интерес к театральному искусству. Ее приятель, также владимирский уроженец Павел Геннадьевич Козлов вспоминал, как совсем юная Нина Ольшевская занималась мелодекламацией, а он ей аккомпанировал на фортепиано.

Всего семнадцать лет отроду она приехала в Москву и поступила в студию при Художественном театре. А педагогом, который стал руководить их курсом, был сам Станиславский. Этим обстоятельством мать гордилась всю свою жизнь.

Вместе с нею там учились еще две барышни, которые также носили польские фамилии, — Вероника Полонская и Софья Пилявская. В шестидесятые годы я встречал старых москвичей, которые с восхищением вспоминали, насколько хороши были эти три подружки из мхатовской студии.

Примерно через год после появления в Москве моя мать вышла замуж за Владимира Петровича Баталова, который был актером Художественного театра. В двадцать лет в 1928 году она родила старшего сына — Алексея.

Артистическая карьера моей матери поначалу складывалась успешно. После окончания студии ее приняли в труппу, что безусловно могло считаться огромной удачей. Но ведь любой театр, а уж тем паче такой, как тогдашний Художественный, являет собою некое кладбище невостребованных дарований.

Тут я хочу отвлечься от жизнеописания своей родительницы и привести историю, которая весьма наглядно объяснит, что я имею в виду. Знаменитый актер Игорь Ильинский еще до того, как стал блистать на подмостках у Мейерхольда, также был принят в Художественный театр. Там же служил его приятель — Аким Тамиров. В то время, когда Ильинский появился в труппе, должна была осуществляться постановка «Ревизора». Так вот Тамиров сказал ему:

— Мы с тобой оба небольшого роста, полноватые... Давай будем ходить вместе, разговаривать, жестиковать: нас заметят, и нам могут дать роли Бобчинского и Добчинского...

От этого предложения Ильинский пришел в ярость и немедленно подал заявление об уходе из Художественного

театра, не желая находиться в стенах заведения, где актеры должны добиваться ролей таким унижительным способом.

Моя мать не была столь темпераментной и решительной, и она прослужила в Художественном несколько лет. Там, как водится, ее использовали в массовых сценах. Я не уверен, что ей давали хоть какие-нибудь эпизодические роли, но зато она участвовала в гастрольной поездке вместе с другими молодыми артистами, и там познакомилась с моим будущим отцом.

Через несколько лет ей надоело «прозябание» в труппе Художественного, и она перешла в только что созданный театр Красной армии. Но связь с МХАТом сохранилась у моей матери во всю последующую жизнь, а Софья Станиславовна Пилявская оставалась ее подругой.

Мой отец тоже дружил с некоторыми актерами из Художественного, а потому на Ордынке часто рассказывались истории, которые можно было бы назвать «мхатовским фольклором». Например, мама рассказывала, что старая гримерша в тридцатые годы вспоминала такую сценку: две артистки на фантах разыграли двух знаменитых русских писателей — какой кому достанется. Звали этих актрис Ольга Леонардовна Книппер и Мария Федоровна Андреева.

А отец любил вспоминать шутку актера В. В. Лужского, который так называл Книппер-Чехову:

— Беспокойная вдова покойного писателя.

И еще один рассказ, который бытовал у нас на Ордынке. По мнению моих родителей, самым талантливым из всех мхатовских актеров был Л. М. Леонидов. Был он к тому же человеком очень умным и с сильным характером. Все, даже сам Станиславский, его несколько побаивались.

Во время гастрольной поездки мхатовцы плыли на корабле через Атлантику. Все было по высшему разряду, обедали они в роскошном ресторане, а потому и одевались к столу соответствующим образом. Только Леонидов позво-

ляя себе являться без галстука, а то и вообще без пиджака. Так продолжалось в течение нескольких дней плавания по океану. Наконец Станиславский решился сделать Леонидову замечание.

— Леонид Миронович, тут один англичанин мне говорил.. Он удивляется.. Здесь положено являться у обеда тщательно одетым, а вы себе позволяете..

— Что?! — перебил его Леонидов, — покажите-ка мне этого англичанина. Да я ему сейчас..

Станиславский испугался скандала и поспешно сказал:

— Его тут нет.. Он на минуточку сошел с парохода..

Как известно, в Художественном театре всегда шла отчаянная вражда актерских поколений. Притом во МХАТе существовал обычай: если хоронили кого-нибудь из основателей труппы, то при выносе гроба звучали фанфары — музыка из финальной сцены спектакля «Гамлет». (Последний раз эти фанфары прозвучали в 1959 году во время похорон О. Л. Книппер-Чеховой.)

Один из самых талантливых актеров второго поколения мхатовцев — Борис Добронравов не стеснялся своих чувств по отношению к «старикам». Если он видел кого-нибудь из них в фойе или в буфете театра, то громко произносил своим хорошо поставленным голосом:

— Давно я, грешник, фанфар не слышал..

Когда журнал «Новый мир» опубликовал «Театральный роман» М. Булгакова, мы на Ордынке восприняли это с восторгом. Отец взял карандаш и прямо на журнальных страницах расшифровал псевдонимы, которыми автор награждал мхатовских деятелей. Кое-что из этого я помню до сих пор. Пряхина — это Коренева, Елагин — Станицын, Миша Панин — Павел Марков, Тулумбасов — Михальский, Патрикеев — Яншин, Владычинский — Хмелев, а дирижер Романус — Израилевский.

Художественный театр с самого начала в особенности настаивал на своей «общедоступности» и, разумеется, «про-

грессивности». По этой причине в их зале не было специальной «царской ложи», и уже в тридцатых годах, когда в театр стал приезжать Сталин, там устроили нечто подобное. Разумеется, для высокого начальства соорудили ватерклозет, а канализацию пришлось провести через то помещение при сцене, где во время спектаклей располагался оркестр (специальной «ямы» для музыкантов в Художественном не существует).

Все это обсуждалось в театральной Москве, и тут Ардов как-то встретил Израилевского.

— Говорят, — сказал мой отец, — у вас в оркестре появились новые инструменты?

— Какие еще новые инструменты? — изумился дирижер.

— Фановые трубы, — отвечал Ардов.

Однако же вернусь к жизнеописанию своей матери. В театре Красной армии, куда она перешла из Художественного, дела ее пошли несколько лучше, какие-то роли ей давали, но в премьерши она так и не выбилась. Хотя я вспоминаю, что чрезвычайно умный и даровитый Михаил Кедров, который после войны стал главным режиссером МХАТа, в 1960 году говорил моему младшему брату Борису:

— А ведь Нина в свое время напрасно ушла из нашего театра. Она неплохая актриса..

Как я уже упоминал, предвоенные годы были для нашей семьи самыми благополучными в смысле житейском. У отца выходили книги, в Театре сатиры шла его пьеса.. Но благополучие это было весьма относительным, ибо как раз в это время над семейством сгустились тучи. В год моего рождения, в тридцать седьмом, во Владимире были арестованы родители нашей матери: бабке Нине Васильевне не могли простить того, что до революции она возглавляла местную организацию эсеров — такое большевики никогда не забывали.

Дед Антон Александрович был болен чахоткой. На одном из допросов он прокричал следователю свое любимое «ко псам!». Тот вскочил со своего места, свалил деда ударом кулака и стал топтать его ногами... Через несколько дней Антон Александрович скончался в тюремной больнице. А бабушка Нина Васильевна получила десять лет лагерей...

Я полагаю, именно эти трагические события и стали главной причиной того, что Ахматова и моя мать в такой степени сблизилась, стали подругами. Их беды были равнозначны — у Анны Андреевны в лагере был сын, а у Нины Антоновны там находилась мать.

Я никогда не говорил об этом ни с той, ни с другой, но у меня есть доказательства справедливости моего мнения. В предисловии к своим «Запискам об Анне Ахматовой» Лидия Чуковская приводит такое свидетельство:

«В те годы Анна Андреевна жила, замороженная застенком, требующая от себя и от других неотступной памяти о нем, презирующая тех, кто вел себя так, будто его и нету».

То, что Ахматовой было свойственно именно такое мироощущение, подтверждается и рассказом моей матери о визите М. И. Цветаевой на Ордынку (Запись Э. Герштейн.):

«— Ардов был знаком с Цветаевой по Дому творчества в Голицыне. Он сказал Анне Андреевне, что Марина Ивановна хочет с ней познакомиться лично. Анна Андреевна после большой паузы ответила “белым голосом”, без интонаций: “Пусть придет”.

Цветаева пришла днем. Я устроила чай, немного принарядилась, надела какую-то кофточку.

Марина Ивановна вошла в столовую робко, и все время за чаем вид у нее оставался очень напряженным. Вскоре Анна Андреевна увела ее в свою комнату. Они сидели вдвоем долго, часа два-три. Когда вышли, не смотрели друг на друга. Но я, глядя на Анну Андреевну, почувствовала,

что она взволнована, растрогана и сочувствует Цветаевой в ее горе».

Дело происходило в 1941 году, у Марины Ивановны был расстрелян муж, а дочь была в лагере. Именно сочувствие, сознание общности судьбы, «заороженность застенком» — вот что самое существенное в пронзительнейшем стихотворении, которое Ахматова впоследствии адресовала Цветаевой:

«...поглотила любимых пучина,
И разграблен родительский дом». Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.

Мои собственные вполне сознательные воспоминания о матери относятся ко времени войны, к эвакуации. Собственно говоря, к городку Бугульме, где мы прожили года два, до самого возвращения в Москву. Там мама держалась молодцом, хотя по своему воспитанию и всей довоенной жизни она была белоручкой. А тут все приходилось делать самой — и стирать, и стряпать. Я до сих пор вспоминаю пироги с картошкой, которые она пекла нам в Бугульме, они казались неземным лакомством...

Мало того, она сумела организовать там театр, найти среди прочих эвакуированных достаточное количество увлеченных сценой людей. Я запомнил один из спектаклей, который мать там осуществила, — «Любовь к трем апельсинам». На сцене стояли три фанерных щита круглой формы, окрашенных желтой краской, а потом они распадались...

В Москву мы вернулись в мае сорок четвертого. Здесь на маму обрушились новые беды. Прежде всего она поеха-

ла в далекий Бузулук и привезла оттуда смертельно больную свою мать — Нину Васильевну. Ее, как тогда выражались, «сактировали» из лагеря по причине запущенного рака желудка. Притом ее невозможно было прописать в Москве, ибо такому «врагу народа», каким она считалась, положено было подыхать где-нибудь неподалеку от зоны, а не в «столице нашей Родины». Тут пришла на помощь мамина подруга, жена А. В. Никулина — Е. И. Рогожина. У нее было давнее знакомство с самим Абакумовым, кажется они учились в одной школе. Взяв паспорт моей бабки, она через несколько дней вернула его, и там уже стоял штамп о прописке... Царствие Небесное Екатерине Ивановне! Она любила и умела делать добро! Благодаря ей Нина Васильевна перед своей кончиной была окружена заботой и вниманием...

(Когда я начинаю думать о русских интеллигентах, о моих сродниках и о всех прочих, меня охватывает и жалость, и злость... Несчастные недоумки и нравственные уроды! Вы не только погубили свою великую страну, но и сами погибли, принесли страдания и смерть всем тем, кого так стремились облагодетельствовать.)

Еще одна беда, которая постигла маму в конце войны, — смерть нашего маленького брата. Его называли Женей, он прожил на свете всего несколько недель...

Я хорошо запомнил лето 1946 года: мама, я и шестилетний брат Борис впервые приехали в Коктебель. Поселок был тогда совсем малолюдным, кроме невысоких строений литфондовского дома на берегу ничего. Пляж был, что называется, дикий, и там можно было найти изумительные по красоте камни...

Впоследствии мама рассказывала Эмме Герштейн:

«Я была с мальчиками в Коктебеле. И все шлю Виктору письма и телеграммы. Спрашиваю, как Анна Андреевна, приехала ли она уже в Москву или собирается? Получаю от него телеграмму: “Дура, читай газеты”. И я прочла по-

становление (о журналах “Звезда” и “Ленинград”, о Зошенке и Ахматовой). Немедленно стала собираться домой. Было трудно сразу достать билеты, с детьми... Приехала, стала пытаться пробраться в Ленинград (тогда еще были пропуска). Прошло еще несколько дней, пока я приехала к ней. Пробыла у Анны Андреевны три дня и привезла ее к нам в Москву. И когда мы шли по Климентовскому переулку, встречали писателей, которые переходили на другую сторону».

После войны мама снова стала работать в своем военном театре, но дела там у нее шли не особенно успешно. Не обладая ярким актерским талантом, она была довольно способным режиссером и в особенности педагогом. В труппе к ней всегда тянулись еще не раскрывшиеся юные дарования, а также и актеры постарше, чья карьера не ладилась. И она совершенно бескорыстно помогала всем этим людям.

Как известно, в любом театре процветают интриги и подхалимство. То же самое мы знаем и об армейской среде, но там все это еще усугубляется, поскольку значительная часть начальников — тупицы и хамы. И легко можно представить, какова может быть атмосфера в таком театре, где управляют армейские чины.

Моей матери был свойственен абсолютный демократизм. Она идеально общалась, например, с деревенскими бабами и мужиками. Но холуйства в ней не было ни на грош. (Как видно, сказывалась кровь «ясновельможных панов» Понятовских.) И конечно же, все начальники армейского театра ее терпеть не могли.

Мне помнится, особенно плохо относился к ней один из них — генерал Паша. Он, как водится, окружал себя холуями, каковых среди актеров всегда предостаточно, а Нину Ольшевскую откровенно преследовал. Был этот генерал маленького роста, толстый, лысый... По причине комической внешности с ним однажды произошел весьма забавный случай.

Будучи страстным болельщиком армейской футбольной команды ЦДКА, этот генерал однажды присутствовал на стадионе в компании нескольких приближенных подхалимов (на футбол он ходил в штатском костюме). Как назло в том ряду, который был выше, прямо над Пашею сидел мальчишка, который болел за ту команду, что противостояла ЦДКА. В конце концов армейский клуб потерпел поражение, и как только раздался финальный свисток, паренек звонко хлопнул генерала по лысине, вскричав:

— Ну что, пузырь? Проиграло твое ЦДКА?

Но вернемся к моей родительнице. Подлинная ученица Станиславского, она была предана театру самозабвенно, а ее прямые начальники весьма беспардонно этим пользовались. В течение десятилетий мама была эдаким режиссером «на подхвате». Изредка ей поручались даже и самостоятельные постановки, но каких-то уж совсем ничтожных пьес, которые разыгрывали третьесортные актеры на так называемой малой сцене. (А она-то всю жизнь мечтала поставить «Горе от ума».)

Сколько я помню, мама ездила в свой театр по два раза в день, утром и вечером. И ужасно уставала. Притом зарплата у нее была нищенская, поскольку она была актрисой «без звания». А на режиссерскую должность ее так никогда и не назначили.

Но была у матери, что называется, «смежная профессия»: она замечательно читала стихи, в частности своего любимого Маяковского и, конечно же, Ахматову. Я хочу тут привести рассказ одной из приятельниц Анны Андреевны — Татьяны Семеновны Айзенман (запись Э. Герштейн.):

«В Комарове, в сумерки, сидели на крыльце — Анна Андреевна, Нина Ольшевская, Н. Ильина, я и еще кто-то. Это было в тот день, когда из Дома творчества приходила Маруся Петровых и был еще брат Нины, Толя. Все было очень хорошо; мы с Марусей ходили в продовольственный

ларек, купили что-то, был импровизированный ужин. И Анна Андреевна была очень довольна “Как хорошо, что мы без взрослых”, — приговаривала она, имея в виду своих ленинградских домочадцев.

Анна Андреевна сказала: “Я хочу, чтобы Нина прочла вам поэму. Нина читает “Поэму без героя” лучше всех”. А Нина говорит Анне Андреевне: “Я при вас не могу, я стесняюсь”. — “Ну хорошо, я уйду”, — и она вошла в дом. Мы остались на ступеньках, а Нина своим хрипловатым, прокуренным голосом читала, действительно очень хорошо, вдохновенно, “Ты в Россию пришла ниоткуда” и другие куски».

Обладая несомненным даром декламации, мама практически никогда публично не выступала, но зато она обучала этому искусству других. Среди тех чтецов, которые обращались к ней как к режиссеру, были довольно известные в свое время имена.

Мне теперь вспоминается некая дама, фамилия ее, кажется, была Овчарова. Она читала с эстрады рассказы Чехова, и мама долго репетировала с ней «Попрыгунью». Происходило это в отцовском кабинете, за закрытой дверью. Чтица была весьма темпераментная и голосистая, а потому то и дело по всей квартире разносился громкий крик — это чеховская героиня зывала к только что умершему мужу:

— Дымов! Дымов! Дымов же!

Надобно заметить, что мама занималась с чтецами еще с довоенных времен. В числе ее подопечных когда-то была Анна Гузик, впоследствии довольно известная исполнительница еврейского репертуара. Тогда она только что появилась в столице и снимала комнату в квартире без телефона. Приходя на Ордынку для своих занятий с мамой, эта артистка принималась звонить по телефону своим знакомым, родственникам и пр. и пр. Притом как все люди, которые не привыкли пользоваться телефоном, она говорила в труб-

ку очень громко, из-за чего Ахматова однажды произнесла:
— Пока этот Гузик не кричит по телефону, я его не боюсь.

А еще я запомнил такую отцовскую фразу:

— С тех пор как Иоганн Гутенберг сделал свое изобретение, художественное чтение как жанр много утратило в своей актуальности.

Каждое лето мама отправлялась на гастроли. Поскольку их театр был военным, они, как правило, выступали в глухой провинции — там, где располагались армейские гарнизоны. Помню несколько маминых рассказов, которые она привозила с гастролей.

В начале лета 1953 года они оказались где-то на Севере, неподалеку от Мурманска. Всем женщинам — актрисам, гримершам, костюмершам — для проживания была отведена огромная комната, что-то вроде «красного уголка» военной части. У этого помещения было соответствующее убранство: на стенах плакаты, портреты членов политбюро и т. д. И вот ранним утром, когда все женщины еще спали, там появился подполковник — замполит. Он тихонько открыл дверь, на цыпочках пересек комнату, бесшумно забрался на стол и снял со стены один из висящих там портретов. Так же тихо, стараясь не разбудить никого из спящих, он удалился вместе с портретом... Вот каким образом моя мама и все, кто находились с нею в тех гастролях, узнали о падении Лаврентия Берии.

И еще мамин рассказ, он относится к пребыванию в самом Мурманске. Несколько актеров и актрис шли по одной из улиц города. Когда они проходили мимо местного ресторана, то увидели, как оттуда выскочил человек, у которого из глаза торчала вилка! И этот несчастный быстро-быстро побежал по улице, очевидно в сторону больницы...

Когда армейский театр гастролировал где-то на Украине, маму вместе с другой актрисой поселили в доме мест-

ной жительницы, еврейки. Хозяйка посещала их спектакли и потом говорила своим квартиранткам:

— Чтобы мои дети были такие здоровенькие, какой у вас артист Зельдин!

Однажды театр был на гастролях в Сочи, было это году в пятидесятом. В то время в их труппе состоял и наш старший брат Алексей Баталов. Когда они с мамой вернулись, то привезли огромную корзину фруктов — виноград, груши, персики, а кроме того, на Ордынку был доставлен необычайных размеров арбуз. Но как только его стали резать, оказалось, что мякоть в нем совершенно несъедобна.. И тогда я, тринадцатилетний, упрямил взрослых отдать арбуз нам с братом Борисом — ему было десять лет. Я тотчас схватил свою добычу, и мы с Борей взбежали по лестнице на пятый этаж. Там мы распахнули окно, и наш арбуз полетел вниз... Когда он ударился о землю, то на мгновение распластался по ней, превратившись в этакий огромный блин, и тут же во все стороны полетели клочья... Честно говоря, я до сих пор не могу забыть этого зрелища.

Как я упомянул, наш старший брат Алексей некоторое время служил в Театре Красной армии. Было это вот по какой причине. Когда он окончил студию при МХАТе, его немедленно приняли в самый театр. Но тут же встал вопрос о том, каким образом он будет отбывать воинскую повинность. А при военном театре была так называемая команда. В ней содержались молодые актеры, которые работали по своей специальности и одновременно проходили военную службу. Вот туда и зачислили нашего Алексея.

Служить в «команде» при театре было необременительно, хотя там соблюдались армейские порядки. Был какой-то майор, разумеется, существовал и старшина, который непосредственно командовал актерами в солдатской форме. Жизнь этих начальников была нелегкая, поскольку «личный состав» отличался бойкостью, игривостью, веселостью...

Я вспоминаю, как Алексей и его товарищи пародировали речь своего майора, у которого был любимый афоризм:

— Лучше перебдеть, чем недобдеть.

Или вот такая сценка. На вечернем построении старшина обращается к команде:

— Вопросы есть?

Из шеренги раздается голос:

— Есть, товарищ старшина! Рядовой Халецкий. У меня вопрос: почему Земфира охладела?

— Так, — раздумчиво произносит старшина, — отвечаю на вопрос рядового Халецкого: будем тренировать.

Но вернемся к театральной карьере моей матери. Вплоть до шестидесяти четвертого года она служила в своем армейском театре, ставила спектакли, ездила на гастроли, но режиссерской должности так и не дождалась. А возраст был такой, что пора было подумать об оформлении пенсии. И вот для того, чтобы на старости лет получать побольше денег, мама уехала на работу в Минск. В тамошней труппе ее оформили режиссером и стали платить вполне приличное жалованье.

Поселили маму в удобной комнате при самом театре, и она принялась репетировать какой-то спектакль. Но во всем, что касалось дел житейских, наша мать была удивительно невезучим человеком. Недели через две после своего приезда в Белоруссию она поела в театральном буфете несвежей рыбы, и у нее случилось отравление с сильной рвотой, а поскольку у нее оказалось к тому же и очень высокое артериальное давление, то рвота вызвала тяжелейший инсульт, и она потеряла речь...

Так как у меня тогда была «свободная профессия», то именно мне довелось прожить в Минске несколько недель. Когда мама немного окрепла, мы с ней приехали в Москву.

И еще на тему невезения. Именно той осенью, в шестидесяти четвертом, Ахматова побывала в Италии, где ей

вручили литературную премию. В той поездке Анну Андреевну должна была сопровождать мама, но инсульт разрушил эти планы.

Увы! — от последствий той болезни она так и не оправилась до конца жизни — с трудом произносила некоторые слова и не вполне владела правой рукой. Пенсию ей оформили небольшую, соответственно той плате, что она получала в военном театре. Но она продолжала свои занятия с актерами-чтецами и, как в прежние годы, помогала каким-то мальчикам и девочкам, мечтающим о сценической карьере.

Начиная с семидесятого года я часто уезжал в полузаброшенное село Акиншино во Владимирской губернии. Там необычайно красиво — сосновый лес, изумительно чистая речка Тара и, главное, безлюдье. Осенью, если не ошибаюсь, семьдесят второго года мы поехали туда вдвоем с матерью.

Жили мы с нею расчудесно. Она была заядлым грибником и буквально не выходила из леса. Я пытался ее останавливать, говорил:

— Хватит, пора домой!.. У тебя уже полная корзина.

Но уговоры действовали слабо, она была готова бродить по лесу дотемна. Мать сразу же подружилась с моей новострой соседкой — старухой Петровной...

В семи верстах от моего Акиншина находился поселок Мстера, он известен своими ремеслами, в частности иконописью и вышивкой. И вдруг мама вспомнила, что, когда она в первый раз выходила замуж, ее подвенечное платье заказывали именно во Мстере.

Наша с ней идиллическая деревенская жизнь кончилась неожиданно: 14 октября, на день Покрова Божией Матери, началась снежная буря. В течение суток все вокруг завалило сугробами, и я понял, что маму надо увозить в Москву. Ей, бедняге, пришлось идти полтора километра по снежной целине к той деревне, где была автомобильная

дорога... В конце концов мы с ней кое-как добрались, обогрелись в избе у моих знакомых.

И вот тут возникла некая проблема. В Акиншино мы с ней добирались через городок Вязники, мама никак не хотела сойти с поезда во Владимир: с городом ее детства и юности у нее были связаны воспоминания о страшной судьбе родителей и других близких людей, которых унес тридцать седьмой год. Но из-за снежной бури мы с ней были вынуждены ехать на автомобиле именно во Владимир, в Вязники пути не было. В ожидании поезда мы зашли в ресторан при вокзале. Это место мама хорошо знала, дом их расположен поблизости, а мой дед Антон Александрович почти всякий день посещал это заведение — он в свое время крепко выпивал. Так вот она сказала, что даже картины в ресторанном зале висели все те же и на тех же самых местах. (Увы, впоследствии невысокое и уютное здание городского вокзала во Владимире было уничтожено, и теперь там стоит нечто огромное, безвкусное и претенциозное.)

Есть такое издание — «Записные книжки Анны Ахматовой». Имя Нины Ольшевской или просто Нины встречается там великое множество раз. Вообще же, насколько можно судить, моя мать была самой близкой подругой Анны Андреевны (может быть, не самым близким человеком, но именно подругой — в специфическом смысле этого слова).

5 января 1965 года, когда мама еще была в больнице после инсульта, Ахматова написала ей из Ленинграда письмо, оно оканчивается такими словами:

«Нина, я люблю Вас, и мне без Вас плохо жить на свете. Целую Вас. Ваша Анна».

А за четыре дня до своей смерти Анна Андреевна сделала на книге «Бег времени» такую надпись:

«Моей Нине, которая все обо мне знает, с любовью Ахматова. 1 марта 1966, Москва».

В одной из ее записных книжек существует план прозаической книги «Пестрые заметки». Среди прочих «со-

временников», о которых Анна Андреевна намеревалась писать, есть и имя Нины Ольшевской, главка о ней должна была называться «И все-таки победительница».

И еще там такая приписка:

«Концовка Н. Ольшевской».

Когда (вчера) я рассказала ей мою концепцию, она продолжала мыть ванну своими смуглыми тонкими и сильными руками и совершенно равнодушно сказала: “Ну, хорошо, пусть так...” И все».

Мне кажется, я улавливаю мысль Ахматовой, понимаю ее «концепцию», смысл названия «И все-таки победительница»...

Да, моей матери катастрофически не везло на той театральной помойке, где прошла значительная часть ее жизни! Но — благодарение Богу! — у нее были не только сценические способности, она была носителем редкого дара — умения совершенно искренне любить людей. Я всю свою жизнь не видел более доброжелательного человека, чем она. Если ее мужа, Виктора Ардова, который тоже был добрым человеком, многие недолюбливали и даже враждовали с ним, то я не видел ни одного человека, который бы отрицательно отнесся к моей матери (исключение составляли только ее непосредственные театральные начальники).

Все, с кем ее сталкивала жизнь, казались моей матери умными, талантливыми, да к тому же и красивыми... Под конец ее жизни мы с братом Борисом иногда подтрунивали над ней, спрашивая о каком-нибудь заведомо непривлекательном человеке:

— Мама, а N. N. — красивый?

Она тут же включалась в игру и с улыбкой отвечала:

— Красивый.

И еще я хочу написать о маминей дружбе с человеком действительно редкостной красоты, я имею в виду Веронику Витольдовну Полонскую. Увы, ее биография — убедитель-

тельная иллюстрация поговорки «Не родись красивой, а родись счастливой». (Недаром Ахматова в своей ненаписанной книге главы о Веронике Витольдовне намеревалась назвать «Невинная жертва».)

Как известно, в своем завещательном предсмертном письме Маяковский обратился к Советскому правительству с такой просьбой:

«Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мать, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо».

Существует широко распространенное мнение, что Полонская от своей доли наследства отказалась, но это не соответствует действительности. Летом 1987 года Вероника Витольдовна Полонская была у меня в гостях, кроме нее присутствовали моя мать, Михаил Давыдович Вольпин и мой друг Владимир Андреевич Успенский. Он-то и задал Полонской прямой вопрос:

— Вы когда-нибудь отказывались от наследства Маяковского?

— Нет, никогда не отказывалась, — отвечала она.

(В. А. Успенский сам написал об этом разговоре: см. его публикацию в журнале «Новое литературное обозрение» в № 26 за 1997 год.)

Однако «товарищ правительство», игнорируя просьбу своего «лучшего и талантливое поэта», обрекло Веронику Витольдовну на бедность и унижения. В 1937 году был арестован и погиб ее муж и отец ее сына — Озерский... Под конец жизни она получила, как и моя мать, нищенскую пенсию. Жила она в это время вместе со своим сыном Владимиром, его женой Юлией и их ребенком. Затем Володя Озерский еще раз женился, но свою старую семью оставил в квартире у матери.

Помнится, Вероника Витольдовна жаловалась на характер этой брошенной невестки. И я как-то спросил Полонскую:

— А откуда она вообще взялась? Как Володя с ней познакомился?

— Я этого не знаю, — отвечала Вероника Витольдовна, — я только знаю, что она дочка какого-то еврея и его домработницы.

— Ну, это — известный сюжет, — сказал я. — Такого же точно происхождения был и Чуковский... Корней Иванович и ваша Юля — все-таки какие разные результаты дает это скрещивание!

Позднее Владимир Озерский с новой женой навсегда отбыл в Соединенные Штаты Америки. А Полонская свою жизнь окончила в актерской богадельне, где, как известно, жильцы не бедствуют, но Вероника Витольдовна чувствовала себя там очень одинокой...

Мне вспоминается восемьдесят второй год. Мы на Ордынке праздновали день рождения матери — 13 августа, была и Полонская. В какой-то момент мама провозгласила тост за ее здоровье и сообщила, что они с Вероникой Витольдовной дружны уже пятьдесят с лишним лет и за такой срок ни разу не поссорились...

После этого рюмку поднял я и напомнил присутствующим то место из «Мертвых душ», где Манилов мечтает, как, узнавши об их дружбе с Чичиковым, Государь «пожалует их генералами». Так вот в своем тосте я выразил надежду, что Леонид Брежнев, узнав о дружбе Полонской и Ольшевской, «пожалует их народными артистками»...

Мама умерла 25 марта 1991 года. К концу своих дней она стала совсем слабенькая, но характер ее совершенно не изменился. Все вокруг у нее по-прежнему были умными, талантливыми и красивыми. Она очень баловала одну из своих внучек (Аню, дочку моего брата Бориса), но если маме делали замечания по этому поводу, она отвечала так

— Я скоро умру. Но я хочу, чтобы она на всю жизнь запомнила, что у нее была такая бабушка, которая все ей разрешала...

К концу жизни мне удалось ее воцерковить, она регулярно исповедовалась и причащалась Святых Христовых Тайн. С детства мама была верующим человеком, но поскольку жизнь ее проходила в божемной среде, связь с Церковью на долгие годы нарушилась. У нас на Ордынке только Пасху праздновали весьма торжественно, с вкусными куличами, крашеными яйцами — все это мама приготовляла собственными руками.

Незадолго до ее смерти я как-то спросил у матери:

— Кто был твой крестный отец?

Дело происходило в столовой на Ордынке, при сем присутствовали несколько человек. Мама взглянула на меня и спокойно произнесла:

— Фрунзе.

Оказывается, этот деятель, прежде чем стать большевиком-эсдеком, был в числе эсеров, в то время он подружился с моей бабушкой Ниной Васильевной. И вот наступает 1908 год, в семье Ольшевских рождается дочь, а Фрунзе становится ее приемником от купели... И эта крошечная девочка через много лет станет моей родительницей.

Неисповедимы пути Твои, Господи!

III

28 декабря 1963 года в гостях у Анны Ахматовой были Э. Г. Герштейн и Л. К. Чуковская. В тот день Лидия Корнеевна записала в своем дневнике:

«Эмма Григорьевна ушла говорить по телефону. Едва дверь за нею затворилась, Анна Андреевна сказала:

— Эмма вот уже столько лет живет хуже худого. Вечное безденежье, а жилье? — вы помните ее конуру в развалинах при больнице? В новой комнате — пытка радиовещанием. Книга не пишется, а ведь никто не изучил так глубоко Лермонтова, как она. Сдать работу надо к юбилею. Это для нее

единственный шанс. Это ее хлеб, честь, жизнь. Время лермонтовское она знает до тонкости — без ее помощи и мое пушкиноведение споткнулось бы: архивы, архивы!.. Эмма — надежный друг: я прочно помню, как она ездила навещать Осипа в ссылке... Орденов за это не давали.

Мне жаль, что Эмма Григорьевна, не имея обыкновения подслушивать, не подслушала этот монолог. Вот и орден».

Я перечел эту запись относительно недавно, когда мне подарили изданный в 1997 году трехтомник Чуковской «Записки об Анне Ахматовой». Приведенный автором монолог Анны Андреевны живо напомнил мне почти все, о чем там говорится: и нищенскую жизнь, которую пришлось вести Э. Г. Герштейн, и ее «конуру при больнице», и ее занятия Лермонтовым, и, главное, ее многолетние отношения с самой Ахматовой, для кого Эмма Григорьевна была воистину *надежным другом*.

Мои первые вполне сознательные воспоминания об Анне Андреевне относятся к сорок девятому году. Мне было двенадцать лет, и я начинал кое-что понимать в тогдашней непростой «взрослой жизни».

В то страшноватое время людей, которые постоянно приходили на Ордынку к Ахматовой, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Вся жизнь Анны Андреевны, ее мысли и чувства были связаны с одним страшным обстоятельством: ее единственный сын был в заключении. И именно Эмма Герштейн принимала участие во всех хлопотах о Льве Гумилеве, по поручению Ахматовой отправляла ему посылки. Анна Андреевна доверяла ей безгранично и испытывала к ней ни с чем не сравнимую благодарность.

А жила тогда Эмма Григорьевна действительно «хуже худого» — без постоянной работы, почти без всяких заработков, в той самой «конуре при больнице». Но притом никто и никогда не слышал от нее никаких жалоб.

Когда мне исполнилось тринадцать, я стал потихоньку осваивать пишущую машинку. Отец меня в этом деле поощрял. Помнится, он говорил:

— В жизни может пригодиться всяческое умение. Вот смотри, Эмма Григорьевна — умный, образованный человек, замечательный ученый... А ей приходится зарабатывать перепиской на машинке...

Ардов сам иногда давал ей эту работу. И мое некоторое сближение с Эммой Григорьевной произошло по такому же случаю. В 1955 году она взялась перепечатать и вообще привести в порядок мою курсовую работу — я учился на факультете журналистики Московского Университета. И вот тут я впервые побывал у нее в гостях — до той поры я исполнял лишь функции курьера, привозил к ней рукописи Ардова и Ахматовой или провожал туда саму Анну Андреевну. («Конура», где жила Герштейн, была недалеко от нашего дома на Ордынке, на улице со своеобразным названием — Щипок.)

До сих пор помню небольшую комнату с книжными шкафами, стол, заваленный бумагами, пишущую машинку, маленький фарфоровый чайник, серебряные ложечки... Наливая мне в чашку горячий, густой и ароматный напиток, Эмма Григорьевна произнесла:

— Ну а чай мы с тобой будем пить такой, какой бывает только у одиноких людей...

Вспоминается мне забавная история. Ахматова поехала к Герштейн на Щипок и пробыла там довольно долго. Потом она возвратилась на Ордынку, и кто-то из нас открыл ей входную дверь. Мама, услышав, что Анна Андреевна уже в прихожей, громко заговорила с ней из комнаты:

— Ну наконец-то... А то вам звонил Николай Иванович Харджиев, и я ему сказала, куда вы поехали. А он говорит: «Ну, вот — опять она у этой проклятой Эмки»...

В ответ на эту реплику из передней раздался голос Ахматовой:

— А Эммочка со мной...

Мама в смущении ринулась им навстречу:

— Эмма Григорьевна, дорогая...

И еще одна история, связанная с Николаем Ивановичем. Году в семидесятом мы с Михаилом Мейлахом пришли к Харджиеву. Там мы застали Эмму Григорьевну. Хозяин сидел за своим письменным столом, а Герштейн на стуле перед ним. В какой-то момент Эмма Григорьевна произнесла:

— Вы просто обязаны написать мемуары.

И тут Харджиев, дотоле сидевший в довольно статичной позе, проворно сложил два кукиша и моментально поднес их к самому лицу собеседницы...

Ни я, ни Мейлах не в силах забыть эту «немую сцену».

А еще я вспоминаю 1968 год, когда состоялось судебное разбирательство по делу об архиве Ахматовой. Практически все друзья Анны Андреевны были на стороне Льва Гумилева, который пытался защитить свое право распоряжаться бумагами покойной матери.

Кстати сказать, дело слушалось в Ленинградском областном суде, в том самом здании на Фонтанке, где в свое время помещалось «Третье отделение Собственной Его Величества канцелярии». «Свидетельница Герштейн» выступала превосходно. Ее ответы были внятные, четкие, и адвокатам противной стороны никак не удавалось сбить ее с твердой моральной позиции. Присутствующие были восхищены, и кто-то из нас предложил несколько изменить фамилию Эммы Григорьевны — не «Герштейн», а «Фрауштейн».

В середине семидесятых годов она совершила чрезвычайно важное дело. По завещанию вдовы Сергея Борисовича Рудакова его дочь предоставила в распоряжение Эммы Григорьевны эпистолярное наследие своего отца. Как известно, С. Б. Рудаков в начале тридцатых годов был выслан в Воронеж, где сблизился и подружился с другим ссыльным

— О. Мандельштамом. При этом С. Б. ежедневно писал жене в Ленинград, и в этих письмах он подробно рассказывал обо всем, что было связано с Осипом Эмильевичем. Герштейн дважды путешествовала в Ленинград, подолгу жила там, скрупулезно изучала и копировала те из писем Рудакова, где есть упоминания о великом поэте. Результатом стала замечательная работа под названием «Мандельштам в Воронеже».

По моему глубокому убеждению, опубликованные Эммой Герштейн письма С. Б. Рудакова к жене — самое существенное и достоверное из всего, что когда-либо было написано о Мандельштаме.

Ахматова была абсолютно права, когда назвала Эмму Григорьевну своим надежным другом. Она была таковой при жизни Анны Андреевны, но и после ее смерти Герштейн осталась верна ее памяти. Свидетельством тому еще одна работа — «Анна Ахматова и Лев Гумилев».

Начиная с 1956 года и до 1968-го я состоял с Львом Николаевичем в довольно близких отношениях и могу засвидетельствовать: у него была некая *idée fixe*. Гумилев был искренне убежден, будто мать не добивалась его освобождения из лагеря, а потому он пробыв там дольше, нежели некоторые другие узники.

Лев Николаевич не изменил своего мнения до конца дней, и теперь, когда он получил весьма широкую известность, его друзья и ученики, так сказать, задним числом порочат доброе имя Анны Ахматовой. (Это сделал, например, академик А. М. Панченко в журнале «Звезда» № 4, 1994 г., где он частично опубликовал и тенденциозно прокомментировал переписку Гумилева с матерью.)

Э. Герштейн — отнюдь не сторонний свидетель в истории отношений Ахматовой и ее сына. В те годы, когда Лев Николаевич находился в лагере, Эмма Григорьевна не только помогала Анне Андреевне в хлопотах по облегчению его участи, но и сама состояла в переписке с Гумилевым. И вот

она опубликовала те письма, которые Лев Николаевич в свое время адресовал ей самой, а также важные документы, проливающие свет на всю эту историю. В частности, письмо Ахматовой к Ворошилову и бумагу, которую Ворошилов получил от Генерального прокурора В. Руденко. Так что теперь любой беспристрастный человек может убедиться в несправедливости обвинений, которые друзья и поклонники Л. Н. Гумилева продолжают возводить на его мать.

Господь наградил Эмму Григорьевну долгою жизнью. Он же дал ей силы продолжать свои занятия, сохранил остроту ума и ясность мысли. Не так давно читатели получили новое тому доказательство: в 1998 году вышел том ее «Мемуаров». Я оказался среди тех, кому она подарила свою книгу, и в особенности горжусь теплой надписью, которую Эмма Григорьевна начертала на титульном листе, — она назвала меня добрым другом.

И вот мне вспоминается разговор, который был у нас с нею четверть века тому назад. Это было в то время, когда в самиздате стала распространяться «Вторая книга» Надежды Мандельштам, где, как известно, подверглись поношению и прямой клевете весьма многие достойные люди. Увы! — в их числе оказалась и Герштейн. Когда мы с Эммой Григорьевной коснулись данной темы, она произнесла лишь одну фразу:

— Мне это очень горько, ведь мы с ней были подругами.

Моя собеседница и в этом случае проявила себя как надежный друг.

IV

Среди тех многочисленных дам, которые окружали Ахматову в последние годы жизни, мало кого можно было бы назвать ее подругами. Это прежде всего моя мать Нина

Антоновна Ольшевская и Мария Сергеевна Петровых, с которой у Анны Андреевны были весьма доверительные отношения. 20 мая 1963 года Ахматова сделала такую запись:

«Вчера была Маруся. Как всегда чудная, умная и добрая».

В те годы мне приходилось регулярно общаться с Марией Сергеевной, и я могу засвидетельствовать, что именно доброта и ум были ее самыми характерными качествами. Так и вижу ее — невысокую, худую (хочется сказать, сублинную), с вечно дымящейся папиросой в откинутой правой руке...

Мы, двадцатилетние, смотрели на нее с некоторым изумлением. Нам было известно, что она отвергла любовные домогательства Мандельштама и что у нее был роман с Александром Фадеевым — именно ему Петровых посвятила свои стихи «Назначь мне свиданье...». В ту пору я и мои товарищи еще ничего не понимали в жизни, но уже чуть-чуть разбирались в литературе и мысленно сравнивали «Разгром» и «Молодую гвардию» с «Египетской маркой» и «Четвертью прозой»...

Мне представляется, что, назвав Петровых «Мастерицей виноватых взоров», Мандельштам возвел на нее напраслину. Ведь подобное «мастерство» свойственно кокеткам, предполагает ненатуральность этих «взоров». А по моим наблюдениям, именно застенчивость было одним из главных качеств Марии Сергеевны.

Она всегда старалась отвести внимание людей от своей персоны. Я, например, никогда не слышал, чтобы она читала собственные стихи:

Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата.
Я потеряла друга, мужа, брата,
Я получала письма из-за гроба.

Она ко мне внимательна особо
И на немые муки таровата.
А счастье исчезало без возврата..
За что, я не пойму, такая злоба?

И все изподтишка, все шито-крыто.
И вот сидит на краешке порога
Старуха у разбитого корыта.

— А что? — сказала б ты. — И впрямь старуха.
Ни памяти, ни зрения, ни слуха.
Сидит, бормочет про судьбу, про Бога...

Увы, моя память хранит совсем немного слов, которые Петровых произносила, ибо в речах, как и во всем, она была необычайно сдержанна. А между тем в них проявлялись рассудительность и тонкость.

В одном из наших с ней разговоров я по какой-то причине упомянул имя тогдашнего начальника Белоруссии — Петра Машерова. Мария Сергеевна улыбнулась и произнесла:

— Достоевский дорого бы дал за такую фамилию.

(Мы знаем, Федор Михайлович подбирал своим персонажам фамилии весьма выразительные, а тут в основе французское словосочетание «*ma chère*»)

Я уже имел случай написать об одном нашем с Петровых разговоре, который состоялся примерно через год после смерти Ахматовой. Но ранее я не считал возможным называть писательницу, о которой шла речь, а теперь решаюсь открыть ее имя. Это — Наталия Ильина.

Мария Сергеевна мне рассказала:

— Наташа принесла мне свои воспоминания об Ахматовой, но она сама не понимает, что написала. Ведь она не подозревает о том, что Анна Андреевна считала ее осведомительницей. Там есть такой эпизод: в тот день, когда разразился скандал с «Доктором Живаго», утром, едва прочтя газеты, Ильина помчалась к Ахматовой спросить, что она по

этому поводу думает... Разумеется, Анна Андреевна не могла воспринимать этот визит иначе, как исполнение служебного долга. И тем не менее она сказала: «Поэт всегда прав». То есть Ахматова не побоялась передать такое на Лубянку...

Последняя наша с Марией Сергеевной встреча произошла в Голицыне, в писательском Доме творчества. Помните, я сказал ей, что недавно получил неплохой гонорар, а потому теперь намерен писать не для заработка, а, так сказать, для души.

— Так вы, оказывается, минималист? — воскликнула моя собеседница. — Я тоже минималистка...

Этот ее термин относился к таким литераторам, которые вовсе не стремились к обогащению, а зарабатывали, чтобы только сводить концы с концами.

Ахматова довольно часто бывала у Петровых на Беговой улице, иногда ей приходилось там жить по нескольку дней. Мария Сергеевна и ее дочь Ариша окружали свою гостью необыкновенной заботой и вниманием.

О том, как Петровых относилась к Анне Андреевне, можно судить по одной реплике, я ее слышал неоднократно. Марии Сергеевне было известно, каких усилий стоило Бродскому и мне добиться, чтобы Ахматову похоронили в конце широкой аллеи на Комаровском кладбище. По этому поводу время от времени произносились слова, которые и смущали, и смешили меня; Петровых с полной серьезностью говорила:

— Мише человечество обязано тем, что Ахматову похоронили на подобающем месте.

V

В записных книжках Ахматовой встречается великое множество имен. Но среди таких, как Нина, Ира, Толя, Лида и пр., то и дело мелькает уменьшительное — Любоч-

ка. Именно так все друзья называли Любовь Давыдовну Стенич (по последнему мужу — Большинцову).

Мой отец познакомился с нею в конце двадцатых годов. В то время она была замужем за каким-то ленинградским инженером, но у нее уже был роман с Валентином Осиповичем Стеничем — личностью легендарной. Он дружил с Зоценкой, а у того тоже была связь с замужней дамой, женою некоего крупье по фамилии Островский.

И вот Ардов вспоминал, что у Стенича и Зоценки была такая игра. Михаил Михайлович начинал:

— Нет, Валя, все-таки наш муж лучше...

— Не скажите, — откликнулся Стенич, — у нашего все же приличная профессия — инженер. А у вас, стыдно сказать, крупье...

— А характер? — не сдавался Зоценко. — Наш никогда не скандалит, не то что ваш...

Ну и далее в том же роде...

Впоследствии Любовь Давыдовна с этим инженером развелась и вышла замуж за Стенича. Поселились они в ленинградской коммуналке, с которой связана забавная история, отец слышал это от самого Валентина Осиповича, а я — от Любви Давыдовны.

В одной из комнат этой общей квартиры жил какой-то грузин с женою и престарелой тещей. И вот эта старушка скончалась. Накануне похорон зять стал звонить ее подругам — таким же пожилым дамам, чтобы сообщить им печальную весть. А телефон был в коридоре, возле комнаты Стеничей. И они в течение получаса слушали, как грузин с сильным акцентом говорил в трубку примерно так:

— Алле!.. Аделаида Панкратьевна?.. Слушай, детка, вот какая картинка.. Софья Степановна умерла.. Завтра хоронить будем. Приходи.. Алле!.. Мария Казимировна?.. Слушай, детка, вот какая картинка.. Софья Степановна умерла.. Завтра хоронить будем.. Приходи.. Алле!.. Ирина Густавовна?.. Слушай, детка, вот какая картинка...

Любовь Давыдовна подружилась с Ахматовой еще до войны, в Ленинграде. Это произошло, когда Анна Андреевна уже разошлась с Н. Н. Пуниным, но принуждена была существовать в одной квартире с ним, с его первой женой и их дочерью — Ириной. Эта девочка очень рано вышла замуж, еще школьницей... И вот Любочка вспоминала такую сцену: Ира Пунина и ее муж, взявшись за руки, идут мыться, принимать ванну. Дескать, пусть все видят, что они теперь муж и жена... Ахматова смотрит на это с недоумением и говорит:

— Я себе представить не могу, чтобы мы с Колей Гумилевым вошли вместе в ванную комнату...

В семидесятых уже годах знаменитый советский писатель и редактор еженедельника «Огонек» Анатолий Софронов овдовел. По этому случаю он сочинил длиннейшую поэму и посвятил ее покойной жене. И вот я помню, как на Ордынке появилась Любовь Давыдовна и принесла номер журнала «Октябрь», где софроновское творение было напечатано. Она показала нам презабавное место: автор сообщает читателям, что после долгих лет брака он приобрел право —

Как Дант, назвать любимую Лаурой.

Ардов сразу же припомнил замечательную шутку Виктора Шкваркина из пьесы «Чужой ребенок», там некий персонаж путает Беатриче уже не с Лаурой, а с ее обожателем:

— Я вас любил, как Дант свою Петрарку.

Во все годы, что я ее помню, жизнь у Любви Давыдовны была нелегкая. Она зарабатывала себе на жизнь переводами с английского и французского. Главным образом это были какие-то пьесы, но их почти никогда на сцене не ставили. Мой отец пытался помогать Любочке, доставать для нее работу, однако это удавалось крайне редко.

В конце концов Ардов взялся помочь ей с оформлением пенсии, но тут возникло непредвиденное препятствие. Будучи дамой весьма кокетливой, Любовь Давыдовна тщательно скрывала свой возраст, и в паспорте у нее было сделано соответствующее исправление. В результате пенсия оказалась значительно меньше той, что ей полагалась на самом деле.

В семидесятых годах Л. К. Чуковская готовила к публикации «Записки об Анне Ахматовой». А так как Лидия Корнеевна была фанатично предана редакторскому делу, она снабдила свой труд подробнейшими примечаниями. И тут ей понадобилось указать год рождения Любови Давыдовны. Далее я приведу рассказ самой Любочки, она говорила:

— Мне позвонила Лида Чуковская и спросила: сколько вам лет? Якобы ей это нужно для комментария... Но фиг я ей это скажу!..

И слово свое Любовь Давыдовна сдержала: я могу засвидетельствовать, что в «Записках об Анне Ахматовой» год рождения Стенич-Большинцовой указан неверно.

Последний раз в жизни я разговаривал с нею по телефону в самом начале 1980 года. Я поднял трубку и услышал голос Любочки:

— Миша, — заговорила она, — вы не можете сказать мне: где в Москве находится «фестивальский собор»?

В ответ я рассмеялся. Я понял: она имеет в виду небольшую церквушку снесенного села Аксиньина, которая теперь находится на окраине Москвы — на Фестивальной улице. Я объяснил ей, как туда попасть, и мы еще немного поговорили... Я не задал Любочке никакого вопроса, я и без того знал, зачем она собирается в Аксиньино: именно в тот день в тамошней церкви состоялось весьма торжественное отпевание Надежды Яковлевны Мандельштам.

Нет нужды рассказывать о том, насколько тесная дружба связывала Ахматову с Лидией Корнеевной Чуковской. Анна Андреевна ценила ее редакторский талант, высочайшую порядочность, бескорыстие, преданность близким людям. Но при этом я бы сказал, что у Ахматовой и Чуковской не могло быть полнейшего единодушия, слишком разные это были натуры.

Лидии Корнеевне литература совершенно заменяла религию, а Ахматова была христианкой и подобных воззрений разделять не могла. За долгие годы их дружбы Лидия Корнеевна так и не смогла, хотя и усердно пыталась, привить Анне Андреевне преклонение и любовь к своим кумирам, к таким, например, как Герцен или Чехов.

У Чуковской было, на мой взгляд, чересчур серьезное, если не сказать — трагическое, восприятие жизни. А Ахматова, как человек неизмеримо более умный и обладающий неподражаемым чувством юмора, смотрела на людей и на мир гораздо шире и снисходительнее.

У меня есть основание полагать, что эту точку зрения разделял покойный Иосиф Бродский. Соломон Волков приводит такие его слова: «Анна Андреевна пила совершенно замечательно... Я помню зиму, которую я провел в Комарове. Каждый вечер она отряжала то ли меня, то ли кого-нибудь еще за бутылкой водки. Конечно, были в ее окружении люди, которые этого не переносили. Например, Лидия Корнеевна Чуковская. При первых признаках ее появления водка пряталась и на лицах воцарялось партикулярное выражение. Вечер продолжался чрезвычайно приличным и интеллигентным образом».

Анна Андреевна и Лидия Корнеевна неодинаково относились не только к Тургеневу, Герцену, Чехову и к алкоголю. Совсем по-разному они смотрели и на личность Корнея Ивановича Чуковского. В то время как дочь испытывала к нему неподдельную любовь и восхищение, Ахматова

оценивала его вполне объективно. Она, безусловно, ценила его ум, выдающиеся литературные способности, но ставила ему в вину когда-то опубликованную статью «Две России». (Идея там такая: поэзия Маяковского олицетворяет обновленную страну, а стихи Ахматовой — старую.)

До революции Чуковский был весьма преуспевающим журналистом и литературным критиком. Жил он на Карельском перешейке, в местечке под названием Териоки. По этой причине кто-то из писателей придумал ему довольно остроумное прозвище — Иуда из Териок (Иуда Искариот — так звали того, кто предал Христа).

Язвительность и даже ехидство были неотъемлемой чертой Чуковского. И если Anne Андреевне передавали какое-нибудь его злое *bon mot*, она с особенной интонацией произносила:

— Добрый, добрый Корней Иванович...

Когда он устроил на своей даче библиотеку для местных детей, Ахматова отозвалась об этом так:

— Просто Корней знает, что богатые люди должны помогать бедным. А остальные в Переделкине даже этого не знают.

И еще я запомнил, как она говорила:

— Корней не был в Третьяковке сорок лет. Он посмотрел современный отдел, пришел домой и сказал: «Почему я не ослеп раньше?»

Как известно, Чуковский — это псевдоним, на самом деле его звали Николай Васильевич Корнейчуков. От Ахматовой я слышал о том, как псевдоним появился: в пылу полемики кто-то употребил словосочетание «корнейчуковский подход» или что-то в этом роде... Так родилось на свет столь знаменитое литературное имя.

В советское время не менее известен был писатель по фамилии Корнейчук. Это был украинский драматург, обласканный властями и даже занимавший высокие должности. И я помню, как Л. К. Чуковская рассказывала:

— Корней Иванович мне сказал: «Я буду являться тебе ночью в виде домашнего привидения и говорить: “Лида, я открою тебе страшную семейную тайну: наша фамилия — Корнейчук”».

Отношения Ахматовой и Лидии Корнеевны в свое время были омрачены ссорой, они не общались в течение десяти лет, со времени войны и вплоть до 1952 года. Уже на моей памяти, в конце пятидесятых, их дружба подверглась еще одному испытанию, и причиной тому стал наш с братом Борисом близкий приятель, родной племянник Чуковской Женя.

Увы, с Лидией Корнеевной случилось то, что, как известно, произошло со всеми москвичами, — ее «испортил квартирный вопрос». Она со своей дочкой Люшей жила на улице Горького в квартире, которая принадлежала Корнею Ивановичу. А на даче в Переделкине рос и воспитывался сын убитого на войне ее брата Бориса.

В пятидесятых годах Женя Чуковский окончил школу и поступил в Институт кинематографии. И поскольку ездить всякий день из Переделкина к месту учебы было затруднительно, Корней Иванович выделил внуку комнатку в квартире на улице Горького.

У Лидии Корнеевны были к племяннику претензии вполне коммунального свойства: Женя не вымыл за собою ванну... он разбросал на кухне свою одежду... он вышел из комнаты в одних трусах... и т. д. и т. п.

Надо сказать, Ахматова в этом конфликте решительно взяла сторону Жени. Она, например, говорила:

— Неужели я бы стала считать, сколько раз при мне мальчики Ардовы выходили в трусах?..

Кроме Анны Андреевны в этот конфликт были вовлечены и некоторые другие дамы — тогдашние приятельницы Чуковской. Я помню, как у нас на Ордынке Маргарита Алигер громко осуждала Женю за его «проступки». Это говорилось моему младшему брату, который ни слова не

проронил в ответ. А когда Алигер окончила свой монолог и удалилась, Боря мрачно поглядел ей вслед и сказал:

— Подумаешь, Марина Цветаева..

Каковая реплика привела Ахматову в совершенный восторг.

И еще подобное воспоминание. Наталия Ильина, в свою очередь, произносила гневную речь в защиту «обижаемой» Лидии Корнеевны. Между прочим, она говорила:

— Женя со своим отвратительным лицом..

Ахматова жестом прервала ее и гневно сказала:

— Я слышать не могу, когда кого-нибудь ругают за некрасивую внешность!

По счастью, конфликт Лидии Корнеевны с племянником продолжался недолго. В 1958 году Женя познакомилась с дочерью Шостаковича Галей. Они полюбили друг друга, вскоре поженились, и Дмитрий Дмитриевич предоставил им жилье.

Честное слово, я бы не стал вспоминать эту неприглядную историю, кабы она не аукнулась совсем недавно и самым постыдным образом. 7 декабря 1997 года мой приятель Евгений Борисович Чуковский скончался, и его решили похоронить на Переделкинском кладбище, рядом с дедом и бабкой. Но этому категорически воспротивилась дочь Лидии Корнеевны — Люша (Елена Цезаревна Вольпе), а именно она является душеприказчицей Корнея Ивановича. Бедный Женя — при жизни его выживали из квартиры любимого деда, а после смерти не дали лечь рядом с ним..

Но вернусь к Лидии Корнеевне. После смерти Ахматовой я виделся с нею раза два или три. Более всего запомнилось мне, как я побывал у нее в гостях осенью 1971 года. Я пришел показать ей только что написанные свои рассказы, которые для печати не предназначались. Чуковская приняла меня очень тепло. Незадолго до этого она вышла из больницы и говорила мне:

— Врачи подозревали, что у меня рак легкого. Но потом выяснилось, что это — туберкулез. И тогда все стали меня поздравлять, как будто я родила тройню...

Рассказы мне пришлось читать вслух, зрение у Лидии Корнеевны было неважное... Прочитанное она похвалила, сделала несколько незначительных замечаний и торжественно, как бы принимая меня в русскую литературу, произнесла:

— Ну вот теперь я буду знать, что есть такой писатель — Миша Ардов.

Чего греха таить, в те минуты я отнесся к этому вполне серьезно...

Потом мы с ней беседовали о политике, о литературе... Заговорили о Солженицыне... И тут Лидия Корнеевна сказала фразу, которую я запомнил на всю жизнь.

— Я поняла, что этим... — тут моя собеседница указала рукою на потолок (в те времена такой жест означал, что речь идет о самом высоком советском начальстве), — ...что этим даже деньги не нужны. Им нужен только срам.

VII

Я уже упоминал, что свою приятельницу Наталью Ильину Ахматова считала осведомительницей. Свое мнение Анна Андреевна объясняла весьма убедительно и просто:

— Все те люди, которые вместе с нею вернулись из Китая, отпавились или в тюрьму, или в ссылку. А она поступила в Литературный институт на Тверском бульваре...

Ум и интуиция редко подводили Анну Андреевну. Теперь, спустя полвека с той поры, как Ильина стала приходить на Ордынку, у меня появилось косвенное подтверждение ахматовской правоты. Сорок с лишним лет назад, 12 октября 1957 года парижская газета «Русская мысль» напечатала «Открытое письмо Наталии Ильиной, автору ро-

мана “Возвращение”. Журнал “Знамя”, Москва». Начинается эта публикация так:

«Милая Наташа!

Могу Вас поздравить, Ваш роман «Возвращение» читается в Рио-де-Жанейро русскими, прибывшими с Дальнего Востока, нарасхват.

К сожалению, должна отметить, что читают его главным образом как документ из секретного отдела НКВД. Не там ли Вы и писали его, Наташа, и не был ли он Вашей платой за право проживания в Москве и прочие блага?»

Далее автор разбирает самый роман и рассказывает о людях, чьи биографии легли в основу этой вещи. А в конце открытого письма содержатся весьма любопытные сведения о жизни Ильиной:

«Вы работали спикером на японской радиостанции и прославляли подвиги тех самых японцев, которые жгли китайские деревни и гнали к нам беженцев.

Попутно с работой у японцев Вы завели дружбу в немецких кругах, которая оплачивалась уже совсем щедро. Вы даже завели себе автомобиль. Автомобиль вызвал подозрение у японцев. Вы были приглашены в отдельную комнату. Разговор был неприятен и длился дня три. Выцарапал Вас Ваш друг немец.

По выходе на свободу у Вас брызнули “слезы обиды”.

Тогда-то Вы и перешли в советский лагерь, где и стали делать карьеру. В течение пяти лет вы систематически снабжали советское консульство доносами на нас, работавших против японцев не из личных выгод.

Во время войны по Вашим доносам советское консульство конфисковало единственный независимый литературный журнал “Сегодня” и передало его темной компании, в которой Вы играли одну из первых скрипок.

Вы приложили руку и к разгрому поэтического кружка “Остров”, куда Вас не пускали. Это было уже после вой-

ны, когда Вы очень тесно приблизились к одному советскому “тузу”, уже закусил удила. Вашим оговорам, интригам, провокациям можно было бы посвятить немало страниц. Особенно рьяно Вы работали во время репатриации, и сколько душ на Вашей совести, известно только Вам и Вашему начальству.

Начав так блестяще, можно представить, что Вы делаете в Москве. Но — может быть, Вам уже нет выхода, может быть, петля, которую Вы так легко набрасывали на шею других, уже стягивается на Вашей собственной шее.

В таком случае следует Вас только пожалеть. И возможно даже простить. Одного только нельзя Вам простить, Наташа, — того, что Вы называете себя писательницей.

Ведь завет русского писателя издавна был:

...в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Вы же славите кандалы и глумитесь над теми, кто уже не может себя защитить.

И это Вы, сексотка, осмеливаетесь называть творчеством?

Ю. Крузенштерн-Петерс
Рио-де-Жанейро. Бразилия».

Возникает совершенно законный вопрос: если Ахматова догадывалась об этом, то по какой же причине она столько лет терпела Ильину в своем окружении?

Мне представляется, что причин тут несколько.

Самая первая и главная вот такая. В течение десятилетий Анна Андреевна постоянно чувствовала свою поднадзорность, ведь она недаром написала:

Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слезки своей.

Но самым близким людям Ахматова высказывала такое убеждение: в определенном смысле удобно и даже выгодно иметь возле себя толкового осведомителя, который в своих доносах хотя бы не перевернет твои подлинные слова и мнения.

Затем среди причин, определявших у Ахматовой снисходительное отношение к Ильиной, был веселый и легкий нрав Наташи Иосифовны. Она была остроумным и живым собеседником, любила застолье... Да и обладала несомненным литературным талантом, писала блистательные пародии, смешные фельетоны, а впоследствии — интересные мемуары...

И, наконец, еще одна причина, которая способствовала их близости. Опубликовав свой роман «Возвращение» (сначала в журнале, а потом и отдельной книгой), Ильина получила солидный гонорар, и это позволило ей купить автомобиль. Водить машину она умела еще с шанхайских времен и охотно возила Ахматову. А та любила прокатиться то в Коломенское, то просто на природу...

Некоторым своим знакомым Анна Андреевна давала домашние прозвища. Так, Л. К. Чуковская по причине вальяжности и некоторой монументальности называлась «Лидессой», а миниатюрная М. И. Алигер — «Алигерицей»... Однако же сами носительницы подобных наименований обыкновенно не догадывались о них.

Было прозвище и у Ильиной, только придумала его не сама Ахматова, а Е. И. Рогожина, жена Льва Никулина. Однажды в разговоре Екатерина Ивановна запомнила имя Наташи Иосифовны:

— Эта, ну как ее?.. Из Шанхая... Штабс-капитан Рыбников...

Мы все знали и любили одноименный рассказ, и реплика Рогожиной имела шумный успех. Ведь купринский герой был агентом, прибывшим с Дальнего Востока. С того самого дня слово «Штабс» стало тайным прозвищем Наташи Иосифовны.

И вот еще что мне хочется отметить. Ахматова частенько удивлялась тому, что Ильина не знает самых элементарных вещей. (Как видно, русская гимназия в Харбине была не из лучших учебных заведений, да и Литературный институт не много ей прибавил.) Анна Андреевна, например, обнаружила, что «Штабс» не имеет никакого понятия о гравюрах Альбрехта Дюрера и вообще называет его — «Д-У-рером». А еще я вспоминаю, как Ахматова говорила с усмешкой:

— «Штабс» стала мне жаловаться на неоправданную строгость профессоров в Литературном институте. Дескать, ей несправедливо поставили тройку по истории литературы и только за то, что она в своем ответе сделала незначительную ошибку: назвала «Пиковую даму» — одной из «Повестей Белкина»...

Бедная «Штабс»! Она даже и того не понимала, что Ахматова — великий знаток и иступленная поклонница Пушкина — самый неподходящий слушатель для подобной жалобы.

VIII

Маргариту Иосифовну Алигер я знал с раннего детства. В 1941 году среди прочих писательских семей, вместе с которыми мы ехали в эвакуацию, была и она с крошечной дочкой Таней. Мне помнится, какое-то время мы даже существовали вместе, в одной комнате — моя мать с нами тремя и М. И. со своим ребенком... Где это было — в Чистополе?.. В Берсуге?..

После войны мои родители дружили с Маргаритой Иосифовной. В это время у нее появилась и вторая девочка — Маша, она была дочерью Александра Фадеева. Рассказывали, что, узнав о появлении ее на свет, циничный Валентин Катаев будто бы сказал:

— Как же Сашка был пьян!

Надобно заметить, что у Маши было большое сходство с отцом, а потому некий писатель, менее ехидный, нежели Катаев, говорил:

— Когда я вижу этого ребенка, мне хочется говорить о социалистическом реализме.

В те времена Алигер со своими дочками жила в композиторском доме на Миусской площади. У них там был пудель, очень забавный щенок. Однажды маленькая Маша с ним играла, она тянула куклу в свою сторону, а песик в свою... Пудель явно одолевал девочку, и тут она обратила внимание на то, что держит игрушку рукой, а щенок — пастью...

— Ах, ты зубами?! — вскричала Маша и со своей стороны взяла игрушку в рот.

В сороковых годах Маргарита Алигер прославилась тем, что написала поэму о Зое Космодемьянской, которая в те времена стала культовой фигурой. На московских прилавках появились даже шоколадные портреты с ее портретом. И вот тогда Алигер вступилась за честь своей героини и добилась того, что конфеты с изображением злощастной партизанки из продажи исчезли.

В архиве моего отца существует небольшая тетрадка, в которой он фиксировал свои разговоры с Ахматовой. Там есть такая запись, относящаяся к 1948 году:

«А способность у нее проникать в глубь литературных произведений такова:

Маргарита Алигер пришла к нам и прочитала Анне Андреевне новую поэму о любви к покойному мужу (композитор Константин Макаров, убит на войне). Читка шла с глазу на глаз.

Анна Андреевна сказала так: в этой поэме тот недостаток, что посвящена она и толкуете вы об убитом муже, а думаете о другом человеке и любите сейчас этого другого.

Алигер была поражена и признала, что это — правда».

В конце сороковых и в начале пятидесятых годов Маргарита Иосифовна редко появлялась у нас на Ордынке, а вот во времена хрущевской «оттепели» она стала приходить к Ахматовой гораздо чаще. Алигер вместе с Э. Казакевичем редактировала альманах «Литературная Москва», и она пыталась опубликовать там стихи Анны Андреевны. Но мне помнится, что из этой затеи ничего не вышло.

А еще я вспоминаю, как М. И. приходила на Ордынку, чтобы привлечь Ахматову к сотрудничеству с Европейским сообществом писателей, во главе которого стоял Джанкарло Вигарелли. В тот раз она довольно долго пробыла наедине с Анной Андреевной, а потом удалилась. После ее ухода Ахматова со смехом объявила:

— «Алигерица» мне сказала: «Мы боремся с Ватиканом...»

Это всех нас позабавило, а Ардов не поленился и нарисовал для юмористического семейного альбома карикатуру, изображающую борьбу Алигер с Ватиканом. У меня до сих пор хранится этот рисунок — величественный Папа в тиаре и со шпагой в руке, а против него выступает тщедушная фигурка «Алигерицы»...

После того как эта карикатура появилась, на Ордынку зашла младшая дочка Маргариты Иосифовны, и мы ей это изображение показали. Маша взглянула и произнесла:

— Папа похож, а мама — нет.

Кстати сказать, сама Маргарита Алигер обладала изрядным чувством юмора, и ее остроты иногда цитировались на Ордынке. В шестидесятых годах, когда дочери повзрослели, М. И. говорила:

— Ну вот — кончились ангины, начались аборты.

Откровенно говоря, Маргарита Иосифовна терпеть не могла меня и всю нашу с братом Борисом компанию. Я полагаю, она не могла не чувствовать, сколь иронично и даже пренебрежительно относились мы к официальной

советской литературе, к которой она принадлежала с младых ногтей.

Теперь я несколько сожалею, что по причине нашей с Алигер взаимной антипатии я был довольно далек от их семьи. Ведь биография Маргариты Иосифовны могла бы стать материалом для повествования вполне серьезного и даже трагического. Сказать, что жизнь она прожила трудную, — ничего не сказать.

Еще до войны в годовалом возрасте умер ее старший ребенок — мальчик.

В первые дни войны погиб ее муж — композитор Константин Макаров...

В 1956 году застрелился отец ее младшей дочери — А. А. Фадеев.

В 1974 году от рака крови скончалась ее старшая дочь Татьяна.

Младшая дочь Маша вышла замуж за иностранца, уехала в Германию, а потом поселилась в Лондоне. В октябре 1991 года она покончила с собою, и ее тело привезли в Россию.

Маргарита Иосифовна пережила своих детей и в августе 1992-го погибла в результате нелепейшего несчастного случая — свалилась в глубокую канаву неподалеку от своей дачи. И теперь они все трое — мать и обе дочки — лежат на одном кладбище, в Переделкине.

Честно говоря, мне бы не хотелось завершать свой рассказ на подобной ноте, а потому я решаюсь присовокупить еще одну историю. Довольно скоро после смерти Ахматовой «Алигерица» опубликовала свои воспоминания о ней. Там повествуется и о том общеизвестном факте, что Владимир Георгиевич Гаршин, за которого Анна Андреевна собиралась выйти замуж, обошелся с нею непорядочно и жестоко.

Так вот Алигер сообщала читателям, будто из Ленинграда в Москву пришла по сему случаю такая телеграмма:

«Одна. Несчастлива. Ахматова».

Телеграмма действительно была послана на имя моей матери, но текст был совсем иной:

«Гаршин тяжело болен психически расстался со мной сообщаю это только вам Анна».

Году эдак в 1979 у меня был разговор с редакторшей из Гослитиздата, которая в то время готовила к печати новую книгу Алигер. Я сообщил этой даме о том, что М. И. неверно цитирует ахматовскую телеграмму. Буквально на следующий день «Алигерица» мне позвонила.

— Миша, — сказала она, — что это за история с телеграммой?

Я объяснил ей в чем дело.

— Но я же хорошо помню, — говорила мне Алигер, — у меня эта телеграмма перед глазами...

— Эта телеграмма, — отвечал я, — лежит у меня в той папке, где находятся письма Ахматовой. Ее текст именно такой, как я вам говорю.

— Ну, может быть, была еще другая телеграмма, — с надеждой сказала Алигер.

На это я ответил так:

— Маргарита Иосифовна, мы оба с вами знали Ахматову. Она не имела обыкновения давать несколько телеграмм по одному и тому же поводу.

В те дни я пересказал этот разговор в большой компании, где была и Наталья Горбаневская. Выслушав это, она сказала:

— Как видно, у Алигер всю жизнь была мечта — дать кому-нибудь такую телеграмму: «Одна. Несчастлива». И подписаться: «Ахматова».

IX

В моей книге «Легендарная Ордынка» есть целая глава, которую я посвятил Александру Георгиевичу Гарбичевскому — одному из самых значительных людей, каких мне

довелось узнать в моей жизни. А о личности не менее замечательной — о его жене Н. А. Северцовой — там есть лишь несколько строк, которые уместно здесь привести:

«Наталя Алексеевна была совершенно необыкновенным человеком. Самым существенным ее качеством был талант. Талант во всем, что бы она ни делала — писала ли картинки, составляла ли композиции из корней, стряпала ли, накрывала ли на стол, обставляла ли комнаты или устраивала театрализованные игры. Она, ее необычайная одаренность — вот что было душою дома, который привлекал столь многих и не был похож ни на один другой дом в мире...»

Северцовы — старинная дворянская фамилия, имение их было в Воронежской губернии. Наталя Алексеевна иногда рассказывала о своем деде — Николае Алексеевиче Северцове, он был известный зоолог и путешественник, исследователь Средней Азии. Там он попал в плен, и его держали несколько лет, как мне помнится, в Коканде. Более знаменитым был ее отец — биолог, академик Алексей Николаевич Северцов.

Я запомнил некоторые рассказы Натали Алексеевны о жизни в имении. Она довольно часто говорила о своей бабушке — вдове Н. А. Северцова. Хозяйство у них было образцовое, в частности весь скот был английской породы. И когда господам требовалось к столу мясо, то давали знать в деревню, оттуда привозили беспородного теленка, а взамен крестьянам давали породистого... Это длилось не один десяток лет, и в конце концов весь скот в округе стал образцовым...

За бабушкой Натали Алексеевны числится и подвиг в духе Рауля Валленберга — она спасла от погрома все еврейское население городка под названием Бобров. (В это вполне можно поверить, поскольку словарь Брокгауза сообщает, что в 1891 году там числилось 66 евреев.) Н. А. вспоминала, как всех их разместили в каком-то громадном амбаре,

кормили досыта, а когда опасность миновала, они вернулись в свой город.

Осенью семнадцатого года имение Северцовых разделило общую участь — его разграбили и спалили. Господа в это время отсутствовали — Алексей Николаевич был профессором Московского университета, и в сентябре их семья возвратилась на городскую квартиру. Тогда же, в октябре семнадцатого, возле самого их дома на Большой Никитской погиб от шальной пули любимый брат Натальи Алексеевны — Николай.

Еще раз побывать в имении ей пришлось в начале двадцатых годов, она поехала туда вместе с мужем. От барского дома остался только флигель, там они и поселились. Крестьяне отнеслись к ним очень хорошо, и кто-то сообщил Наталье Алексеевне, что до сих пор жив ее попугай, которого в семнадцатом году оставили в имении. Птицу через некоторое время доставили, но она оказалась в ужасающем состоянии — без глаза, да и без изрядной части оперения. К тому же попугай освоил нецензурную ругань. Он довольно долго прожил у какого-то сторожа, который каждый вечер пил самогон и ругался на чем свет стоит. В результате птица научилась произносить длиннейшие матерные монологи, которые всякий раз оканчивались такими словами:

— О-хо-хо-хо... Ну ни хера...

Близость нашей семьи с Гарбичевскими — коктебельского происхождения. Первым в их дом попал мой старший брат Алексей Баталов, а уже за ним — наша мать. А моя тесная дружба с Натальей Алексеевной и Александром Георгиевичем началась в августе 1962 года, когда мы с братом приехали в Крым.

Александр Георгиевич и Наталья Алексеевна впервые прибыли в Коктебель летом 1924 года, и с тех самых пор вся их жизнь была связана с этим местом. О Максе Волошине, его гостях и его доме написаны сотни страниц, и нет

нужды еще раз повествовать об этом. Но насколько я могу судить, Н. А. особенно пришлась там ко двору, ибо кроме всех прочих своих талантов она обладала и незаурядным актерским даром.

Один из близких ей людей — искусствовед Ростислав Борисович Климов написал об этом в своей статье «Живопись Наталии Северцовой» (сборник «Александр Георгиевич Гарбичевский», М., 1922):

«Персонаж, блестяще воспроизведенный в устном рассказе, допустим, неповоротливый коктебельский аптекарь, делающий пилюли, — вызывал гомерический хохот. Вызывал дважды — в процессе “слушания” и потом при вполне деловом посещении аптеки. Этих историй было множество, они возникали непреднамеренно, по любому поводу и были чудом мимического, актерского, литературного искусства (в том числе и искусства звукоподражания). И все они были частью и проявлением необычайно интенсивной внутренней жизни, отблесками, рожденными ею и озарявшими все вокруг».

Мне вспоминается номер, который можно было бы назвать «Кармен из Одессы»: Наталья Алексеевна с характерными интонациями и жестами распевала:

—Любов, как бабоцкэ пархатая,
Она пархает вкрут мэнэ...
· Меня нэ любишь, ну так что же?
Так полюблю так-таки я тэбэ!
Ха-ха!

И еще одна история, которую Наталья Алексеевна рассказывала и попутно изображала. В их московской квартире на Никитской был чинный ужин, принимали Ивана Владиславовича Жолтовского и его супругу Ольгу Федоровну. Эта дама попросила хозяина передать ей сардины. Александр Георгиевич взял со стола небольшую тарелку, на которой стояла консервная банка с рыбками, и протянул ее

гостье. Но движение это было слишком резким, а потому банка со всем содержимым соскользнула прямо в глубокий вырез на платье Ольги Федоровны... Далее следовала немая сцена.

Я сблизился с Гарбичевскими в сравнительно благополучные, самые последние годы их жизни. Но, увы, по большей части она прошла вовсе не безмятежно. И я имею в виду не только аресты и ссылки Александра Георгиевича, но и те времена, когда они с Натальей Алексеевной расходились, да и послевоенные годы, когда он сильно пил. Я вспоминаю, как мой брат Алексей говорил:

— С дядей Сашей иногда бывает трудно разговаривать. Если он пьяный, то начинает путать языки — говорит и по-французски, и по-итальянски...

Как известно, Александр Георгиевич Гарбичевский смолоду обучался живописи, и она стала его увлечением на долгие годы. Но в те времена, когда я подружился с их семейством, он уже не рисовал и не писал маслом. Но зато этим делом занялась Наталья Алексеевна. О ее живописи замечательно написал Р. Б. Климов, в той самой статье, которую я уже цитировал.

Насколько я могу судить, начинала Н. А. с чисто декоративных вещей, она расписывала столы, подносы и т. д., а в конце жизни перешла на портреты и жанровые сценки...

Работала Н. А. с увлечением и необычайным усердием. Надо сказать, Александр Георгиевич относился к ее творчеству с интересом и одобрением, но хвалил очень редко. Вот типичная сценка, относящаяся к шестидесятым годам.

Наталья Алексеевна пишет маслом очередную картину. Александр Георгиевич подходит, становится сзади нее и некоторое время молча наблюдает за работой. Потом он тростью указывает на какое-то место и произносит:

— Вот здесь криво...

Н. А. пытается исправить свой промах. А. Г. молча наблюдает за ней, а потом говорит:

— Все равно криво...

— Возьми кисть и сам поправь, — предлагает Н. А.

Он отрицательно качает головой и удаляется.

6 января далекого 1925 года Александр Георгиевич писал в Коктебель Волошиным:

«Дорогой Макс и Маруся!

Только что получили Ваше второе письмо и ужасно стыдно, что и на первое не успели ответить. Но мы действительно не успели, ибо в этом году нам выпала тяжелая обязанность устроить встречу Нового года у нас. Конечно, все хлопоты легли на Наташу, и она до сих пор чуть жива: превратилась в скелет, кашляет и никак не может выспаться. Мы, хозяева, от торжества получили весьма мало радости: Наташа всю ночь что-то подавала и ухаживала за пострадавшими, а я все время переживал какие-то ответственности и играл на рояле».

В течение всей жизни у Натальи Алексеевны были, так сказать, две ипостаси. С одной стороны — она дочь академика Н. А. Северцова и жена профессора А. Г. Гарбичевского, хозяйка гостеприимного дома... А с другой — горничная, которая в этом доме убирает, да и кухарка, которая готовит для бесчисленных гостей изысканные обеды и ужины.

Сама Н. А. прекрасно сознавала эту свою раздвоенность и часто говорила о наличии в себе двух существ — «барыни Натальи Алексеевны» и «прислуги Наташки». В самый последний год ее жизни, будучи прикованной к постели, она писала мне из Коктебеля в Москву:

«Ну что мне делать с Наталией Алексеевной? Ума не приложу. Наташке запретили ее обслуживать. Нат. Ал. уже просто придраться не к чему».

Именно в те дни она проявила еще один из своих бесчисленных талантов — стала писать воспоминания, работу

над которыми ей уже не суждено было завершить. Но там есть удивительно интересные и мастерски написанные страницы.

Надобно заметить, что и стихи она писала вполне профессионально. У меня хранится ее подарок — тоненькая книжечка, изданная в 1934 году, «Мой Коктебель» (свое авторство Н. А. скрыла под псевдонимом «Матти»). Сборник открывается таким четверостишием:

В те дни, когда свистит метель
И треплет крыш седую гриву,
Уйди мечтою в Коктебель
К прозрачно-синему заливу.

Ах, как она ненавидела темную и морозную московскую зиму! Как она ждала первых признаков весны, когда можно было готовиться к отъезду в Коктебель... Ведь там надо было быть уже в апреле, чтобы не пропустить цветение горлицев, а потом пионов, а вслед за ними и тюльпанов, и маков...

Весною 1966 года мы с ней приехали в Коктебель, я помогал ей подготовить дом к прибытию Александра Георгиевича. Там вдвоем мы встретили и День Светлого Христова Воскресения. В память этого события Н. А. подарила мне свою картину, на которой изображен пасхальный стол — кулич, крашеные яйца, зелень, окорок, бутылки и бутылки...

Только познакомившись с Натальей Алексеевной, я понял, что кулинария — истинное искусство. А она им владела в совершенстве. Летом 1968 года Н. А. призывала меня приехать в Коктебель, и в письме есть такие строки:

«Сегодня грушу особенно, что Тебя нет. В русскую печку полчаса назад втиснут окорочек молодой свинки. Я его солила два дня, потом он стекал на ветру, потом закутан в тесто. И вот мы волнуемся и ждем... А еще, чтобы не про-

падало место, молодой барашек, рис, абрикосы, яблоки, лук, чеснок, мята, петрушка, кинза, толченые шкурки апельсина — чуть-чуть. Помидоры и персики».

Помнится, она произносила такую фразу:

— Я ненавижу мужиков, которым все равно, что есть. Значит, им все равно, с какой бабой спать.

Х

В доме А. Г. Гарбичевского и Н. А. Северцовой мне довелось общаться с интереснейшими людьми. Среди них были личности и знаменитые, и вовсе неизвестные, но все они в той или иной мере принадлежали к вымиравшему в те времена племени подлинных русских интеллигентов.

Именно таким человеком была подруга Натальи Алексеевны — Валентина Абрамовна Иоффе, с которой у меня возникло не только близкое знакомство, но и дружба, продолжавшаяся до конца ее дней. Нашему с ней сближению способствовало то самое «вымирание», о котором я только что упомянул.

В конце шестидесятых годов я много времени проводил в небольшом сельце Акиншине, оно расположено между Владимиром и Нижним Новгородом. Летом 1973 года мы с женой пригласили туда Валентину Абрамовну, и она прожила у нас недели две. А в начале сентября мы получили от нее письмо, где, в частности, говорилось:

«Акиншино я вспоминаю с нежностью, мне было очень хорошо у Вас. Все было прекрасно: и лес, и грибы, и речка, а главное, вы оба, по-настоящему близкие люди, которых уже почти не осталось среди моих современников, не говоря уже о молодых».

Мать Валентины Абрамовны была дворянкою. Она вспоминала, как во времена ее детства к ним на петербургскую квартиру зимою прибывали подводы из имения бабушки и

дедушки, присылалось огромное количество битой птицы — индюшки, гуси, куры... И родители бывали в затруднении — как распорядиться этими изобильными дарами.

Отец В. А. — академик Абрам Федорович Иоффе, личность весьма и весьма известная. Он — основатель прославленного Ленинградского физико-технического института, глава целой школы ученых, в числе которых нобелевские лауреаты и «трижды героини социалистического труда»... Среди физиков он имел прозвище «папа Иоффе». Вот у этого самого «папы» в двадцатых годах росла весьма привлекательная дочка, и многие из его учеников были в нее влюблены. Валентина Абрамовна была умна, хороша собою и одарена весьма разносторонне.

Один мой приятель в свое время поведал мне такую историю. В середине шестидесятых годов он познакомился с дочерью Сталина — Светланой Иосифовной Аллилуевой, и между прочим она ему рассказала о том, как осенью отдыхала в Сочи:

— Был уже ноябрь, — говорила она, — пляж совершенно пустынный... Я шла по берегу и вдруг увидела фигуру мужчины, который с унылым видом сидел на влажном песке. Приблизившись, я его узнала, это был один из охранников моего отца. Он меня тоже узнал, вскочил на ноги... «Светлана Иосифовна, дорогая!.. Ну, как вы? Как живете?..» — «Ничего, — говорю, — Иван Петрович... Дети растут. А вы-то сами как поживаете?..» — Тут он помрачнел и сказал: «Ну что вы меня спрашиваете?.. Ведь я вашего отца охранял!.. А теперь вот какого-то жида охраняю...» — И он указал рукою в холодные волны, где плавал один из академиком-ядерщиков.

Я, помню, пересказал эту историю Валентине Абрамовне и добавил:

— Мой приятель называл фамилию этого академика, но я ее забыл.

Моя собеседница на секунду задумалась и произнесла:

— Скорее всего, это мог быть Харитон.

— Совершенно верно, — сказал я, — как же вы догадались?

Валентина Абрамовна улыбнулась:

— Ну, я мысленно представила себе тех, кто находятся под охраной...

Кстати сказать, «трижды герой» Юлий Борисович Харитон тоже был из учеников «папы Иоффе».

С другим учеником своего отца — многолетним президентом Академии наук Анатолием Петровичем Александровым — Валентина Абрамовна сохранила дружеские отношения до конца своих дней. Однажды она была у нас в гостях и попросила разрешения позвонить по телефону. Набравши нужный номер, В. А. заговорила в трубку:

— Анатолий Петрович? Добрый вечер. Это Валя Иоффе...

Повод этого звонка был такой: ей для научной работы требовалась какая-то сложная установка, которую можно было купить лишь за границей, за твердую валюту. Александров взялся ей помочь и просил доставить к нему в канцелярию бумагу с официальной просьбой об этом.

Но вот пикантная деталь: требуемая установка была приобретена лишь через год. Это объяснялось тем, что разговор Валентины Абрамовны с Александровым был незадолго до очередного собрания академии, и те чиновники, которые получили приказание выписать установку из-за рубежа, медлили. Они хотели убедиться в том, что Анатолий Петрович останется в должности президента...

И еще одна история, связанная с Анатолием Петровичем. На каком-то из съездов партии он, единственный из всех выступавших, не имел заготовленного текста, не читал по бумажке. Валентина Абрамовна рассказывала мне, что секретарь одного из райкомов партии выразил по этому поводу такое мнение:

— Александров проявил неуважение к съезду.

Вот такая у них была этика.

Но вернемся к биографии Валентины Абрамовны.

В тридцатых годах она вышла замуж за довольно известного в те времена оперного певца С. И. Мигая. И вот занятный поворот судьбы: поскольку она с ранней юности увлекалась верховой ездой, ей предложили выступить с конным номером в ленинградском цирке. И она согласилась. На афише она значилась под фамилией мужа — Валентина Мига́й.

Однажды отец решил посмотреть на ее выступление. Когда Абрам Федорович, вальяжный и нарядный, появился в цирке, к нему поспешил капельдинер и почтительно усадил на место. Получив чаевые, он доверительно произнес:

— У нас сегодня очень интересная программа. Дочка академика Иоффе выступает...

Валентина Абрамовна так рассказывала о жизни в предвоенном Ленинграде:

— Я прихожу с работы, а домашняя работница мне говорит: «Нашего соседа арестовали по подозрению, что он — поляк».

В самом начале войны распался ее брак с Мигаем, и он навсегда уехал в Москву. А Валентина Абрамовна всю блокаду провела в родном городе. Вместе с другими физиками — учениками своего отца она занималась проблемой защиты кораблей от магнитных мин. Я полагаю, именно тогда возникли ее дружеские отношения с А. П. Александровым, который руководил этой работой.

В шестидесятых годах, когда я познакомился с Валентиной Абрамовной, она заведовала лабораторией в одном из академических институтов, который располагается на Васильевском острове. Она довольно поздно — уже на моей памяти — защитила докторскую диссертацию, и с этим была связана любопытная история. В. А. рассказывала:

— На днях со мной вот что произошло. Утром, перед уходом на работу, я заглянула в почтовый ящик. Смотрю,

там лежит повестка — меня вызывают на Литейный, в Серый дом, к следователю КГБ Петрову. Села я пить кофий... Настроение паршивое. В этом доме навсегда исчезли почти все мои друзья... Идти не хочется, но ведь надо же узнать — в чем дело. И я решила зайти туда перед работой... Предъявила паспорт в бюро пропусков... Мне объяснили, куда идти... Захожу в комнату, там кружком стоят человек пять молодых и хорошо одетых мужчин. Когда я вошла, они все ржали, видно, кто-то анекдот рассказал. Я поздоровалась, говорю: «Мне нужен товарищ Петров». Они давай переглядываться: «Петров?.. Петров?.. А! Это к тебе!» — «Ага! — думаю, — значит, Петров — это псевдоним».

А дело оказалось пустяковое. Незадолго до этого Валентина Абрамовна отдавала в печать автореферат своей докторской диссертации. Работу выполнили частным образом в небольшой типографии. А в КГБ тогда боролись с самиздатом, и в тот момент объектом их внимания оказалась та самая типография.

Как и очень многие интеллигенты того поколения, Валентина Абрамовна относилась к советской власти с некоторым снисхождением. Унижительность и безобразие нашего существования она приписывала не только злобности и тупости большевиков, но считала чем-то присущим России во все времена. В уже цитированном мною письме от 31 августа 1973 года говорится:

«Стараюсь поменьше думать о печальных вещах, но не так это просто “читать газеты”. Боюсь, что не только на мой, но и на ваш век хватит. А м. б., оно так вообще и ничего другого не было, нет и не будет? Читаю Вяземского и вижу прямые аналогии. Если не читали, очень Вам советую».

Помнится, кто-то спросил Валентину Абрамовну, что ее больше всего поразило за границей. Она отвечала так:

— То, что в овощных лавках не пахнет гнилью.

А еще я вспоминаю такой рассказ. Ее сотрудники должны были проводить международную научную конферен-

цию, а иностранных гостей предстояло поместить в новую гостиницу под названием «Ленинград».

— И тут вдруг выяснилось, — говорила В. А., — что там в номерах тараканы ходят табунами. Тогда обратились к директору гостиницы, и он вызвал каких-то морителей... Те пустили специальный газ, но на тараканов это не произвело ни малейшего впечатления... Зато страшно всполошились и забегали французы, которые жили на том же этаже.

Валентина Абрамовна хорошо знала и горячо любила Петербург. Именно она показала мне ансамбль Смольного монастыря, одно из самых красивых мест во всем городе. У нас с нею даже возникла традиция: когда я приезжал, мы непременно отправлялись на прогулку в Смольный.

А еще В. А. очень любила музыку, у нее было великолепное собрание пластинок. И я знаю, например, что она не пропускала ни одного из тех концертов, что давал в Ленинграде Святослав Рихтер.

Ей очень нравилась поэзия Бродского, а в шестидесятых и семидесятых годах именно я доставлял ей его стихи. Это было вовсе нетрудно, ибо от дома, где жил автор, до ее квартиры на Кировной — рукой подать.

У Валентины Абрамовны было двойственное отношение к Ахматовой. Она прекрасно понимала, какой это великий поэт, но ей, блокаднице, не нравилось, что Анна Андреевна во время войны покинула свой город. И, разумеется, В. А. отдавала должное Ольге Берггольц, которая не разлучалась с Ленинградом.

О том, как она относилась к «ленинградской беде», может свидетельствовать такой эпизод. Среди тех, кто регулярно появлялся в коктебельском доме у Гарбичевских, был московский врач Николай Александрович Верховский. Этот человек постоянно был одержим какими-то псевдонаучными идеями и пытался их распространять. Однажды он начал излагать собственную теорию касательно войны с

немцами и блокады Ленинграда. Тут Валентина Абрамовна решительно его прервала:

— Про физику вы можете говорить все, что вам взбредет в голову. А вот трогать блокаду я вам запрещаю!

XI

В Коктебеле я познакомился и с близким другом Валентины Абрамовны — Степаном Борисовичем Враским. Он был не только интеллигентом, но и аристократом, их род известен с XV века. Помнится, я спросил Степана Борисовича, не состоит ли он в родстве с Борисом Алексеевичем Враским, который был «содержателем Гутенберговой типографии», где печатались книги Гоголя и «Современник» Пушкина. Ответ последовал такой:

— Это — мой прадед.

Дед его, также именовавшийся Степаном Борисовичем, был членом Сената. Их семья жила в Манежном переулке, неподалеку от Преображенского всей Гвардии собора. Я запомнил такой рассказ Враского. В 1918 году он и его дед заболели тифом и лежали в одной из комнат своей квартиры. Однажды ночью к ним явились чекисты с целью арестовать бывшего сенатора. Незваные гости вошли в комнату, и один из них громко спросил:

— Кто здесь Степан Борисович Враский?

— Я, — одновременно произнесли и дед, и внук, поднимаясь со своих постелей. Чекисты поглядели на измученных болезнью немощного старца и четырнадцатилетнего отрока и молча удалились.

Степан Борисович до конца своих дней так и жил в той самой квартире. Но при советской власти она превратилась в обыкновенную коммуналку — ему оставили лишь небольшую комнату. В шестидесятых годах я захаживал к нему в гости. Мы пили настоящую на коктебельской по-

лыни водку под незамысловатую холостяцкую закуску. Но хрустальный графин и рюмки, тарелки тонкого фарфора и серебряные вилки наглядно свидетельствовали о том, что их хозяин был когда-то причастен к совсем иной жизни.

Нет, Степан Борисович отнюдь не бедствовал, он был кандидатом наук и доцентом, преподавал физику в каком-то высшем учебном заведении. По тем временам это обеспечивало вполне благополучное существование. А комната его выглядела весьма своеобразно: она вся была занята книжными шкафами и полками, там едва помещался стол, три стула и какая-то кушетка...

Я говорил Степану Борисовичу:

— Я про вас вот что рассказываю. Дескать, у вас кроме книжных полок никакой мебели нет, и что на ночь вы снимаете книги с одной из них, там спите, а утром ставите книги на место...

Нашему с ним сближению весьма способствовало то обстоятельство, что С. Б. был ценителем юмора. Он заразительно и весело смеялся и очень хорошо умел подмечать смешное.

А еще он был астрономом-любителем. Он привез в Коктебель небольшой телескоп и в ясные августовские ночи устанавливал его во дворе дома, где снимал комнату. И тогда все желающие могли вместе с ним любоваться луною и звездами...

Телескоп этот был менисковым, то есть той самой системы, которая была предложена Д. Д. Максutowым. Степан Борисович объяснял нам суть его изобретения. Раньше в телескопах использовались параболические зеркала, изготавливать которые весьма дорого и сложно, а Максutow сумел применить сферические — гораздо более дешевые и простые. В Советском Союзе на это изобретение никто особенного внимания, как водится, не обратил. Но в Соединенных Штатах телескопы новой системы получили широкое распространение, среди тамошних астрономов-

любителей возникли «Махитов clubs». Это стало известно в нашей стране, и в конце концов изобретателю присудили Сталинскую премию.

Степан Борисович Враский так рассказывал об этом изобретении:

— В 1941 году Дмитрий Дмитриевич Максutow вместе с другими учеными был эвакуирован из Ленинграда. Поезд, на котором они ехали, прибыл на какую-то станцию, где их вагон отцепили, и он трое суток стоял в тупике. Первые сутки Максutow отсыпался, а на вторые, когда отдохнул, придумал свой телескоп... Вот что значит хоть на малое время оставить человека в покое.

XII

С Ростиславом Борисовичем Климовым я познакомился осенью 1962 года в Коктебеле. Среди множества людей, приходивших в те годы в дом Гарбичевских, он ничем не выделялся, но я обратил на него особенное внимание, когда узнал, что он женат на дочери обновленческого «митрополита» Александра Введенского. И я тут же придумал Климову прозвище — «зять Антихриста».

Его жена Мария (в обиходе Мура) была очень милым человеком. Климов когда-то рассказывал мне историю их брака. Они с Мурой учились вместе в университете, а когда поженились, самого «митрополита» уже не было в живых. Поселились молодые в отдельной комнатке добротного каменного дома в Сокольниках, который принадлежал покойному тестю. Тут же жила и последняя жена Введенского с двумя маленькими детьми. Поскольку дама она была вовсе не старая и весьма состоятельная, то у нее уже был некий «митрополичий местоблюститель» — саксофонист из ресторанного джаза Леня Мунихес. С работы он возвращался под самое утро и спал до-

вольно долго. Пробудившись, он, огромный, жирный, в одних трусах выходил на кухню с саксофоном и тут же извлекал из своего инструмента звуки, напоминавшие гомерический хохот. С этого в бывших «митрополичьих покоях» начинался всякий день.

Я не удержался и заметил Климову: насколько же разумнее иметь неженатый епископат, ибо в доме православного архиерея никакой Леня Мунихес на подобных ролях появиться не может.

В шестидесятых годах я каждую осень приезжал в Коктебель и всякий раз встречал там Ростислава Борисовича. Мы подружились, я обнаружил в нем ясный ум и редкостное чувство юмора. Весьма привлекательна присущая Климову преданность своему делу, он сам себя называет фанатиком искусствоведения.

Кстати сказать, перу Ростислава Борисовича принадлежит уже цитированная мною превосходнейшая статья «Живопись Наталии Северцовой». Климов пишет:

«В работах, где она лихо стилизует собственное жизненное, живопись фатально не удается — она сухая, элементарная. Настоящая живопись начинается, когда она выходит за пределы ею же установленных сюжетных схем, когда она о них забывает. Вот здесь начинаются чудеса. Причем о спонтанности говорить не приходится: живописное решение осуществляется с трудом, о котором зритель даже не догадывается. В таких работах — а это лучшие ее работы — кажется, что в процессе творчества она робеет, не знает, что делать дальше, топчется на месте и ждет озарения. И оно приходит, потом уходит, потом возвращается снова — и так постепенно, как бы вслушиваясь в свой талант, она создает то, что поначалу только мерещилось, раздражало».

И еще:

«...обычно она работала очень серьезно, работа ее захватывала, и она не жалела сил на переделки, раздражалась,

когда ее отрывали (поэтому лучшие ее работы выполнены осенью, когда исчезали гости)».

Гости исчезали, но не все. В частности, почти всегда присутствовал сам Климов. И я хорошо помню, как деликатно он высказывал Наталье Алексеевне свои впечатления о ее вещах. Тут — упаси Бог! — не было ни советов, ни рекомендаций, а только благожелательное внимание и поощрение к дальнейшей работе. И это чаще всего выражалось в коротких репликах и даже в междометиях.

Мне в особенности запомнилась осень 1967 года. Большевики пышно праздновали пятидесятилетие захвата власти и стремились вовлечь в свои абсурдные торжества как можно больше жителей покорной им страны. А в пустынном ноябрьском Коктебеле было совсем тихо, там даже лозунгов и плакатов не прибавилось...

В тот день Ростислав Борисович остановился в так называемом пансионате, где ему предоставили хороший номер с видом на море и Карадаг. В самый день «великого юбилея», 7 ноября он пришел в дом Гарбичевских и рассказал:

— Меня разбудили в семь часов утра. Какой-то дурак явился в наш коридор и заорал через мегафон: «Дорогие товарищи! Поздравляю вас с пятидесятилетием Великой Октябрьской социалистической революции!» Часа через два я спустился на улицу и увидел, что все наши постояльцы вышли из своих номеров и пребывают в некотором томлении. Вроде бы такой великий праздник, а их забыли... Никто ими не занимается, никто ни к чему их не призывает, никто ничего от них не требует... И тут на моих глазах произошло нечто поразительное. Эти люди без всякого призыва, произвольно, сами по себе построились в колонну и стали маршировать, распевая «Варяга»...

Как это ни удивительно, но именно тогда, в тот самый «юбилейный год», Ростислав Борисович получил от совете-

кой власти совершенно неожиданный подарок. Как я уже упоминал, он поселился в пансионате, но тут выяснилось, что просто так там жить нельзя. Обязательно надо было питаться в их столовой, где пища была, во-первых, очень дорогая, а во-вторых — дурного качества. Климова это не устраивало, и он решил покинуть пансионат.

В тот момент, когда он складывал свои вещи, к нему в комнату явилась уборщица, и он стал с нею прощаться.

— Как? — удивилась та. — Вы ведь только приехали...

— Да, — отвечал Климов. — Но тут у вас такой порядок: я обязан есть в вашей столовой, а я этого не желаю...

— Ну и не ходите в столовую, — сказала уборщица, — и уезжать вам никуда не надо... Живите себе на здоровье, а я никому об этом говорить не стану.

И вот Ростислав Борисович стал существовать в пансионате нелегально. Это нас очень веселило. Ну при какой еще власти, кроме советской, человек может жить на курорте в номере с видом на море и притом совершенно бесплатно?!

Климов был издательским работником, и от него я в свое время узнал поразительную историю. Это случилось в тридцатых годах, накануне Всемирной выставки в Париже. Как-то раз в известную московскую типографию на Пятницкой улице явился старый наборщик. Он уже был на пенсии и зашел к своим приятелям просто повидаться и поболтать. Между прочим, он высказал такую мысль:

— В любой книге при желании можно обнаружить опечатку. Пусть самая незначительная, но она всегда найдется.

— Хорошо, — сказали ему приятели, — а сколько времени тебе на это потребуется?

— Я полагаю, самое большее — час.

— Давай поспорим на литр водки. Мы тебе сейчас дадим книгу. Если ты в течение часа найдешь в ней опечатку,

то мы тебе ставим литр. Если не найдешь, ты намставишь. Идет?

— Идет, — сказал старый наборщик.

Тогда его молодые коллеги, посмеиваясь, открыли сейф и вытащили оттуда сверток. В нем была уникальная книга — напечатанная едва ли не в единственном экземпляре золотой краской на лучшей бумаге недавно принятая «сталинская конституция». А предназначался этот уникальный экземпляр для витрины в советском павильоне на Всемирной выставке. Разумеется, там было выверено все — до последней запятой.

Старый наборщик тщательно вымыл руки, уселся за стол и развернул пергаментную бумагу...

— Ну, привет, — сказали ему приятели, — через час купишь нам водку...

Но они не успели дойти до двери, как услышали голос старика:

— Пойдите, пойдите...

И он указал им на титульный лист. Там в слове «Госполитиздат» вместо первой буквы «Т» была напечатана буква «П»...

Легко вообразить, что бы произошло, коли «сталинская конституция» с подобной опечаткой попала бы на витрину в парижском павильоне. Кто-нибудь из эмигрантских журналистов это бы заметил и предал гласности. После чего все люди, так или иначе причастные к выпуску книги, были бы объявлены «вредителями» и отправлены в ГУЛАГ... А может быть, и прямо на тот свет. Так что старику надлежало бы купить не литр водки, а целую цистерну.

Ростислав Борисович Климов — один из самых занятных собеседников, каких я знаю. Он не просто умен и остер, в некоторых случаях он прибегает к особенному приему, который сам называет — «трогать за вымя». Что это означает, легче всего показать на примере.

Как-то в кокетбельский дом Гарбичевских была приглашена супруга знаменитого балетмейстера Игоря Моисе-

ева — Тамара. В те годы она была хозяйкой самой большой тамошней дачи, одевалась с вызывающей роскошью и соответствующим образом себя вела. За столом она сейчас же объявила присутствующим, что только что вернулась из Испании.

— Простите, — обратился к ней Климов, — а в каком качестве вы там были?

— Я была в Испании с нашим ансамблем, — отвечала важная гостья.

— Простите, — опять заговорил он, — с каким это «вашим ансамблем»?

— С государственным ансамблем Игоря Моисеева.

— А! Это который — «Березка»?

— Да нет же! — с возмущением возразила дама.

— Понимаю, понимаю! — подхватил Климов. — Вы из ансамбля песни и пляски Советской армии...

— Ничего подобного!.. У нас свой ансамбль...

— Значит, есть целых три таких ансамбля: ваш, «Березка» и этот армейский?

— Ну конечно!

— Это очень интересно, — продолжал Климов. — Вы, пожалуйста, меня простите. Я в этом совсем не разбираюсь... Так, значит, это все разные ансамбли?..

— Да разумеется!

— Простите, а чем они все-таки отличаются друг от друга?

Ну, и так далее... Разговор еще некоторое время продолжался в том же русле, а затем Ростислав Борисович несколько переменял тактику. В течение второй половины вечера он то и дело просил у Тамары Моисеевой прощения: дескать, он вовсе не хотел ее обидеть, он просто очень далек от балетного мира и т. д. и т. п.

Вот что означает выражение Климова — «трогать за вымя».

У моего приятеля Олега Стукалова, мужа Ольги Северцовой, в шестидесятых годах был автомобиль — серая «Волга». Наличие этой машины предопределило появление в доме Гарбичевских весьма занятого человека — шофера по имени Тихон Иванович Касаткин.

Стукалов познакомился с ним в день приобретения своей «Волги»: тот стоял возле автомобильного магазина среди прочих водителей, предлагающих свои услуги покупателям. Тихон Иванович осмотрел машину, сел за руль и повез хозяина на дачу в Переделкино. Они с Олегом понравились друг другу, и Т. И. взялся постоянно следить за состоянием этого автомобиля.

Тихон Иванович был из тульских мужиков — высокого роста, щекастый и лысоватый. Голос у него был низкий с хрипотцой, говорил он напевно с весьма характерными интонациями, да к тому же то и дело прибегал к «ненормативной лексике».

Основным местом его работы было Авиационное министерство, Тихон Иванович возил какого-то тамошнего начальника, про которого, в частности, говорил:

— Такой, понимаешь, человек — заместитель министра.. И такое, понимаешь, у него горе — теща на ходу сытятся..

Тихон Иванович показывал нам фотографию, где они были сняты вдвоем. И если бы на этот снимок взглянул кто-нибудь совсем посторонний, то он бы затруднился определить, кто шофер, а кто — заместитель министра.

Почти все истории Т. И. были в той или иной мере драматичны. Он, например, говорил:

— У нас в министерстве кассир, понимаешь, семьдесят три года.. Овдовел, да и женился на сорокалетней, понимаешь, бабе... Мы ему говорим: «Петрович, как же ты справляешься?» А он нам отвечает: «Пусть струны порваны, аккорд, понимаешь, еще рыдает...»

Или такое:

— У меня в квартире сосед летчик, понимаешь, испытатель... тут приходит пьяный, на ногах не стоит... В комнату к себе зашел, так и повалился на застеленную кровать... И все отверстия у него открылись... Утром жена взяла покрывало, одеяло, подушку — все прямо на помойку... А потом и говорит ему: «Ты — подлец неисправимый...» И ушла. Так он теперь и живет один... «Ты, — говорит, — подлец неисправимый...»

Тихон Иванович был мужик неглупый и с хитрецей. Меня он называл Мишей, композитора Н. Н. Сидельникова — Колей, а Стукалова, как хозяина, непременно — Олег Николаевич.

Помню, подъехали мы на машине к сельскому магазину. Тихон Иванович за рулем, а в непосредственной близости от него какой-то местный парень усаживался на велосипед и в то же время засовывал в карман только что купленную бутылку водки. Т. И. повернулся к нему и своим хриплым голосом громко произнес:

— Опять пьянствуешь?!

Малый вздрогнул и чуть не выронил бутылку.

Как-то теплым ноябрьским днем мы гуляли по пустынному Коктебелю. Вышли на балюстраду у Дома писателей и увидели сидящую на скамейке пару. Это были старичок и старушка — седенькие и чистенькие, как белые мышки. Они любовались морским пейзажем и тихонько переговаривались. Увидев их, Тихон Иванович умилился и сказал:

— Вот дожили, понимаешь, до глубокой старости... А теперь сидят и трандят...

Весьма живую реакцию вызвала у него большая картина Н. А. Северцовой, где изображены сидящие за столом собутыльники. Впервые взглянув на нее, Т. И. не без зависти произнес:

— Хорошо сидят... Никто никому не грубит.

Это было сказано настолько точно, что за этой картиной так и закрепилось название — «Никто никому не грубит».

Гарбичевские Тихона Ивановича очень любили. А он в особенности уважал Александра Георгиевича, только не умел правильно произносить его фамилию, говорил «профессор Горбачевский». И была у Т. И. мечта — пригласить Наталью Алексеевну с мужем к себе в гости. В конце концов это осуществилось: Гарбичевские, Олег Стукалов, Ольга Северцова и автор этих строк побывали у него. Мы познакомились с его женой, дочкой, зятем, и нас там отменно угостили. Тихон Иванович радовался, как ребенок...

В начале 1968 года Александр Георгиевич заболел воспалением легких. Врачи были настроены мрачно: у больного была очень высокая температура, он то и дело впадал в забытие... И вот я помню, как-то днем в квартиру Гарбичевских нежданно-негаданно зашел Тихон Иванович. Он был несколько возбужден, судя по всему, распил с кем-то бутылочку. И, конечно же, он пожелал видеть «профессора Горбачевского». Его пытались остановить, но он решительно прошел в комнату, где лежал больной, и стал его подбадривать на свой манер — несколько раз повторил такую фразу:

— Александр Георгич, воздержись умирать!..

Это было и смешно, и невероятно трогательно. У меня и сейчас на глазах слезы, я так и слышу его хриловатый басок:

— Александр Георгич, воздержись умирать!..

XIV

Когда я опубликовал свою «Легендарную Ордынку», кое-кто упрекал меня: дескать, в рассказе о писателе Льве Никулине я ни словом не упомянул о том, что у этого челове-

ка была недобрая слава. Чтобы избежать подобных упреков на сей раз, я решаюсь начать эту часть моего повествования довольно ехидной эпиграммой, которую в свое время сочинил Эммануил Казакевич:

Никулин Лев, стукач-надомник,
Весною выпустил трехтомник.
Рекою мутной в три струи...
Его творения текли
И низвергались прямо в Лету,
И завонялась Лета к лету.

Но в этих строках есть некая несообразность. Стукач не может быть надомником, он должен покидать свое жилище, чтобы общаться с теми людьми, на которых пишет доносы. А Лев Никулин действительно был и слыл человеком нелюдимым.

Он родился в 1891 году. Отец его Вениамин Иванович — актер и весьма известный в тогдашней России театральный антрепренер — был евреем, но в свое время крестился. А история его «обращения» весьма любопытна, помнится, об этом писал в одной из своих книг знаменитый театральный критик А. Р. Кугель.

Впрочем, В. И. Никулин опубликовал и собственные мемуары, где также повествуется о том, как и по какой причине происходило его крещение. Этот эпизод представляется мне настолько интересным и — увы! — характерным, что я не могу отказать себе в удовольствии привести несколько отрывков из его книги «Записки театрального директора», которая вышла в Нью-Йорке в 1942 году. (После семнадцатого года Вениамин Иванович жил в эмиграции.)

В 1894 году труппе Никулина предстояли гастроли во Владикавказе. Все дела были улажены, уже арендован местный театр, и оставалась последняя формальность — представиться тамошнему начальству. Этот город являлся сто-

лицей Терского казачьего войска, и главной фигурой там был атаман — генерал С. В. Каханов.

«— Пожалуйста! Вас, господин антрепренер, просят господин полицмейстер, — сказал мне вестовой. Полицмейстером же тогда во Владикавказе был барон Унгерн-Штернберг, из военных.

Я вошел в кабинет. Барон-полицмейстер весьма любезно пригласил меня сесть у его письменного стола, предложил из золотого портсигара папиросу и сам, собственными руками, поднес мне зажженную им спичку для закуривания.

Потом начался у нас обычный милый разговор. Шеф полиции стал расспрашивать о труппе и полюбопытствовал в шутовском тоне, есть ли в труппе интересные актрисы и т. п. Говорил он далее, что Владикавказ город небольшой, но богатый, и здесь очень любят театр. Предсказывал блестящие сборы и вообще большой успех.

Тут настал момент для меня весьма тяжелый. Изобразив на своем лице самую милую улыбку и придав своему голосу невозможную сладость, я легко, без тревоги и нажима, сказал, что... — “знаете, г. барон, у меня в труппе из состава не менее как в 30 человек артистов имеется... всего только... три... еврея”.

— Ев-ре-и?... Аугешлосен! Ни в каком случае. Да мой генерал под страхом смертной казни сего не допустит! Замените их немедленно, — сурово промолвил начальник полиции.

Наступила пауза — тягостная, хотя и недолгая.

— Но я... я сам... еврей!

Воцарилась гробовая тишина. Затем со своего кресла поднялась грузная фигура полицмейстера, и он совсем другим голосом строго спросил меня, — остановился ли я в гостинице и дал ли я уже свой паспорт для прописки?... Я, конечно, уже не сидел больше, а стоял, и папироса давно потухла и выпала из моих рук. Я успокоил его,

что приехал лишь сегодня утром. Переоделся на вокзале и прямо поехал в городскую управу, в театр и к нему представиться.

— Ну так вот что: вечером, сегодня же есть поезд на Ростов, и вы уезжайте с ним безотлагательно! Чтобы начальник области, наш атаман даже не знал об этом казусе. Ух, ты Боже мой! Вот так штука.. И помните, вернуться сюда вы можете только христианином. Затем-с желаю всех благ и... с Богом!

Я склонил голову, как от тяжелого удара, и покинул кабинет полицмейстера, но уже без рукопожатий».

Вениамину Ивановичу было от чего прийти в отчаянье. Ситуация грозила ему полным разорением — он уже выдал актерам аванс и заплатил за аренду театрального здания. Далее Никулин описывает, как он вернулся к своей семье в Житомир и там обратился к некоему священнику Кудрявцеву, который на просьбу о крещении отвечал:

«— ...Так, так... Ну, что ж, хорошо, сын мой. Вот через несколько дней у нас предстоит праздник — Успения Пресвятыя Богородицы, приходите тогда в церковь мою. Мы вас будем оглашать. Потом еще раза два устроим такое же оглашение и, с Божией помощью, в ближайшее время и совершим над вами обряд Святого Крещения».

Вениамин Иванович на это не решился, к тому же его испугало загадочное для него слово «оглашение», а потому было решено обратиться к немецкому пастору. Тут выяснилось, что переход в лютеранство — дело канительное, и формальности, связанные с этим, занимают около четырех месяцев. Но при том «каждый пастор имеет право и даже обязан окрестить кого угодно в немецкую веру, если алчущий крещения опасно болен и находится при смерти».

Словом, Никулин притворился умирающим, к нему явились пастор и полицейский чиновник, и обряд был совершен. Через два дня «новопросвещенный лютеранин»

вновь отправился во Владикавказ, где все устроилось наилучшим образом:

«Теперь документы мои оказались в полном порядке. И барон-полицмейстер стал опять гостеприимно угощать меня папиросами из золотого портсигара, хлопая по плечу запанибрата».

Но вернемся к моему герою, сыну этого выкреста Льву Никулину. Насколько мне известно, он вместе с братьями и сестрами вырос в Одессе. Помнится, рассказывалась такая история: когда будущему писателю исполнилось пятнадцать, ему очень хотелось вместе со сверстниками вечерами прогуливаться по Дерибасовской улице. Взрослые, разумеется, возражали, и на этой почве возникали конфликты. В спор вступала восьмидесятилетняя бабушка, и она говорила внуку:

— Левочка, ну почему мне не хочется на Дерибасовскую?..

В 1911 году Л. В. Никулин стал студентом Московского коммерческого института, тогда-то и началась его литературная карьера. Он писал театральные рецензии, фельетоны, а также сценки для театра миниатюр «Летучая мышь». Он познакомился и подружился с Александром Вертинским и иногда писал для него тексты песен.

Именно в те времена Никулин сочинил четверостишие, которому была суждена весьма долгая жизнь — его помнят даже люди моего поколения:

У кошки четыре ноги,
Позади ее длинный хвост,
И тронуть ее не моги,
Несмотря на малый рост.

В официальной советской биографии Льва Вениаминовича говорится, что во время гражданской войны «он пишет политические сказки-агитки, героическую феерию “Все

к оружию”, памфлеты на гетмана Петлюру и “прочих до власти охочих...” Но при том Никулин был отнюдь не чужд и влияниям “Серебряного века”, а доказательством тому служит его книга, вышедшая в 1918 году в Москве (издательство «Зеленый остров»), — «История и стихи Анжелики Сафьяновой 1913—1918 с приложением ее родового древа и стихов, посвященных ей». Это — литературная мистификация, нечто вроде волошинской «Черубины де Габриака», и там есть вовсе недурные строки:

ДОЖДЬ

Ужасно грустно бродить по Фонтанке,
Думать о том, что любовь — химера,
Устало мечтать о вашей осанке
И о том, что у вас дурные манеры...

Ужасно грустно идти с толпой,
Не верить тому, что вы рассказали,
По мокрой панели скользить как слепой
И снова не встретить вас на вокзале...

Устали мечты и устали сердца,
И ваши слова пряны как Асти,
И белый бог в нише дворца
Тоже не хочет грезить о страсти...

В тяжелые барки сбегают рабы,
Как было в галерах старого флота.
И как не устали вставать на дыбы
На мосту лошади Клодта?

У меня есть все основания полагать, что Лев Никулин, как и весьма многие интеллигенты его поколения, в свое время вполне искренно принял революцию и стал преданно служить советской власти. В 1921 году в составе дипломатической миссии он уехал в Афганистан, где провел пол-

тора года. В дальнейшем его отправляли во Францию, в Испанию, в Турцию, где, надо полагать, он выполнял какие-то поручения «компетентных органов». И он до самых последних лет своей жизни был, что называется, «выездной», с 1956-го по 1966-й всякий год лечился на одном из французских курортов.

Насколько я могу судить, функции, которые доводилось выполнять Никулину, были сходны с теми, что поручались Илье Эренбургу. Но если последний пользовался расположением либеральной советской интеллигенции, то первый ею порицался...

Притом Лев Вениаминович, когда мог, старался делать добро. Так, в конце пятидесятых годов он познакомился и даже подружился с вдовою Ивана Бунина — Верой Николаевной. В те дни она бедствовала, и Никулин помог ей продать часть архива в Советский Союз, и он же доставлял в Париж причитающиеся ей деньги.

Я полагаю, что в тридцатых годах Лев Вениаминович окончательно прозрел, понял, что на самом деле представляет собою большевицкий режим. Ему, как умному человеку, стало ясно, что изобретенная Лениным и усовершенствованная Сталиным страшная машина может в любой момент убить или превратить в лагерную пыль каждого человека — и министра, и академика, и дворника... Здесь не могли помочь ни лояльность власти, ни искренняя ей преданность — спасал только случай, только везение...

Мой отец, который дружил со Львом Вениаминовичем в течение сорока с лишним лет, говорил о нем:

— Это — ужаснувшийся.

В те годы, когда я его знал, Никулин был домоседом и регулярно общался с ничтожно малым количеством людей. Если же он попадал в какую-нибудь компанию, то вовсе не участвовал в общих беседах. Его соседка и приятельница Лидия Русланова говорила:

— Пришел Никулин и намолчал полную комнату.

Впрочем, у нее-то он иногда разговаривал. Однажды, глядя на дорогие картины, ковры, антикварную мебель, Лев Вениаминович сказал хозяйке:

— Раздай все мне и иди в монастырь.

Пожалуй, лишь однажды я видел его совершенно раскованным и оживленным. Он несколько подвыпил и пустился в воспоминания о дореволюционном Петербурге. А поскольку никого из старых петербуржцев, кроме Ахматовой, за столом не было, Никулин адресовал свои речи именно ей. Он говорил:

— Ах, какие там были заведения! Например, на Гороховой у мадам Жерар... Всего пять рублей, а какие девочки! Анна Андреевна, вы помните?

— Лев Вениаминович, ну откуда я могу это помнить? — отвечала Ахматова, с трудом сдерживая смех.

Повторяю, я видел это только один раз. Он даже в семейном кругу был необычайно сдержан, но тут он не боялся выказывать свой ум и свойственное ему чувство юмора. На Ордынке вспоминали такую его шутку: когда Никулину в свое время сообщили о том, что его жена родила двойню, он произнес:

— Нищета стучится в ворота моего дома.

Он говорил:

— Я придумал тему для диссертации на соискание степени доктора филологических наук: «Адам Мицкевич и мадам Ицкевич».

Я помню, как Лев Вениаминович рассказывал о своей встрече с В. В. Шульгиным, который, как известно, был антисемитом (он тогда снимался на «Ленфильме» в картине «Дни»). Никулин говорил:

— Шульгин мне все время жаловался: «Этот автор сценария Владимиров... этот Владимиров...» — Я говорю: «Какой это Владимиров? Это что — Вайншток?» — Шульгин посмотрел на меня, сделал правой рукой брезгливый жест и говорит: «Наверно, Вайншток...»

В начале шестидесятых годов Никулин лежал в урологическом отделении одной из московских клиник. Выйдя оттуда, он привез домой весьма оригинальный подарок, который ему преподнесли соседи по больничной палате. Это была стеклянная «утка», а на ней была выгравирована надпись: «Ссы спокойно, дорогой товарищу».

Лев Вениаминович любил сочинять шуточные стихи и эпиграммы. Я до сих пор помню четыре строчки из его стихотворения, в котором перечислялись по именам все литературные дамы пятидесятых годов:

Вот Маргарита Алигер —
Милейшая из всех мегер,
Милее, чем мадам Адалис,
Как вы, конечно, догадались...

На развернувшуюся в «Литературной газете» дискуссию о «положительном герое» Никулин реагировал так:

Положительный герой
Иметь не должен геморрой —
Это нетипично,
Да и неприлично.

Человек чрезвычайно умный и язвительный, Лев Вениаминович прекрасно знал цену советской литературе и большинству своих «собратьев по перу». Он говорил:

— Наши дураки так пишут пьесы о Пушкине: няня Арина Родионовна говорит поэту: «Эх, Сашенька, дожить бы тебе до того времечка, когда Владимир Ильич будет громить народников!..»

XV

Если бы меня кто-нибудь спросил, знал ли я в течение моей жизни хоть одного настоящего русского писателя,

я бы наверняка назвал имя Павла Нилина. Он был отцом моего близкого друга Александра, и я более или менее регулярно общался с ним в течение многих лет.

Это началось в те самые годы, когда к Павлу Филипповичу пришла довольно громкая слава: во времена хрущевской «оттепели» он опубликовал две повести — «Жестокость» и «Испытательный срок». Вещи эти выгодно отличались от тогдашней литературы, о которой так выразительно написал Тимур Кибиров:

Летка-енка ты мой Евтушенко!
Лонжюмо ты мое, Лонжюмо!
Уберите же Ленина с денег
И слонят уберите с трюмо!

Повести Павла Нилина служили наглядным и убедительным доказательством того, что с момента возникновения советской власти честность, порядочность, верность долгу стали качествами весьма нежелательными, и любой человек, этими чертами наделенный, был обречен на конфликт с большевицким режимом.

Он почти никогда и ни с кем не говорил серьезно, в его словах постоянно звучала ирония — и не только по отношению к собеседнику, но и к себе самому. Кстати сказать, нечто подобное было свойственно Чуковскому, с которым Павел Филиппович был в приятельских отношениях — оба жили в Переделкине. Однажды они шли вдвоем вдоль лесной поляны и вдруг заметили пробежавшего хорька. Чуковский очень оживился и предложил:

— Давайте его ловить!

На это Нилин отвечал:

— Вам, Корней Иванович, уже восемьдесят лет, и вы вполне можете позволить себе ловить в лесу хорька. А я еще не достиг столь почтенного возраста и потому не могу принять в этом участия.

Бывало заходишь к ним домой, он появляется в дверях своего кабинета и объявляет:

— Я, как русский писатель, люблю отвлекаться от работы. Звонишь к ним, и он говорит по телефону:

— Вот сижу, пишу... Пытаюсь стать писателем...

Нилин был сценаристом фильма «Большая жизнь», который упоминался в печально известном постановлении ЦК партии, а режиссером этой ленты был Леонид Луков. В семидесятых, кажется, годах Павлу Филипповичу позвонил по телефону Алексей Каплер и сказал:

— На Новодевичьем кладбище установлен памятник Лукову, и мы будем его открывать. Вы с ним когда-то работали, и хотелось бы, чтобы вы пришли сказать несколько слов.

— Я не умею говорить то, что в таких случаях требуется, — отвечал ему Нилин.

— Ну и прекрасно, — продолжал настаивать Каплер, — очень хочется, чтобы прозвучало что-нибудь неординарное...

— Ну, я могу так сказать о Лукове: покойный любил только две вещи — жратву и начальство...

Словом, Павел Филиппович на открытие этого памятника не пошел.

Александр Нилин мне рассказывал:

— У нас дома раздастся телефонный звонок. Отец берет трубку. Звучит женский голос: «Здравствуйте, Павел Филиппович. С вами говорит завуч школы, в которой учится ваш сын Саша...» — «А-а! Здравствуйте, Берта Абрамовна!» — А ее зовут Ревекка Борисовна... Ну мог ли я после этого приносить из школы хорошие отметки?..

У Нилиных на переделкинской даче долгое время не было телефона, а потому звонить приходилось из Дома творчества писателей. Однажды, явившись туда с этой целью, Павел Филиппович застал в вестибюле Мариэтту Шагинян, которая никак не могла соединиться с нужным но-

мером. Нилин вызвался ей помочь, и ему это сразу же удалось. Окончив свой разговор, старая писательница с благодарностью на него взглянула и спросила:

— А как тебя зовут?

— Павел, — отвечал тот.

Тогда Мариэтта повернулась к сидящей при дверях вахтерше и произнесла:

— Способный у вас этот Павел.

Старушка приняла Нилина за одного из служащих в Доме творчества.

Павел Филиппович замечательно отзывался о газете «Литература и жизнь», в которой обыкновенно печатались советские авторы второго и третьего разряда. Он говорил:

— Мне очень трудно читать эту газету. Там пишут так: «А я учился поэтическому мастерству у Сидорова и буду учиться!» А кто такой Сидоров и кто это пишет — мне совершенно неизвестно...

Он так поучал своего сына:

— Ты уже должен сам зарабатывать. Тебе уже пора что-нибудь в дом принести и сказать отцу: «На, старик, поешь, покляуй, потрогай руками...»

Вспоминаются мне и отдельные нилинские реплики:

— Как говорил мой знакомый сибирский мужик: «Лучше чай без сахара, чем палкой по заднице».

Или:

— Сапоги блестят, как собачьи яйца на морозе...

Насколько я могу судить, совершенно серьезно Нилин относился только к русской литературе. И в этой связи я припоминаю один существенный наш с ним разговор, который состоялся в семидесятых годах. Я показал ему несколько написанных мною рассказов, и он кое-что похвалил. В частности, ему понравилось, как я передавал там живую речь. Он мне говорил:

— Написать, что у лошади вятской породы «какой бы ни был цвет, а по спине — темный ремешок», может толь-

ко человек, который очень внимательно слушает...

И еще один наш с ним разговор я хорошо запомнил.

— Значит, вы теперь православный? — спросил он.

Я это подтвердил.

— А как с напитками? Выпиваете?

— Бывает, что пью. Бывает — и не пью.

— Да, — сказал Нилин, — а вот как бы нашего Сашу тоже вовлечь в Православие...

— Павел Филиппович, — отвечал я, — если тут цель — покончить с выпивкой, то тогда его лучше вовлечь в Ислам. Это будет надежнее.

И тут он мне ничего не ответил, на этот раз я его, что называется, переюродствовал.

XVI

В конце октября 1941 года Анна Ахматова и Л. Чуковская с дочкой Люшей, племянником Женей и няней по имени Ида уезжали из Казани в Ташкент. В дневнике Лидии Корнеевны читаем:

«Посадка была трудная. Часа четыре мы сидели в полной тьме на платформе, на своих вещах, ожидая состава, который могли подать каждую минуту. Анна Андреевна все время молчала — тяжело молчала, как в тюремной очереди. Нас часто навещал Самуил Яковлевич. Видя нашу слабосильную команду, он предложил, что внесет в вагон Женю. Ида должна была нести вещи, а я — помочь Люшеньке и Анне Андреевне. Ожидая поезда, Самуил Яковлевич ходил с Женей на руках по платформе. Я спросила Женю:

— Ты знаешь, кто это? Это — Маршак... “Пожар”, “Почта”... Ведь ты помнишь эти книги?

— Что ты, Лида, с ума сошла? — ответил мне очень отчетливо Женя. И прокартавил: — МаГшак давно умеГ!»

Эта запись приводит меня в восторг. Выясняется, что мой старинный приятель Евгений Борисович Чуковский уже в трехлетнем возрасте проявлял характерный для него интерес и к самой литературе, и к ее истории, к тем личностям, которые книги создают.

Я уже не помню, кто именно привел на Ордынку Женю Чуковского. Скорее всего, это был Саша Нилин или Илюша Петров — его товарищи по Переделкину. Но он в нашей компании появился и пришелся ко двору.

Его отец погиб во время войны, и он вырос в доме деда Корнея Ивановича и бабки Марии Борисовны, которые жили в писательском поселке. В Переделкине о Жене ходили легенды. Лет с двенадцати он великолепно водил мотоцикл, а с четырнадцати — и автомобиль. (Корней Иванович разрешал внуку ездить на своей «Победе».)

Разумеется, водительских прав у Жени в те годы быть не могло, и езда происходила лишь по аллеям писательского городка. Но даже в те времена у него возникали конфликты с милицией, и весьма острые, поскольку поймать юного лихача было практически невозможно — он с детства знал все проулки и все лесные дороги...

Свои автомобильные приключения Женя облакал в форму занимательных историй. И, помнится, мой отец даже пародировал эти устные новеллы: кроме самого рассказчика там обязательно участвовали еще два персонажа — «Дед» и «милиционеГ» — и кто-то кому-то непременно ударял «по моГде»...

Существовала и другая пародия — на речь Корнея Ивановича. Тут с характерными интонациями Чуковского произносилось:

— Женя, весь грязный, на мотоциклете...

Вот, например, один из трюков, которыми он пугал переделкинских водителей. Вообразите себе: по дороге быстро движется автомобиль, а из левого переднего окна свисают голова и руки шофера — как видно, он потерял со-

знание (на самом деле машиной управляет другой человек).

Я до сих пор помню, как Женя цитировал нам замечательное место из тогдашнего пособия для автолюбителей:

«Дорожные происшествия делятся на две категории: аварии и катастрофы. Авария — это такое происшествие, после которого водитель остается жив, а во время катастрофы он погибает.

Если с вами случилось дорожное происшествие, прежде всего убедитесь — авария это или катастрофа».

У Жени было изумительное чувство языка, безусловно унаследованное от Корнея Ивановича. Я вспоминаю его юношеское рассуждение о многозначительности русского глагола «лупить»:

— Ведь можно сказать не только «мать лупит ребенка», но и «это ружье еще как лупит»... Или «машина лупит по шоссе»... Это — вроде английского глагола to get, который имеет уйму разных значений...

Корней Иванович внушил внуку любовь к поэзии Некрасова, и в этой связи мне вспоминается вот что. Как известно, электрички в Переделкино уходят с Киевского вокзала... И вот Женя заметил, что названия железнодорожных станций ритмически повторяют известное место из поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

У Некрасова:

Заплатово, Дырявино,
Разутово, Знобишино,
Горедово, Неелово,
Неурожайка тож.

А вот остановки по Киевской дороге:

Аэропорт, Апрелевка,
Алабино, Селятино,

Женю отличала и наследственная любовь к Чехову. Как известно, один из героев этого писателя — мальчик Ванька Жуков послал письмо своему деду, а адрес вывел такой:

«На деревню дедушке».

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».

В отроческом возрасте мой приятель Евгений Борисович подверг советское почтовое ведомство своеобразному испытанию: он опустил в ящик письмо с таким адресом:

«На деревню дедушке, Корнею Ивановичу».

А поскольку популярность Чуковского была весьма велика, конверт был доставлен адресату в «деревню» Переделкино.

Женя — мой ровесник, родился в 1937 году. И по этому поводу он в юности сочинил стихотворение, по форме это была «онегинская строфа». К сожалению, я запомнил лишь начало и самый конец:

Итак, родился наш Евгений, —
Увы! — в тот самый страшный год,
Когда из лучших побуждений
Пересажали весь народ.
.....
И много их ушло в то лето
На каторгу, на Колыму
И на Лубянку, и в тюрьму.

В те далекие времена за Женей никто из взрослых толком не следил, а потому выглядел он не лучшим образом. Грязные сатиновые штаны, нестираная ковбойка, обувь на босу ногу... Руки вечно в машинном масле, голова нечесана... Но ни он сам, ни мы, его товарищи, не придавали этому ровно никакого значения.

Однажды у Жени был примечательный разговор с Матильдой Иосифовной, матерью нашего товарища Саши Нилина. Она посетовала:

— Ну нельзя так ходить... Приведи себя в порядок!

На это он отвечал с характерным для его речи рокотанием:

— ХоГошо Гульке, у него любовница паГикмахеГша!

(«Гулькой» назывался его двоюродный брат, сын Николая Корнеевича Чуковского.)

— Женя! — сказала Сашина мама. — Тебе уже нужна любовница — банщица!

В те годы он производил впечатление недокормленного. При невысоком росте и худобе Женя обладал феноменальным аппетитом. А когда мы заходили в знаменитый ресторан «Арагви», он прежде всего заказывал свое любимое десертное блюдо:

— Одно глянсе сГау, дГугое потом!

Женя был очень одаренным человеком. С одной стороны, живой интерес к поэзии и литературе, а с другой — к мотоциклам, машинам, радиоприемникам, фотоаппаратам... Его умению обращаться с автомобилем мог позавидовать профессиональный механик. Но и на старуху бывает проруха, иначе никак не объяснишь драматическую историю, которая произошла с ним в середине пятидесятых годов.

В переделкинском доме Корнея Ивановича на веранде завелись осы. Они пугали, а то и жалили домочадцев и посетителей. И вот Женя решил ликвидировать осиное гнездо. Он поставил стул на стол, взобрался на высоту и взорвал какой-то заряд... Веранду заволокло дымом, а когда он рассеялся, все увидели, что осы летают, как ни в чем не бывало, а у Жени правая рука висит плетью...

Травма оказалась очень серьезной, и ему пришлось долгое время провести в Пироговской больнице. Но Женя там времени даром не терял, а обдумывал, каким еще способом можно уничтожить осиное гнездо на веранде.

И вот настал долгожданный день. Выписавшись из больницы, он прибыл в Переделкино, сейчас же схватил стремянку и пылесос, включил его, а шланг приложил к тому отверстию, откуда осы вылетали... И в течение получаса все насекомые были втянуты в резервуар для пыли. А вслед за ними туда же последовало содержимое пакетика с отравой...

Женя самым первым из нас вступил в брак. Он влюбился в сестру нашего приятеля Максима Шостаковича — Галю, и они поженились. Я вспоминаю, как, обустроивая «семейное гнездышко», он искал в московских магазинах «полутонкую Говать»...

В последующие годы я с ним общался нечасто. Юность миновала, каждый из нас обрел профессию, и у всех друзей жизнь пошла по-своему. Женя работал кинооператором на студии документальных фильмов, у них с Галей родилось двое сыновей... Жили они по большей части в Жуковке, на даче Д. Д. Шостаковича...

В первой половине шестидесятых годов, до своего бегства из страны, в том же поселке жила Светлана Аллилуева. Как-то при очередной встрече Женя рассказал мне о забавном происшествии. По одной из улиц в Жуковке бежала дворничиха и громко кричала:

— Сталиных обокрали!.. Сталиных обокрали!..

Полагаю, из всех соседей лишь Женя с его обостренным чувством языка понял всю несообразность этого крика. В нашей стране эта фамилия не могла, да и не может звучать во множественном числе: «товарищ Сталин» — один, единственный, неповторимый...

Шли годы, и вот в 1990-м мне стало известно, что брак моего приятеля и Гали Шостакович распался... Эта новость меня огорчила: я-то помнил их молодыми, влюбленными друг в дружку...

В 1991 году Женя перешел работать на телевидение, он стал оператором в популярной программе «Вести».

Наши с ним относительно регулярные встречи возобновились в 1994 году. Я тогда впервые побывал в Америке и там общался с Максимом Шостаковичем, который передал мне письмо, адресованное Жене. Когда я вернулся в Москву, он засмал ко мне, и я с радостью отметил, что мой старый приятель почти не переменился. Одет он был как всегда небрежно, на руках — следы машинного масла.. Только голова стала седая.

К этому времени у меня было несколько журнальных публикаций, а в 1995 году вышла первая книга. Женя все это прочел и сделал дельные замечания. В свою очередь, он мне показал несколько своих сочинений, которые мне понравились.

23 ноября 1997 года ему исполнилось шестьдесят. Это событие было отмечено в телекомпании, где он работал, — состоялся банкет, ему вручали подарки. Женю там очень ценили, ибо в обществе обыкновенных телевизионных дикарей его ум и образованность были совершенно уникальными.

Надобно заметить, что он не жаловался на свое здоровье, говорил:

— Вот я встаю утром, и у меня ничего не болит. В моем возрасте это подозрительно...

Но через две недели после того, как Женя отметил свое шестидесятилетие, поздним вечером у меня дома раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал голос плачущего Максима Шостаковича:

— Женька Чуковский умер...

Вот уж действительно как гром среди ясного неба.. Потом мне стали известны некоторые подробности. В тот день Женя был у себя на телевидении, провел, как положено, выпуск новостей. Окончив работу, он, по своему обыкновению, выпил водки и прилег отдохнуть на диван. И как мне говорил один из его сотрудников:

— Мы не обратили внимания, что храп перешел в хрип.. Его хотели похоронить рядом с могилами любимых им

деда Корнея Ивановича и бабки Марии Борисовны. Но, как я уже упоминал, это не получилось. И тогда старший Женин сын Андрей за высокую цену купил новое место на том же кладбище, и наш приятель упокоился в своем любимом Переделкине, где провел счастливейшие годы.

На похоронах его было множество народа, а на поминках не было конца рассказам о его удивительной доброте, об отзывчивости, об экстравагантности его поступков... В те дни я много думал о нем, о том, как он прожил свою нелегкую жизнь. Вечно от него кто-то отказывался, все время он становился кому-то не нужен. Сначала это была родная мать — она отдала Женю деду и бабке. Затем его соседством стала тяготиться тетка... В 1990 году от него избавилась Галя Шостакович... И только вторая жена Ирина по-настоящему полюбила и оценила его...

Я очень жалею, что из-за своей обычной житейской суеты мы с ним так мало общались. Но мне в особенности запомнился один вечер, который мы провели с ним вдвоем на кухне в моей квартире. Выпивали, болтали... Говорили о русской поэзии. Я поделился с ним своим давним замыслом — составить две антологии. Первая — «Певец во стане русской пьяни». А вторая такая: стихи Анны Буниной, Каролины Павловой, Анны Радловой, Вероники Тушновой и т. д. А название — «Бабья Лета».

К крайнему удивлению своему я выяснил, что он даже не слышал фамилию самого любимого мною современного поэта — Тимура Кибирова. Тогда я снял с полки томик стихов и прочел ему несколько мест из поэмы «Сквозь прощальные слезы»:

Вот гляди-ка ты — два капитана
За столом засиделись в ночи.
И один угрожает наганом,
А второй третьи сутки молчит.
Капитан, капитан, улыбнитесь!

Гражданин капитан! Пощади!
Распишитесь вот тут. Распишитесь!
Собирайся. Пощады не жди.

.....
Кто привык за победу бороться,
Мою пайку отнимет и жрет.
Доходяга, конечно, загнется,
Но и тот, кто покрепче, дойдет.

.....
Волга, Волга! За что меня взяли?
Ведь не волк я по крови своей!
На великом, на славном канале
Спой мне, ветер, про гордых людей!
Но все суше становится порох,
И никто никуда не уйдет.
И акын в прикаспийских просторах
О батыре Ежове поет.

Женя был буквально ошарашен. Он попросил у меня книгу Кибирова на несколько дней, чтобы сделать себе копию, и сказал:

— Через два дня я буду все это знать наизусть.

Он сохранил свою феноменальную память.

В тот вечер он много рассказывал о себе, о своих путешествиях. Мне запомнились две истории.

Женя вспоминал прогулку по Нью-Йорку в обществе своего старшего сына Андрея и племянника его первой жены Мити Шостаковича:

— Я им внушал: в современном Нью-Йорке нельзя говорить по-русски в расчете на то, что окружающие тебя не понимают. Здесь теперь очень много наших соотечественников... А мы в это время шли в гости к художнику Льву Збарскому. Нам было известно, что дом, в котором он живет, заселен главным образом выходцами из Латинской Америки. Мы вошли в просторный лифт, где кроме нас оказалось еще человек десять... В их числе две молодые латиноамериканки. И как только лифт тронулся, одна из

них сказала другой: «Надька, блядь, так ссать хочу, прямо умираю!..»

А еще Женя вспоминал свою поездку в Брайтон, где был в гостях у Татьяны Максимовны Литвиновой. Он передал мне ее рассказ:

— Мы с Корнеем Ивановичем делали совместную работу для Детгиза. Было это в те дни, когда Солженицына исключали из Союза писателей. Кабинет Корнея Ивановича находится на втором этаже, и оттуда прекрасно видны соседние дачи... А в это самое время несколько писателей ходили из дома в дом, чтобы собирать подписи на письме с осуждением Солженицына. Разумеется, я об этом не подозревала, а Корней Иванович все знал и между делом следил за передвижениями этой группы... Мы продолжали свои занятия, но в какой-то момент Чуковский мне сказал: «Таня, сейчас, что бы ни произошло, что бы вы ни услышали, несколько не удивляйтесь...» Буквально через три минуты внизу послышался звонок, и домашняя работница открыла дверь. В этот момент Чуковский выскочил на лестницу и страшным голосом завопил: «Какая сволочь меня разбудила?! Я не спал всю ночь! Я только что задремал!.. Гнать в шею! Гнать в шею!.. Всех гнать в шею!..» Было слышно, как хлопнула входная дверь, и незадачливые сборщики подписей в смущении удалились. А Корней Иванович преспокойно уселся в свое кресло за столом и сказал: «Итак, на чем мы остановились?»

XVII

Анатолий Генрихович Найман, пожалуй, единственный человек, к кому я в течение моей жизни дважды совершенно изменил свое отношение. По первости, когда он только появился на Ордынке в качестве гостя Ахматовой, мы отнеслись к нему насмешливо. Ему было свойственно высокомерие, рас-

четливостью, умение беречь свои деньги — т. е. такие качества, которые вызывали презрение у меня и у моих приятелей. К тому же он был, что называется, «дамский угодник».

Тогда же, в середине шестидесятых, я дал ему такую характеристику: «Толя — человек, которому свойственны решительно все достоинства, но и все пороки еврейского народа». Я и теперь не отрекаюсь от этого суждения, ибо с течением лет с ним происходили такие метаморфозы, которые приводили лишь к изменению соотношений все тех же положительных и отрицательных иудейских качеств.

В первые годы нашего знакомства я непрерывно подтрунивал над Найманом. Шутки мои зачастую были грубоватыми, а порой и жестокими... Помнится, он сидел в столовой на Ордынке и исправлял опечатки в машинописных экземплярах своей пьесы для театра. Настроение у него было превосходное, он что-то напевал себе под нос и норовил поскорее окончить правку — ему предстояло любовное свидание.

Я молча наблюдал за ним, а потом произнес:

— И жид торопится, и чувствовать спешит...

А жестокая шутка была такая. Толя на некоторое время уехал в Ленинград к своей жене, которая носила имя Эра. В эти самые дни одна из моих родственниц также отправлялась к «брегам Невы», и я отправил с нею посылку для Наймана. Это был изящный сверток, внутри которого содержалась пачка стирального порошка «Эра» и записка следующего содержания:

«Анатолию Генриховичу Найману —

от благодарных московских девиц и дам».

И притом он, бедняга, чтобы такое получить, проделал путь на другой конец города...

В шестидесятые годы Найман часто посещал ипподром, а также увлекся игрою в кости. Я говорил ему:

— Про вас надо писать работу с таким названием: «Азарт as art».

Но я помню и то, как он впервые поразил меня неординарностью своего суждения. На Ордынке появился самиздатовский экземпляр «Собачьего сердца». Мы его вырывали друг у друга, смеялись, непрерывно цитировали... Наконец булгаковская повесть попала в руки к Найману. Он тоже веселился, а потом вдруг совершенно серьезно сказал:

— А как же все-таки Преображенский и Борменталь решились убить этого человека?..

— Какого человека? — удивился я.

— Шарикова, — отвечал он.

И вдруг мне стало как-то стыдно — и не за этих литературных героев, а за Булгакова и за самого себя, поскольку мне не пришло в голову то, о чем сказал Найман.

Наше с ним сближение, за которым последовало двадцать с лишним лет довольно близкой дружбы, случилось летом 1964 года. Мы оба гостили у Ахматовой в Комарове. В ее «Будке» было очень тесно, но пустовал соседний домик, и нам разрешили в нем поселиться. Там даже мебели не было, и мы спали на полу.

Именно тогда, в Комарове, я вполне оценил Наймана как человека умного и наблюдательного, блистательного собеседника и изумительного рассказчика. Кроме того, я полюбил его тогдашние стихи, некоторые из них я и по сию пору помню.

Уже в девяностых годах я с удовольствием читал в журнале «Октябрь» куски из «Славного конца бесславных поколений», почти все мне было знакомо. И я попутно вспоминал, как мы с Найманом гуляли в комаровском лесу или ходили за водкой в пристанционный магазин.

В молодости он отличался красотой, на лице его отражались и ум, и живость. А голова у него была иссиня-черная, Ахматова однажды сказала ему:

— У мальчиков Ардовых еще волосы, а у вас — шерсть молодого здорового животного.

С его волосами была связана забавная новелла. Толя рассказывал, как в юности отобрал у своей мамы белый берет, выкрасил его в черный цвет и стал носить. Однажды он гулял с девушкой по улицам осеннего Ленинграда. Шел мелкий дождик.

— Какие у вас волосы красивые, — сказала его спутница.

— Я их крашу, — пошутил Найман.

Через некоторое время она посмотрела на его лицо и воскликнула:

— Ой, они линяют!

— Кто — они? — не понял Толя.

— Волосы...

И действительно, по его щеке текла черная струйка, но причиной тому был покрашенный мамин берет...

Я вспоминаю, как Толя вернулся из Норинского, отсылного Бродского. Он нам пел на мотив известного марша — из фильма «Мост через реку Квай» — строки, которые они вместе с Иосифом сочинили:

Сталин, вы наш отец родной!
Сталин, мы плачем всей страной!
Сталин — горюет Таллин,
Рыдает Рига и плачет Ханой!
Сталин — поникли усы,
Лесозащитной уж нет полосы...

И шутил Найман блистательно. Ахматова часто повторяла его острогу:

— Я не ревную — мне просто противно.

После смерти Анны Андреевны мы с ним еще более сблизились, этому способствовали два обстоятельства. Во-первых, он крестился, а во-вторых, мы оба подружился с многодетным семейством Станислава Красовицкого, который, кстати сказать, и стал крестным отцом Толи.

В 1969 году Найман женился на Гале Наринской и переехал в Москву. Сначала они поселились в маленькой комнате на Мясницкой вместе с Галиными матерью и маленькой дочкой Аней. С регистрацией их брака связана целая история. В те дни Толя жил в Малеевке, ему раздобыли путевку в писательский дом, и он там выполнял какую-то переводческую работу. В назначенный для посещения загса день он прибыл в Москву и застал Галю с температурой, у нее была очень сильная простуда. Но ради такого события она оделась потеплее, и они отправились... И тут выяснилось, что их брак зарегистрировать невозможно — Толя оставил свой паспорт в Малеевке, в кармане другого пиджака..

Я помню, как Найман повествовал об этом, а закончил он так:

— Вот еще почему нельзя иметь две одежды...

Как известно, Сергей Довлатов сравнил Наймана и его первую жену Эру с двумя собачками — тойтерьерами. Что же касается второго брака Толи, то они с Галей похожи на двух попугайчиков, которых называют «неразлучниками». Их всегдашнее единодушие и единомыслие, сплоченность их семьи были весьма привлекательными.

Мне частенько вспоминаются наши с Найманом бесконечные разговоры, его блистательные реплики, шутки... Помню, мы говорили о том, что во всех городах страны стали устраивать так называемый «вечный огонь»...

— Зато теперь разрешена проблема *regretium mobile*. Это — паровой котел на «вечном огне», — сказал Найман.

В ноябре восемьдесят второго года, в тот день, когда должны были объявить о смерти Леонида Брежнева, мы с ним были за городом, у Красовицкого. Уже вторые сутки по радио передавали лишь классическую музыку, и всем все было ясно, но официального сообщения нет и

нет. Небольшой компанией мы уселись за стол, кто-то сказал:

— Я сегодня пить не буду.

Найман говорит:

— Ну, ein Tropfen.

И ведь как в воду глядел — преемником Брежнева стал именно Андропов.

В те дни, когда разразился скандал, связанный с выходом в свет альманаха «Метрополь», у нас с Найманом был такой разговор. Я ему говорю:

— Им можно было бы предложить эпиграф из «Медного всадника»: «И всплыл Метрополь, как тритон».

— Нет, — отвечает Найман. — Поскольку слово «Петрополь» искажено, следует еще немного поуродовать строчку...

И в окончательном виде это звучало так:

«И всплыл Метрополь, как тритон».

Когда началась гласность, газета «Московский комсомолец» впервые напечатала статью о лесбиянках и их проблемах. Я рассказал об этой публикации Найману. Он меня выслушал и говорит:

— Хочется назвать эту газету «Московская комсомолка».

Охлаждение в наших с Найманом отношениях произошло по двум причинам. Первая из них — то обстоятельство, что я стал священником. Это ставило меня в некое привилегированное положение. Вторая причина нашего расхождения гораздо более существенна. Найман с самого начала стремился сочетать христианскую веру с беззаветной любовью к светскому искусству и изящной словесности. А кроме того, он хотел ощущать и даже культивировать свою этническую принадлежность к еврейству. В Православии подлинном, строгом, к каковому причисляли себя и я, и Красовицкий, все это — невозможно. И тогда Найман стал поглядывать в сторону либеральную, обратился к псевдоправославию, а там такие вещи не только вполне допустимы, но даже и в какой-то мере поощряются.

Что же касается литературы, то в этой области наши с Найманом отношения складывались своеобразно. Все, что писал Толя, я хвалил, а он мои опусы всегда критиковал... Помнится, дал он мне читать свои «Рассказы о Анне Ахматовой». Мне эта вещь понравилась, но я сделал несколько мелких, совершенно конкретных замечаний. Ну, например, о Лье Евгеньевиче Аренсе там написано:

«В свое время он был репрессирован и на слова следователя “Как же вы, просвещенный человек, и в Бога веруете?” — ответил: “Потому и просвещенный, что верую”».

Я Найману сказал:

— Этот разговор был не со следователем, а на заседании кафедры, где Лев Евгеньевич работал. И ответил он точнее: «Потому и верую, что просвещенный». Ведь в первоначальном смысле слова «просвещение» — синоним «крещения».

Толя на секунду задумался и произнес:

— Разговор со следователем — эффективнее...

Словом, он не принял ни одного из моих замечаний.

В 1990 году я закончил «Мелочи архи..., прото... и просто иерейской жизни» и тогда же показал рукопись Найману. И он опять разнес меня в пух и прах: дескать, это поношение Церкви, сплошной соблазн для верующих и т. д., и т. п. Но я был к этому готов и ответил ему:

— В вас говорит не что иное, как ханжество. Юмор всегда был свойственен здоровой церковной среде, его не чуждались даже величайшие подвижники — Антоний Великий и Серафим Саровский. И как священник, я рекомендую вам на ближайшей исповеди поговорить на эту тему с вашим духовником, поскольку ханжество — очень серьезный грех.

Разумеется, этот разговор теплоты в наших отношениях не прибавил.

Последняя наша с Найманом дружеская встреча состоялась весной 1994 года в Вашингтоне. Он преподавал в

Кеннановском институте и был прихожанином церкви Святого Иоанна Предтечи, в которой мне довелось послужить. Толя сам предложил мне прогулку по городу и показывал мне тамошние достопримечательности. Возле памятника Аврааму Линкольну есть доска, на которой выбиты слова из знаменитой его речи. Я, помнится, высказал пожелание, чтобы там выставили и 51-е правило VI Вселенского собора, запрещающее христианам посещать зрелища. Ведь если бы Линкольн не ходил в театр, быть может, умер бы своей смертью...

А еще я помню, как мы стояли у памятника Альберту Эйнштейну. Мне статуя не понравилась, в ней скульптор демонстрирует какую-то нарочитую небрежность. По сему поводу я вспомнил телефонный разговор Эйнштейна с Соломоном Михоэлсом, приехавшим в Америку. Было это в разгар войны, и в Штатах существовали какие-то ограничения на автомобильные поездки. И вот, приглашая собеседника к себе в Принстон, Эйнштейн говорит:

— Если спросят: вы едете по делу или ради удовольствия, скажите, что по делу. Ибо какое же это удовольствие — видеть старого еврея...

А самая последняя — мимолетная — встреча моя с Найманом была в редакции «Нового мира» летом 1997 года. При виде меня он смутился, я как бы застал его на месте преступления. В это время в журнале готовилась публикация его пасквиля «Б. Б. и др.», а там и я не обойден его мстительным вниманием.

Когда я думаю о Наймане, меня охватывают и грусть, и жалость. Ведь в свое время он совершенно искренне уверовал во Христа и устремился в Церковь, а в своем «Славном конце бесславных поколений» дошел до такого кредо:

«Верю, что зато со мной что-то случится хорошее и, наоборот, не случится плохого. И вообще что-то случится не случайное, а потому что я такой. Какой? Ну, другой, не

такой, и родители у меня другие, и рост, и сила, и мысли, и дальше будет все особенное, исключительно мое. Я так родился, так задуман, отдельно от всех и хоть немного, но ни на кого не похоже, и на этом основании верю, что так, сколько-то непохоже и отдельно, буду жить всю жизнь. Потому, стало быть, что обо мне есть пусть крохотный, но специальный замысел, план: чтобы я был именно я — я это верю».

Помните Евангелие?

«Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди...» (Лк, 18, 11.)

Ахматова как-то сказала об одном из подобных эгоцентриков:

— Рухнул в самого себя.

А еще я вспоминаю наш с нею давний разговор о Наймане, которого она так любила, Анна Андреевна произнесла:

— Трагическая вырабатывается фигурка.

(Она сказала именно «фигурка», что было особенно точно по отношению к сублильному в те годы Найману.)

И вот можно считать, эта фигурка окончательно «выработалась»... Да и трагедия налицо. Помогите ему, Господи, бедному...

XVIII

Из числа великого множества людей, которых мне довелось знать в течение моей довольно долгой жизни, мало кого я вспоминаю так часто, как столяра Семена Марковича. Когда я познакомился с ним, ему было уже за семьдесят, но он отличался отменным здоровьем и усердно работал — реставрировал старинную мебель. Сначала его пригласил к себе мой старший брат Алексей Баталов, а от него Семен Маркович перешел ко мне.

Родом наш столяр был с Украины, из местечка под названием, если не ошибаюсь, Шепетовка. Вырос он в многодетной еврейской семье. Его отец был чем-то вроде местного цадика, и фамилию этот человек носил соответствующую — Хусид. Кстати сказать, именно своему отцу Семен Маркович был обязан тем, что в нем начисто отсутствовала всякая религиозность. До смерти своей он не мог забыть жуткого происшествия, которое случилось в их семье. Отец стоял на молитве, а в это время совсем маленький ребенок опрокинул на себя ведро с кипящей водой. Можно себе представить, что тут началось в их нищенской хибарке — как закричала мать, как заголосили прочие дети... Но отец даже головы не повернул, он продолжал свою молитву... И Семен Маркович признавался мне, что с той самой поры обрел стойкое неприятие какой бы то ни было религии.

Впрочем, раз в год он посещал синагогу, чтобы получить там мацу. Но она была ему нужна исключительно для кулинарных целей. И что было особенно забавно, свою мацу старик получал вне очереди — он был участником войны, а такие люди в советское время пользовались известными привилегиями даже в синагоге.

Я хорошо помню, как познакомился с Семеном Марковичем. Это было в начале семидесятых годов. В те дни одна из комнат в квартире моего старшего брата была превращена в столярную мастерскую, и старик хозяйничал там со своими стамесками, рубанками, пахучим клеем... Как-то я зашел к брату, мы с ним обменивались новостями, шутили... Столяр смеялся вместе с нами, а потом мне сказал:

— Вчера я был в гостях у моего племянника. Он — такой же балагур, как вы... Только он — заика.

Семен Маркович был истинный мудрец, он знал о людях и о жизни решительно все. Наблюдения у него бывали замечательные, он говорил:

— Вот они выкинули лозунг — «Больше товаров народу!» — сразу же из магазинов все исчезло.

На эту же тему у него был такой рассказ:

— Я помню, у нас в Шепетовке был один «нэпманщик». И вот году в двадцать девятом он нам говорил: «Пока еще советская торговля не вполне развилась... Подождите еще немного времени, и в ихних магазинах каждый продавец будет обслуживать сто покупателей в минуту». Мы его спрашиваем: «Как же это может быть?» А он нам отвечает: «Очень просто. Продавец будет всем говорить: “Этого — нет!.. Этого — нет!.. Этого — нет!” И откуда он мог знать такое еще в тысяча девятьсот двадцать девятом году?»

И еще он говорил:

— У моего племянника есть сын Петькэ... Он уже вырос, уже большой... И вот он хочет воровать... Так мальчик хочет воровать, но он не может, не умеет...

Семен Маркович очень любил свою жену, прожил с ней более полувека. Но она заболела раком и вскоре умерла. Старик перенес этот удар, хотя очень грустил о своей верной подруге.

Несколько лет спустя он сам скончался от злокачественной опухоли. Смертельную болезнь свою он переносил с необыкновенным мужеством. Достаточно сказать, что не от него скрывали страшный диагноз, а он не сообщал об этом своим близким, дабы их не расстраивать...

Но вернемся к его вдовству. Через некоторое время после смерти жены он стал подумывать о новом браке. С этой целью его время от времени знакомили с немолодыми еврейскими женщинами. Однако же так и не нашлось ни одной, которая вполне подошла бы ему.

Как-то мы спросили его:

— Отчего вы хотите жениться именно на еврейке? Быть может, стоит поискать среди русских?

Но старик категорически отверг такой вариант:

— Нет, на русской никак нельзя жениться.

— Почему?

— Русская баба когда-нибудь обязательно напьется и будет плясать под фонарем.

Семен Маркович обожал своего взрослого сына. Тот был вполне благополучным инженером, жил с женою неподалеку от Москвы. Но вот сноху свою старик терпеть не мог, по-видимому, из чувства ревности. Сына он ласково называл «Мусенькэ», а ее презрительно — «Манькэ».

В самом начале нашего знакомства я осведомился у Семена Марковича, есть ли у него внуки.

— У Манькэ — дети? — переспросил он. — Какие дети? Какое рожать? Хорошо, что она еще срать умеет!

Он был столяром высокого класса, но при том ему было свойственно разумное, уважительное отношение к любому труду. Он говорил:

— Вы мне платите деньги, и я буду делать все, что вы мне скажете. Хотите — буду мыть пол, хотите — стирать белье...

Когда мы с женой получили новую квартиру, Семен Маркович помогал нам, так сказать, осваивать ее. Он ликвидировал недоделки, подгонял оконные рамы и т. д. Когда он взялся за входную дверь, обнаружилось, что шурупы, на которых держатся петли, не вкручены, а забиты, как гвозди.

— Да, — сказал Семен Маркович, — отвертки у них были плохие. Молотки у них были хорошие.

Я, бывало, говорил ему:

— Надо решить, какой высоты делать этот стеллаж...

Или:

— Надо подумать, как крепить полки в стенном шкафу...

И старик всякий раз отвечал:

— Нет, думать не будем. Работа покажет...

И вот с течением лет я все более и более ценю этот принцип. Я уже давно руководствуюсь им в своих делах,

даже в писательском ремесле. Если есть у тебя какой-то навык — «работа покажет», она все «показывает». Ведь «безбожник» Семен Маркович по-своему сформулировал тот самый принцип, которому научает нас Святое Евангелие (Мтф. 6, 34):

«ДОВАЕЕТ ДНЕВИ ЗЛОБА ЕГО».

Триптих

*Памяти незабвенного земляка моего,
замоскворецкого уроженца,
Ивана Сергеевича, господина Шмелева*

БАБА-СОЛОМА

Родилась я в девятьсот втором году, в первый день Пасхи, а на второй меня крестили. И была я третья у Тяти — Мария, Анна, потом я. А всего нас было не сосчитать. Галина, Андрей, Прасковья, Лидия... это все живые. И померло — Вася, Алеша, Иван, Христофор, Дуня, Евгения... Тятя у нас рос сиротой, но земли было много — двадцать пять десятин дарственной да шесть купленной. Работы было много. Всем хватало. Я девяти годов поехала уже боронить на молодой лошади и десяти годов пошла пасти. Некогда было прохлаждаться. От Тяти нашего ни разу матерного слова не слыхивала, все у нас было с молитвой — и косить, и молотить, хоть чего угодно — все с молитвой. Спать не ляжет без молитвы и нам не даст. На Крестопоклонной в среду пекут у нас кресты, крест один поставят на божницу, к иконам, и он уж первым стоит до Благовещения. А в Благовещение в каждый дом из церкви приносят благословенный хлеб, и хлебец этот тоже на божнице лежит. Придет время сеять, Тятя от креста отломит и от хлеба — растолчет да к семенам прибавит. Все с молитвой. Оттого и хлеб такой вкусный был... А теперь все с матюгами. И сеют,

и жнут, и мелют, и пекут — все с матом. Уж какой он тут будет... Тут и без болезни будет болезнь. Деревня наша Кожино, а приход — село Янгосарь, всего верста одна. Там и школа была при церкви, раньше все они у церковей были. Церковь у нас была — Никола, два священника да диакон. У нас без диакона службы не было, потому что приход очень большой. Настоятель нам родня был — я его только и помню митрофорного, не митрофорного не помню... Сто три года он прожил, а служил до ста годов. Шестьдесят с лишним лет прослужил на одном приходе. Бывало, старика хоронит и говорит над гробом: «Я тебя крестил, я тебя и погребаю...» А в церковь я стала ходить с семи лет. Как в школу пошла, так и в церковь пошла. А петь стала с десяти годов, учил нас диакон, отец Николай. Я ходила во втором классе, а уже часы читала, шестопсалмие читала. А псаломщик, пономарь у нас был старик Димитрий Васильевич... Совсем уж старый был. Бывало, читает «Господи помилуй», а у него все выходит — «помело стоит» да «помело стоит». А потом уж пономарь стал его внук. Мне почему-то ученье давалось, и Закон Божий мне давался... Первый раз я ходила в монастырь так, без обещания. Двенадцати годов. У нас многие ходили — пятьдесят верст. Монастырь Севастианов, преподобного Севастиана Пошехонского. Он еще Сохоть назывался, река там Сохоть. А мощи были под собором, под спудом. Собор большой был, каменный, как в Петербурге, с петербургского собора план был снят. Всего только двадцать годов в нем прослужили, в тридцатом году его ломали трактором. Думали, что кирпича в нем будет много, а ни один кирпичик-то в дело у них не стодился... Пошли мы в первый раз, человек десять нас было. А дорогой шла с нами одна эстонка и все меня ругала: «Пошто ты, девчонка, идешь?» А туда пришли, так она говорит: «Мы тебя к Мане не возьмем». А была у нас блаженная Манечка, юродивая. Ну, конечно, меня к ней взяли. Приходим к Манечке. Полная комната народу. Маня впереди

стоит. Лет ей сорок, косая, всю трясет ее. Она поглядела на нас, а я боюсь да и за народ прячусь. А она всех растолкала и прямо идет ко мне. И берет меня за руку и ведет вперед. «Ой какая хорошая девочка, — сажает меня да гладит. — Это наша монашенка. И даже наша регентша. Хорошо поет...» (А меня-то всю бьет со страху.) И подает она мне два такие пряничка — белые, а на них полоска красная. «На, ешь, ой они сладкие. А тебе они будут горькие. И никому их не кажи...» Она у нас вообще прозорливая была. Как кому уходить из монастыря... За неделю, за две начинает для своей куклы узелок собирать, котомку. Играет эдак. Это значит — кто-нибудь да уйдет из монастыря. А как кому умереть... Она тоже за неделю начинает куклу свою хоронить. Хоронит да и плачет, плачет... А мошкара у них там, как дождик мелкая, все в рот лезет. Говорить невозможно. Потом пошли мы в собор. Мне очень понравилось за службой, а на улицу выйду — опять не нравится, опять мошки в рот лезут, говорить нельзя... А я и не знала тогда, что у них за одежда. Мантии да рясофорные, а послушниц — камилавка да апостольник... Ладно-хорошо... Домой приходим. Тятя спрашивает меня: «Ну, как, Санюшка, там в монастыре?» (Это он ласкательно, а то назовет — «голован толстоголовый». Он меня любил.) Я говорю: «Ой, которые богатые — хвосты-то длинные, победней которые — покорооче, а уж совсем бедные, только вот тут у них...» А он и говорит: «Если ты пойдешь в монастырь, я тебе долгий хвост куплю». А я: «Пойди-ка сам, там и говорить-то нельзя, все мошкара, как дождик». Ладно-хорошо. Год прошел и второй — не ходила я. А на третьем году заболела у нас Мама, болела долго — восемнадцать недель в больнице лежала, потом дома. И обещанье дала. У нас обещанье дают, кто болеет, как выздоровеет — в монастырь идти. Ну, не вышло у нее обещанье, пришлось меня послать вместо себя. И пошла я молиться опять в монастырь, во второй раз. Во второй-то раз мне тут очень понрав-

вилось. Стала я говорить монашинам: «Я к вам хочу». Они меня отговаривают: «Очень трудно у нас». Мне уж четырнадцать лет было в то время. Я думаю: сами живут, а меня отговаривают, места им жалко. Пришла домой и стала потихоньку собираться. Лоскутное одеяло себе шила, да и проговорилась по секрету сестре Аннушке. А она-то и родителям сказала. А Тятя с Мамой не хотели. А потом Тятя наш заболел, вот тоже обещание дал в монастырь сходить, в Сохоть. Ладно-хорошо. Дожили до весны, а тут самые работы. А у нас все больше на Троицу ходят. И опять меня отправили. Пошли мы в пятницу. Думаю, надо корзину взять, платье положила, платок положила, надеваю жакет ватную, Галины, сестры, башмаки. Ну, вот и пошла. Прихожу в монастырь, приходим к Манечке. Манечка опять всех распихала, опять меня за руку тащит вперед и говорит: «Ты у матушки Августы живешь?» Я не знаю, что ей и говорить. «Я, — говорю, — нигде пока не живу, пришла помолиться». — «Матушка Августа тебя любит, она у нас строгая, а тебя любит». Пошли мы к письмоводительнице, к матушке Анатолии. «Так и так, — говорю, — я хочу остаться». Она говорит: «Погодите, пойдем к Манечке, пойдем к матушке Игуменье». Опять пришли к Манечке. Она и говорит: «Матушка Августа уж ей кровать поставила». (А матушка Августа еще и знать не знает.) Ну, пошли к матушке Игуменье. Матушка Игуменья сидит на крыльце. «Вот, матушка Игуменья, девочка пришла в монастырь, жить хочет остаться». А матушка Игуменья говорят: «Паспорт-то есть у нее? Да как родители?» Я говорю: «Я не сказала родителям». — «А Манечка как?» — «Манечка сказала, что ей кровать матушка Августа поставила». — «Ладно, пускай остается, уж как говорится...» А тут по воду идет мать Августа, у которой мне жить. Одно ведро деревянное, одно — железное. Игуменья кричит: «Мать Августа, пойдика сюда». Она подходит. «Вот девочку к тебе жить». — «Благословите, матушка Игуменья». Ну, вот я и пошла к ней. Мне тут

кровать принесли, конечное дело, матрасик, подушку, все дали. Вот и стала жить. А дома у Тяти аккурат весь хлеб в это время отобрали, все у нас увезли. А то бы они сразу за мной приехали, а тут Тятя поехал в Вятку за хлебом, тут было не до меня. Хлеб весь выгребли. Да, так и стала я жить в монастыре. Дожила до Иванова дня, всего четыре недели прожила. А у нас одевали послушниц только через три года — все в своем ходили. А мне сразу в церкви послушание дали — записывать да принимать помянники. И на Иванов день приехал к нам епископ Агафангел. Он привез мало обслуги, только протодиакона да еще кого-то. А тут много надо и посошницу. А у нас была одна девочка в рясе. А Владыка говорит: «Мне надо еще такую девочку одеть». Вот матушка Игуменья говорит: «У меня семь есть еще не одетых». — «Давайте их всех сюда, в церковь». Всех нас в церковь привели. «Поставьте, — говорит, — всех подряд, которая за которой приняты». Нас всех так и поставили. А я — последняя, меня только что приняли. Он вот всех нас обошел, всех благословил. Подошел ко мне, взял меня за руку и вывел. «Вот эту девочку мне оденьте». Вот меня и одели, к матушке Игуменье повели, туда одевать. А рясы такой не было маленькой на меня. У другой девочки взяли и одели меня в эту рясу. Благословили меня и повели. Матушка Игуменья говорит: «Не убейся, да и меня не убей». А я: «Ничего, — говорю, — пройду помаленьку». Они говорят: «Вот деревенская-то неопытность». Надо бы мне сказать: «Благословите, матушка Игуменья, помолитесь». А я вон чего сказала, чучело деревенское, — «пройду помаленьку»... И поставили меня на солее перед Царскими Вратами. Я с подсвечником, а та девочка — с посохом.. Отстояла я все это хорошо. После этого еще нас Владыка благословил и по голове погладил за это, что хорошо мы провели. Служил он еще и обедню. После обедни — пришли на обед. Трапезная у нас хорошая была, низ каменный, домовая церковь, а верх деревянный, там келии. И я там со своей

старицей жила. Отобедали, встали из-за стола, благодарственную молитву отпели и стали Владыке хором петь стишок. Матушка Игуменья составила стишок и на ноты положили:

Ликуй, пустынная обитель,
Радость Бог тебе явил —
Наш Владыка и Святитель
Тебя сегодня посетил.
Владыка, Ты в годину страха
Для всей мятущейся земли
Носись душой превыше праха
И ликом ангельским внемли.
С Крестом в руках, как светлый гений,
Любовью к ближнему согрет,
Ты в мир страстей и прегрешений
Христовой веры вносишь свет.
Прими же, Пастырь вдохновенный,
Простой наш искренний привет,
И стих простой, самосложенный
Пустынный хор Тебе поет.

А он стоит, и слезы у него так и капают... Ладно-хорошо... А на Воздвиженье приехали ко мне родные первый раз. Сестра да тетка. Привезли мне кое-что из одеянья да из обувки. Так и живу я у матушки Августы. Я у нее три года жила. Она меня любила. Если расстроится, не ругается — только скажет, бывало: «Ты, дорогая моя, ангел мой, как казанок, в самом деле». Лет ей было семьдесят с лишком. Она была у нас самая первоначальная монахиня, прямо в лес пришла. Первая Игуменья была Августина, по-мирскому Анна. Она была за священником замужем, полгода жила, он и умер. И был тогда старец Варнава, он ей благословил пешком сходить в Иерусалим, два года она ходила, потом опять к нему пришла. Он ее благословил: «Иди в это место и не оглядывайся». А тут всего-то была одна келейка да часовня... И пришло с нею шесть человек — матушка Авгу-

ста моя, шестнадцать лет, матушка Таисия, регент наш, — зиму и лето босиком ходила и в бане не бывала — так жила. И еще четверо. Стали к ним приходиться и другие сестры, стало двенадцать человек. Тут они домик выстроили, тесно в келье стало. Стали жить. И вот кто-то этот домик поджег. Среди ночи. Все у них сторело. И они снова стали строить. И умерла матушка Игуменья Августа ста трех годов. Монастырь уж большой стал — землю им барин Лытиков пожертвовал. Два священника у нас было да диакон. Потом уж один стал: иеромонах отец Антонин помер потом, один остался — отец Петр. Его потом выслали и там, в ссылке, заморозили на Межвежьей горе. Его и отца Димитрия Воскресенского. В прорубь их опускали. Опустят, поморозят — лед схватится на них, потом опять опускают... Это уже в тридцать седьмом году, в резолюцию, когда нас всех поголовно забирали. А лес вокруг был дремучий. До самого Архангельска полоса, и уже двенадцати верст ни в каком месте эта полоса не была. Медведей много было. Я, помню, коров пасла в скиту от Егория до Покрова. Коровы пройдут, телята сзади — а в середине-то медведи ходят. Сорок лет монастырь существовал, и ни одной не повалили они у нас. А как нас разогнали, да «скупскую» артель сделали, так начали валять коров — я те дам... Семнадцать штук повалили медведи. Два пастуха пошли, да и с ружьями. А у нас, мы пасли — только дудка... А сестры на меня поначалу роптали. Зачем меня, такую, только пришла из миру — а уж в рясу одели и на клирос хотят поставить? А там все на работу идут — поют, а я к ним и приставала. А у меня пение было не хуже ихнего, я уж ноты знала... «Вот, — говорят, — хотят на клирос поставить, а надо бы на скотном года три. Каждая живет на скотном. Пришла какая-то из миру, соплятая девка деревенская...» Которая чего скажет. Ведь им обидно. И я сознаю, что обидно. А работы у нас очень много было. Не было времени, чтобы не работать. Осенью да зимой — лес.

Один собор отопить в день — воз дров. Да три корпуса, их надо отопить. Да государству — лесозаготовка. Летом — сенокос, поля. Сено возить надо. Скотный двор — сорок дойных коров в монастыре, восемнадцать дойных в скиту. Каждый год гектар вырубим леса, выкорчует пенья, каждый год. Большое хозяйство. Десять лошадей езжалых да две обучать... А я на лошади наездник, не хуже цыгана буду. Я до чего любила лошадей. Был у меня жеребенок Соколик, вороной битюг. Он никому не дастся, только я да мать Клавдия — конюх. А так никому не дастся. Большой шаг у него был, широкий. А в хлев к нему никто, кроме меня и матушки Клавдии, зайти не мог. Я помню, уж и монастырь разогнали, я на приходе служила и шла к ним на всюнощную под Севастианов день. Там еще семнадцать старух жило, и в трапезной служба была. Отец Сергей, диакон наш, служил, его уж в священники посвятили. И вот иду, а эти артельные муку с мельницы везут. Я как увидела: «Соколик!» Он и остановился. Он стоит, и я стою... Они его и стронуть не могут. Ну, пошел кое-как. А потом мне сказали, что пристрелили его, не давался он им. Ох, я и редела... Нет, без дела мы в монастыре не сидели. Летом в воскресенье после обедни — в лес по ягоды. Я больше всех наберу, я сроду лесовая бабушка... По вечерам четки мы делали — матушка Игуменья, я, Вера, Ефросинья. Девять бусинок, десятая пронизка. У меня четки красные были, голубые, хорошие. А когда Владыка обряжал, дал шелковые, черные, большие, я тоже их берегла. И вот на Николу на зимнего меня на клирос поставили. А Тятя с Мамой потом ко мне в монастырь ездили. Не один раз ездили. А последний раз Тятя Постом приезжал. Он уже был «оверхушенный» — это значит, на раскулачивание его... И всю-то зиму он лес возил на своей лошади с заготовок. Всю зиму у них отработал. И привез мне такой вот лоскуток ситцу на платок да соли двадцать фунтов. «Вот, — говорит, — Санька, за всю зиму у них заработал и все тебе привез. Соли только ма-

ленько дома отсыпал. А это все тебе привез». А я дура была, на соль эту четки янтарные выменяла у матушки Анны Панкратьевой. Уж больно мне хотелось янтарные. У всех белые — а у меня янтарные... А Тятя говорит: «Ну, бери, Санька. Может, соли еще, даст Бог, достанем». Я год на клиросе простояла, уж через год стала трио петь. Голос у меня был ужасный — дискант. Бывало «разбойника» запою, так у меня лампадки и заговорят. А потом стали меня учить на регента. Сама матушка Игуменья Леонида, она с трех лет в монастыре, хороший регент была. Было ей лет под семьдесят. А сама все делала. Вот уж и дрова для своей кельи заготавливала. Ольховые... В соборе-то у нас осиновыми топили — в день воз дров для собора. А она ольховые любила. Пойдет сама в лес... Пила у нее маленькая с одной ручкой. Ножовка. Повалит деревья, испилит все и сложит — только вывози. Наготовит на свою келью в зиму десять возов. Как-то идет из лесу с пилою, а я ей навстречу. «Благословите, матушка... Поди, деревья три повалили?» Смеюсь. А она: «Что уж, как говорится... Я двацать три сваю!» Бывало, позовет меня к себе вечером. Сидим с ней. Поем. Она ой петь любила. А голос какой у нее был.. В монастыре она была с трех годов. Сирота она была, ее и отдали. Только уж конечно не в наш. В Покровский какой-то монастырь, уж не знаю, где он и был... Чаю она не пила, только кофий. Была у нее кружка фарфоровая, аккурат на три стакана. Выпьет ее, скажет: «Вот я кадушечку-то эту опорожнила, как говорится». Это у нее как пословица была — «как говорится». Она меня любила: «Шурка маленькая все сделает». Я в монастыре все «Шурка была маленькая». Мне не любо было, как меня Александрой Николаевной стали звать, я все думала, что я Шурка маленькая... Раз корчем мы пни да поем «Дубинушку», а матушка Игуменья мимо идет. Как услышала, кричит: «Шурка!» Я молчу, притаилась. Опять: «Шурка! Ах, ты скачок этакой! Вот погоди, в праздник на поклоны станешь»... У меня все сходи-

ло. Раз зимой ельник рубили, уж темно, а мы все работаем. Матушка Эсфирь — она тоже была трудолюбивая — все работает и работает. А уж темно. Я еще в лаптях была, валенки мне не привезли. А я как запою:

Погадели бы родные,
Чего Шурка делает:
В лапотищах по снежищу
С ельничием бегаёт!

А матушка Эсфирь: «Господи Иисусе! Пойдем все скорей домой. А то она у нас запляшет!» А тут у нас такое дело получилось. С Мать Иришей... У нее уж постриг был, она была рясофорная. И певчая превосходная, и иконописица. Она с трех лет в монастыре. Она не видывала, как пляшут, и как песни поют не слыживала. Было ей уж лет под пятьдесят. А вот тут какое с ней получилось дело. В аккурат на Мариино стояние... Поем канон. Слышим, кто-то во всю головушку орет на клиросе. Матушка Игуменья думали — Ксения. И взрозь орет. «Как говорится, Ксения, что ли?» — говорят Матушка. «Да нет, — говорим, — Ксения — вот она». — «Да кто же это?» Глядим, а это Мать Ириша — во всю головушку. Домой в келью пришла из церкви — все начала кидать. Деньги у нее тут какие-то были. Все выкинула: «Ничего мне не надо. Потому что я уж теперь не с вами. Я уж на небе». — «Да Мать Ириша...» — «Не Мать Ириша! Я — девица чистая, богоотроковица. Чего на земле делается?» — и смотрит так вниз. «Господи, Мать Ириша с ума сошла!» — «Я вам сказала, кто я!» Вот и началось. Все выкидала. «Ничего мне не надо!» И сила-то какая взялась — насилу шесть человек ее к кровати привязали... В окошко тут мы ей ставни вставили — лезет везде, совладать не можем. А сила-то, сила. Нас поставили, меня и мать Анну Власову к ней. За ней ухаживать. Она все меня: «Шуреночек, косареночек... дай мне попить водички с помойной ямы». — «Не дам, — говорю. — Вот скажи: Господи, благо-

слова. (А с нее пот-то, пот-то...) Да перекрестись. Вот бого-
явленская вода, напою сейчас». — «Нет, не скажу!» — «Не
скажешь, ну и сиди. Не дам воды». Уж она просит, просит.
До тех пор доведем: «Скажи: Господи, благослови, да пере-
крестись — сейчас попьешь». Как перекрестится, скажет
— вся ослабнет. Попьет святой водички... Тут я снимаю с
нее рубаху — хоть выжимай, вся мокрая. Надеваем на нее
чистую. Положим ее на кровать — она уж ничего не мож-
жет... Я побегу домой, печку истоплю, приберусь — ведь я
у старицы жила. Иду обратно. Как она меня в дверях схва-
тит! «Ах, Шуренок, косаренок!» Как схватила, так у меня
кофты как не бывало — разорвала всю. Как погляжу, крест
у них был большой медный, толстый — пополам перело-
мила — вот какая силища. Тут матушка Игуменья говорят:
«Надо у нее молебен отслужить. Спасителю». Спаситель-то
у нас образ чудотворный был. Отец Петр у нас служил
тогда. Я прихожу к ней, а она мне и говорит: «Ты знаешь?»
— «А чего?» — «Сегодня ко мне принесут чудовище. Два
эфиопа. (Это она про икону да про матушку Игуменью с
отцом Петром.) Куда же деваться Святому Духу?» — «Ка-
кой, — говорю, — у тебя Святой Дух?» — «Куда ему де-
ваться, пока они здесь?» Ладно-хорошо. Обедня отошла,
матушка Игуменья несут икону Спасителя, водосвятие при-
готовили. А Мать Ириша: «Ой! Чудовище-то тащат! И два
эфиопа идут». А она к постели привязана. Молебен отслу-
жили. Она лежала как мертвая, вся даже потемнела. Окро-
пили ее святой водой. Как они ушли, развязали ее, она
говорит: «Вот ведь Святой Дух на помойной яме стоял,
пока были здесь...» — «Вот, — говорю, — и святой твой
дух... Да и ты эдакая же...» Тут Мать Анна Каткова подо-
шла. «Уйди, — говорит, — окаянный, страшилище, из рабы
божией Ириши. Она ведь у нас какая хорошая была, а ты
ее, окаянный, испортил. Страшилище!» — «Я, — отвечает,
— не страшилище, я — хороший». — «А как тебя зовут?»
— «Лёлешенька». — «Почто ты пришел?» — «А она, —

говорит, — сама виновата. (А у них кошка была Кисарка.) Она, — говорит, — в полночь выпустила свою Кисарку и напилась из кринки воды. Вот я в нее и вошел». Ой, что она, бедная, делала! Ее уж и в прачечную запирали. Там пляшет во всю головушку и предлагает себя всем. Пляшет «советского», пляшет, потом станет, вниз поглядит: «Чего на земле делается?» И опять пляшет. И уж ничего мы не можем сделать. Пришлось ее отправлять в сумасшедший дом. А как везти? Ведь она не поедет. Никак ее не собрать. Пришли к ней: «Мать Ириша, собрание было». — «Какое?» — «Матушка Игуменья у нас уезжают». — «Уезжают? Вот и хорошо. Да кого поставят?» — «Да тебя выбрали». — «Меня? А все ли согласны?» — «Все, все согласны. Собирайся, поедем к епископу благословляться». Собрались. Это после Троицы. Пальто ватное, длинное. Подпоясалась ремнем. На голову большой платок теплый. Повезли на лошади эдакого чучела. Везем ее так. За каждым пастухом гоняется, каждому пастуху предлагается. Ловим ее, куда деваться? Трое нас с ней едет. А как в Рыбинск привезли, в Рыбинске-то еще хуже сделала. Солдаты навстречу идут. Она соскочила — не могли удержать. Так одного солдата под руку схватила. Он вырывается. «Чего же вы?» — говорит. А мы: «Да видишь, что сумасшедшая?» Сдали мы ее врачам, и отправили ее в Кострому. Тут уже мы не знаем, как было. Только уж нам скоро написали, что она там умерла. Она и году не прожила там, бедняга... Очень мне нравилась жизнь монастырская. Мне и работа нравилась, мне все нравилось, я никогда не каялась, что пошла в монастырь. Мне нравилось, что там никогда не ссорились: «Прости Христа ради». — «И меня прости». Вот и все. Делай наряженное (что велют) и ешь припасенное. А кормили как — щи, хоть портянки полощи. Чего там — капуста да картошка, да лук, да мучки ячневой прибавят, — а вкусно-то как! Потому что все с молитвой, все благословенное. Или хлеб... Бывало, богомольцы все просят: «Нам бы ма-

ленько хоть вашего хлеба, монастырского». А мы такой же печем, только с молитвой... В праздник щи получше варили, из белой капусты. Большие праздники — суп с грибами. Шутка ли — сто тридцать человек накормить. А закрывали наш монастырь самый последний. Был уже двадцать восьмой год. А мы все делали, что они нам приказывали. И все налоги им платили. Приказали нам свиней разводить, мы купили свиней. Хотя и не монастырское это дело... В двадцать седьмом году, аккуратно на Похвалу Богородице, приехала из Пешехонья одна, партийная, будто бы учительница — Апполиария, и стала она нас по очереди вызывать, молодых. Меня — в первую очередь. «Зачем ты сюда пришла?» — «Жить». — «А кто тебя послал?» — «Никто не послал». — «А кто позвал?» — «Никто не звал». — «Надо тебе замуж идти. Вот я замужем живу, у меня мальчишка растет. У меня в жизни есть интерес». — «Пожалуйста. У вас свой интерес, у нас свои интересы». — «Это неинтересно. Вам здесь не место». — «Почему же? Мы здесь живем, работаем...» — «От вас пользы нет. Какая от тебя польза? Ты живешь одна». — «Почему одна? Нас вон сколько здесь живет. Мы работаем, государству платим, что на нас накладывают». — «Хватит вам здесь. Ступай замуж». — «Это дело не ваше, идти ли мне замуж». — «Ты такая хорошая, такая бы мать была...» Наобещала мне она раев да садов, всю жизнь расписала. «Значит, не пойдешь из монастыря?» — «Не пойду. Буду тут до конца. Живи ты, как хочешь, а я — как изволю». После меня другую вызывают. «Ты чего скажешь?» — «Я — как она». Третья — тоже... Она говорит: «А что Игуменья у вас делает? Наверное, спит да лежит?» Тут все поднялись: «Нет, у нас Игуменья работает больше нашего! Такое хозяйство! Два раза в неделю в Пешехонье, двадцать пять верст. Она загнет подолы, босиком и покатит Игуменья». Так и уехала наша Апполиария. Больше она к нам не приезжала... Ладно-хорошо. Отслужили мы Пасху, а после Пасхи форму с нас сняли — велели

ходить как деревенским, в платках. Вот тут мы ревели. А летом приехали и собор наш запечатали... А мы, молодые, летом в скиту работали. И вот матушка Игуменья в скит идут, подзывают меня: «Шурка, беги в Сохоть. Попадутся они тебе навстречу — их обойди... Скажи матушке Феодотии, чтобы из собора в боковые двери антимины вынесли». Я и побежала. А они мне навстречу едут: «Куда?!» — «А там, — говорю, — лошадь молодая есть, нужна нам». Пропустили... Так через боковые двери всю святыню вынесли монахини. Стали служить в трапезной. Осенью приезжает Скуев. Приказывает: отделить нас от монахинь-старух, чтобы мы их не кормили: «Это, — говорит, — хлебоешь ваша». Мы говорим: «Мы не будем так жить». Скуев говорит: «Надо старые зубы выдергать да новые вставить». А я: «Знаем мы ваши зубы. Мы нажили, а вы прожить хотите». — «Это кто говорит?» — «Это я говорю». — «А ты кто такая?» — «А вот вы же видите, кто я такая». — «Давайте, подписывайтесь, кто в артель». И вот стали новые зубы вставлять. Приехал эстонец Вевер Сергей Августович, Петр Алексеевич Яя, Петр Петрович Петров (мы его прозвали «косоротый» или «три Петра в одном Петре»). Ну, уж работали они не по-нашему. А год сырой был, с сенокосом — беда. Дождь, глядим, собирается, надо сено убрать. А они сидят, обедают. Мы прибежали: «Скорей!» А Петров как старший отвечает: «Пока не отобедаем, не пойдем». А всего-то к ним в артель из наших человек двенадцать записалось, молодых. Скотницами они остались. Ну, которым некуда было идти. А у меня уж место было — за мной сразу приехали. Выгнали нас аккуратно на Покров: «В 24 часа освободить!» И дали нам по два пуда хлеба каждой — за лето... Приехали за мной из Грамотина, двенадцать верст от монастыря. Поехала я к ним псаломщиком. Служил там отец Димитрий, которого заморозили в резоляцию. Воскресенский. Отец его у нас в Сохоти был диаконом, они меня хорошо знали... Ну и народ, прихожане. Они наши соседи были — двенад-

цать верст, ближе к монастырю жилья никакого не было. Большое было село, приход большой — двадцать пять деревень... С отцом Димитрием мы хорошо служили. Спевочку в церкви сделаем. Я пригласила всех желающих, приходите петь... И служили мы с ним четыре года. А было это время, когда всех обирали. Вот приходят они сначала ко мне — обыск! А у меня была одна шуба, в которой я в лес ездила. Да два полотенца. Помню, как Мациор мою шубу тряс: «А где у тебя остальное?» — «Остальное, — говорю, — на себе». И спрашивает других монахинь (одна у нас была просворня, другая — сторож): «Где у нее именье?» А матушка Еликонида, она у нас в Грамотине просворы пекла, отвечает: «У нее одна рубашка на себе, другая в трубе». — «А где у нее хлеб?» А муки у меня в кадке с пуд всего. Так ничего и не взяли, ничего не нашли. А после меня пошли к батюшке, он в своем доме жил. И обрали его дочиста. В одном тонком подряснике оставили. И было у него такое маленькое Евангелие и Псалтирь. Он им и сказал: «Мне ничего больше не надо». А дом-то у него был двухэтажный. Они там наверху все золото ищут, а я потихоньку внизу из ларя ведрами муку таскаю. Шесть ведер муки унесла к себе. Дом у него отобрали и повели их с матушкой в другую деревню. Три семьи жить в один дом. А мальчишка был у них Генка, пять годов, — я его к себе жить взяла. Он все мне говорил: «Давай молиться: радуйся, Серафиме. И никого не вышлют — ни папу, ни тебя, ни маму...» Я к ним тогда каждый день ходила. Испеку хлеба — мука-то у меня — и принесу им. А потом уж они в сторожку жить перешли... Хороший был священник, шутить любил, но серьезный был. И матушка у него очень хорошая была. Мы с ней были, как сестры, все вместе. А по соседству в Яковце у нас матушка Таисия жила из нашего монастыря. Она у нас первоначальная была — сорок лет только в нашем монастыре прожила. Она очень хорошая регентша была и на фистармонии бесподобно играла. Толь-

ко уж она взяла подвиг юродства — зимой и летом босая ходила и в бане не мылась. Как раньше чистоту любила, так тут залюбила грязь. И двадцать лет в церковь не ходила и не причащалась. А прозорливая была, вот как Манечка. Вот загореться у нас диаконову дому. Смотрим, за неделю до пожара матушка Таисия, босая, подлом снег к дому этому таскает да и стены снегом обваливает. Да и приговаривает: «Таскайте! Таскайте! Все таскайте! — а никого с ней и нет. — Валите, валите снегу-то». А через неделю этот дом и загорелся. А потом наш корпус желтый — тоже горел. Это аккурат на Николу. Тоже она за неделю снег таскает... А тут уж в Сохоти, у нас в монастыре, вшивики эти жили. Три фисгармонии у нас забрали, а к ним и подойти у них никто не умеет. И у матушки Таисии в келье стояла фисгармония. И вот она два года еще к ним ходила играть. Они ее ждали даже. Уж она в Яковцеве живет, придет — босая. А они: «Идите, идите, там отперто». Она садится и целый день играет. А они соберутся и слушают. Так целый день у них и играет. Утром в Сохоть уйдет, а вечером домой прибежит. Ей уж поди было лет восемьдесят. А тут заболела она и перед смертью говорит: «Мне надо исповедоваться и пособороваться». А хозяйка ее Анна Матвеевна говорит: «Какого тебе батюшку позвать?» — «Меня, — говорит, — наш Митенька пособорует...» (Отец Димитрий ведь у нас в монастыре рос, сын диакона.) Анна Матвеевна бежит ко мне в Грамотино: «Матушка Таисия заболела да зовет отца Димитрия». Пришли мы с ним. Исповедал ее батюшка, стали соборовать. Причастилась. Стала я с ней прощаться. Я говорю: «Не умирай. Пока я в город съезжу, в Пошехонье. Мне надо Манечке да матушке Паисии, казначее, муки им свезти... Я приеду, хоть по тебе почитаю». — «Нет, — говорит, — ты уж не почитаешь. Хорошо бы, ты почитала, да не почитаешь». Я ей сахару принесла да чаю — тогда ведь нигде этого не было, а мне председатель безрукий Ваня доставал. Чай-то я всем им и делила. Поеха-

ла я в город, а она через два часа и померла. Отпели мы ее с отцом Димитрием, похоронили у церкви в Грамотине... Ладно-хорошо. И тут как-то приходит ко мне отец диакон Николай, из Янгосыря, нашего прихода. Он меня когда-то и петь учил на клиросе, дома. Только уж он не диакон был, а так ходил — шорничал. У него как получилось: дочка у него была Нина, моя подруга. Училась она в Вологде, на учительницу. И вышла замуж за коммуниста Бориса Пьянкова, он ее и перевоспитал. А она на мать да на отца.. И заставили они отца от сана отказаться. И вот пришел он ко мне, ночевал, и в церковь пошел со мной, и на клиросе пел. Две ночи у меня ночевал, все плакал. А я ему говорю: «Не поздно, можно еще возвратиться, покаяться». — «Нет, — говорит, — теперь жена не пустит». А я их всех знала. Еще из монастыря, я помню, отпустили меня навестить родных. Там узнали, что я приехала, да и посылают ко мне сына Мишутку. Дескать, Нина с мужем приехала. Тут я их и увидела. Двое детей у них было, девочка — Сицилия (Циленкой ее звали), а мальчишку звали Ленгорск. Я говорю: «Чего вы это выдумали?» — «Как чего? — говорят. — Самое хорошее имя, тут Ленин поминается». А девочка у них все ходит да поет:

Дым с кадьницы идет
К небу кольцами,
Ничего попам не сделать
С комсомольцами!

«Это, — говорит, — меня папа научил». Ну и чем у них все кончилось? Жена у диакона в больнице померла, да так ее там и похоронили. А потом сам он в больницу попал. Сыну говорят: «Мишка, отец в больнице лежит». А он: «Ну и пусть лежит». Так и его там похоронили. А уж какие в больнице похороны... А Пьянков, он в ГПУ у них работал, каким-то предателем оказался. Жена же на него и донесла. Его и расстреляли... Ладно-хорошо... И прослужили мы с

отцом Димитрием в Грамотине четыре года. А потом пришлось ему в Углич переехать. Год он там прослужил, потом его забрали, и уж как в камский мох — ни слуху ни духу. Много тогда увезли, первый набор был. Уж потом знакомые (были с ним высланы) сказали, что его заживо заморозили, вместе с отцом Петром. На Медвежьей горе... И стала у нас церковь без службы. И вот идет ко мне одна наша певчая и говорит: «Пришел к нам батюшка Мелкосидел». Я думаю, что за чудо такое? Пошла, смотрю, а это — иеромонах Мелхисидек. Он еще в монастыре у нас бывал, был монахом на Валааме. Валаам-то вперед всех монастырей разогнали. Да только он недолго у нас в Грамотине прослужил, году не служил, — налогу, видно, испугался, да и ушел. А на Покров пришел к нам отец Иван Захаринский. Нашего же уезда. Страшный пьяница. Над женой издевался. Тут ему пудов семь муки собрали да самовар. Самовар он топором в лепешку пьяный разбил, а муку всю в уборную высыпал. Все кричал: «Самогонку заваривайте!» И служил почти что год. А зять у него был Карповский, инспектор уголовного розыска. Зубы — как волчьи. Вот он зятю-то своему все и рассказал, где у нас в церкви да что. И приехал Карповский — отобрали ключи, все увезли, церковь запечатали. Это был тридцать третий год. Ах, какая церковь была! Большая, вот как здешняя. А Ваня этот Захаринский четыре церкви так-то вот закрыл. Зиму и лето все в тапочках ходит, все пропивал. И помер он, шел пьяный и помер у пруда в деревне Гвоздеве. Там у пруда его и зарыли. Вот ведь какую смерть себе нажил... И тут целое лето я не служила. Но без места я мало была. Приехали за мною из Телепшина, тоже от Сохоти двенадцать верст, только в другую сторону. Церковь там Вознесение, а священник был Покровский, отец Петр. Было у него три сына, один женатый, а два — неженатых. Их обоих еще до меня посадили. И прослужила я с ним неполный год. Девятого июня, там праздник Кирилла Белозерского, Кириллова година, — меня

забрали. И привезли в Пошехонье, в тюрьму. А тогда еще тюрьма «зақдом» называлась и окошки еще были не заколочены. Сначала-то я две ночи ночевала в ГПУ. Забрали босиком, не дали даже одеться. И вот привели меня в тюрьму. Я говорю: «А теперь меня куда?» — «Все, вот здесь будешь». — «Квартира-то, — говорю, — хорошая. И хлеба будут давать?» — «Будут». (А еще там никого не было, я первая пришла в камеру.) — «Вот, — говорю, — дожила: квартира бесплатная, хлеб». — «Не скаль, — говорят, — зубы». Ну, немного прибралась в камере, сижу. Первые две недели очень строго — даже в туалет с милиционером. Тут стали подсаживать баб. Всех — за колхозное добро. С колхозного поля. Две бабы по подолу гороха нарвали — дали по десять лет. Одна выдернула три свеклы — этой восемь лет. Теперь сидим, приезжает прокурор области, кулаки, как моя башка. Всех спросил, кто за что сидит. Ко мне... А начальник тюрьмы Тихвинский говорит: «Это монашина подозрительная, у нас с ней разговору нет». И так ушел прокурор. Три дня прошло, приезжает начальник областной. И он обо мне спросил. Тихвинский ему так же ответил. «Нет, — тот говорит — дай-ка я с ней один поговорю». Все меня расспросил, как фамилия... И говорит: «Я твое дело видел, ты сидишь ни за что. На днях тебе освобождение». И тут вскоре приходит опять Тихвинский и посылает меня работать бригадиром. Мне утром дали прибавку сто грамм хлеба и огурец... Дергали мы лен. Вечером пришли, опять мне прибавка сто грамм... Три дня проработала, приходит опять начальник: «Знаешь что, принимай прачечную». Приняла я прачечную. Дня четыре поработала, потом меня солить капусту и огурцы... Тут уж мне и пропуск на волю дали. И даже старостой сделали, заключенных я принимать стала. Вот раз и говорят: «Иди новых принимай!» Пришла я, обалдела — матушка Игуменья! Как и принимать... Я говорю милиционеру: «Она из ГПУ, наверное, вшей у нее много. Надо в баню ее». А он говорит: «Не надо». Я говорю:

«Нет, она нас вшами наградит». И принесла я две шайки горячей воды, вымыла ее. Белье ей чистое подала. А Матушка говорит: «Ничего мне не надо. Я и спать тут не буду, и есть не буду». — «Нет, — говорю, — Матушка, все будешь — и есть, и спать». И просидела я с ней месяц. Ее все в одиночку водили, все золото спрашивали у нее. А у нее ничего не было. Они не верили, ее много мучили. И вот сижу я уже три месяца — четвертый. И пишу я заявление, а меня — к Карповскому, это инспектор уголовного розыска, зять Ивана Захаринского, четыре церкви они закрыли. «Сижу, — говорю, — без вины». А он: «Погоди, будет тебе и вина». И решила я объявить голодовку. Написала заявление, положила кусок хлеба да и отправила обратно. Прибежал начальник, стал уговаривать: «Ты не дело делаешь, в таких годах себя гробишь». А я: «Все равно не буду есть хлеб. Буду умирать». На второй день приносят мне две доли хлеба — за оба дня. Отправляю и эти, прошусь в одиночную. Меня не переводят. Вечером пришел врач, пришла комиссия — судья пришел, следователь пришел. Врач говорит: «Очень слаба». Следователь стал спрашивать: «Что за дело?» — «Не знаю, — говорю, — я монашина, была в монастыре». А судья Посадский: «Снимай голодовку, двадцатого тебе будет суд». Тут уж я стала есть. Привели на суд, самую последнюю спрашивали. И постановление: освободить из-под стражи. А мне женщины пошехонские натащили всякой еды — пирогов да булок. Я целую шаль набрала да в тюрьму отнесла — матушке Игуменье. Начальник не отпускал меня: «Куда пойдешь? Ночь. Ночуй, дождь...» (В одиннадцатом часу освобождалась я.) — «Нет, — говорю, — возле ограды лягу под дождем, а на воле». И блудилась я по городу в темноте до двух часов. Утром пришла домой в Телепшино. Только тут уже не отец Петр стал, он умер. Стал тут теперь отец Иван Зайцев. Он монах был. Хорошо служил. Да только меня таскают да допрашивают. Раз отпустили: дескать, как себя поведет. А я все так же

себя веду — в церковь хожу, пою да читаю. А тут и церковь у нас закрыли, свои же, местные. Отобрали ключи, и все тут. Коммунистка у них была Иголкина, так она на меня больно кричала: «Такая молодая, а в церкви служишь! Могла бы в сельсовете работать!» — «А я неграмотная», — говорю. «Врешь! Была бы неграмотная, в церкви бы не служила!» Но тут уже я в Телепшине почти не жила, узнали, что я без места, в Лесине, за сорок верст. Там Анна Петровна была, сама-то из Телепшина, а замуж была выдана в Лесино. А меня уж там знали. Приходит она и зовет к ним в церковь, письмо принесла от отца Константина. Пошла я туда на воскресенье. Церковь большая, батюшка старей... Квартира — сторожка каменная, большая квартира. Ну, поступила я. Дали мне две подводы, со мной еще одна монашенка поехала — Мария, я ее сторожем устроила. Отец Константин. Старый старик, хорошо мы с ним служили. Вот пойдем с ним на потребу, чаем угостят. Он только одну чашку выпьет да прикроет ее рукой: «Больше не буду». А я говорю: «А я одна пить не буду». — «А ты пей, пей, пей». Вина не выпьет — Боже упаси! Церковь сам запирает всегда, ключи у него были... Ладно-хорошо... А тут году, что ли, в тридцать пятом пришли к нам обновленцы. Сначала к батюшке во флигель. Псаломщик ихний Сергей, староста и священник обновленец отец Арсений. Пришли к батюшке: «Вот так и так. Переходите к нам». А отец Константин: «Нет, уж я какой из колыбельки, такой и в могилку. Не пойду, — говорит, — никуда». Арсений: «Служить вам не дадим, теперь уж везде обновление». — «Ну, пускай там обновляются, а я старый. Какой есть доживу». — «А кто тут у вас еще есть?» — «Псаломщик есть у нас». — «А где псаломщик?» — «А вон, — говорит, — в сторожке живет. У нас не псаломщик, а псаломщица Александра Николаевна». Пришли ко мне. «Вот, — говорят, — псаломщица». — «Вот и слава Богу. Ты к нам пойдешь?» — «Нет, не пойду». Повернулась, да и вышла. А псаломщик ихний, Сергей

Донской — он часто ко мне ходил, у них приход всего пять верст от нашего — за мной пошел «Как, — говорит, — думаешь, устройте?» — «Думаю, устройм. Бог поругаем не бывает. А это у вас раскол. Я в раскол не пойду». Так и не пошел он с ними больше. Ушел на другой приход. А Господь так устроил, что они только еще года три-четыре послужили, а потом их всех выкинули... Ладно-хорошо... И так прослужили мы с отцом Константином до тридцать шестого года. И вот после Успения церковь нашу закрыли. Пришли председатель сельсовета Куринов и милиционер Петухов, сотрудник НКВД из Пошехонья. «Где ключи?» — «У батюшки». — «Подайте ключи! Никаких разговоров!» Батюшка ключи подал... А на другой день колокола сбрасывали. Ой, сколько я церковью оплакала, как закрывали... Монастырь, Грамотино, Телепшино, Лесино... И тут вызывают меня в сельсовет. Петухов спрашивает: «А где у тебя муж?» А я говорю: «Мой муж объелся груш, и утащил его уж». А Куринов говорит: «С такой проституткой разве муж будет жить?» — «Нет уж, — говорю, — проституткой я не была». — «Это, — говорит, — хуже проституции. Придется тебе посидеть». — «Не все, — говорю, — сидеть: придется и полежать, и постоять». — «Не скаль зубы-то»... А они чего так злобились — я со старостой все хлопотала, чтобы церковь у нас опять открыли. Я по деревням ходила, записывала верующих — пятьсот семьдесят человек у меня подписалось... Ну, на этот-то раз они меня отпустили. Только тут вскорости приходят ко мне и говорят: «Тебя не сегодня завтра арестуют. Надо тебе уходить». И тут стала я скрываться, а это хуже, чем в тюрьме сидеть. Пошла сначала в Патрихово, там старики двое жили, а сын у них партийный. Постучалась — пустили. Накормили. «Полезай, — говорят, — поскорее на печь. Авось Ванька сегодня не придет». Три ночи я у них ночевала. Потом хозяйка пошла в Телепшино узнавать. Говорят: «Только вчера были, о ней спрашивали». Вернулась я домой. Ночь переночевала, вече-

ром Стеша идет: «Приехал Постнов, опять про тебя спрашивает, опять о тебе разговор». Надо бежать, а уж ночь. Тут уж никакой буки не боишься, ни волка, ни покойника, лишь бы человек тебе не попался. Тут я пошла в Якушево, километр от нас, тут старушка была, с дочкой жили. Вот в этих-то двух домах я все больше и скрывалась. Сама Татьяна да дочка Паша. Потом пришла домой — опять нельзя. Пошла в Вологду, потом на родину. На родине ночевала две ночи у Мамы и двух сестер. «Иди, — говорят, — мы из-за тебя боимся». А зять один тоже был партийный... В самой Вологде три ночи ночевала у знакомых. Надо идти домой. Стеша говорит, вот уже три дня никто не ездит. Вроде бы спокойно стало. И тут я всю зиму прожила, не трогали меня. До Пасхи. Да и лето все жила. Церковь у нас стоит — не служит, отец Константин в своем флигеле живет. Тут уж я совсем успокоилась, работала. Думаю, видно, не будут меня забирать, оставили. А в августе, с пятого числа, начали забирать. Много народу по деревням увезли на машинах. А меня в первый-то набор почему-то не взяли. А уж жила я не в сторожке — выгнали меня. Жила я в барской усадьбе, против бывшего барского дома в маленькой избушке. И в этот день я ничего не пила, не ела — не хочу. А вечером самовар согрела, грибов соленых и сухарей. Да так и оставила и легла спать на печку. Вдруг мне сон снится: идут ко мне с обыском Куринов, Петухов и сотрудник НКВД.. И тут мену в избе что-то упало, и я пробудилась. Слезла, глянула в окно — идут с фонарем. Я сразу подумала: за мной. Встала, три поклона положила — у меня большая икона Георгия Победоносца.. И сразу вся озябла. Стучаются у меня, у калитки. Я вышла: «Кто?» И говорит мне председатель: «Шура, открой». Идут трое — Куринов, Петухов и аккурат этот, что мне приснился.. Подает Куринов мне бумажку. Я посмотрела: обыск и арест. И стала одеваться. «Ты куда?» — говорят. «А куда сказано...» — «У тебя Библия есть?» — «Вот у меня все книги на столе,

больше нигде нет». Библия лежит на столе, а первого-то листа нету, не видать, что Библия. А они понимают в Библии, как свинья в счетоводстве. Поглядели: «Значит, нету. Подпишись: обыск сделали, ничего не нашлось». Орудия никакой не нашли у меня. Говорю: «Может, чаю по чашке выпьете, такую дорогу прошли?» Куринов говорит: «Неудобно». А я: «Вы пять километров прошли. У меня самовар кипяченый, сейчас лучину опущу, он тут согреется». Куринов повторяет: «Неудобно, Шура, нам». А я огня опустила в самовар, налила им по стакану. «Ничего неудобного нет, вы такую дорогу прошли». Они попили. «Я, — говорю, — готова». Рубашку в корзиночку положила. «Ну, пошли, — говорю. — Только не пойдем той дорогой, там далеко идти — пять километров. Пойдем, — говорю, — лесом. Здесь три километра лесом». А Куринов говорит: «Ты нас, как Сусанин, не заведешь?» — «Я не вредная, как вы думаете обо мне». Ну и пошли мы. (Сам-то Куринов тоже потом не уцелел. Его потом арестовали и замучили. Мне потом, как освободилась, Удалов рассказывал — он с ним работал. «Это, — говорит, — перегибщик был. Лишка он перегибал. Вот его и арестовали, да там и замучили». Так что и он не уберется. А жену его выселили, она от нас уехала.) Ладно-хорошо. Привели они меня в Матюшкино, в контору, в деревню. Целая контора битком набита. Народу навожено все. А женщины только две: я да Харитина Ивановна — председатель церковный. «Ну, — говорю ей, — сейчас нас повезут, белый свет нам покажут бесплатно». — «Ладно, Шура, как-нибудь...» Нагрузили нас на три машины трехтонки, все целые нагрузили, целиком. Привезли в Пошехонье нас, ночевали три ночи. Тут-то я шла, как на гулянье, не редела нисколько, а в Пошехонье двое суток все редела. Набита была целая тюрьма. Потом нас: «С вещами выходите!» — по фамилиям нас, в Рыбинск повезли. Рыбинская тюрьма нас не приняла, некуда было. Перегрузили нас на поезд, повезли в Ярославль. На главный этот вокзал,

на Всполье. Тут высадили всех. И этап наш был двести тридцать с лишним человек — это только из нашего места. Погнали нас по городу пешком на Московский вокзал. А это у нас запели:

«К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей? Аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач и воздыхание мое примет? Надежда христиан и прибежище нам, грешным...»

Нам кричат: «Не пойте! Стрелять будем!»

«Услыши стенание мое! И приклони ухо к молению моему! Буди мне Мати и покровительнице! Вручаю себя милостивому покрову Твоему!»

Все равно поем — не отстали...

«Владычице, Мати Бога моего! Не презри требующие Твоея помощи! И не отрини мене, грешного!»

Нам кидают ярославцы — булки, крендели к нам летят...

«Вразуми и научи мя, Царице Небесная! Ты мне Мати и надежда! Ты упование и прибежище! Покров, заступление и помощь!»

Поднимать нам не дают, нагибаться нельзя — бьют прикладами...

«Радуйся, благодатная! Радуйся, обрадованная! Радуйся, преблагословенная, Господь с тобою!»

Все спели — до конца. Когда забрали, все стали набожные. Даже урки... Пригнали на Московский вокзал. С вокзала погнали в тюрьму Коровники, там мы были трое суток... Сидела там с нами Груша. Красавица была, лет тридцать пять. Только в глазах у нее — темная вода. Так вот она многим предсказывала... У нас десятница была, староста камеры. Она ей предсказала, что через три дня освободится. Многим предсказывала. А мне сказала: «Не просись на работу и не отказывайся. Куда будут посылать, туда и иди. Тебе, — говорит, — хорошо будет». А я: «Крестик потеряла, боюсь без крестика». Она вынимает из обшлага крес-

тик, надевает на меня: «Не потеряешь, пока сидишь, в нем и домой пойдешь». А с нас снимали кресты-то на этапе. Кто как прятал — кто в чулки, кто в обшлаге. А у меня этот сохранился, и домой в нем пришла, и дома еще не один год носила. Простой медный крестик. А в лагере уже не снимали, кто с этапа принес. Вот помню, ко мне подходит стрелок-хохол: «Ето што в тэбэ высыт?» — «Крест». — «Скынь да брос». — «Нет, не скину и не брошу». — «На што ты яго одэла?» — «А я его не надевала. Сколько помню, он все на мне. Кто надел, тот и снимет»... Ладно-хорошо... Сидим в Коровниках. Вызывают на третьи сутки человек по сто в контору. И вычитывают статью тебе и срок. Так и вызывают — сотню, кому по десять, кому по пятнадцать... Мне дали восемь. Нас таких семьдесят шесть человек вызвали. И прямо в вагоны телячьи, называется этот поезд «Максим Горький». Тихо он идет, вот его и называют «Максим Горький». И повезли нас. От Ярославля до Вологды целую неделю. Ночь везут, а день стоим в стороне. От Вологды повезли в Архангельск. Тоже целую неделю везли в аккурат. В Архангельске привезли нас в баню сразу всех, вшей побить надо. Там нам белье дали чистое, конечно, мужское — кальсоны, рубашки. Мы и то раде-хоньки, потому что чистые — безо вшей. Это все в архангельской тюрьме пересыльной. Через трое суток нас на реку Двину. На берегу всех на коленки поставили. Холодно, а многие только что забраны — одна сорочка да платье. Тут многие простудились. Я почему-то не простудилась. Два часа на коленях все стояли — пароход нагружали большой, это чтобы стрелкам было видно, что все стоят на коленях, никто не убежал. И повезли нас в Пинегу — нас на баржах с окошками, а мужиков — в темных баржах. А простуженные стали тут помирать по дороге, мужики все больше. Так в Двину их и кидали. А мне хотелось заболеть да помереть, а так ничего и не сделалось. От Пинеги погнали нас двадцать километров лесом в Красный Бор. Там согнали в са-

рай — карантин отбывать. Сарай большой, не мшеный, две печки железные маленькие. Пять человек у каждой печки греется, остальные дрожат. А другой сарай для мужчин. А воды не дают. А мы консервными банками запаслись — кто в Архангельске, кто в Пинеге, да за пазухи их попрятали. Набьешь снегом банку, поставишь ее на печку, он и тает, вот и попьешь водицы. Без воды хуже, чем без хлеба.. Ладно-хорошо... Пока в карантине сидели, нас человек пять верующих набралось. Мы по вечерам всенощную пели. А урки-девки сидят и слушают. А потом говорят: «Хоть бы нас научили петь “очи”». (Это они так «Отче наш» называют.) Мы их научили, и они с нами пели. Тут уже и на работу стали нас помаленьку таскать — бараки мыть. И там я с отцом диаконом познакомилась, он в мужском сарае карантин отбывал. Раз прибегает он ко мне: «Пошли, пошли, там архиерея привезли!» — «Откуда архиерей, не знаешь ли?» — «Из Архангельска». Мы подходим. А вохрато над Владыкой издеваются — кто ткнет, кто пнет. А подрясничек на нем тоненький. За бороду дергают. И насмеваются: «Сейчас мы митру на тебя наденем!» Пнули его — он упал и сказал только: «Прими, Господи, мою душу». — «Примет, — говорят, — как же, примет!» Насмеваются. Эфиопское воинство. Так от побоев и помер Владыка, царствие ему небесное. Замучили. Издевались, как над Христом. Человек десять их было... Да.. А тут и карантин наш кончился. И стали вызывать по одной к начальнику. Пришла моя очередь. Начальник спрашивает: «Как фамилия?» — «Такая-то...» Он глядит в формуляр, потом на меня: «Откуда же ты?» — «Изо всех мест». — «А уроженка?» — «Вологодской области, Вологодского была району». Он говорит: «Так, так, деревня Кожино... А ты Андриюше-то не родня?» — «Какому Андриюше? У меня брат Андриюша! Так и он сидит?!» — «Нет, он не сидит. Мы с ним вместе учились четыре года. Да, бывало, на одной койке спали». — «А твоя-то как фамилия?» — «Хрусталева». Я поглядела, у него

глаза-то один больше другого. Он у нас, помню, гостил... «Ванюша, — говорю, — ты?!» (Это начальнику-то.) — «Я, — говорит. — Так за что же, — говорит, — тебя посадили?» — «Жить не умею, — говорю, — хулиганю да ворую. У тебя вот все мои бумаги». — «Да, — говорит, — на какую же мне тебя работу поставить? А сколько срок имеешь?» — «Да, — говорю, — пустяки — восемь лет». А он: «Погоди, большой срок не устрашает, маленький не утешает. Не думай, что столько отсидишь... Так куда же тебя направить?» — «Не знаю, — говорю, — я хоть и второй раз, но в лагерях не была, я в тюрьме сидела». — «Я тебя, — говорит, — назначу в ВОХРУ кухаркой. Наверное, приготовить сумеешь»... Ладно-хорошо... Только в ВОХРУ меня урки не пустили, десятница в бараке: «Я туда тебя не пушу, своих девушек пошлю». А ихних «девушек» нигде не держали, как ответственная работа, так 58-я статья идет туда работать. А тут приходит завхоз, говорит: «Мне три прачки нужны в больницу, в Кулой». Это лагпункт был, километров восемь. Вот и пошли мы — я, моя Харитина и Марья одна — тоже набожная. Приходим туда — сарай. Навстречу выходит вольный фельдшер — лекпом. «Вот, — говорит, — мне в столовую повар, санитар и прачка». Всех троих взяли. Пришли мы вечером, поглядели на эту слабосилку — ужас нас взял. Все — поноски, лежат на сене, а оно уже как навоз. Которые и без кальсон лежат, да холодно, да мокрое-то все эдакое. Утром я приняла кухню, шесть ушатов котел висит на бревне. «Давайте, — говорю, — греть его да обиходим их, пока продуктов нам не привезли». Стали их обихаживать. Сначала всех в одну кучу. Харитина говорит: «Не будем, они запачканные». Я говорю: «Сегодня они такие, а завтра, может, ты такая будешь. Давайте, — говорю им, — в одну кучу, кто может — переползайте». Кто не может — тащим. Ихний навоз вытаскали, доски ихние кипятком все ошпарили. Сарай открыли, чтобы проветрило. Их вымыли всех, поноски. Сено чистое настлали и

положили их. С них все выполоскали, конечное дело, развели. День хороший выдался, много высохло на ихнее счастье. Знакомые тут мои лежали, из одного места, из Лесина — Куликов Иван Петрович, Кошкин Иван Иванович, Введенский Константин Васильевич — священника сын, учитель. «Ну, — говорю, — я кухарка ваша». — «Ой, — Кошкин посмотрел на меня, — Шура, это ты?» — «Я». — «Слава тебе Господи. Теперь мы оживем». Я получила крупу, сварила им каши густой. Всем разнесла по кружке каши. Потом плохо стало с Кошкиным к вечеру. «Поверни, — говорит, — меня». Я повернула. «Плохо, матушка...» Только с полчаса еще пожил... На другой день рису получила, отварим наварила, стали поправляться поносники. Но семнадцать — двадцать человек помирает каждую ночь. Сначала хоронили — сколачивали из четырех досок гробишко. Какой-никакой. А потом стали хоронить без гробов. А отцу диакон тут у нас тоже санитаром пристроился, вот мы с ним всех их отпевали. Тихонечко, конечное дело... Мы с ним друг дружке слово дали — я вперед помру, чтоб он меня отпел, а он — чтоб я его отпела. Но не который не умер. А покойницей тут никакой не было. Были ворота большие подвешены так на метр от земли, на них клала. Это чтобы крысы их не объедали. И то они объедали носы да уши — лица уж не узнать. Сколько там крыс этих было! Ночью спим, только лица закрываем, а они по нас так и прыгают. Утром встанешь, они к реке, к Кулою бегут. Метров сто — одна крыса. Или в каптерку идешь... Пока свет не зажжешь, ноги не поднимай, так по полу двигай, чтобы не наступить. Наступишь — завершит она, и все на тебя кинутся — загрызут. Это меня начальник предупредил. А свет зажжешь, они разбегаются. Так и работала я больничной кухаркой. А кухни так и не было — на бревне котел висит, и на этом же бревне общей кухни котел. А тут собрали эки собрание и стали кричать: «Пусть хоть раза три нам сварит больничная кухарка! Нам варят больно плохо!»

Начальник разрешил. (Это уже не Хрусталеv был, а Рыжиков.) Вызывает меня: «Вот завтра и послезавтра сваришь общий котел». — «На сколько человек?» — «На шестьсот». — «Какой котел?» — «Шесть ушатов». — «Сколько продуктов?» — «Столько-то»... Я все подсчитала и на пять ведер жидкости убавила. Оно и погуще стало. Мясо, конечно, не проиграла в карты, все положила. Картошки. Луку вяленого. Свеклы. Крупы. Можно сказать, что превосходная баланда. И при раздаче я была, когда разливали. Всем понравилось это. Поварам только не понравилось. Три повара там были. Один повар ученый был, учился на повара. Неделю я им варила — продукты получала. Потом меня поставили следить. Получала продукты, валила их в котел и при раздаче присутствовала. И так я была у них с января до мая... А тут приезжает к нам парень на лошади, говорит: «Собирайся в больницу, в Красный Бор». Собралась я, поехала. Главный врач мне говорит: «Принимай прачечную. Больничную». Накормили хорошо, постельные принадлежности выдали — одеяло мягкое, теплое, две простыни, наволочку — стружкой набивали. И комнату мне сразу дали отдельную... Корпуса там хорошие были. А я при складе. Койка, тумбочка, стол. Работаю я в прачечной. Вызывают к главному врачу: «Принимай анатомию, инструменты». Приняла я инструменты. Потом говорят, горючее сильно тратится. Надо запирать да выдавать по норме... Опять я. И так целых шесть должностей у меня стало. И покойников мне поручили. Днем два могильщика ямы роют. Ну там-то я не бывала, где они роют. А ночью из покойницкой вытаскиваем их. Накинут им веревку на ноги, хватают за руки да за веревку и кладут поперек саней — широкие такие дровни. Да еще и накрыть надо, там лагерем везти, чтобы не видели, чего везут. Матрасом я их распоротым накрою, и повезут их. Там зароят, конечное дело. Каждую ночь... Да... А я тут своих вытаскивала — Харитину Ивановну на раздачу пищи, Мария Григорьевна — портниха. Да были у

нас еще два старичка бухгалтера — Иван Михалыч и другой тоже Иван Михалыч. В моей комнате соберемся, все-ношную поем. Иван Михалыч деревянный крест нам сделал, шестопсалмие я наизусть читала, канон споем. Хорошо я там жила. Только все Господа молила, чтобы мне не научиться курить да ругаться. И — слава Богу — не научилась. Только трудно мне с учетом было, я каждые три дня сама себе ревизию устраивала. Грамота-то у меня какая — полторы зимы. Белья у меня триста пар в ходу, да четыре отделения одеты. А врачи там были все евреи, и до чего же люди хорошие, просто превосходные. Севрук — два Севрука, отец с сыном, Шик, Березовский... Они заключенных жалели. Александр Антонович Севрук — хирург был хороший, он себе в штат набрал 58-ю статью. «Я, — говорит, — штат себе набрал — во! Ни одной урки! Все тихие, не будет мату в моем отделении». А доктор Шик говорит: «У меня пускай и мат, я отважу. У меня — не будут!» Ругачка он был, а уж какой хороший. Простой. Вот прибежит ко мне: «Дура ты! Лагерный придурок!» А я ему: «А почто мне ум-то? Таскать-то его? Тяжесть-то такую?» — «Тыпфу!» — только плюнет и убежит. Горячий. И вот Александр Антонович Севрук мне говорит: «Чего ты не напишешь жалобы и заявления об освобождении? Все пишут, одна ты не пишешь». — «А я и не знаю, чего и писать». — «А ты напиши, как есть. Чем проще — тем лучше. А я тебе хорошую характеристику дам». И адрес он указал мне в Москву. Я и написала, он мне характеристику дал и адрес сам подписал. У нас все один заключенный писал для всех, по сорок рублей за бумагу брал, чтобы написать. А я сама написала, уж как сумела. Ладно-хорошо... Три месяца шла разборка, ходило, видно, взад и вперед. И пришло мне оттуда — освободить меня. Утром я встала, вызывают меня в контору. Я так и обалдела. Зачем требуют? По складу у меня все хорошо, и так все в порядке. Зачем требуют? Я прихожу в контору, сидит Калашников — начальник. «Ну, Саня, пляши!» —

«Сказывайте, чего я требуюсь, скорее!» — «По-моему, надо плясать тебе». Не сказывает еще, морит меня. Потом говорит: «Ты освободилась». А я как не бывала на ногах, со мной обморок сделался. Ну, помогли мне тут. Говорят: «Иди, сдавай дела. Как у тебя там?» А у меня все хорошо — ни прибытку, ни убытку. Пошла получать продукты на дорогу да деньги. Два кило селедки дали, хлеба полторы буханки, сахару двести грамм — на дорогу все дали. И в котором часу меня взяли, так в этом часу и освободили. Минута в минуту — три года. И отправилась я в Вологду, к родне своей, у которых тогда скрывалась. У них три ночи ночевала, а потом кое-как добралась до Водоги, это Пошехонский район, где мой первый приход был. Там на квартире поселилась да одну зиму жила — не служила. Варезжки, носки на войну вязала — сорок первый был год. Одежда стегала, шила — машина швейная моя уцелела, только поломали ее без меня. У меня и зимой хлеб рос. За пару носок — буханка хлеба, за одеяло — фунтов тридцать ржи. Пришла на Казанскую, в октябре, а к Пасхе уж у меня три пуда муки было. Потом служить стала у Спаса на Водоге. Там и сейчас служба — она не нарушалась, та церковь. У Спаса мало платили, совсем там доходу не было. Вот отпевание — принесут с покойником каравашек с килограмм, подаст его староста батюшке и мне... Или на дом пойдём отпевать. Там для нас с батюшкой чистый испекут каравашек, а тем, кто поминать придет, — уж с мякиной, льняной, да еще с чем, с клеверной мякиной. Ужасное время было, прямо ужасное. А служил у Спаса отец Георгий Рженицын — хороший батюшка, очень хороший. Года три я с ним сначала прослужила, только ходить было далеко — семь километров. Устроилась я в школу техничкой. И квартиру мне дали там, в школе. А потом я купила свой дом в деревне Михееве. Небольшой домик, крыша плохая была. Я его на швейную машину выменяла — так восемь годов я прожила в своем дому. И каждый год на меня три гектара накла-

дывали обрабатывать, как на лишенку. Голоса я не имела. Или льну дергать, или жать... А отец Георгий пошел в гости в Дмитриевское, у кого-то там был праздник. Ну, поговорили они, а там был шпион... Наутро всех пять их забрали. Уж чего они там говорили — не знаю... И тут пришел к нам отец Асинкрит — отца Георгия отец. Он недалеко во Владычине служил, пока церковь там на стореда. Загорелась она от молнии в Великий Четверг. Аккурат отец Асинкрит двенадцать Евангелий читал. И пока он службу не кончил, из церкви не вышел. Отца Георгия увезли, а отец Асинкрит пришел через неделю. Почти девяносто годов ему было, служил он до девяносто трех — это самостоятельно... Уж и отец Георгий вернулся к нам из заключения. Года только три он сидел, сактировали его по болезни. Так-то бы они его еще подержали. Пришел он — совсем плохой. Тут мы давай его лечить. Молоко ему бабы носят. А он в среду и в пятницу — не пьет. Бабы скандалят: «Вам врачи велели молоко пить!» А он: «Врачи-то мне велели, а вот Бог мне не являлся, не приказывал в постные дни молочное есть. Так что отстаньте от меня». Он насчет этого строгий был... И вот стали оба они служить — отец с сыном. Уж потом-то отец Асинкрит только ему помогал, служил, когда хотел приобщиться. Очень петь любил «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...». Голосок уж стал тоненький, я под руки его водила. Видеть он — хорошо видел, без очков, а ходил плохо. Вот поведу его к дому. «Ну, — говорю, — скок через порог!» — «Сейчас вскочу, сейчас вскочу». Придет, разденем его, и он сейчас на печку полезет. «Ты самовар заводи, а я пока тут на печке». А чай любил с молоком. И отец Георгий тут же жил, в том же доме. Овдовел он рано, лет тридцати, — и все жил один. Две дочки у него были, обе замужем. Аккуратный он был, очень аккуратный. Мне он был одногодок. Вот прихожу к нему. «Что долго не была?» — «Как долго не была?» Я только две ночи дома ночевала «А у меня новоселье». — «Что за новоселье?» —

«А вот на стену посмотри. (Это он перевесил портрет патриарха.) Надо новоселье справить, иди в магазин». — «Чего покупать?» — «Купи пол-литра да селедки купи». — «А сколько?» — «Сколько купишь, там сама гляди. Да и вякалам (это певчим-то) скажи: приходите, вечером у отца Георгия новоселье». Ну, все придут — часов до одиннадцати посидим, попоем. В одиннадцать часов: «Ну, хватит, пора спать. Отправляйтесь». Он петь любил, регент был хороший... Ладно-хорошо... А в пятьдесят втором году пришел к нам из заключения Александр Павлович. Был он раньше священник обновленец. Служил за Пошехоньем, и там стоял у них сельсовет, тут его обвинили, посадили. А жена у него и дочка Анюта пропали — так и не знает куда. А отец Асинкрит был у нас очень жалостливый, принял Александра Павловича, так он с ним и стал жить, хоть и тесновато было. Священником он уж больше не хотел быть. Ему предлагали покаяться из обновленцев, но он не стал. А устав хорошо знал, псаломщик был превосходный. И ко мне часто приходил, все об дочке грустил, об Анюте. Но он, конечно дело, тронутый был уже. Спал только на полу, на мешке с соломой. Раз вхожу к ним, гляжу, газетой накрылся, а сам святцы читает и плачет... Ладно-хорошо... А тут телеграмма мне и отцу Асинкриту, вызывают меня в епархию. Это, уж, наверное, год пятьдесят шестой был. А как ехать? Мимо нас тогда лен возили в Карамышево, там завод, принимали. С ними я и доехала. А там на Кукобой шла пешком, тут деревнями недалеко. А было это в декабре — перед Варварой и перед Николой. А от Кукобоя уже на поезде... Приезжаю в епархию, отец Николай Понтийский, секретарь архиерейский, хороший. И тут нас, псаломщиков, у него шесть человек. Феодора, Люба, Параскева какая-то была, не знаю, откуда она, два мужчины — у одного рука плохая, а другой из сторожей. «Я, — говорит, — уж шесть годов служу сторожем, так уж маленько маракую». А Феодора всех нас насмешила. «Я, — говорит, —

старостой работаю и псаломщиком. Две должности несу, да и ответственные»... Выходит к нам сам епископ Исая, всех благословил, все тут подошли под благословение. Усадили нас и стали спрашивать, кто что знает. Все молчат, как воды в рот набрали. Сначала Феодору спросили. «Я, — говорит, — две ответственные должности несу — старостой и псаломщиком». — «Ну так спой чего-нибудь». — «Пою, пою...» — «Ну, спой». Спела она «Достойно»... Ладно-хорошо. Любу спросили — она наша монашина — она говорит: «Устав я хорошо знаю, а петь я не пою. Хотя по крайности все спою». (Конечно, гласов она не знала.) — «А “Хвалите имя Господне” умешь петь?» Она как захрипит: «Хва-а-ли-те и-им-я Го-от-по-дне...» — «Ну, ладно, — говорят, — хватит, хватит. Можешь, можешь», — оставили ее. А дядьки ни который ничего не спели. А Параскева эта чего-то пела. А последнюю меня спрашивали: «Шестой глас умешь петь?» Я запела. Потом восьмой спросили — «Господь возвах...» — «Третий глас?» Я опять: «Господь возвах...» И так все вразбивку, не подряд спрашивали. Потом прокимны спросили. Первого и пятого гласа, потом четвертого, и я все спела. Понтийский сказал, отец Николай: «Эта вообще может псаломщиком работать». Владыка всех нас вместе благословил эдак и ушел. Потом выходит, выносит шаль шерстяную, тонкую, завернута в бумаге. И подает мне. До сих пор у меня цела. А Любе благодарность, что устав знает. Тогда ведь псаломщиков вообще не было. А у нас на Водоге целых два оказалось — Александр Павлович и я. А тут мы узнали, что еще есть место в Дмитриевском, за Пошехоньем. Александр Павлович туда идти боялся. «Опять, — говорит, — они меня заберут». А до войны он служил там, в тех местах. Думала, думала я и решила ему место уступить. А тут слег у нас отец Асинкрит. Еще за неделю до болезни говорит: «Я хочу приобщиться. Буду служить». И служил обедню. Причастился, выходит ко мне: «Я хочу, чтобы ты сейчас спела “О тебе радуется, Благодат-

ная...» И я с вами буду петь». — «О тебе радуется...» — поет голосок тоненький, а слезы так и капают. А через неделю он слег. Три месяца не вставал, как щепочка исхудал. А тут прихожу, он лежит, словно поет что-то. Я подхожу: «Батюшка, что это вы будто кого отпеваете?» — «Это я себя отпеваю. Пора уж меня отпевать». — «Да полно, батюшка, вы еще поживете». — «Нет, нет, надо уже меня отпевать». После этого соборовали его. А за неделю до смерти он вдруг вина попросил. А так-то в рот не брал, не пил. Принесли ему кагору хорошего. «Ну, — говорит, — сейчас пьянствовать буду». Глотка два сделал и говорит: «Уберите. А то приучишься, так беда». А помирал тихо, спокойно. Будто уснул. И умер он у нас на четвертый день Крещения, в январе — девяноста шести годов. Отпевали его два Георгия — сын да из Дмитриевского пришел отец Георгий Киселев. А народу на похоронах было — в церковь войти не могли, а церковь там большая. И всех поили, кормили, в трех домах готовили. Два мешка только белой муки ушло. Это сам отец Асинкрит нам сказал, кто будет на похоронах — всех поить и кормить. Отпели мы его, похоронили и сели поминать в церковном доме. И тут отец Киселев стал меня в Дмитриевское звать. Я ему ничего не обещала, сказала только, что побываю. Он говорит: «Хорошо. Только не задаливай». И мне так грустно стало, что с Водоги уходить надо, что место я уступаю. «Теперь все, — говорю, — отпела». И тут приснился мне сон. Приходит моя тетка покойная. Тяти сестра и монастырская наша монахиня — матушка Анатолия, письмоводительница. «Что ты расстраиваешься? — говорят. — Ты не отпела еще. Еще попоешь, да и как. Пойдем, мы тебя поведем». И вот повели. Завели сначала в Дмитриевское в церковь. «Тут, — говорят, — тебе еще не конец». Потом привели в слизневскую церковь. «И тут — не конец...» Опять дальше повели и привели меня сюда, в летнюю церковь, поставили на клирос. «Вот, — говорят, — здесь тебе конец». Я ведь и не видала тогда этих церквей,

потом только, как приходила — узнавала.. Ладно-хорошо... И вот Великим Постом пошла я в Дмитриевское. Пришла прямо к отцу Георгию, ночевала у них. Матушка у него очень хорошая, двое детей — Сережа и Леня. Они с матушкой еще молодые были — по тридцать три года им. Церковь там большая, каменная, очень хорошая церковь. Летний алтарь — Святых Жен Мироносиц, а в зимней два придела — Великомученика Димитрия и Параскевы Пятницы... Смотрю, узнаю — но еще не здесь мой конец. Мне там понравилось. Певчие там хорошие — из Пошехонья некоторые приходили, пели две учительницы старые. Вот я и согласилась у них служить. Проводил меня на лошади сам отец Георгий Рженицын. А дом-то в Михееве я еще раньше продала, больно плох стал — потолок совсем опустился. Продала я его в школу за двести пятьдесят рублей и жила опять на квартире. И вот перебралась я в Дмитриевское. Служил там отец Георгий Киселев хорошо, только на него иногда что-то находило, он как сам не свой делался. Вот на обедне поем ему «Достойно». Он вдруг из Алтаря говорит: «Еще раз спойте, мне не понравилось». Мы еще споем. «Еще! — опять не понравилось». Я ему после службы говорю: «Батюшка, ведь нехорошо, это — обедня...» — «Не учи меня, я — поп!» Или вдруг за обедней в облачении выбежит из Алтаря да кочергой в печке шурует. Но меня не обижал, грех жаловаться. И прослужила я с ним год восемь месяцев. И тут он у нас уехал, и стала наша церковь без службы. И вот нам говорят, за Белым Селом приехал к сыну какой-то священник без места. Мы за ним лошадь отправили, за десять километров, у Егория Плохого, сын у него там жил. И вот привозят батюшку — да огромный, да страшный, да мордастый — рож-дество-то шире масленицы да красное. Да пьянехонек весь... Зовут Евдоким. Да и привезли-то не к старосте, а ко мне в сторожку. Входит. «Ой, я отсель никуда не пойду, я замерз». Посадили его, я дала ему шубу. «Это меня не греет». — «У нас больше

никакого тепла нет, кроме этого». — «Нет, так найди. Магазин-то здесь есть?» Купили ему. Он тут — хоп-хоп-хоп — всю поллитровку выжрал, прости Господи. Улегся на моей кровати. Пошла я к старосте: «Куда хотите девайте». — «Погоди, Николаевна, он протрезвится». А дом-то священников порожний стоит, никто в нем не живет. Утром встал. Собрали собрание. А как подрясник у него, не знаю, на что и похож. А у меня в сторожке висела картина «Страшный суд» — мертвых воскрешение, муки грешников. Он глядит на картину. «Это, — говорит, — надо ликвидировать. Тут все наврано». А я с говорю: «Если наврано, так нам и вас не надо. Мы боимся и трепещем этого». — «А ты что больно дерзко?» — «Потому что вы дерзко. Мы трепещем страшного Дня Судного». — «Никакого, — говорит, — такого дня не будет». — «Раз не будет, — говорю, — пошто нам и тебя?» — «Я, — говорит, — думал, ты хорошая, а ты, оказывается, никудашняя». Ну, выстирали ему тут подрясник, да еще и выкрасили. В епархию к Владыке ехать. Денег ему дали, отправили его в епархию. Говорит: «На Ильин день приеду обязательно». Ильин день подошел — нет. Неделя прошла, другая — нет. Тут послали меня в епархию. «Ну, — Понтийский говорит, — зачем пришла, курносая?» — «Как, — говорю, — зачем? У нас батюшка пропал». — «Как, — говорит, — пропал?» — «Скоро месяц, все нет». — «Куда же он девался? — уж он все знает. — Эдакой большой не мог провалиться. Ну, рассказывай, чего там у вас было?» Рассказала. Он достает мне вот такую хартию, митрополит Питирим из Минска про него прислал. Чего там только не написано!.. «Так какой же, — говорю, — он батюшка?» А отец Николай смеется: «Ну и счастливая ты на батюшек. То Киселев, да теперь этот. Ничего, — говорит, — все перемелется, мука будет». А он, Евдоким, из шести церквей ушел, самовольно, ни одну не сдал. И все вот так-то пил. Так и пропал он, ничего о нем больше не слышать. Да.. Церковь у нас в Дмитриевском не служит, и опять я без

места. А тут мне пришло письмо из Слизнева от отца Платона. Одна наша певчая, Александра Васильевна, она десять лет тоже в тюрьме сидела, священника была жена, — она и к нам, и к ним в Слизнево ходила молиться. Вот она отцу Платону и сказала, что я без места. И пошли мы с ней в Слизнево на Преображение. Там тоже церковь хорошая, была я в ней, гляжу, во сне-то. Но только это еще тоже — не мой конец. Поступила я к ним. Квартиру мне в сторожке дали. Отец Платон служил хорошо. Он раньше псаломщиком восемь годов был, а женился на протоиереевой дочке — отца Романа — Зинаиде Романовне. Они из Минска приехали. Матушка у него была очень хорошая, а уж теща Софья Михайловна — просто превосходный человек. Первое-то время мы с ним хорошо служили. По грибы да ягоды ходили. А там белые только в двух местах растут. И он эти места знал. И вот я утром пораньше встану, побегу, оберу их. И лесом иду домой, а он уж после меня туда же дорогой идет. Он лесом не знал. А я-то лесовая бабушка. Приду домой, чищу их. Он прибежит: «Опять все обрала?» Вот соберемся вместе по ягоды. Он нарядится в голубую трикотажную рубашку под поясок. А я уж — как баба-яга.. Поглядит на меня: «Не пойду с тобой!» А я: «Так и я с тобой не пойду. Ты куда это вырядился?» Слава Тебе Господи, иду одна. Нет, догоняет. «Я так без ягод останусь!» А потом мы стали с матушкой Зинаидой ходить. Так два года мы с ним хорошо жили. А через два года он стал почему-то плохо ко мне относиться. Как чего не сделаю, все — неладно. Минею на клиросе придет исчеркает. Нехорошо у нас стало. Тут он и народу объявил, что псаломщик ему не подчиняется. Хотел он тут в Шестихино переехать, да его там не приняли. Даже квартиру не отперли, не показали. И в церковь не пустили. Ну, как говорится, не наше дело попов судить, на то черти есть — они рассудят. А мне тогда и говорят, что тут место есть, батюшка отец Иван просит прийти... Ну, отправилась я пешком на второй день

Благовещения. Зашла к батюшке, он самовар разогревал. Только и спросил: «Гласы знаешь?» — «Знаю». — «Ну, запой». — «Который?» — «Да хоть какой-нибудь». Я ему запела. Вот и все. Повел меня на квартиру к Дуне, покойнице, сторожу церковному. Прихожу в церковь. Как глянула — потолок голубой, в окне поле видно — вот он, тут мой конец. Последнее мое место. Точно, как во сне... Потом я у старосты жила, у Александры Родионовны, тоже покойница. И потрудились я тут — церковь сторожила, печки топилась, просфоры пекла, ремонты мы с Родионовной делали. Так у храма все и живу. Мне и в детстве все хотелось у церкви жить. Бывало, говорю: «Тятя, с Николы в церкви сторожа поряжать будут. Порядись. Вот Александр-то Широгород там живет». — «Дура, — скажет, — у него одна корова, а у нас четыре коровы. Да куда мы с таким-то хозяйством?» — «Все, — говорю, — продадим. Больно мне у церкви жить хочется». А «Соломой» это меня ребятишки прозвали. Не могут сказать «псаломщица», не понимают, что такое. Вот и вышло у них — «баба-солома». А только подумать, сколько я мытарств прошла — и тюрьму, и все, не знаю, как и прошла. Помаленьку-то и прошла... Я ведь и в лагере на них не обижалась, что вины у меня нет. Вины нет, так грехи есть — за них страдаешь. А в тюрьме я все придурком была, и мной не распоряжались. Хотя работы у меня было много. А по мне хоть и сейчас пусть опять заберут, я не боюсь. Только вот жить-то мне осталось полтора понедельника. На похороны у меня есть деньги. В церковь на помин — сто шестьдесят рублей. Сто рублей — батюшке, какой меня отпевать будет. Гроб мне надо некрашенный. Музыка мне — упаси Бог! — ихней не надо... Пьяницы эти марш играют, а бесы пляшут, радуются. Тпфу! И ограды мне на могилу не надо, надо только крест деревянный. Лишь бы отпели, а там хоть в болото пусть кладут... Я никому не завидую. Мне еще отец Асинкрит, Царствие ему небесное, говорил: «Бог тебе богатство дал. Гос-

подь тебе знание дал, разумение и голос. И должна ты благодарить Господа». Я и вправду богаче всех. Кусок хлеба у меня до смерти, и одежды — не сносить. Еще после моей смерти жечь придется. А что старые платья, наплевать. Все проехало уж теперь. Не Абрам и смотрит, не Макар любит, не Захар интересуется. Мне теперь какие женихи? Надо ждать жениха Лопатина, Могилевской губернии из села Гробовщиков. Этот — всех берет. Так что богатства у меня — через борта. Плохо только, покаяния настоящего нет. Как бы надо идти к покаянию, не так, как мы, грешные, каемся. Такого покаяния нет. А службу я без ума люблю.

*Горинское,
октябрь — декабрь 1980 г.*

НАША ШУРА

В сорок первом году, в октябре шла я из заключения на Вологду, в Пошехонский район. Женька у меня еще грудной был, а Колю своего я три года не видела — с самого ареста. Прихожу в Кузьминское, и вот идет мой Коля мне навстречу по деревне — шубейка маленькая, обтрепанная, идет и поет во всю головушку:

Милая моя, на кого похожа, — ух!
У тя курицьи глаза, петушечья рожа, — ух!
Хорошо тебе, товарищ, тебя matka родила, — ух!
А меня — чужая тетка, matka в лагере сгнила, — ух!

Ему кричат: «Коля! Мать идет!» А он: «Какая мать? Мама-то, я знаю, какая была. Мама была в белом платье и бегала люто. Как вон теленок. Никому ее было не догнать. Как за хвост теленка схватит, так он и падает». (Это еще до ареста было. Теленок у нас все сосал корову. А я его догнала, как за

хвост дерну, он и повалится. Вот это ему и далось, это он и запомнил. Все говорил: «Мама бегала лото»). А как меня арестовали, он у меня посреди полу остался. Трехгодовалый. И целый год не знала, где он и есть. Я из заключения все писала, да мне никто не ответил. А мне тут посоветовали: «Напиши в районную милицию». Через две недели мне и пришло: его батька взял. Уж он вторично тогда женился, так и жил в Телепшине... Я ведь сама-то как замуж вышла. Меня там все в сельсовет таскали и говорят: «Выходи замуж, да и будешь жить. Тогда тебя не арестуют. Ты уж будешь тогда не лишенка, не монашина». А жила я на квартире у тетки Феклы, а Иван-то через дорогу, напротив. Он и моложе-то меня был. Они меня всей семьей ходили уговаривать. Немного мы с ним нажили. Да и не венчались, так что я его и за мужа не считаю... У них семья эдакая — ни одного дня нет, чтобы у них без скандалу. Как Коля у меня родился, так я вскоре и ушла от них. Тут уж я Бога стала молить: «Выведи, Господи, меня из Телепшина. Хоть через тюрьму, а выведи... Ладно-хорошо... Так что после ареста моего Колю батька с мачехой забрали. А держали они его худо, голодовка была... Колю-то в Телепшине знали. Вот он трехгодовалый придет да встанет у магазина. Ему и дают. Говорят: «Это ведь Шурин паренек». Надают ему денег на буханку. Купят ему буханку. А батька уже стережет: «Пойдем домой!» Хлеб-то у него дома и отберут. Потом это все узнали. Стали Марии Павловне давать денег, пекарке. И ему сказали: «Ты ходи есть к тете Мане. Она тебя будет кормить». Ему четыре года не было, он от отца пошел в Вологду — за десять километров — к крестной, к Марии, к товарке моей. Его вернули, а потом так и отправили к ней. Петро Кузьмич его привез зимой — да без валенок. Ноги половиком завернуты. А мои чесанки новые так у них и остались. Не отдала мачеха. Они все забрали. У меня ведь остался парнишка — восемь рубах у него было. Они все своих маленьких одевали. Пришел — только шубенка на нем. Я по этой шубе его и узнала. Я ведь

шила ее сама. Вся уж истрепалась — три года носил. Он у них и на постели не спал. На лавку постелют половик — ложись тут. А в Кузьминском они с Марией, с крестной, жили у председателя Розина. У него низовка была, первый этаж — вот там и жили. И я с Женькой туда пришла. Я пришла, а у Марии моей тоже уж ничего моего нет. И рубашки у меня нет — с дороги надеть. Выпарилась в печке, пришлось кофту с юбкой так надеть. А Мария говорит: «Все твое украли». — «Какие воры, — говорю, — интересные были. Все мое украли, а твоего ничего не тронули?» А Коля-то как ни мал был, а помнит: «А вот, — скажет, — это мамин ведь был платок. Теплый-то, новый-то, серый-то». И тут же опять Марии шепнет: «Ты тетке-то не давай». А ее спрашиваю: «А шаль-то моя жива ли?» У меня шаль новая, хорошая, пуховая была. Мы с ней обе по шали купили. «Ой, — говорит, — я ведь твою шаль заложила за пуд муки». — «А зачем же ты закладывала? Ведь ты после меня восемнадцать пудов хлеба получила? Я ведь тебе из заключения доверенность посылала». (У меня заработано было. Я в заготскоте косила овес.) А она: «Так я твой хлеб по займам раздала». А про шаль врет, это она племянке своей отдала. А тут опять Коля: «Крестная, а еще два маминых полотенца у тети Опроси». — «Ой, — говорит, — дурачок. Я ведь тоже заложила. За муку». Да.. За муку заложила, а парнишку по миру водила. А Коля — ему седьмой год — никак меня не признает. Уж я тут и одела его, сшила ему рубашку хорошую, а штанишки, башмаки купила. Всю деревню обошел — хвастался обновками. «Да кто же это тебе справил, Коля? Мать?» — «Какая мать?! Будто не знает... Тетка эта. Научилась одеяла стегать да вязать, вот и говорит: я — мама». А то пойдет наверх к хозяину нашему, к председателю Розину. «Дядя Розин, как бы эту тетку выгнать? Ведь из-за нее моя мама не придет. Письмо давно пришло, что мама освободилась, а все не идет». Розин говорит: «Ну, давай, ты придумывай, как ее выжить. А я тебе помогу». Заревел: «Я придумал». — «Ну, и

чего ты придумал?» — «Да свеземте в город этого парнишку, Женьку. Она за ним пойдет, да уж и не придет больше». Да... А я как пришла, так без работы уж не сидела. В Кузьминском-то. Неделю прожила, а война-то, сорок первый год. Всех забирают. А ни у кого ни носков, ни теплых варежек. А председатель сельсовета говорит: «Наша Шура приехала. Скорее ее никто не сделает и лучше не сделает. Несите к ней. Она и берет буханку хлеба за пару». Мне и потащили. А у меня как сутки — так пара и вылетела. Коля, бывало, щиплет шерсть. А я ночью напряду, я прясть быстро. Шестидесят восемь пар связала в зиму-то. Я уж себе и шерсти заработала. Себе валенки скатала и Коле скатала. На Пасху нам скатали. И постелей ведь у нас не было. Мария одно: «Все твое украли». А я бабам говорю: «Принесите мне куделей из гребей». Они мне двадцать шесть куделей и принесли. Я весь этот лен опряла да две постели и выткала. Живем... А тут у них в школе техничка спилась. Ее и посадили — на работу не ходит... Мария у меня ушла гулять с Колей. Он все с ней ходил. А я сижу, вяжу чего-то. Приходят ко мне учительницы две: «Поступай к нам в технички. Посадили Параню, техничку. Два года ей дали. Она уж который день на работу не выходит». Тогда ведь строго было. «Завтра, — говорят, — приходи принимать». — «Ладно». Я и довольна. Паек мне тут давать будут, карточки. На себя и на ребятишек. Потом на меня одну давали — триста грамм. И жить тут я в школу на квартиру перешла. Я за всякую работу бралась — я ведь с детства не наважена. И домовничала, и в огородах работала. Была у нас там Маша-Гаша. Тоже ходила работала, помогала, как и я. Она в девках деток наносила. С мужиком тут жила. И работу она делала хорошо, только за ней трое деток идет. И она везде садится за стол, и они трое. Скажет: «Садитесь». И деток своих садит. Так вот ее накорми да их накорми. В такое-то время. Вот и не стали ее брать никуда. А я все одна ходила, пошто я в люди деток поведу? Меня и брали. На Пасху по девять изб я мыла. Тогда и

крынка молока больно дорого стоила. Я преуюсь, принесу деткам домой крынку молока, да еще и кусок хлеба. Надеются. Это большое дело было. Бог нигде не оставляет. Так и живем... А Коля меня все мамой не называет. Целый год. А тут заработала я хорошей пшеничной муки. Уж и не помню за что. И напекла я нам пшеничных пирогов. Сели есть. Я ему отрезала середку пирога. Он попробовал: «Ой, мама, я ведь и не ел такого-то пирога». Первый раз мамой назвал. Ладно, хорошо... Дожили до лета. А на Иванов день пришла из Телепшина мачеха его — Мария. «Ивана-то, мужа-то, — говорит, — убили». Погостила она у меня. А Коля с ней даже и не поздоровался. А на прощание я подаю ей полпирога. У нее ведь ребятишки. А Коля подошел к ней да и вырвал пирог-то. Мне говорит: «Ты, мама, видно, меня не жалеешь нисколько». Я говорю: «А чего? Надо ребятишкам-то». — «А ты знаешь, — говорит, — они у меня все вырывали, убирали мой хлеб». А она тут: «Ой, дурак, ой, дурак, ой, дурак». — «Ничего, — говорит, — не дурак». А я ему говорю: «Отдай это. Алешке да Люське — хлеба-то пошли им». А голодовка страшная, целыми семьями умирают... Вот пошла я в церковь ко Спасу. Тут от Кузьминского семь километров. Я уж и службу там правила. Прихожу из церкви. Мария Михайловна, учительница, говорит: «Шура, подавай в суд». — «Чего?» — «У тебя обыск делал Хазов». А это сосед наш, у школы жил. Он меня сразу невзлюбил. А я: «Да хоть каждый день делай, я не запрещаю. Ты же знаешь, я не запираю». Это он колосков у меня срезанных искал. Тогда за колоски-то сажали. Без разговоров. Смотрю, он и идет. А вчера, я сама видела, евонная дочь весь день колоски срезала. Я говорю: «Иван Петрович!» — «Чего?» — «Ты ведь ошибся обыск-то делал». — «Почему?» — «Потому что у тебя надо обыск-то делать». — «Как это? — такая мать», — изматюгался... «Так, — говорю, — у тебя дочка вчера весь день колоски обрезывала. Я все видела. А мы никто не сорвали и колоска. Пожалуйста, ищи у меня хоть каждый день». — «Так чем же ты кор-

мишься?» Я говорю: «Обо мне три прихода молятся, чтобы не умерла. А об тебе три прихода молятся, чтоб ты скорее подох». А потом они правда все умерли — и жена, и он, осталась одна сноха. Ведь семьями у нас умирали... А я тут еще и заболела — операция была у меня. Нельзя мне стало техничкой работать, так дом в Михееве — по соседству — купила. Восемь лет в своем доме жила. Михеево от Кузьминского полтора километра. Тут все деревни рядом — Михеево, Горка... Это тот дом, что я за машину выменяла, за швейную. Хорошая у меня машина была... А в Михееве я пасти стала. Порядилась. За двенадцать пудов хлеба и за пятьсот денег. Сто двадцать четыре головы да телята. Там все вместе — и деревенские, и колхозные. И потом выговорила, чтобы мне избу покрыть соломой. Ну, и кормить, конечно, кормили. И летом двадцать килограмм муки на месяц. И молока литр в день — пока пасешь... Ну, я поряжаюсь, в первую очередь говорю: «До Егория, какая угодно будет погода — не выгоню». А бывает, и кормить-то нечем... «Надо — выгоняйте, до Егория пасите сами. А в Егорьев день я схожу в церковь. Я — именинница. Себе молебен — царице Александре, скотине молебен — великомученику Георгию. Водосвятный». Они деревней соберут денег на водосвятный-то молебен, принесу им всем воды бидон. Им дам — в доме каждый окропит, а потом всю скотину окроплю — и колхозную, и ихнюю. Это — на второй день. Говорю: «Кто будет пускать телят с коровами сейчас, пока не окропила...» Беру крест, беру икону Георгия, три раза стадо обойду... «Ну, теперь, — говорю, — скотину в поле не бейте — вы не хозяева. Бог пасет у меня... Эй!» — и скотина за мной вся. Я никогда и не ходила сзади скотины. Все вперед, и вся скотина за мной. Весь день за мной и ходят. У нас и дома ни Тятя, ни Мама скотину никогда не били. А весной у нас скотина выгонялась, как вымытая. Ведь у Тяти такое место соломы было — по двести суслонов ржи. В неделю раз он во дворе стелет солому. И стелет сам, рядами. И навоз потом легко выво-

зять. Соседи, бывало, Маме говорят: «Ты, Пелагия Автономовна, чего-нибудь да знаешь. Слово какое. Вон как скотина твоя домой бежит». А Мама: «Знаю, знаю. Как же не знать? Вот по ведерку им припасу пойла, да еще муки туда подсыплю, отрубей. Вот они бегом и бегут». И никогда мы не бежали за скотиной. А у нас-то там на Водеге в колхозе скотницы — гонят их, да с матом, с батогами. «Ой, — кричат, — Шура, помоги загнать». А я: «Только отойдите вы. — И скотине: — На место, милые, на место. Вон твое место. Беги на место». Они зайдут... И они тоже говорят: «Ты чего-то знаешь». И председатель колхоза Павел Тараканов тоже... Я ему говорю: «Вот я у вас сколько годов пропала, и ни одна скотинина не пропала». А он: «Ну, дак ты со словами». — «Ах, я со словами?» — и не пошла к ним больше пасти. Он потом приходит, зовет. А ему: «Ты ведь партийный человек, председатель. Как тебе не стыдно это говорить?» — «А почему?» — «А потому, что мертвый потонул. Никаких слов у меня нет». Женька мой обойдет с крестом да иконой весь выгон. Георгий Победоносец — иконка. Потом на елку ее тут повесим. Так она там и осталась. Три раза так обойдем. Как мы начали пасти, так Женьке еще восемь годов было. Бывало, побежит за коровой, ругает ее, чуть не плачет: «Ты страшная... на рукомойник ты похожа. Ты погляди на себя — какая ты есть. Ты — дура!» Да и заревет. А быки-то его любили. Бык Фомка все ходит по выгону, ищет, где Женька лежит. Найдет его, так рядом и шлепнется. А Женька из него все вытаскивал каких-то гадов... Толстые, а голова тонкая. Всех их вытаскал у него... У меня ведь ребятишки не воровали, так их все люди жалели, все их любили. Бабушка Варвара Коле говорит: «Ты уж ко мне почаще ходи. Вот бы надо матери твоей сходить одеяло отдать выстегать, да мне не дойти». А он: «Выстегаем, баба Варя, я умею». — «Как ты умеешь?» — «Да так. Я ведь видал, как мама стегает. Давай выстилай». Наметил: «Выстегаем, баба Варя, сами... не понесем». Он уже у меня в Колодине учился... Вот и выстегали. Она его неделю

кормила. В такое-то время... А то у меня соседи Куликовы были. Эти все воры. И мать, и отец, и три парнишки. А она все говорит: «Какие у меня ребята путные — все в дом тащат». А я ей: «А я своих за эту путность убью. На ногу встану, за другую раздерну». — «А у меня все несут». Я говорю: «Анна Александровна, у тебя огород-то вон какой большой. Неужели тебе своего луку не насадить? Больно он недорог». А тут ребятишки по ночам воровать идут. Так и батька ходил с мешком за зеленым-то луком. А как выросли они, так все и по тюрьмам, так уж и не выходили. За хулиганство, за воровство — все три сына. А я тут пошла домо-вничать за пѣакилометра. А у меня мешок пшеницы был, за пастушню заработанный. Утром прихожу — отперто у меня. Я сразу в чулан — мешка нет. Я побежала к соседу Володюхе: «У меня мешок пшеницы украли». А бабушка Марья говорит: «Ой, девка, да я ведь и видела. У тебя огонь-то засветился ночью. Ой-ой-ой, как жалко». На санках увезено-то — след есть. Говорят: «Это — Витька Репин». Я к ним пришла, меня мать его Люба еще и отругала: «Как чего пропало, так думаете, уж и Витька!» Ну, ладно, взяли — пускай берут... А через два дня выборы. Они все были в Колодине. Приехали в Колодино. Ко мне подходят люди-то, говорят: «Тетя Шура, у тебя пшеницу украли?» — «Украли, милая, да что поделаешь». — «А мы, — говорят, — знаем, где твоя пшеница. Ваня Седой купил у Витьки Репина». Я подхожу к Володе — к евонному дяде, он сирота. Лет ему четырнадцать было, Витьке, без отца рос. Я дяде и говорю: «Люба-то меня отругала твоя. А пшеницу-то Витька ваш украл». — «Да что ты?» — «Да, — говорю, — вон Ване Седому продал». — «Ну, — говорит, — отберем». Он пришел домой, видно, там поругали этого Витьку. Он бежит ко мне: «Тетя Шура, я уж не поеду за мешком. Съезди ты сама. Я ведь боюсь и ехать туда. Ведь он мне не отдаст». Я говорю: «Мне отдаст». — «Ты поди и в суд подашь?» — «Нет, — говорю, — почто мне суд? Нашлась, так чего тут в суд подавать, по судам ходить. У

меня у самой два растут, может, еще хуже тебя будут. Нет, не буду подавать». Пошла, прихожу к Ване в Климовское. «Ваня, пшеницу купил?» — «А тебе какое дело?» — «Давай мне мешок пшеницы!» — «Плати деньги!» — «Нет, не буду платить. Я у тебя не покупаю, я за своим пришла. Давай без разговору! А то сейчас Митрий Григорьевич придет, депутат». Подал мешок. И уж он меня, он меня катит по-всякому. «Ничего, — думаю, — пойте молебен мне сзади». А мешок-то я домой повезла. Вечером прибегают Витька. «Тетя Шура, получила?» — «Получила. Будь в покое. Скажи Любе и Володе, чтобы не ругали тебя. Больше воровать не ходи». — «Тетя Шура, больше никуда не пойду». — «Не ходи, милый. Видишь, как худо воровать-то, стыдно...» А Седой-то мне больше году на глаза не попадал. А тут к зиме на четвертый день Знаменья у меня бабушка Татьяна сидела. А огня-то ни у кого почти не было, у одной меня из всей деревни. Вдруг слышим, стучается у калитки. А у меня изба старая была, а запоры хорошие, поперечные. Я выхожу: «Кто?» — «Да я, Ваня». — «Чего тебе надо?» — «Бабушку Татьяну». Отперла я. «Бабушка Татьяна, я к тебе». — «Вижу, батюшка, что ко мне. Чего тебе надо-то?» — «Балалайки». — «Да ведь у меня без струн». — «Ничего, — говорит, — давай и без струн». Она встала, пошла, а меня он вот эдак за шею ухватил. «Ты что, — говорю, — сшалел?» Они пошли, я и заперлась. Он там сходил, ну, без струн — куда балалайку? Обрат-но идет. Опять стучается. «Кто?» — «Я». — «Тебе у меня делать нечего». — «Найдем работы». — «Ах, ты седая б...!» Я другим ходом выскочила и к соседям: «Ванюха! Володюха! Седая б... пришел ко мне ночью работы искать!» Они соседи хорошие, они с ума по мне сходили. Они высказывают, один кол схватил, другой — оглоблю, да и за ним.. Всей деревней прогнали. На другой день всем известно. «Что, Ваня, не нашел работу-то?» — «Да ну ее. Она дура ведь нагольная». — «К такой-то дуре и пошел работу искать...» Ладно, хорошо... А я к своим ребятишкам все говорила: «Чего вам надо, я из-

под земли достану. А узнаю, что украл, — убью. Ни за что не убью, а за это — убью. На одну ногу встану, да за другую раздерну». Так мы с ними шесть лет и пасли... Да тут ноги у меня разболелись. Боли — страшные. Вот обуваюся, — а ведь надо пасти идти, — обревусь вся. Я уж и сапоги большие резиновые мужские достала. И опухоли никакой на ногах нет — ничего. А боли страшные. Два года мучилась. Чего-чего не делали... И уколы мне прописывали, и сидеть на муравейнике. А тут наши ехали к Спасителю, это в Тутаев. Там у них икона большая, явленная. И Женька мне: «Мама, поезжай ко Спасителю. У тебя ноги-то и заживут». — «Да и ехать-то не в чём». А он: «Да я к тете Опросе сбегая, тебе сапоги резиновые принесу». Принес, дала, говорит, ко Спасителю съездить. А голодовка-то... Я ему говорю: «Ты муки тете Опросе снеси, она тебе колобух напечет». И вот поехала. Приехали в Тутаев, в церкви там и ночевали — в соборе — там всю ночь поют, молятся. Икона — Спас Нерукотворный. А утром до обедни все пошли мы на источник, три километра от собора. Тогда еще его не заваливали, он сильно бьет. Я ноги-то и поставила. И вот, веришь, оттуда пошла — туфли свободно надела. С тех пор вот уже почти сорок лет ноги у меня никогда не баливали — исцелил Спаситель... Летом-то у меня грибы, ягоды, летом пастушня. А вот зимой-то... И ведь полями хлеб да картошку заваливало — а тронуть нельзя, сейчас посадят. Десять лет — без всяких разговоров! У нас на горушке, помню, целое поле картошки некопаное — семь гектар замерзло. А к весне совсем есть нечего. Я получаю на троих на неделю кило триста хлеба. А Коля мой уж в Колодине учится — пятый класс. Из церкви в воскресенье иду я в Юрьево, за тринадцать километров. Там в Юрьево и получали хлеб. Прихожу домой. Кило триста. Надо Колю в школу отправлять. Надо с собой хлеба дать. И Женьке надо дома оставить. Женьке отрезала маленько, даю: «На, Коля». Его проводила за реку. Пошел в школу. Пришла домой, думаю: «Господи, что делать?» Женька гово-

рит: «Пойдем, мама, собирать горох гусиный на гуменнике под сеном». Ничего и не набрали. А день хороший — солнце. Я гляжу: на горушке, на картофельнике на этом — там прогалинка. Оттаяло. А туда попасть как? Снегу вот по это место... «Пойду, — думаю, — с топором. Может, чего и вырублю». Пошла. Снегу столько... «Пойду, возьму лыжи». А на лыжах не ездила — одна туда, другая сюда. Все-таки добралась до прогалинки. А тут конюх у нас был, смотрит издали на меня: «Ой, такая мать, медведь — не медведь, человек — не человек». Пошел домой, выстрелил кверху. Если медведь — так побежит... А я и пробралась. И в аккурат только одна ботвина вытаяла. Я ее вырубил. И лежат, как яички, пять картошин. «Ой, — думаю, — слава Тебе Господи!» Принесла домой. Говорю: «Женя, не умрем!» — «Слава Богу, мама, не умрем». — «Не умрем! Сегодня я испеку колобуху». Истолкла картошины и испекла на сковородке. Пополам разрезали и съели. Слава Богу! Сегодня поели. А день-то хороший... На другой день пошла туда — пять колобушек нарубила! И уж больно хороши — белые, как пшеничные. Испекла, говорю: «Ешь!» Два раза мы поели. На третий день пошла — полведра нарубила. Принесла. А еще никто ничего не знает. Соседи-то. Напекла. Думаю, если сегодня Бог нищего какого пошлет, досыта накормлю. Хватит. И Женька тоже это говорит. Это мы, значит, до среды дожили, это в среду я нарубила.. И только Женьку я накормила — идет нищий. Волосы дыбом — как со страшного суда сбежал. «Здравствуйте». А ведь и я симпатичная — под глазами такие вот мешки висят — с голоду-то. Пеку колобухи. «Пилы точить, — говорит, — ножницы!» — «Ножниц нет, — говорю, — в дому, и пил нет в дому». — «Ну, дак милостыньку». — «Садись, — говорю, — на порог». Он мне почти все колобухи обделал. Думаю, оставить хоть Женьке-то... Ест да похваливает: «Ну и хороши... Пшеничные? Как ты хорошо живешь, — говорит. — Ты с кем живешь-то?» — «Вот с ребятишками, — говорю, — один в школе, другой на печке». — «А где твой муж?» А я

говорю: «Объелся груш, да утащил его уж». — «Ой! Да ты без мужа эдак живешь? А ведь поди плохо без мужика?» А я уж догадалась, чего он говорит. «Да ведь плохо, — говорю. — Вот картошки мороженой нашла, вырубил, да едим. А мужика-то не вырубил». — «Да, да, милая, да, милая. Да, мужика трудно найти, да, трудно». Знай заливает, наелся. Потом говорит: «Давай-ка возьми меня. Будем жить». — «Ой, — говорю, — эдакой-то хороший, да и пойдешь ко мне, к такой страшной?» — «И пойду, и будем жить». — «Ой, — говорю, — такой-то ты хороший, да без рубашки». — «Да ведь и у меня-то рубашки нет». — «Так как же будем жить-то?» — «Наживем!» Я говорю: «Один ты без рубахи ходишь, а у меня ребятишки. Катись к такой матери да не оглядывайся. Чтобы твоя нога тут не была! Думаешь, я тебя из-за этого кормила? На что ты мне нужен?» Так ведь год не попадался навстречу. А потом, что ты скажешь, женился, взял Лизу в нашей же деревне. Дура она была нагольная — заработала в колхозе два мешка хлеба, надо взять Сашу. Пошто?! Я говорю: «Пошто ты берешь? Ведь у тебя ребятишек двое?» — «Да ведь что ты... Ведь он молодой мужик». А я: «Да что в нем толку. Один и по миру бегает. Маленько-то у тебя голова-то варит?» — «Да чего там...» Раздерутся — ко мне идут. Оба идут ко мне. Я уж когда дом в Михееве продавала, он ревел, как корова, — некуда будет от нее бегать. А потом уж все у нас в деревне про картошку мороженую эту узнали и стали печь колобухи, «тошнотиками» их называли... Надоели они потом — сладкие. Был у меня такой протвешок — испеку их три протвешка. Утром ребятишкам дам по три колобушки и в обед — по три колобушки. И вечером — по три. А Женька не ест, все свое уберет. Буду пол мыть — в платке завернуты... Не ест, а все убирает, — может, потом захочу. А потом у нас вика была некошенная, он туда стал ходить. На эту вику. Пойдет. Стакана два наберет. Я ему и сварю. Это он уж лучше ел. А то ячмень ходил подбирать — тоже прошлогодний. Ячменю в котелке при-

несет. Может, грамм триста. Я ему смело. Испеку... Пойдет. А соседка Поля кричит: «Женя пошел?» — «Видишь сама, — чуть не плачет, — задерживает. Пока задерживает, он бы уж горсть набрал». — «Погоди, и я пойду». — «Погоди, погоди, сама еще кошелится». А она не пойдет, нарочно его. А ведь еще холодно. Идет домой, замерз. А она: «Женя, озяб?» — «Видишь сама, что озяб...» — опять заревет. «На, — скажет, — стакан молока выпей». — «Нет, мама меня испорет всего из-за тебя». — «Я не скажу, я загорожу». — «Тетя Груша увидит». — «Да я загорожу, выпей». Придет домой: «Я, мама, не брал, она заставила меня. Я не просил». А на Страстной Коля пришел из Колодина, а мы с Женькой оба страшные. У меня вот такие мешки под глазами висят, а у Жени ноги тоненькие. А лапы вот какие... «Ой, мама, — Коля говорит, — вы ведь умрете». На второй день побежал в Полтинкино. Бабушка Настасья оттуда послала мне пять здаких картошин больших. Хороших. Хлеба тоже послала... А ведь везде голодовка. А там, он видит, на поле рубят кочерыжки — после капусты на поле остались. «Ой, какие, — говорит, — мама, хорошие. Я попробовал нарочно». Пришел домой, а у нас еще и не знают этого дела. Схватил корзину, взял ножик — притащил корзину нам этих кочерыжек. Я их все обиходила, сделала. И два противня сделала колобух... Чего мы только тогда не ели. Липовый лист... Его истолкешь, как мука будет, больно уж хорошо. Только у меня от него по всему телу провалы пошли, двадцать два провала по кулаку. Мне не наклониться, не пошевелиться. А ребятишки у меня тут лен дергать ходят. Они соседке Кате помогали дергать. Так вот вечером она несет нам маленькую чашечку муки да пять-шесть огурчиков. Ведь тогда на четыре дома одну корову держали — по одной титьке... Липы все объели, за конским щавелем по пять километров ходили. Корова сдохнет, ее зареют. А народ уж видит где — ночью откопают... и едят. И от этого многие помирали. Да что там околеватину — людей мертвых ели. Была у нас такая, я уж про нее слы-

шала. Да и была она у меня. Про нее уж все тут знали. Она уж отсидела да из заключения шла. Зашла ко мне ночевать. Я ведь всех пускала — все знали. «Я, — говорит, — иду из заключения». А за что — не рассказывает. А я-то ее узнала. Я спросила фамилию, имя. Я уж знаю, кто это. Она девочку, свою дочку, — эту она мертвую съела. Сварила да и съела. А потом и сына Ваню убила да и съела. Я ей и говорю: «Как же ты так сделала? Ванюшу-то?» А она говорит: «Да он мой. Из меня шел — в меня и пошел. Так и должно быть». Голодовка. А девочку первую она мертвую съела. Свезла пустой гроб, закопала. А ее изрубила и сварила. А я: «А как же у тебя руки-то на него поднялись?» А она: «А мы, — говорит, — пошли с ним к моей матери. У нее корова. Она подоила корову и несет. Мне стакан наливает молока, а Ване-то целую кружку. А я говорю: “Мама, кабы не было у меня Вани, ты бы мне целую кружку налила бы”. А Мама говорит: “Дура, да ведь он маленький. Ему надо”. И так мне обидно стало. Посидели мы у нее, я говорю: “Пойдем, Ваня, домой”. Домой пришли. Я ему говорю: “Будем мыться сейчас. Давай раздевайся”. У меня стул деревянный тут стоял у стола. Ваня сел на стул на этот. А я: “Раздевайся, раздевайся, сейчас будем мыться”. Он и разделся. “Сначала, — говорю, — поиграем в прятки. А потом полезем в печку. Ты наклонись, а я буду прятаться”. А топор-то у меня тут лежал. А ему видно. “Нет, — говорю, — ты не эдак. Ты вот так положи голову, чтобы тебе не видеть”. Он и положил. А я топором — так голова и откатилась». А я тут: «И ты в уме устояла? Не сошла с ума?» — «А что? — говорит. — Я все изрубила. Посолила в ведерочко. И стала есть помаленечку... А соседи спрашивают: “Где у тебя Ваня?” А я говорю: “Ушел к сестре”. Там справились — нету Ваньки, не бывал. Милицию потребовали. Милиция приходит, а я говорю: “Ушел он, не знаю я. Надо бы искать его”. А челюсть-то и лежит на окошке. И милиционер эту челюсть-то и взял в карман. К доктору. А она — человеческая». Ей семь годов дали... Так она у меня и

ночевала. Я ее напоила, накормила. Только уж больно страшно... Ко мне, бывало, все идут. Вот приходит нищая бабушка Акулина. У ней и сын есть, только они ей не помогали, она по миру ходила. У нее была двоюродная сестра в Савинском, она все к ней приставала.. Приходит она ко мне, говорит: «У меня есть две меры мелкой картошки.. Я, наверное, умру». (А уж вся опухшая.) — «Ну, что ты, — говорю, — бабушка Акулина, поправишься, может». — «Нет, милая. Вот я умру, так ты эту картошку себе и возьми. А у меня боле ничего нет. У меня простыня есть да полотенце. Это я умру, так ты мне саван сделай. Ты все сделаешь, я тебе доверяю». И правда, она тут через два дня умерла. А картошку я и не взяла, у меня тогда была своя картошка. А то еще бабушка Прасковья Ковалева. Это — богачиха страшная. Сначала у нее муж умер. Она ко мне идет: «Шура, дедушка у меня умер». — «Ну, уж, — говорю, — ему годов-то много». Она говорит: «Восемьдесят шесть». — «Ну, так чего же. Два века ведь не будет жить». — «Приди, — говорит, — почитай по нем». — «Почитаю, приду». Пошла, почитала. Надо хоронить. Я говорю: «А саван?» А она: «Матушка, не из чего шить». А я: «Не дам тебе с лавки взять покойника. Дедушке Ивану жалеешь на саван? Да как тебе не стыдно?!» — «Так где же мне взять?» — «Не ври! — говорю. — Я знаю. Пожалуйста, не ври». И приносит — суровая тканьина: «Вот только и есть». — «Ну, эта, — говорю, — годится». Я взяла да всю ее и искроила на три полотнища, чтобы ей не осталось. «Вот теперь, — говорю, — ладно». Похоронили. Такое богатство, всего — хлеба.. Хоть бы собрала бедных покормить. Нет... Испекла калачиков эдаких — всем по калачику подала. И все. И спрашивает меня: «А батюшке за отпевание чего?» А ведь и у батюшки ничего нет — голодовка. Я говорю: «Батюшке, отцу Георгию, снеси муки». — «Ой...» Я говорю: «Да! У тебя, — говорю, — много сгниет». — «Ну, так ладно, ладно, снесу». Пошла и ко мне по дороге зашла: «Вот несу. Ты не думай, что не понесла». Ну, килограмм семь-восемь. Это

— отцу Георгию. Обратно идет. «Снесла. Ой, как благодарил! А на сорок дней испеку ему каравай — настоящий, большой»... Уже не знаю, испекла или нет. А потом она сама заболела — люто болела, месяца два. Тяжело болела. Приходит ко мне ее сноха: «Пойди, почитай по бабушке Парасковье». — «Так а чего? Она не умерла еще?» — «Нет. Ей надо читать за болящую». Я пришла к ней, за болящую прочитала. А она: «Читай!» — эдак вот. А я: «Чего читать-то? Я ведь за болящую прочитала». — «Читай, я сказала!» Я говорю: «Не кричи». Тут я на исход души ей прочитала. «Пойду, — говорю, — домой». — «Читай! Не отходи. Ты читаешь, так мне лучше. Ой тяжело, ой тяжело». Я говорю: «Конечно, тяжело. Поди как всего жалко?» — «Ой, не говори. Эдакое-то место всего-то. Семь пар новых валенок. Два тулупа. Одежда шубные новые, это меховые». И все эдак: «Читай! Читай! Читай!» Но вот померла. Тут я по ней опять читала. Сноха говорит мне: «Саван-то не знаю из какой тканины?» И выносит целый ворох — да тонкие, хорошие все. А я говорю: «Не из какой из этой не сошьем.. Вот из этой». Да и взяла самую грубую да худую. «Почему?» — «Нипочему, — говорю, — она дедушке-то пожалела, вон из какой мы сшили. А ей — что?» Ну, уж по ней-то сноха сделала поминки. Отец Асинкрит приезжал, мы с ним отпевали. Ночевали тут у них. Про нас все настряпали постное. Сноха-то хорошо все сделала... Ладно, хорошо... Мне-то еще и не так плохо было, как людям. Мне-то еще многие и помогали. Вот и матушка Еликонида. Она на квартире в Яковцеве жила. От Михеева три километра. Сначала-то после монастыря она в Грамотине жила, просворы делала. Она и меня там научила. Ведь всех нас тогда выгнали. А потом, как в Грамотине церковь закрыли, она уехала на родину, приехала за ней племянка. Увезла ее. Далеко туда, станция Вожега. Там она прожила год и приехала опять обратно. И у меня жила зиму — еще в Кузьминском. А в Яковцеве она в колхозе работала, она работать любит. Она все сеяла. А было ей уж годов восемьдесят с

лишком. И все работала, все делала до последнего. И все сеяла. Ее все звали — и мужики, и бабы — матушка Елико-нида «Матушка, у нас посеешь?» — «Посею, посею. Что эдак делать-то?» Раньше ведь руками сеяли. Она получала хорошо. И каждую неделю бежит ко мне в Михеево. «Шурка, я об тебе с ума схожу!» Я говорю: «А чего?» — «Как уж ты с хлебом-то? Ведь у тебя ребятишки». — «Да гляди-ка, у меня много». — «Ой, Шурка, ты все довольна, все много... Какой же это хлеб? Дура, у меня мешок муки стоит». И полкаравая мне подает: «Ты себя-то не обижай». Картошки мне принесет. Еще луку. «Вот это, — скажет, — вместо масла. Ты луку-то покроши». А болела она у нас недолго. С месяц только болела. А хозяйка все не сказывала, чтобы я-то не пришла к ним — чтобы все имение ей осталось. А она лежит и просит: «Да скажите Шурке-то, что я хвораю-то. Мне надо Шурку-то...» А мне все не говорят. А потом Аннушка к ней пришла, Александра Ивановича дочка. А она: «Как мне надо Шурку. Ведь она не знает, что я хвораю». — «Я, — говорит, — схожу сегодня». Она за мной и прибежала. А я: «Мне сегодня и снести-то ей нечего. Погоди, хоть я клюквы...» У меня клюква была. Да брусники чашку. Пошла. «Матушка, да ведь мне и принести тебе нечего». — «Мне ничего уж не надо. Ты мне только компресс сделай». — «Какой тебе компресс?» — «Вот на это место». А я поцеловала ее туда. «Вот как хорошо», — говорит. А я ведь ничего не делала, только поцеловала. «Вот как хорошо-то мне стало. Я знала, что придешь да компресс мне сделаешь, у меня все хорошо будет. Я уж Васе все наказала. Меня хоронить-то в Евдокию». Это она за два дня до смерти. «Да что ты, — говорю, — матушка?» — «Нет уж, — говорит, — Вася придет». (Это сын хозяйки.) А тут за мной приходит Аннушки мать: «Пойдем к нам, почитай. У нас паренек-то больно хворает». Я пошла, почитала. Прихожу к ней опять. Смотрит на меня. «Милая, — говорит, — все, все... У меня хорошо стало все. Прости... все...» И — готова. Я ее тут обмыла, все

сделала и домой пошла. Отвезли мы ее ко Спасу, там отпели ее по монашескому чину, похоронили. Она рясофорная была. Я еще ей в монастыре все правило читала — она неученая была. Ее, бывало, на мельницу посылают, а она: «С Шуркой дак поеду». А я ей там все читала правило. Тридцать лет она управляла скитом, работала, как мужик. Вот пойдем косить, она глазами поглядит, сколько сегодня надо. А там ведь все были подсеки. «Мои, — крикнет, — ко мне! — Нас семь человек с ней косили. — А вы шушера, мякина, говна половина — на эту сторону!» Это — кто плохо косит. Докосим до краю — а земляники-то много, на подсеке. «Шурка! Иди сюда! Вот землянику-то ешь!» А я ведь тоже косить-то люта была. Коса у меня была именная, литовка. У нас только у двоих были такие косы. Любила она меня, царствие ей Небесное! Много мне помогала. Мне вообще помогали. Был у нас Фатичев, он из города валенки возил. Это которые на шерсть выменивают. Жил-то он в Колодине. Вот едет из Пошехонья. А у меня дом-то на дороге. Подъезжает. «Ну, чего сидишь у окошка, как чувырла?» А я: «Своя изба, где хочу — тут и сяду». — «Ладно, давай чаю-то грей». Согрею чаю. Заходит. «Ну что? Поди тебе валенки надо?» — «Так ведь надо, да у меня ни денег, ни шерсти. Чего мне тут спрашивать?» — «Я у тебя ни денег не прошу, ни шерсти. Я тебя спрашиваю: валенки нужны или нет?» — «Так ведь надо, конечно». — «Так и говори: надо». Ладно. Чаю напьется. «Ну, сегодня ко мне не ходи и завтра не ходи, а послезавтра приходи. У меня жену попаришь да полы вымоешь». Вот и все, больше ничего не скажет. На третий день надо идти в Колодино. Приду. А мне валенки выбраны и ребятишкам выбраны. Дочка уж отобрала. Ну, вот полы вымою, выпарю его жену — она у него больная была. Все сделаю. «Ну, погоди, — скажет, — не торопись еще. В огород сходи, погляди, чего там как». В огород схожу, все там сделаю. «Вот тебе и валенки. А ведь тебе поди и варежки нужны — выбирай шерсти». А у него шерсть-то всякая... «Что мало бе-

решь?» — «Да я ведь знаю, сколько на варежки надо». — «А я сказал: мало!» Наберет шерсти с килограмм. «И мне, — скажет, — варежки свяжешь. Чтoб вот эти места широкие, чтобы надевались на рукав». Ладно. Свяжу. А он и за это опять заплатит... Или вот керосин. А тогда не было керосину-то. Как вот едут деревней, нигде огоньков нет. А у Шуры все маленький огонек. А я все сижу — то вяжу, то еще чего — надо все делать-то. А потом у меня стал и керосин. Как стал ездить Овчинников за товаром-то. Это — из леспромхоза. Снял он квартиру рабочим — тут кормить. Тридцать километров от Носова да тридцать еще. А тут остановка.. У Ивана Ивановича сняли напротив меня. А сам-то Овчинников все ко мне. Денег-то везет мешок. Как приходит: «Ну, отворяй ворота». Это у шкафа, у меня. Ставит туда мешок с деньгами. «И чаем меня пой». А я: «А дедушка Иван не осердится?» — «Я сказал: меня чаем пой!» А огня у меня нет. Я пузырек зажгу здакой — масла принесу от Спаса. Он говорит: «Это с таким-то светом?» Говорю: «Да нету у меня». — «Ах, вот что... Последний день сегодня так живешь. Завтра у тебя будет свет. Василий Петрович будет тебе каждую неделю завозить литр керосину». А я говорю: «Да у меня и лампы-то нет»... Василий Петрович приехал и лампу привез, стекло запасное привез. И керосину. Ни у кого нет, а я как богачка живу. Нас Тятя так учил: «Нищим никому не отказывайте, всех пускайте. Кусок-то многие подадут, а вот ночевать не пустят»... И вот в жизни моей я ни одному нищему не отказала. Какие только у меня не были — и вшивые, и больные, по семнадцать человек у меня ночевало... И на лесозаготовку гонят — всё нашей деревней. Гонят их в такую даль, и никто наши деревенские их не пускают. «Вон, — говорят, — Шура там живет, она всех пускает»... Которые послабее, на печку полезайте, а этим я маленькую печку затоплю... Или лен, трясву везут нашей деревней сдавать. Заготовки. На коровах везут — война. И эти ночуют. А еще у меня рязанцы ночевали. Они на лесозаготовки приехали,

семьями. И поселили их у нас в монастыре, в Сохоти. Весь почти монастырь рязанцы заняли. Они зимой приехали — сена нет, а коров своих привезли. Они все и ездили покупать сено-то. На санках, сами их везут — лошадей не было. По шесть пудов накладывают и везут. Бывало, санок по семь, по восемь стоит у меня у дома-то. Ведь в Михееве никто ночевать не пустит. Все ко мне... А я: «Ночевайте. Хлеба у меня нет. А похлебкой накормлю вас». Сварю щей — у меня опенок много засушено, да и грибов. Кислица есть. Котел у меня полуведерный. Печка маленькая посреди полу стоит. Она чугунная, расколотая. Так я кирпичами обставила. Сварится похлебка. «Ой, милая, да как хорошо...» Ночуют и поедут. А потом они какие хорошие. На праздники они ко Спасу на Водогу все идут ведь молиться — больше уж церквей не осталось. Как обратно идут, заходят ко мне. Чего-нибудь да несут. То конфет, то хлеба несут буханку. А я к ним тоже ездила: половики продавать да постели — я за зиму-то натку. Приду к ним в Сохоть. «Сиди, — скажут, — устала с дороги». Сами унесут. Утром несут денежки. Как услышат: «Тетя Шура приехала из Михеева». Бегут — человек пять прибегут. Они и очень верующие. Они мне говорили, что на месте-то, где собор наш стоял, — пение слышали. И много раз слышали... Все и мужики у них верующие. А у меня еще сосед — Григорий Иванович Калинин. Этот говорит: «Ты пошто всех пускаешь? Ведь захвораешь, заразишься от них. Мы тебя лечить не будем. Так в дому тебя вместе с заразой и сожжем». А я: «Это уж как Богу будет угодно». А видишь ты, я не заболела-то, а он. Да и люто, так что помер. А без меня и похоронить его не могли. Не идут мужики гроб делать — он надосажал всем. Он был тайный агент. Про него говорили: «Там собака есть черная. Потихоньку лает, а люто кусает». А как помер, так родня не знает, что и делать, — нет гроба. Я говорю: «Ну, уж не без гроба хоронить. Погодите, я к Гусеву схожу в Зубариху». Пришла. Говорю: «Василий Матвевич, пожалуйста, сделайте гроб Григорию

Ивановичу». — «Ну, к такой матери! Стоит он гроба!» А я говорю: «Жена заплатит. У ней деньги есть». — «Пятьдесят рублей заплатит, так сделаю». — «Да заплатит, только делай, пожалуйста. Уж я тебя прошу!» Ну ладно, он сделал гроб. Теперь могилу никто из мужиков копать не идет — сестра копала. А он ее бил лото — зубы ей вышиб. Вот она закопала могилу, да притоптывает. «Не придешь больше ко мне! Зубы не вышибешь!» Затаптывает да приговаривает. Я ей: «Мария, кончи разговаривать здесь. Ты чего делаешь-то?» — «Я дело говорю. Больше не придет — зубы не выбьет»... Я ведь пятнадцати годов из дома в монастырь ушла, а оттуда с родины ко мне нищие идут и всем я — «наша Шура»: «Где тут наша Шура живет?» От Богослова нищая идет — «наша», из Коробова идут — все «наша». А где я их видела, когда? Одна приходит с парнишком, уж ему седьмой год. А сама-то большая, красивая. И вся в лохмотьях. Пришла ко мне: «Где наша-то Шура?» — «Какая — “наша”?» — «А вот из Янгосаря». Говорю: «Это я». — «Ой, так я ночевать к тебе пришла». — «Ночуй», — говорю. «Я с пареньком». — «Ночуй и с пареньком». Стали чай пить. Я подала свеклы к чаю — сладости-то не было. Она: «А конфет?» — «У меня, — говорю, — никогда конфет нету. Вот, — говорю, — щей похлебай. А хлеба нету». — «Ладно, — говорит, — завтра я обойду деревню-то. Насобираю, так, может, наемся». Легли спать. Ночью, слышу, он титьку сосет. Я ей: «Ты что — обалдела?» — «Нет, — говорит, — я его кормлю». Шляется, вот и кормит. Утром пошла собирать. А то еще от Богослова одна пришла. Тоже к «нашей Шуре» ночевать, утром говорит: «Тетя Шура, не надо ли кому попрясть?» Ей лет тридцать было. Моя соседка ее наняла да кормила, а она ей и пасмы за целый день не напряла. Какая это пряжа?! А она пришла, я аккурат захворала. «Ой, — говорю, — Наташка, у тебя поди вши?» — «Да, и много, тетя Шура». — «Да я вот захворала, я бы у тебя их всех вынала». А утром я и встать не могу, печку-то топить. Заболела люто. Я говорю: «Свари щей.

Вот капуста, вот чугунок», — все указала ей. А она только затопила печку — дым-то валит — тут и поставила Варить-то. В дыму-то. И грибы-то не помыла, эдаких-то шей наварила.. Горькие. Ребятишки хлебать не стали. Я их потом все пугала: «Вот заболēju, а нищяя придет, вам шей наварит». А у нас в Михееве престольный был праздник Знаменье, двадцать шестого ноября по-старому. И пришла ко мне сестра Прасковья с зятем с нашим, с Лидушкиным мужем. «Ну, вот, — говорю, — гости пришли. А у меня для праздника ничего и нет. Пиво, правда, есть». Пиво я хорошее варила, у нас Тятя настоящий пивовар был. «Хлеб, — говорю, — мягкий. Грибы соленые». — «Ой, — говорят, — так и больно хорошо». Я им хлеба нарезала, котелок им пива поставила — пейте. Уж и чаем не буду поить — нет у меня никакой сладости. Ничего нету. «Ладно, — говорю, — подождите. Может, и придут сегодня ко мне. Жду, да не знаю..» А у меня шесть одеял выстегано. Лежат. И она мне тоже принесла одеяло стегать — Прасковья. «Ладно, — говорю им, — ложитесь спать». А я стала ей одеяло стегать — пока они гостят, надо выстегать. Только они у меня засыпать стали, у калитки стучаются. Еще у меня и муки нет. «Тетя Шура, бери муку! — соседка. — Из-за твоей муки и мне дедушка Иван смолот, кабы не тебе, он бы мне и молот не стал». — «Ну, — говорю, — теперь пирогов напеку». Сходила к бабушке Татьяне через дорогу, принесла молока кринку. Все. Растворила пирогов. Опять стегая. Стучаются опять, в двенадцатом часу. Володя едет, сосед тоже. Везет товар в Носово. Варя, жена его, бежит ко мне, стучается: «Тетя Шура, на конфет. Володя привез, велел тебе подать. Полкило конфет». — «Ну, — говорю, — праздник есть. И чай есть, и пироги есть». А зять Иван лежит, все поглядывает. Утром Алексеевна идет — она хлебы пекет на магазин — каравай хлеба несет. «У тебя, — говорит, — гости пришли, заходили в магазин». — «Да, — говорю, — пришли». — «Вот тебе, — говорит, — пол-литра самогонки. Вот тебе два стакана». Думает,

у меня и посуды нет. «Да, — я говорю, — у меня посуда-то есть». — «Ну, принесла, так не принесу обратно. Гостей угости»... Я говорю: «Ну, Иван, праздник на все сто!» — «Чего, крестная?» — соскочил. «Самогонки, — говорю, — пол-литра принесли!» — «Ну, крестная, я гляжу — тебе хорошо жить!» — «Так заработай, и тебе принесут. Ведь мне не так несут. Вставай, — говорю, — Параня, картошку чисть — рыба свежая есть. (Володя привез мне и рыбы.) Пожарим картошки с рыбой, да рыбников напеку»... Идет Анна Александровна, соседка: «Шура, выручи. Дай мне хоть двух половиков. Приехал брат из Рыбинска, а ни постельки, ни одеяльца». А я: «Так вот и постель возьми. Из Рыбинска гость, что уж половики-то. На вот и одеяло дам»... И эта несет пол-литра самогонки. Я гляжу — ну и богато, ну и хорошо. Сели чай пить, а Иван: «Ну, крестная, тебе и живется!» — «А ты спроси, — говорю, — крестная ночи спит ли?» Мне сын Коля, покойник, все говорил, бывало: «Мама, ведь это удивительно, как ты сама с голоду не умерла, да и нас с Женькой не уморила. Ведь мы и полуоколеватины не едали...»

*Январь, 1986 г.
Петрово*

ГОЛОВАН ТОЛСТОГОЛОВЫЙ

Тятя наш после отца остался годовой. А сиротой круглой остался шестнадцати лет. На одном году у него было три покойника — брат, сестра и мать. Два года он жил один. Опекуну у него были — дедушка Илья, сосед тут, он по свойству, только дальняя родня. И еще отец протоиерей ходил к нему, навещал его. Две коровы у него были, лошадь. Работать ему помогали, опекун заботился обо всем. Очень строго его держал. Ведь раньше старших-то слушались и Бога боялись. У меня тятя Бога боялся. Он до восем-

надцати лет и на беседы не хаживал. У нас в деревнях все беседы были — девки, парни сойдутся... Только все с работой. Девки кружева плетут, а ребята из кудели стельки стегали валенки подшивать. Вот и разговаривают. Раньше ведь не шлялись, как теперь. А Тятя на беседы не ходит, если пойдет, дедушка Илья переметником напорет его. Он его боялся. В восемь часов обязательно придет дедушка проверить его... Дожили они до осени. Дедушка говорит: «Пойдем в лес лыка драть». — «Какие лыка?» — «Какие укажу». Березы ему указывал — на этой будем драть. Большой пук надрали. Пришли домой. Дедушка говорит: «Очи-ни, обрежь ровно». Тятя обрезал. «Заплетай, — говорит, — лапоть». — «А как заплетать?» — «Помучишься, так научишься. Возьми четыре лыка да поворачивай». Сначала у него вроде как кошелек получился. Потом сплел кое-как лапоть. Второй лучше получился. И сплел он четырнадцать штук, да все на одну ногу. А потом научился плести и на другую. А лапти раньше — двенадцать — пятнадцать копеек пара. Дедушка Илья и продал ему их. «Ну, — дедушка говорит, — научился лапти плести, теперь учишь совки и чаши деревянные резать». И это Тятя научился. Он у нас все умел. Еще чаши плел из еловых корешков. И из бересты корзинки. А хлеб ему бабушка Марья свой носила — дедушки Ильи жена. И вот говорит она ему как-то: «Чего мы, Колька, тебе все хлеб носим. Давай тут, дома испекем». Завела ему квашенку, поставила на печь, завязала, да и ушла. До утра. А он сел лапоть плести. А квашенка-то заходила, да и на печке: пык, пык, пык. А он думает: кто-то на печку у меня забрался. «Не пугай, — громко говорит, — не боюсь». А она все пыкает и пыкает, да все громче. Он скорее одевается, обувается да бежать. Да в дверях себе чего-то прихлопнул. «Отпусти, — кричит, — не буду! Отпусти!» Чуть в портки не наклаал... Прибежал к дедушке Илье: «Кто-то забрался на печь да пугает меня!» А дедушка, у него поговорка такая была — ядри-голова: «Так я ему сейчас дам,

ядри-голова. А если ты наврал, тебе будет переметника». — «Да пойдём, дедушка Илья, он меня там все пугает и пугает». Пришли. И бабушка Марья пришла. «Слышишь, все: пык, пык, пык». Бабушка Марья говорит: «Дурак ты, ведь это квашенка ходит». Был ему семнадцатый год. Парень живет один, двор большой, большущий. Неповадно парню одному. Исполнилось ему восемнадцать. Дедушка Илья говорит: «Колька, пойдём со мной в магазин». — «А что делать?» — говорит. «Пойдём, надо тебе обнову покупать». Пришли. Купил он ему на полупальто, на штаны и на рубашку. Покупает материалу хорошего и подкладки: «Пойдём теперь к портному». Портной меряет его, шьёт пальто, штаны. А рубашку шить пошли к Агафье Ломоносой. И сказал дедушка: «Чтоб в воскресенье все было готово». А они уж с отцом протоиереем уговорились, что его женить надо. Сшили, одели во все и говорят: «Надо тебя, Колька, женить. Хватит. Живи самостоятельно, сам по себе». А они уж ему и невесту нашли. Грибанова свояченица. Хорошая девка. Они уж там и с Грибановым договорились. «Пойдём, — говорит дедушка Илья, — я тебе на беседе ее укажу». Указал он ему невесту, вот все и знакомство. На второй день пошли с невестой Богу молиться, а через четыре дня и венчаться поехали. Стали жить они очень хорошо. Была она на год его старше, прожили четыре года. Двое деток, две девочки. А в третьих родах она померла. И ребенок, девочка, померла, только что окрестить успели. И остался он с двумя — обе девочки — Мария и Анна. Овдовел он Постом Великим на первой неделе. И тут отцу протоиерей ему сосватал Маму. Она сирота была. Девять годов ей было, как отец помер. Их у матери было три девочки да брат. Жили они в деревне Щетниково. И вот мать отдала ее к господам в одиннадцать лет. Фамилия барину была Медведев. От нас усадьба была девять километров. И жила она у них семь годов. Сначала нянчилась, потом кухаркой, а потом уж горничной. Вот отец протоиерей ее Тяте и сосва-

тал. Ну, господа замуж ее выдали, одели как положено. Все приданое, платье шелковое хорошее, и нижняя юбка шелковая. Платье шерстяное. Шуба лисья. Бурнус — это драповое летнее пальто, и оно все обделано кистями да бисером. Косынку вязаную и шаль. Ну, все, буквально все. И к ним еще и в гости они с Тятей после свадьбы ездили. А свадьба у них была после Пасхи — в Егорьев день. Я у них была самая старшая. А всего родилось тринадцать человек. В живых осталось только пятеро — четыре сестры да брат. А те все маленькие умирали — год, полтора. Хорошо у нас Тятя с Мамой жили. Только уж без дела не сидели, не шаялись. Работа круглый год. Я сама пошла десяти лет работать — боронить на молодой лошади, жать, косить. А Галина, сестра, та девяти лет пошла. С весны первое дело у нас — пахать. Тятя у нас пахарь был. У нас всегда из всего поля полоса выделялась. Отец протоиерей, бывало, придет: «Ну, Колюшка, пахарь мой, когда будешь пахать?» — «А вот дня три-четыре, — скажет Тятя, — и пахать поедем». А у нас ручей разливался аккурат за двенадцать дней до пашни. Так уж повелось. А у нас полосы были большие, хорошие. В каждом поле. Три поля: озимое, яровое, паренина. Паренина — это пар будет. Паренину три раза пахали. Первый раз вспашут, заборонят хорошо. Потом навоз возят и опять пахнут — это заваливают. Навоз завалят и уж не боронят. Только вспашут, оно и стоит. До Ильина дня. «Ну, — бывало Тятя скажет, — давайте помолимся, надо пахать начинать». Встанем все, помолимся. Тятя поехал пахать. Тогда ведь все с молитвой. Тогда ведь все с молитвой. А самое первое у нас начинают сеять овес. Пахал до обеда, с обеда поедем сеять. Опять все — благословясь. На крестопоклонной неделе у нас пекли кресты, а в Благовещение дают в каждый дом из церкви хлеба благословенного — вот хлебец этот и крест растолкут и прибавят к семенам. Тогда все с молитвой, все благословясь. До Егорьева дня скотину пастись не пускали. А в Егорьев день для каж-

дой деревни водосвятный молебен служат и воду с собой уносят — скотину кропить. И в Казанскую летом тоже заказывали водосвятный молебен с крестным ходом. В этот день никто скотину не отпускал, а после молебна гонят ее мимо — а батюшка всех кропит водою. И лошадей всех тут ведут. Молебны были и об дожде, и об ведре, чтобы дождя не было. Как нету ведра, скажут: «Надо молебен». Соберутся тут три прихода. В церковь придут — народу ужас сколько. Все молятся. Диакон у нас хорошо больно молился — каждое словечко понимаешь, и все со слезами. А то как-то в самый Иванов день, в Рождество Предтечи пришли из церкви. А у нас в Иванов день гуляние в Сокольникове. И вот все пойдут с двух часов там на гуляние. Только сели пить чай, маленькое облачко идет, небольшое. Тятя говорит: «Ну и ладно. Гуляние нарушится, не пойдут мокнуть-то». Потом уже не облачко — туча, стала краснеть, краснеть. И вся как огненная сделалась. Все перепугались. Какое тут уж гуляние. Все скорей обратно в церковь, молиться. И пошла туча краем на лес, там и пропала.. Тогда люди были верующие. Вот тетка моя Татьяна девица была. Так в девках и умерла. Она и не гуливала, на беседах не бывала. Их четыре подруги у нас было — они вчетвером дружились. Вот придут из церкви, уйдут на поляну, там сидят псалмы поют, каноны. А службу как знали? Вот в воскресенье в храм идти, а они знают, какое Евангелие читаться будет... Вообще тогда люди не эдакие были. У нас из Путилова — нашего же прихода — был монах отец Серафим. Иеромонах в Обнорском монастыре. И было ему там искушение — хочется на мать поглядеть. Никакого нет терпения. А она так у нас в Путилове и жила. Надо ему идти. А отец-то Никон, игумен, тоже вроде прозорливого был, и говорит ему: «Ну, уж раз эдакое нетерпение — пойдди! С Богом!» Благословил его. Он и пошел. Всю дорогу пешком ведь шел. Долго шел — далеко. Пришел в Путилово. Кругом дома обошел. Поглядел в окно — мать сидит.

Сам себе сказал: «Ну, душа окаянная, насмотрелась? Теперь иди на место». Так ей и не показался, обратно в монастырь пошел. А после матери говорят: «Серафим у тебя был?» — «Да где, — говорит, — я не видела». — «Приходил, — говорят, — многие видели, как шел». Как сейчас его вижу. Голосок тоненький: «Паки и паки миром Господу помолимся...» Да.. А еще весной у нас корье драли с ивущек. И я сама по десять пудов надирала. Сорок копеек пуд было корье-то. Бывало, надерешь пучок и идешь вдоль деревни, чтобы в деревне-то видели, что я корье несу. Бывало, волокнешься: «Ой, Санька, где ты такого корья-то надрала? Да больно у тебя долгое корье-то». Это они нарочно. Бабы-то. Высохнет оно, Тятя свяжет, и поедем мы до Иванова дня в Вологду. И на деньги эти платье мне купим и башмаки. Аннушке на кофту и Маше на кофту. Это на корье-то. А нас маленьких тогда оставляли караулить лошадей. Иванко сидит, и я на своей. А они там покупают ходят. И вот Тятя круг черкасской колбасы принес. А я и не видала, что он принес. А он и положил ее в корзину-то. А внизу крендели еще лежат. А я как заглянула в корзину, так и обомлела — я ведь ее никогда и не видела. «Ой, — говорю, — пыганосопыга, деревенская мотыга, что наделал-то... чего-то мертвенное от лошади принес». Это я на соседа, на Иванку подумала. «Ой, — думаю, — Тятя придет, заругается, скажет, прозевала». Я скорее палочкой ее подцепила и — шарах в крапиву. «Не скажу, — думаю, — ничего. И крендели есть не буду — опоганены». Тятя приходит, все уложил: «Ну, поедемте». Поехали. Езды от Вологды до нас сорок пять километров, верст. Ездили в один день — лошади хорошие были. Обратно на порожне. Приехали, стали все в дом носить. Тятя говорит: «Мать, я купил черкасской колбасы». — «Да где?» — «Да в корзине». — «Да нету, батька». — «Да куды же девалась?» А я молчу, я ведь и не знаю, что за колбаса. Искали — нету. Сели за стол чай пить. Галинка кричит: «Разделить крендели, а то все расхватывают». — «Боль-

ше твоего никто не схватит, сиди!» — «А мне, — говорю, — так и не надо крендели». — «А почему не надо?» — «Не надо, да и все. Не буду я есть крендели». Тятя говорит: «Что это с тобой?» Я и заревела: «Пыга-носопыга, деревенская мотыга крендели опоганил». — «Как же он опоганил? Чем?» — «Да он чего-то мертвенное от лошади положил. На крендели. Я не буду есть». — «Какое мертвенное? Да где это?» — «Да я в крапиву там, в Вологде, бросила». Тятя говорит: «Так вот где наша-то колбаса». И жалко-то, и смеются-то. Вот тебе и колбаса-то... Отпахали, посеялись, и начинается у нас сенокос. Тут утром рано будили, в два часа. Тятя встает, косы бьет: «Вставайте косить!» Встанем, неохота... Я к лавке встану на коленках, пока косы бьет, я еще дремлю маленько. Идем косить. Мама дома остается одна, обряжается, стряпает. Обрядится, и она идет, а я уже домой к ребятишкам пойду... В восемь часов идут завтракать. Поехали опять косить, сено сушить. У нас хорошо сено сушили — разобьют, повернут раз. Потом в копны, с обеда возить в овин. В овине на другой день растрясают. Опять ворочают. Овин у нас большой был. А тут уж и ягоды пойдут — земляника, голубица. Ягоды у нас рядом — километр. Тятя скажет: «Голован, бегите-ка наберите голубицы». Нас вдвоем и отпустят с Галиной на болото. Наберем больше ведра — пироги печь с голубицей. Петров пост. У нас ягод-то много было. Черника, малина, морошка, брусника. Малину-то у нас сушили, а бруснику парили. Наложат целый ушат и запарят его, крышкой накроют. А самую последнюю бруснику — мы уже перед Покровом ходили — Мама горячим суслом заливала. Эту бруснику с мучниками есть, а ту — с блинами. Я по эти ягоды не больно ходила. Я ходила по полянику. Я поляники немного наберу — фунта четыре. И иду к отцу протоиерею. Несу. Матушка скажет: «Санюшка пришла. Батюшка, отец протоиерей, погляди-ка, чего она принесла!» И он безо всяких подает мне полтинник. Вот я больше всех сестер и зарабо-

тала. Поляника коричневая, вот такая крупная. А запах! От одной ягоды по всему дому. И никто не знал места, где она растет. Это Тятя меня свел, показал место. Я все одна ходила, никому не показывала. А сестры все узнать хотели. Скажут: «Санька, утром пойдешь по ягоды?» А я: «Да не знаю, у меня что-то голова болит». А утром они еще спят, еще темно, а я убегу в лес... Кончится сенокос, уже и рожь поспевает. Надо жать. Жали серпами. Свяжем, поставим суслонами. В суслоне — двадцать два снопа. Ой, жать я любила. В десять лет начала. «Много ли, Николай Ипполитыч, нажали?» — спрашивает бабушка Синклития. «Много, слава Тебе Господи, — Тятя скажет, — пятнадцать суслонов. Да Санька суслон». А мой суслон особенный. У меня снопы-то вон какие длинные... Да руку обрезала. Десять-то лет... Пойду по деревне жать-то, чтобы все видели, что я жать пошла. В одной рубашке, жали ведь без сарафанов. Воротушка ситцевая, розовая, вот по это место серпинка пришита. Серп в руке — чтобы все видели. Бабы-то: «Бог помощь! Ой, ты жать пошла?» — «Да, жать». — «Ой, жать пошла Санька». А потом-то я по десять суслонов жала. А на Ильин день в нашей деревне праздник. Называется богомолье. У нас в деревне накануне Ильина дня мужики на сход приходят, собирают денежки. Соберут, пойдут за вечерню. Заказывают там все, чтобы завтра крестный ход, молебен. И вот утром, после обедни, — крестный ход по всем нашим полям. Потом водосвятный молебен. Вот где нынче будет озимое поле, на этом поле водосвятие готовят. А потом, было, по очереди угощали священство. А после Ильина дня пора озимое пахать да сеять. Это — на паренине. Тут третий раз ее и пашут и сеют. Между первым Спасом и Преображением. Тут самое время. Горсть возьмут, три шага шагают, потом опять горсть. А после Преображенья — горсть возьмут и только два шага шагают. А уж после Успенья кто сеет, то, говорят, нарастут только Флоры да Лавры... Тут уж как шаг, так горсть, как

шаг, так горсть. Не каждое зерно всходит. Как озимое посеем, а я бороню, я девяти лет боронить поехала на молодой лошади. Тятя скажет: «Голован у нас косить не будет больше. Она будет в лес ходить». Я уж в лес хожу. Утром они еще не завтракали, уж я принесу грибов на жаренину. Маслянок. У нас маслянок много было. Я знала места. Еще мне девять годов, уж я все места знала. Грибовые и ягодные. Меня Тятя везде выводил. Я уж ношу грибы. Рыжики. На Успенье уж у нас насолено два ведра одних рыжиков. А осенью у нас по грибы на лошади ездили. Километров пять едем на лошади. Поставят на телегу два плетня, кадку. Там наберем все целое. Это солить, много солили. А сушить — за этим не ездили, эти дома наносим. У нас недалеко грибы, не ленись только... Много и сушили. Грибы все едим, ведь вон сколько постных дней в году. В Иванов день — на Рождество Предтечи — еще у нас грибы соленые старые. Раньше ведь не воровали, картошка-то у всей деревни хранилась в поле. У кого там яма, у кого — две. Песчаная горушка называлась, песок один. Яма досками обставлена, чтобы не осыпалась. А другая у нас яма чистая — хорошо обделанная. Как последнюю картошку оттуда выгребут, туда кадку и свезут соленых грибов. В эту яму. Вот и ходим. Как суббота, так и пойдем с ведром туда. Это весной и летом. А зимой дома стоят грибы... По грибы идем, Тятя скажет: «Старайтесь, ведь это даровое мясо — лесное. И век с ним будете жить. Может ведь, мяса-то не будет». А Галина: «Вон все мясо едят, а у нас не будет...» А дожились, так не только что мяса, а ничего не стало. Голодовка какая была сколько раз... И вот пойдем по первые-то грибы. Тятя скажет: «Не жалеите! Как кто придет, давайте первых-то грибов, потчуйте. Будете больше брать, так жалеть не будете». И еще Тятя скажет: «Запасайте. Чтобы зимой не бегать по деревне с чашками — положи грибок», — терпеть он не мог этих чашечников. Озимое посеем, а в овин все возят ровное — овес, ячмень, да и рожь еще — у нас по триста

суслонов. Ночью сушат, а днем молотят. Выстелим снопы во все гумно, так и проходим все в четыре молотила. Потом перевернем снопы, опять молотим. Надо чтобы ударять врозь — такая гармония получалась... Послушаешь по деревне — там молотят, здесь — очень красиво, прямо как музыка. Я с тринадцати годов молотила. А вечером-то поглядишь, все овины топятся. У кого печка там, у кого яма. А к Тяте под овин вечером сидеть мужиков пять подойдет. Ближние соседи. Сидят, разговаривают. Тут картошку свежую варят — нет вкусней картошки, как из-под овина. А свежие грибы мало еще у кого есть... Подойдет, бывало, тетка Аполлиария: «Николай Ипполитыч, у вас поди грибы есть?» — «Да вон Санька чего-то таскает. Не знаю, спроси там у матери. Я ведь в чашках не распоряжаюсь». Я бегу к Маме: «Тетка Аполлиария спрашивает у Тяти, нет ли грибов?» — «Ладно, — Мама скажет, — сами наносят...» А уж чашку ей накладывает. Всем хватало. И сами ели. Ведь трапеза была ангельская, истинно ангельская. Бывало, несем на стол скатерку, ложки все в ней. Помолвились. Тятя скажет: «Ну, садитесь». И локтя на стол никто не поставит. Тятя не даст — столкнет: «Ты что? Где сидишь? Стол — что Престол!» Утром встаем: «А ну-ка, вымой харю-то! Перекрестись! Богу помолись, а уж потом есть проси». Он еще пешком под стол ходит, а уж Богу молится. И все благословенное, все с молитвой. Ели ведь все свое. Постный день. Мама сварит шей с грибами. Чугун изрядный, больше полведра. Картошки нажарит на льняном масле — свое было. Блинов напекет. Утром к завтраку. Пекет в две сковороды. Сделает икру грибковую из сухих, а то и из соленых грибов. На обед капусту с квасом накрошит, картошки. Там репы пареной покрошат. Это холодное. Потом щи с грибами. А еще — горох, то какой-нибудь суп. Гороховый кисель. Подадут на тарелках. А в скоромный день так мясо. Тоже холодное с квасом. Мяса накрошат, картошки, все с квасом. Квас у нас все время хороший был. Дробины-то много

было. Это что остается из-под сула, когда пиво варят. Мама соберет ее, испечет караваем. А потом из нее квас делают, каждую неделю. Квасник у нас больше двух ведер был. Хлебы Мама пекла через день. День пироги, день хлебы. Семья большая была. Печет три-четыре каравая. На поду. У нас вся семья любили подовый хлеб, в плошках не любили. А пироги — как молочный день, так молочные. С картошкой, нажмут сметаной сверху. А в постный день печет с грибами солеными — губники зовут. А то мучники. Это ячменную муку обдирают на мельнице. Она белая, как пшеничная. Творят их на дрожжах. Постом, так на воде, а то и на молоке пекут. Печка топится, а тут ржаные сочни сучат. Тонкие пресные лепешки из ржаной муки. С тарелку. Разложат их по противням. Эти сочни... И вот это ячневое тесто сверху раскладывают. Крайчики загибают. Вот и пекут. Молочный день, так сметаной намажут люто, чтоб уж они зажарились, были румяные. Вот и едим... Были торканцы. Это как снегу свежего, чистого навалит. Так бегут, накладывают целую крынку, насеют муки гороховой, насыпят и торкают — воду тут не льют, только снег да мука. Посолят и опять торкают. И до того доторкают, что уж уходить будет оно, как с дрожжами. Вот тогда и пекут их во всю сковороду. На масле. Хорошие, мягкие, вкусные... А блины Мама пекла каждый день. Надоедят. Мы с Галиной на полатах лежим: «Санька, погляди, там чего у печи чудится?» — «Да блины опять пекут». — «Тише! А то сейчас позовут блины-то есть. Молчи!» — «Эй, — Мама кричит, — марш блины есть, пока теплые. Слезайте!» — «Я говорила, что молчи!» Слезем. Возьму я блин, подсолю. Да маслом льняным помажу. У нас лен-то сеяли только что на масло. На все посты. У нас лен снопами считали, не грудями. Мама скажет: «Пятьсот снопов нынче льну». — «Ой, как и много, Пелагея Автономовна». — «Да вот надо столешников выткать. (У нас ведь не обедают без скатерки, за грех считалось.) Да надо и ручников выткать». Лен у нас вытеребят,

на гумне постилают его, как он высох, идут двое и кичигами — это как валец, только долгий — колотят его. Повернут, опять колотят, вытрясают. Потом провеют семя. И перед постом на маслобойню надо ехать. Повезут с полмешка, да и будет масла с полведра, да и более. Масло такое, что и сливочного не надо. И это перед каждым постом. Постом-то молочное не ели. Грибы, огурцы, капуста, квас, брусника... А то Тятя скажет: «Надоело это все. Голован, бегите-ка в лавку к Мише Антонову, возьмите гольца соленого. Да не резал бы, целого бы вам вешал». (У нас в деревне двое торговали — Михайло Антонов и Димитрий Гребнев.) Принесем гольца. Вымоют его теплой водой. Сейчас самовар. Нарежут его кусками, а он толстущий. Ошпарят. Закроют. Вот садимся. Тятя скажет: «Вот вроде бы маленько и отошло». Бывало говорил: «Это разве у нас пост? Только так — перемена пищи». Мясо у нас свое круглый год. Еще и не приседали. На Ильин день уже колот свежеего. У нас все по четыре да по три коровы Тятя держал. Если три коровы, то подтелок пущен. Телушка. Одна корова для себя, Тятя скажет: «От пестрой коровы молоко не носите»... А так молоко носили на сыроварню, 45 копеек пуд. Сыроварня была тут же в деревне. Куры свои были, яйца. Свиной Тятя не держал. У нас вся семья свинину не ели. А овец держал. Три матки всякий год были. И два раза в год они ягнились. Баран свой. А лошадь у нас была первая из прихода. Ваганко звали. Как у нас его отобрали, я думала, я по нему с ума сойду. Двор у нас был большой — два хлева на этой стороне, а по эту сторону подвал, подполье. А на середке ясли стояли. У нас навоз увозить, так не надо телегу закидывать, кругом яслей можно объехать. Двор большой, новый. А к зиме скотину надо прибирать. Ведь не будешь ее кормить столько. Трех телят да ягнят заколют. Семья большая. А то, бывает, и такое дело. Тятя скажет: «Надо корову эту сменить нынче». А уж есть телушка полуторница. Вот и корову заколют. Мясо солят. Вот какую

кадку насолят. Холодильников раньше не было. Берется кусок мяса, солью обшаркивается. Я видела, как Мама солит мясо. Солью каждый кусок обшаркивает и кладет в кадку. А постом великим его вялили, что осталось. Положат на противни и в печку. Соленое-то. А летом варят его, вяленое. Мясо ели, как репу пареную. А с Рождества Богородицы ребятишки в школу шли. Я семи годов пошла... Тогда с девяти годов ходили, а тут отец протоиерей пришел ко мне: идти и все! Мама говорит: «Да семь годов ей». А он: «И хорошо, что семь годов. Пускай идет учиться». Школа у нас была приходская, при церкви. Сначала буквы нам показывали, потом учили читать да считать. Потом закон Божий стали учить, два урока были в неделю закон Божий. Славянский язык, русский язык. Я закон Божий хорошо отвечала, я и читать, и считать... Вот только писать... Учительница Зинаида Владимировна все говорила, у меня не чистописание, а грязномарание. А псаломщик Димитрий Васильевич учил нас петь. Ходила я в школу только полторы зимы. До Рождества вторая зима у меня была. Больше меня Мама не отпустила. Отец протоиерей больно жалел меня: «С таким понятием будем на учительницу Саньку учить». А Мама: «Не в солдаты идти! Нечего тут. Садись кружева плести». И с маленькими водиться надо было. У Мамы как два года, так и ребенок. Тогда ведь не канителились, декретов никаких не было. Помню, возили навоз. Мама приехала с поля на пустой телеге, да и говорит: «Батька, я уж больше сейчас не поеду. Мне, — говорит, — и некогда». — «Ладно, — говорит, — я и сам свезу». А она: «Девчонки, пейте чай-то в коридоре. Там, — говорит, — пейте. Не жарко и мух нет». Ладно. Мы собираем там стол. А она взяла чашку чайную, да и побежала. «Мама, ты куда?» — «К бабушке Олимпиаде. Надо мне дрожжей». — «Так вот у нас-то...» — «Так у нас худые». Сбегала туда, идет опять, чашку под полкой несет. Смотрим, и бабушка Олимпиада бежит. Идут в избу. А мы в коридоре уж чай пьем. Знаем, сейчас Тятя придет —

последнюю телегу навоза повез. А Мама с бабушкой Олимпиадой уж залезли в печку. Нагрела ее в печи, вылезают оттуда. Вдруг слышим, в избе ребенок заревел. Все... Вот как раньше рожали, а не эдак. До конца работали. А то, помню, сено косили. Мама говорит мне и Галине: «Девчонки, я завтрак понесла». Туда носили — на покос. «Я, — говорит, — скоро вернусь. Я сегодня не буду косить. А вы тут растрясите сено. Которое уж привезли». — «Ладно, — говорим, — растрясем». Растрясли мы с Галиной. А Мама все не идет еще. Потом и катят оба с Тятей. И ребенка тащат. «Вот, нашли паренька». — «Оттого и проканителились». — «Под сосной лежал». — «Взяли, нам понравился». А мы и верим. Иванушко... Так уж мы его и звали — «Иванушко подсосновый». Осенью у нас хлеб собирает староста магазейный. Был выбран он. «Давайте, собирайте хлеб на магазю». Там сколько кого обложат. Вот и везут в магазю хлеб. В поле стоит большой амбар. Большой, большой амбар. В эту магазю и свозят хлеб. Весной там не хватает у многих хлеба. Вот и будут делить из магазю, у кого не хватает. Им и делят. И на семена, да и есть нечего. У нас в деревне, так у многих не хватало. Она в поле, магазю, там место высокое, вокруг нее лавки сделаны. Вот летом тут гуляния. Тут повадно, тут все и играли. Место высокое, хорошее. Из Корицова придут, и из Алексеева явятся. «К магазю пойдете гулять». А по ночам не гуляли, нет. Как коровы домой, все по домам — марш. К Покрову у нас все сделают, все обмолотят, все уберут. Бабы тут кружева плести начинают, а мужики в лес дрова заготавливать. Тут и праздник наш престольный — Параскавья, двадцать восьмого октября... Мама скажет: «Надо постели вымыть». Вытрясем постели, старую солому. Вымоем. Они тканые были... Опять набиваем свежей овсяной соломой, она помягче. И спим. Говорили: перина с первого овина, каждая пушина не меньше аршина. Спали-то все на полу, ну, а кто на полатях, я все на печке. Утром встали, Тятя скажет: «Уби-

райте постели». Несем их на волю. А вечером обратно несем, да такие-то холодные... И ничего, не простужались. А на Параскеву, на праздник, у нас человек сорок гостей. У нас родни-то много. Из Дубников приедут, из Коренева. Гостят до четвертого дня. Мама спросит: «Батька, много ли ныне будем ставить пива?» — «Пять горшков», — скажет. А горшки — по два ведра горшок. У горшка у этого повыше дна дырка провернута, ее тут затыкают деревянным гвоздиком... Заваривают вот так — шесть фунтов муки ржаной, шесть фунтов солода на один горшок. И чашу полотицы — шелуха с овса — на каждый горшок. И заваривают кипятком в кадке, в горшок льют ковшиком, а в горшок кладут крестовины деревянные, а на нее камешок... и жгут соломы, туда, к гвоздику, чтобы не забило течь... Потом печку топят жарко и ставят туда горшки. Часика через два поглядят — кипят ли они? Если повыкипело, доливают кипятком... Вот и стоят в печи до вечера. А вечером стол большой, на стол тащат желоб — широкая доска и желобок. И эти горшки ставят на доску — горшок за горшком. А под один конеец подкладывают и начинают вынимать гвоздики — горшок за горшком, и течет оно в кадку, сладкое, хорошее... Стынет это на воле, чтобы хорошо выстудить. И еще нацедают маленький ушат сусла — это нам, детям. Нам пива-то не давали... И разводят приголовок — кладут сусла теплого, хмель, дрожжей, муки — начинает этот приголовок ходить... Хорошо ходит. А утром приносят это остывшее пиво, кладут туда хмель и приголовок пускают. Так оно у дверей и ходит, чтобы не очень тепло было. Выходит, начинают хмель отжимать и цедают в бочку. Налиют в бочку-то, а она стоит и все шевелится, пиво-то ее шевелит... И уже готово. Гости приезжают первый день к обеду. Сначала чай. Закуски подают. Первую очередь подают кулебяки. Это с рыбой называется кулебяка. Тятя поднесет им по рюмке. Рюмками пили-то, не стаканами. Пива ендова. Попьют чай, потом обед. Студень с квасом — пер-

вое блюдо. Второе блюдо — щи мясные с мясом. Третье блюдо — лапша с мясом. Четвертое блюдо — сальник. Это из овсяной крупы каша крутая, и она когда с маслом со сливочным, когда с салом. Тут пива ендову на стол — были такие большие, медные — и вина Тятя несет бутылку. Наливает пива по стакану, по рюмке вина. Садятся, пьют-выпивают, сначала не больно отважно... А мы с сестрой на полати забираемся и лежим поглядываем. Они уж начинают тароваться, отважнее уж гости... Тятиня рюмка коричневая, он нальет ее, она у него и стоит: «Ну, давайте выпивайте, ребята, выпивайте!» — «А ты?» А он: «Я на чужом месте не выпиваю». А сам пойдет на свое, да и поставит ее. Он с этой рюмкой всех гостей угостит. Бутылки три выпьют в первый вечер. «Вы пиво-то, пиво-то выпивайте». Пиво он хорошее варил — настоящий был пивовар... И так сидят часов до девяти. У нас праздник — пироги со стола не убираются, чтобы все на столе тарелка была с пирогами. До этих гостей еще нищие придут — человек семь-восемь, их накормят обедом. А потом песни запевают — «Зачем ты, безумная, губишь», «Уродилась я, как в поле былинка», «Сама я розоньку садила», «Вьется сокол над осокой» — много они пели песен. А вот песню «Пускай могила меня накажет» — эту мы с Галиной подпевали... Вот еще помню: «Скажи, краса моя, Анюта, скажи, в кого ты рождена? Вся краса моя, мамаша, двенадцать лет, как померла». «Ланцова» пели. Вот я любила, как «Ланцова» пели. Потом эту песню воспретили петь. Как он из тюрьмы убежал, как в тюрьме сидел. Потом еще такую пели: «Держу саблю на весу, царю голову снесу». Как брат спас брата своего... Еще была песня — «Сидели две голубки, одна против другой...». Эту Мама у нас любила. Она у нас песельница. Голосу — с воз. Она еще когда в девках была, у барина жила, петь больно любила. Их там, молодых-то, четыре было. Бывало, обрядятся, выйдут в сад, на скамеечке сядут. Сам барин подойдет: «Ну, запевайте». Они и поют. Тут и сама барыня

выйдет... Тогда ведь жизнь мирная была. Я ведь все помню. Я и хорошую жизнь помню, как при царе жили. Как сахар был восемь копеек фунт, как хлеб был сорок копеек пуд... Да... А гости у нас ночевали — все ночуют. Тяти двоюродные братьовья, шесть человек, все родня. На полу им постеляют, на полатях — у нас печь большая, еще и нищих пустят. Изба у нас большая была. На второй день, они еще спят, Мама обрядится, из печки пироги достает горячие, самовар... Садятся завтракать, опохмеляться. Но таких пьяных, чтоб валялись, таких у нас не было. Тятя купит полтора ведра вина, оно с пивом и хватит на весь праздник. До упаду-то не пьют. На второй день сходят, пройдут вдоль деревни — что там делается — деревня у нас большая, сто домов. Потом вернутся, опять за стол. А на четвертый день домой отправляются. Чай попьют, Мама даст по пирогу всем — гостинцы... и отправляются. А ведь у нас в деревне поначалу-то и самоваров не было. Чаю не пили. Я еще помню, пили осолодку. Сладкие такие коренья. Накладут целый чугунок и ставят в печку. Оно накинется, потом так на шестке и стоит. Пили осолодку и горячую, и холодную. А потом уже самовары пошли, чай. Сначала всего четыре самовара в деревне было — только у богатых. Тогда и часов не было. Помню, девке одной, богачи были страшные, часы купили. Часы-то она носит, а как посмотреть, не понимает. А к ней парни подходят нарочно: «Барышня, который час?» А она поглядит на часы: «Скоро коровы придут». А зимой у нас кружева все плели — и парни до пятнадцати лет, и бабы, и ребятишки. У нас дома и игрушек никаких не было. Была только одна кукла — Агаша Ломонося. Мне было года четыре, пришел к нам дядя Алексей, Тятиной сестры муж. Он плотник был хороший. Взял полено: «Я вам, — говорит, — сейчас сделаю куклу». И вырезал просто хорошо. Так — наперехват — как платью на ней вырезал. Голова... А нос-то деревянный у нее быстро отломился. Вот мы ее и назвали — Агаша Ломонося. У нас в деревне

портниха такая была — Агаша с проваленным носом... В семь лет меня уже кружева плести учили. Да ведь лень, неохота. Тятя говорит: «Пять мысков — вот столько — выплетешь, так копейка тебе на семянки». Вот и стараешься. Сначала тихо плетешь-то. Выплетешь десяток, это десяток аршин, да никуда он негодный. Только люльку привязывать, чтобы качать... А потом уж плетешь хорошо. Нитки готовые, не покупаем ведь. Мама ездит к Бахвалову, привезет две пачки ниток. А платит он только за работу. Сорок копеек за десяток. Это за узкие, а пошире — эти дороже — рубль десяток. Рубль двадцать — первый сорт. А эти сорок копеек. А узоры разные — «колодчик», «речка»... Бахвалов с нитками и бумажки выдает, таких вот больше плетите. Там нарисовано... Он в Филине жил, в деревне, три версты от нас. Мы на него десять годов плели. Мама поедет через две недели — короб кружев повезет. Восемь десятков. А оттуда везет короб ситцу. А булавки в кружевах, как иголки такие. А головочки на них красивые — янтарные, голубые там — всякие. А то еще уточки. Булавка побольше, а на ней аккурат утка сделана — белая, крылышки зеленые или голубые... Эта булавка больше этих. А у меня не было такой уточки-то. А было мне годов уж десять... А через дом у меня товарка жила. А у нее не одна утка в кружевах-то. Я и взяла потихоньку ее, да и домой. Мне уж не забыть. Мне уж восемьдесят четвертый год — не забыть мне эту утку. Домой пришла, так мне не терпится. Беру кружева, сажусь плести. А было воскресенье. А у нас в воскресенье кружева не плели. Мама: «Ты что это вздумала кружева плести?» — «Да мне захотелось». Она подошла, а у меня — утка. «Это где же ты взяла?» — «Да вот шла от Пановых-то, на дороге нашла». Это в снегу-то... Она, ничего не говоря, пошла, взяла ветвину березовую, кружева оставляет, погибает мне... И давай лупить. «Иди, где взяла утку». Да это-то ладно, что иди. «Пойди да скажи: “Я у вас утку украла”». Вот это-то хуже битья. И так пока я шла к Панковым, все

сзади шла да меня хлестала. Тетка Анна говорит: «Ты что же это, кума, эдак?» — «А вот больше не возьмет. Узнает, как воровать»... У Тяти много книг было — божественные, «Земная путь Спасителя», «Потерянный и возвращенный рай». Вот такой короб — все книги. Зимой мужики чуть не каждый день идут: «Дяденька Николай, почитаешь?» — «Да почитаю, приходите». А у нас изба-то большая была, не стулья тогда — лавки. На пол все сядут, ноги протянут кругом. Целая изба. Тятя читает... Его у нас все любили. И старше-то его которые, все зовут «дяденька Николай». Вот пойдет он зимой по воду. У нас для скотины колодец под окошком, а на чай да на похлебку брали через дорогу. А девки большие у нас под окошком, всё под окошком у нас притон. Вот Тятя пойдет по воду, а они его и схватят — валить. «Давайте его в снегу накатаем!» А он — вон какой дядя был — сваляшь его. Он как начнет их откидывать, так я те дам, — всех перевалает. А Мама у нас никогда и не ревновала. А с Покрова у нас уж беседы, посидинки идут. Ходят поочередно в те дома, где девки есть. Где прошлый год кончили, теперь с тебя начнут, со следующего дома. Каждый вечер беседа. Девки кружева плетут, а парни на беседе кружева не плетут. Если только стельки стегают для валенок. На полу лежат и стельку стегают. А девки на лавках сидят и кружева плетут. Ой, что ты, у нас люто плели кружева. Девки тут свои, а парни приходят и из чужих деревень. Приходят: «Девки, закрывайте кружева! А то обрежем коклюшки!» Ну, разве дадим обрезать коклюшки. Одну «заеньку» сыграют — и снова садятся плести. Тут «кадрель» зовется, а у нас — «заенька». А которую девку не берут, не выбирают на «заеньку», так говорят: весь вечер светила сидела. Ведь раньше девки не плясали, раньше было позор девкам плясать. Парни плясали, девки — нет. Только сыграют «кадрель» и на места. И так идут беседы от Покрова до самого Поста Великого. А в заговенье на Филиппов пост уж парни невест приглядывали, кому жениться

надо, девок. С Николы приглядывали. На лошадях парни приедут. А после Святок свадьбы. Как Пасха поздняя, так говорят: «Межговенье большое, девок много замуж выйдет». Последнее венчание в воскресенье на масленицу. После обедни сразу. А уж тут не будут венчать. Дома Тятя скажет: «Мать, нынче заговенье. Не забудь — вон Марфу Шантари-ху, дедушку Алексия...» — «Не забуду». Наварят шей мясных, мяса. Вечером понесем тетке Марфе, дедушке Алексию и бабушке Катерине. Шей мясных снесем. «Да, милая, нам принесли уже». — «Я не знаю, послала Мама. Возьмите, пожалуйте...» А масленица у нас начинается со среды. Чаю попьем, Тятя скажет: «Ну, я пойду к дяде. (У него дядя в нашей деревне.) Схожу к дяде, чем там пахнет, схожу узнаю». Ушел. Девять часов — нет. «Ну, — мама говорит, — батька застрял. Надо пироги творить». Начинает пироги творить. Тятя является уж в первом часу. «Мать, пирогов твори». — «Да растворила уж». А утром только обрядился, уж и идут. Дядя Алексей — тетка Анна не ходила, брат с сестрицей Марьей идут к нам, сын и сноха. Садятся за стол. «А что, ядри голова, — Тятя скажет, — неповадно, мало. Сходите-ка за Евгением». Дядя Евгений. «Ну, позови Федора Ермильча». Их позовем. Наберется уж стол как положено. Тут все до самого понедельника, все по очереди друг к дружке и ходят. Мы заберемся с Галинкой на полати. Сидят, Тятя нальет им по стакану пива, по рюмке — не пили ведь вино стаканами. Мы не видывали Тятю пьяного. А накануне пятницы — субботу, воскресенье — три дня ездят кататься. Тятя скажет: «Ну, девки, обихаживайте сани». Спустит сани. Мы их вымоем, маслом вышаркаем гарным, чтобы светлые были. «Ну, а сбрую?» И сбрую вычистим. Пуговицы все. В пятницу скажет: «Ну, поезжайте кататься». В пятницу в Филино, в субботу в Василево, а в воскресенье в Карповское. Поочередно ездили кататься. А в воскресенье масленицу жгли. У нас посреди деревни пруд — некопаный, озеро. В середку пруда таскают, всего натас-

кают — лому всякого, корзины старые, доски... вот это накладывают. А в середине жердь в лед воткнута, замерзла уже... Доверху накладывают. Зажгут все, как и пожар. Ну, в середке пруда, так никакой страсти нет. Это масленицу жгут. Кричат: «Молоко горит! Молоко горит! Молоко горит! Девчонки, молоко горит! До пасхи не будет молока! Теперь молоко будет плохое». А в понедельник (чистый) на ефимоны. Ой, народу... У нас церковь-то собор большой. И целый собор на ефимоны. Все мужчины. С четырех часов. Ефимоны все четыре дня. А в среду да в пятницу — обедни, их часы у нас называли. «К часам-то пойдете?» — «Пойдем». — «Пойдемте к часам». Первая неделя поста — школьники исповедуются. Школьники со всех школ — с Василева, с Алексеева церковная наша школа. На второй неделе исповедуются молодухи. Годов тридцати. На третьей неделе — молодежь — девки, ребята. В пятницу исповедь делали вечером. Бывает, в девять часов вечера от исповеди идут домой. Все исповедуются, очередь. Всё по одному человеку исповедуют, не было общей-то исповеди. А отец Протоиерей детушек, школьников, этих по пять человек исповедовал. Придут, бывало: «Ну, что батюшка спрашивал?» Батюшка спрашивал: репку не воровали ли, горох чужой не ходили ли... А я-то — ходила... Ох, службу я любила. Я с семи годов ни одной службы в церкви не пропускала. Тятя с вечера спросит: «Кто пойдет в церковь к утрене?» — «Я пойду». — «Голован-то я знаю, что пойдет. Тебя не спрашиваю». Он меня утром до церковного поля всегда провожал. У нас волков было много — стаями ходили. Так я весь пост среду и пятницу выхожу. У нас и вся деревня очень верующие были. В церковь все ходили, и мужики... В праздники, в воскресенье, как река течет. И мужики, и бабы. Справа это был — мужской придел. Александра Невского. Тут все одни мужики стоят, целый придел и возле. А слева — бабий придел. И все целая церковь народу. А перед Пасхой у нас всю избу перемывают. На вербное воскресенье. Пото-

лок, стены, все... Сначала песком натрут, потом водой да мылом. Изба желтая-желтая. А воздух какой! Тут маленькую железную печку вытаскивают, рамы выставляют. И тут Тятя развешивает по стенам картинки. У нас картинок много. Тятя любил картинки покупать. Все больше богородичные, с икон. Помню, Козельская Божия Матерь... Млекопитательница.. Скоропослушница.. Запечная — он все покупал. Варвары великомученицы тут житие, Георгия Победоносца.. Это большие картины у нас были. Исцелителя Пантелеимона.. У нас, бывало, придет Евгения-слепушка, принесет картинки. «Ну, дядя Николай, будешь покупать?» — «Буду, буду, погоди, вот у меня еще такой нет. Надо вот эту купить». Евгения эта, старая девица она была. Слепая, ей мачеха глаза выжгла табаком нюхательным. Так она и жила, ее кормили. И по монастырям она ходила, и в Заоникову пустынь, и в Прилуки... Павлов монастырь, Обноры — везде она была. И на клиросе пела. Вот она картинки и носила. Тятя, бывало, всю избу на Пасху картинками завесит. И висят они до Троицы. А от Рождества висят до Крещения. У нас и иконы хорошие были. Семистрельная Божия Матерь, Георгий Победоносец, Спаситель, Смоленская... А потом медные, старые. Два креста медные. У нас кивота была сделана. В деревне у всех кивоты были. У нас боженка звали. И в избе, где иконы, у нас табак не курили. Тятя и сам курил, но в избе никому не даст. Укажет на боженку: «У меня вот, видите?» На Страстной у нас мужики говели. Но до четверга еще все работали. У нас если Тятя в четверг исповедуется, так мы все в среду выпаримся. В печке. У нас все в печке парились. Пойдет он за соломой в гуменник — в печку овсяную солому подстилают, как парятся. Вот пойдет он за соломой: «Ой, девчонки, как я сейчас чего видел!» — «Чего, тятя?» — «А вот видел, сидит кукушка на гуменнике, и весь нос в молоке. Так и текет. Завтра уж на сарай прилетит». А сарай у нас ближе гуменника. А мы верим, я побегу к Панковым.

«Девки, у нас кукушка уж на сарае». — «И мы поглядим, может, у нас тоже, поглядим». — «Вот и сходите». В великий четверг и в субботу приобщаются только мужики. Мужики говели. А на ночь уже все пойдем к заутрене. Мама обряжается, готовит всего — и мясо тут, и студень, — придет к обедне. А мы с Тятей идем к заутрене. Отстоим заутреню, обедню. Придем, еще темно. Гостинцев нам принесет Тятя. Пряников, конфет. А мне грушевого квасу. Я сроду нечередная. Мне пряников да конфет не надо. Возьмет с собой ручонку такую деревянную с крышечкой: «Надо, — скажет, — Головану купить грушевого квасу». Вот приходим из церкви и разговляемся. Сначала освященное яичко. Три яичка на всех разрежут. Всем подадут разговеться яичком. И тут уж все разговляются. Творогу-то кадка за пост накопилась, творогу много — четыре коровы. В церковь три дня ходят в Пасху. И все крестный ход во все три дня. На третий день у нас крестный ход кругом ограды — у нас Иверская Божия Матерь. А потом духовенство по всему приходу с иконами ходили, Христа славили. И вот в который день к нам в деревню с иконами придут, тут и гости приедут, вся родня. Ну, и нищие тут, конечно, Тятя ведь всех пускал. Сестры мне говорят: «Господи, и в праздник-то такой покою нет. Гостей столько, а тут еще и нищие. Хоть бы ты, Санька, сказала тятю». А я и бухнула отцу: «Вот и в Пасху-то все нищие. Хоть бы в праздник дали отдохнуть». А Тятя взглянул на меня, да и потихоньку так говорит: «Жидка у меня подпора-то... Ой, смотри, сама не напросись ночевать». А у нас в деревне мало кто пускали нищих ночевать. Так, кусок подадут, а ночевать не пустят. А Тятя всех пускал. У нас и цыгане ночевали. И не воровали ничего никогда. Было раз, я шла, смотрю, а нищий забрел в наш гуменник и овес щекотит себе в мешок. Я пошла Тятю и сказала. А он: «Ну и чего там. Много ли он ошелушит? Поди два снопа, не больше. У нас не убудет. Не обедняем». Было, татары по миру ездили на лошадях, бедные.

Тоже у нас ночевали. Был у нас дедушка Митрий нищий. Об ем даже ругались. Вот он к нам пришел. Выпарился в печке, Мама ему собрала — он болел. Вот и лежи, дедушка. А Алексей Иванович, покойник, Серов, он вот как Тятя, все с нищими. Наши-то уехали, я не знаю, куда они уехали, а Алексей Иванович пришел да и увел дедушку Митрия к себе. Ой, Тятя пришел — расстроился. Что же это? А потом помирились они: «Полно, вместе будем хоронить». Вместе с Алексеем Ивановичем и хоронили, верно, что вместе. Ну, ведь не такие похороны, как теперь, что надо вина ящики... У нас как ночуют, все в печке парятся. Старухи приходят, усталые: «Как я и устала». — «Печку сбери, — Мама скажет. — Полезай в печку, попарься». Полезут, попарятся, и хорошо. Утром встанет: «Я и отдохнула, и все у меня прошло даже». А милостыньку нищие продавали. Сбирали куски-то. Насбирает он в корзину. Бывало, Флегон... Он к нам придет в калошах, рубашка ластиковая и часы: «Дяденька Николай!» — «О, Флегушка пришел!» — «Пришел, пришел. Возьмешь куски?» — «Да возьму. Ваганко уж ждет». Это лошадь у нас. «Тридцать копеек корзина». Ну, копейка фунт был. Милостынька... Выкладывает все, садится чай пить. «Мне покрепче». Чаек любил. А вина не пил, нет. А чаек уж пьет он... А то еще Паша-король был. Это — блаженный. Этого все уважали. Он такой был — ради Бога. Он меня любил, и я его без ума любила. Идет: «Сашенько-о!» А я ползаю. Я с повита упала и долго потом ходить не могла, все ползла. Скажет: «Милая моя. Все ползаешь? Поди-ка и жопенку занозила?» Этот полезет в печку париться, да и меня парит. Выпарит, эдакую связку кренделей принесет, на меня наденет. Как бусы. Много у нас ночевали, ходили. Потом какой-то Алексаша ходил. Этот еще много предсказывал. Тятю всю жизнь сказал. До капли... Идет: «Ну, Миколушка, — он так Тятю звал, — я пришел». — «Вот и хорошо, что пришел. Раздевайся». У нас Тятя вообще бедных жалел. У нас рядом сироты жили —

три брата да сестра. Придут к нам. А тут же дядя родной богатый жил. К нему никогда не ходили, к нам придут: «Дядя Миколай, дай мерочку овса». Тятя скажет: «А чего ты с мерой-то будешь делать?» — «Да хоть полоску посеять». — «Нечего тут с мерой делать. Голован, пойди насыпь им из большого засека, это семенной-то». Насыпем им мешок. А осенью придет который-нибудь помочь нам молотить рожь. А то еще дедушка Алексей с бабушкой Катериной у нас на задах жили. Это пастух был. Он женился в нашей деревне. И брат у бабушки богатый был — Мохов. У нас только у четверых столько земли было. Потому что одиночки. Землю-то делили на каждого брата. А у нас — одиночки. И вот дедушка Алексей взял евонную сестру Катерину. А ведь раньше болезнь катарак не признавали. А у нее катарак, и на оба глаза. Она чуть-чуть вот только солнышко видела. Слепла. У нее двое деток — обедняли. Он стал пасти. Земли нет, а надо ему поставить келью, домик. А раньше землей-то как дорожили! Чтобы лишнюю охапку сена-то не потерять... Гребнев пустил его пожить. Эту келью поставили ему. Дедушка Иван Гребнев. А потом: «Нет. Вот ходит тропа... И на тропе никакая трава не растет. Да и келья. Нет. Убирай келью!» Тятя приходит со сходу: «Мать, дедушку Алексея дедушка Иван прогоняет. Куда его? Не пустить ли к нам?» — «А вот у нас огород-то... Вот тут отгородим. Вот и ходят пускай... Да и грядки пускай тут вскопает». Тятя пошел: «Давай к нам в огород». — «Ой!» — в ноги повалился. — «Не надо, не надо». Тут поставили евонную келью, отгородили ему. Канаву Тятя прокопал, чтоб вода стекала. У нас они и жили до конца. И он все пас, он всю жизнь пас. Как слепла бабушка Катерина, он все пас. А сыновья по работникам. Степанушко у нас жил три года, пока мы с Галинкой маленькие были. Он непохоже, что у нас и работник был. Он начнет командовать. Нам достанется, еще и набьет. Ему Тятя так и наказывал, как куда пойдет: «Ты, Степанушко, им не давай воли».

Он и командует. Он шестнадцать годов к нам пришел и жил до самого призыва. А уходить — так ревел. Последнюю зиму ревел. Тятя говорит: «Ну, Степанушко, теперь у нас уж девки подросли, справимся». Сидит да ревет. Тятя говорит: «Ну, что сделать, уж коль так? Оставайся, живи уж. Что с тобой сделаешь?» — «А я, — говорит, — Ваганкто, лошадь, люблю больно». — «Ну и живи». Еще зиму и жил. А Парменушко, другой брат, гармонист был хороший. Гармонь он на кружевах выплел. Купил себе, кружева плел... Да, Парменушко и Степанушко... Обоих их убили в первую войну. Так уж в войну все это и началось. Помню, пришел к нам Алексей Гусев, он еще нам по родне. А тут газета, в ней написано — явление Божией матери на войне. Николая Николаевича портрет. Тятя читает. «Видно, — говорит, — есть еще и благоразумные воины». А Гусев выхватил газету у Тяти из рук, да и изорвал всю. «Это все вранье!» — кричит. Тятя схватил полено да и за ним. «Тятя, Тятя, ты что же?» — «А почто он газету схватил да изорвал?» Ой, ужас... А уж в семнадцатом году началось. Назаписывались в партию, кричат: «Все поровняем!» Из себя воображали невесть чего:

Бога нет, царя не надо,
Мы на кочке проживем!

Напьются пьяные и поют. И тут приехали из города трое — два мужчины и наша же учительница Апполинурия Яковлевна. Приказ: выносить икону из школы, безо всяких яких! Большая была икона Александра Невского. Но уж ее выносили с молебном, после обедни. А учительнице Апполинурии не нравилось, что с молебном. Молебен отслужили в церкви и пошли за иконой. Еще отец Протоиерей был жив — он ста трех годов умер... Ой, как все ревели! Кричали! Стыдили эту Апполинурию: «Ты что делаешь-то?» А она одно: «Приказ. Везде вытащим! Не будет

икон нигде!» Ох, как она резала! Ужас! Так это все было дивно. Женщина и так... Она у нас не учила, она в Василеве учила... Что и делала! А тут кричат: «Не пустим теперь детей в школу!» Так все плакали, как икону выносили, все плакали. А больше всех кричали три Николая — Тятя, Николай Панков и Юров Николай. А ночью их всех и увезли. А тогда всех расстреливали, вот и думали, что их теперь расстреляют. А через неделю их отпустили, только каждый день на допрос гоняли. И приходит к нам дедушка Иван и говорит: «Колюшка, поедем». — «Куда?» — «В Мытниково». — «Почто?» — «Сегодня продажа будет. Знаешь, какая мебель будет продаваться — красного дерева. Поедем!» — «Нет, — Тятя говорит, — не поеду. Не надо мне. Сегодня поедете покупать, а завтра у вас все отберут». — «Что ты?! Что ты?! Они там господа, а мы-то что? Мы рабочие люди. Да разве это мыслимо?» А полгода не прошло, у него все отобрали. А то: «Они бары, нечего их жалеть». А тут приехали латыши хлеб отбирать. Целый отряд. Рукава-то засученные, руки-то голые. Ужас! Такая страсть была. Наши-то перепугались. «Турки, — кричат, — турки приехали! Будут всех стрелять!» Все побежали... Чего мы понимали тогда? У них и морды-то не эдакие совсем. И расстреляли они учительницу, священника дочку. Она из Грамотина. У них три дочки было, сын один — Петро Михайлович, Мария Михайловна, Екатерина Михайловна и вот эта — Александра Михайловна. Она — самая младшая. Отец у них уже помер, брат там служил — отец Петр. Фамилия им — Студицкие... И он от священства тут отказался. Там в Грамотине два священника служили, Архангельский и Студицкий. А Архангельский, отец Иван, он не отказался. Ну, уж он старый священник был... А Александра Михайловна, учительница-то, только всего и сказала: «Надо молебен отслужить, Бог нам и поможет. Может, уедут латыши». Только и сказала. И тут же они ее и забрали. Увезли с самого разу. Потом на второй день отпустили. Только

она домой дошла, опять являются. Опять увезли. Она говорит: «Дайте мне только переодеться». Только и сказала. Надевает белое платье. Пошла. «Ну, простите, — говорит, — все». Поклонилась всем. И повел ее латыш. Как сейчас его вижу — харя широкая, долгоносый. Брал ее замуж. «Все, — говорит, — простим. Поди за меня замуж». — «Нет, — говорит, — стреляйте... Только не в лицо стреляйте». Много их тогда, двенадцать человек расстреляли. В один день. Это только в Колодине. И всех в одну могилу. И увезли латыши у нас весь хлеб до капли. Лошадь Ваганко у нас взяли. Корову белую взяли. И быка. Быка-то Тяте больно жалко было, кудреватый весь, не этой породы. Тятя пошел покупать лошадь — без лошади нельзя. Хорошую опять купил, не любил он плохих лошадей. В деревне Хреново. Там купил. Говорят: «Дяденька Николай привел лошадь хорошую. Четырех годов». И эту увели. Пришли, все опять описали до капли. Ну, за эту деньги выдали. Ваганко бесплатно взяли, а за эту деньги выдали. И в тот год на Троицу я в монастырь ушла, я на Троицу там осталась. А на четвертый день Троицы приехали к нашим да нашли пять мешков хлеба убранного. За это уж все отобрали. Квашенка растворена, а замесить нечего. Не оставили. Тятя тут же поехал в Вятку за хлебом. Ведь семья. Два мешка привез из Вятки. Туда ездили за хлебом, в Вятке было хлеба много. А последний раз я Тятю видела Великим Постом. Они с Мамой ко мне в монастырь приезжали. А он как приедет, первым делом к Манечке юродивой идет. А она у нас всем все предсказывала. И Тятю любила. И вот приехали они с Мамой. Манечка его на лавку усадила: «Хороший, дяденька Николай, ты хороший». Он: «Я опять к вам скоро приеду, все буду ездить, пока живу». — «Нет, не приедешь, — говорит, — больше». Маме говорит: «А ты его спеленай». Тятя говорит: «Я вот только посеюсь и опять приеду». — «Нет, — говорит, — не приедешь. Больше ты не приедешь к нам»... И получилась у него скоротечная чахотка, в две

недели свернула его. И тут прихожу я в церковь — она плачет, подходит ко мне. Я говорю: «Что ты, Манечка, плачешь?» — «Как же мне не плакать, у меня Тятя помер». Я говорю: «Ну, так уж и время». — «Да нет, — говорит, — не время. Ему бы еще надо жить». И заплакала. А я: «Да уж не расстраивайся». — «Как же не расстраиваться-то. Ведь он еще молод. Семья...» (А у Мамаы четверо осталось.) А потом я через два дня прихожу в церковь, аккурат его в этот день хоронили, Манечка подает мне просворку. «Запиши в помянник, сегодня похоронили». И опять заревела. Это уж я потом все поняла. Мне и письмо пришло, да мне матушка Игуменья не отдала. «Не надо, — говорит, — ей сказывать это». Потом еще письмо пришло, и это не подали. Третье письмо уж мне подали. А он ведь меня ждал, послал за мною. И перед самой-то смертью я ему привиделась. Тут пришла к нему Агния, из нашего монастыря монашина, он ее увидел: «Ой, милая моя, ты и пришла». — «Тятя, — говорят, — ты чего?» — «Да вы разве не видите? Санька пришла». А я ему послала просворок. «Матушка ты моя, как я тебя жду-то... И просворочку мне принесла». А сестра Лидушка, ей два года было, подошла к нему, да и тянет просвору: «Это крестная мне послала». — «Нет, — он говорит, — это мне». Вот и все, и больше не сказал ни слова. Как Тятю схоронили, так у Мамаы еще корова была, лошадь... Потом лошадь взяли. У Тяти лес был, роща. Большая она была. Недалеко от деревни. Бывало, дрова пойдем пилить, Тятя скажет: «Тут не валите! Повалится на дерево, так сделает царапину. Этот лес у меня на пятистенок». У нас двор был новый, а дом-то старый, вот он и хотел новый пятистенок ставить. Вот и поставил... Уж его в живых не было, поехали рубить нашу рощу. А Костя Евгеньев: «Погодите! Стойте! Стойте!» Вперед поехал. Подъезжает к нашему дому, остановил лошадей всех. Слезает, под окошко топором стучает: «Тетка Пелагея!» Она говорит: «Чего, батюшка?» — «Ведь вашу рощу поехали рубить». Она говорит:

«Нашей рожи теперь нет. Все ваше. Поезжайте, с Богом». А потом у наших корову забрали, да и Маму увезли. Ну, тут вся деревня стала хлопотать. Четверо деток осталось. Галина, старшая, шестнадцати лет. Тут корову отдали, да и Маму отпустили. Две недели всего она просидела. Только из своего дома выгнали. В сторожку четыре семьи поставили жить. Сторожка-то длинная. Еще и издевались: «Тетка Пелагея, мы тебя все-таки уважаем. Вот тебя к окошку. Жить-то». — «Мне, — говорит, — везде хорошо. Слава Богу. Спасибо». А я дома не бывала целых пять годов. Все из монастыря не отпускали. А тут приехала, пошла поглядеть на место наше. Двор стоит. Дом увезли, уж не знаю куда. А двор у нас новый был — окошки большие прорубили. Тут колхоз коров наставил. Восемь коров тут стояло. И ничего нашего нет. Только смотрю, кукла наша деревянная — дядя Алексей сделал — Агаша Ломоносая на земле валяется. Я подняла ее, да и говорю: «Тебя-то, милая, никто не взял. Никому ты не понадобилась. Потому что ломоносая». И вспомнилось мне, как, бывало, собирается Тятя зимой в лес по дрова. Отрежет большой кусок хлеба, посолит. Завернет в бумагу, положит за пазуху. «Это, — скажет, — я лисичке от вас передам. А она вам своего хлеба пришлет». Вот придет из лесу домой, мы к нему: «Тятя, Тятя, привез?» — «Привез, привез. Лисичка вам хлеба послала. Больно уж хорош у нее хлебец». И делит нам кусок на всех. Мы едим: «Ой, какой у лисички хлеб хороший. Тебе, Мама, так не испечь». — «Ну, — Мама скажет, — у лисички и печка-то не эдакая...»

декабрь, 1985 г.

Цистерна

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ СУДЬИ! Я ДОЛГО ДУМАЛ НАД ТЕМ, ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ В ЭТОМ МОЕМ ПОСЛЕДНЕМ СЛОВЕ... НО МНЕ ВНУШАЛИ С РАННЕГО ДЕТСТВА: ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ СМЯГЧАЕТ ТЯЖЕСТЬ ЗАСЛУЖЕННОЙ КАРЫ. И ВОТ ЗАЯВЛЯЮ ПРЯМО: ДА, Я ВИНОВЕН ПО СТАТЬЕ СЕМИДЕСЯТОЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА — В ХРАНЕНИИ АНТИСОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НО, БОЖЕ УПАСИ, НИКАК НЕ В ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИИ. Я МОГУ ТОЛЬКО ПОВТОРИТЬ ЕЩЕ РАЗ ТО, ЧТО ТВЕРДИЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ СЛЕДСТВИЯ И УЖЕ ЗДЕСЬ ПО ХОДУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. ПАПКА С НАДПИСЬЮ «ЦИСТЕРНА» ДОСТАЛАСЬ МНЕ СЛУЧАЙНО ОТ ПЛЕМЯННИЦЫ ДАЛЬНЕГО МОЕГО ЗНАКОМОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА ХОЛОДКОВА ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ, КОТОРАЯ ПРОИЗОШЛА ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ ОТ ВИРУСНОГО ГРИППА, ПЕРЕШЕДШЕГО В ДВУХСТОРОННЮЮ ПНЕВМОНИЮ... ПАПКА БЫЛА НАЙДЕНА В АРХИВЕ ПОКОЙНОГО И ПЕРЕДАНА МНЕ ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, ЧТО В ИХ СЕМЕЙСТВЕ Я ИЗВЕСТЕН КАК ПОКЛОННИК ИСКУССТВ И ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ... ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ НОВЫМ, ТРЕТЬИМ ПО СЧЕТУ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЭТИХ БУМАГ. КАЮСЬ, КАК ТОЛЬКО Я ОЗНАКОМИЛСЯ С СОДЕРЖИМЫМ, У МЕНЯ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ МАЛЕЙШЕГО СОМНЕНИЯ, ЧТО ЗДЕСЬ СОДЕРЖИТСЯ МНОЖЕСТВО КЛЕВЕТНИЧЕСКИХ ИЗМЫШЛЕНИЙ, ПОРОЧАЮЩИХ СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ. ОДНАКО ЖЕ, СО СТОРОНЫ ЧИСТО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, ВСЕ ЭТО ПОКАЗАЛОСЬ МНЕ ДОВОЛЬНО ЗАНЯТНЫМ, ТАК ЧТО РУКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ СРАЗУ ЖЕ ПРЕДАТЬ БУМАГИ ОГНЮ. ПРОШУ ВАС, ГРАЖДАНЕ СУДЬИ, ПРИ ВЫНЕСЕНИИ МНЕ ПРИГОВОРА ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ ВСЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ...

Вороной, весь промасленный станционный паровоз издал свой щемящий гудочек, шумно выдохнул — толчок, и цистерна покатила, громынула на стрелке сперва передней четверкой колес, потом задней и, округло удаляясь от магистрали, понесла свои лоснящиеся бока, свой семизначный номер, почти стершийся от времени, и белое пятнышко — череп, кости и слово «ЯД!»... И уже заскрипели рессоры, рельсы сделались неровными и ржавыми, редких шпал не угадаешь в жирной мазутной земле... А потом путь исчез в зарослях репейника, ушел под пыльную сень лопухов, беззвучно сокрушаемых колесами... Наконец паровозик притормозил, издал еще один пронзительный крик, в ответ ему заскрипели железные ворота с ржавыми пятиконечными звездами, и цистерна медленно вкатилась на грязный и запущенный заводской двор...

Он хотел, чтобы сочинение его начиналось с этой фразы, именно с этого куска, и я долгом своим почел исполнить его волю. Я вообще старался здесь ничего не перемещать, все тут именно так, как он, должно быть, оставил. Во всяком случае так, как это попало ко мне... Кто же это — «он»? Он — здесь главное лицо. Он — автор... А я?.. Моя собственная роль весьма неопределенна... Пожалуй, я нечто вроде гида, ведущего... Конференсье, если хотите... Представляете, такой донельзя интеллигентный пошляк доброго старого времени — в безупречном галстуке и в обворожительной улыбке...

— Добрый вечер, здравствуйте... Следующий номер нашей программы принадлежит, так сказать, к вокальному жанру. Имею честь вам представить...

Пора, однако же, представиться и самому...

Я — не злой человек.. Даже я — не больной. Здоровье у меня почти завидное для моих семи с лишком десятков. Сердце работает, как насос. И печень не пошаливает... Наверное, я просто старей.. И брюзга.. И все мне уже надоело...

Мне бы с газеткой в сквере сидеть да с симпатией поглядывать на раскормленных детей и собак. А я вот не могу... Не получается, пробовал...

И вот сижу я тут у себя, в шестом этаже... Нет, тоже не сижу... Я или на диване валяюсь, или от стенки к стенке хожу...

Там — дома, в Москве легче было...

Или это мне теперь только так кажется?..

Нет, там я, бывало, и в кресле располагался... Кресло у меня хорошее, покойное, оно и сейчас тут, со мною...

Было когда-то хорошее.

Еще папенька, Царствие ему Небесное, присяжный поверенный в этих самых креслах с «Русским словом» в руках сживали-с.

Да... А вот как отправили они меня из Москвы на эти высылки, я ни разу на кресло не присел...

Это место тоже, впрочем, у них теперь Московю считаетеся... Но для меня Москва навсегда замкнута Садовым кольцом... И все... И хватит об этом...

Вот видите, с первого раза уже зарпортовался... Плохой, как видно, из меня конферансье...

Сейчас, сейчас, уже исчезаю...

Следующий номер нашей программы принадлежит, скорее всего, к жанру лирическому...

ВСТРЕЧА

Это было в самый мой первый приезд. Я хорошо запомнил тот июньский день на Ключевой. Я расхаживал по всему просторному дому босиком по дощатым полам. Окна были настежь, всюду гуляли сквозняки и гудели мухи. Настроение у меня было превосходное. Только что я написал девять страниц сценария и теперь ждал хозяйку, которая должна была вот-вот прийти и накормить меня обедом.

Она задерживалась, и я немного беспокоился, потому что через час у меня было свидание с местным любителем старины — внизу, в центре города, в особняке, который занимает здешний музей.

Громкий голос и смех моей хозяйки я услышал издали, пока она поднималась по Ключевой. Я открыл дверь, она вошла в дом, а спутница ее — женщина в светлом нарядном костюме — осталась ждать у крыльца, пока хозяйка вынесет ей зеленый огурец, недостающий для окрошки.

Мы поздоровались.

Проворно готовя обед, хозяйка рассказала мне, что женщина эта — городской судья, что муж ее — местный доктор по имени Антон Павлович, что оба они очень милые люди и что подружилась она с ними, пока болела ее покойная матушка, которую пользовал этот врач с таким знаменательным именем и отчеством.

А еще через полчаса я уже спешил вниз по Ключевой, шел, как мог быстро, в город, в центр, в музей, потому что до момента свидания моего оставались считанные минуты. Дойдя до речушки, я свернул влево и пошел вдоль русла, мимо милиции и КПЗ, что разместились в здании прежнего уездного острога и в обезображенной тюремной церкви.

Я уже дошел до асфальтированной улицы, с которой начинается каменная часть города, и хотел было пересечь ее, когда обратил внимание на четверку людей, идущих справа мне наперерез. Трое из них были в милицейской летней форме. Один шел впереди, двое — сзади. А между ними равнодушно шагал кто-то серый, высокий и прямой. Я даже не сразу сообразил, что это — узник, хоть инстинктивно вздрогнул при первом же взгляде на него. Не сообразил, потому что мысль эта никак не вязалась с мирными домиками, палисадниками, сиявшим солнцем, деревьями, желтыми утятами в грязной воде, со всей пустынной в этот час улицей.

Замедлив шаг, я принялся с постыдной жадностью разглядывать человека в сером — его серую, поросшую короткими волосами голову, явственно видную форму его усеченного черепа, оттопыренные уши, тонкий нос, худое лицо. Он держался очень прямо, неестественно прямо. И я не сразу понял отчего. Только когда он поравнялся со мной, я заметил, что прямизна эта насильственная, что руки узника связаны чем-то за спиною. Вглядевшись внимательно, я увидел наручники — тонкие стальные браслеты, скрепившие его запястья...

Между тем у конвоиров был вовсе не свирепый, а какой-то будничныи вид. Да и сам узник с ленивым любопытством поглядывал по сторонам, щурясь от яркого солнца, и, казалось, вовсе не намерен был бежать. В зубах его торчала папироса.

Они пересекли мой путь. И тогда я, заставив себя не оглядываться, быстро перешел улицу. Мне стало мучительно стыдно: я стыдился самого себя, своего благополучия, своего жирного обеда, девяти страниц, написанных утром, своего копеечного интереса к старине... Я продолжал быстро идти вдоль русла речушки, и теперь меня подгоняла не только боязнь опоздать к сроку свидания, но и подсознательное желание убежать подальше от неприятной встречи, вернуть себе хотя бы тень утраченного благодушия.

Но я тогда плохо знал город. Конвоиры знают его гораздо лучше. Оказалось, что я шел не самым коротким путем, и поэтому, стараясь убежать от мрачной процессии, я спешил к новой встрече с ними.

Я свернул на главную улицу, но не успел пройти и ста метров, как та же самая четверка вышла из переулка прямо на меня. Я еще ускорил шаг, а они, по-прежнему вовсе не торопясь, двинулись по мостовой. Я шел вперед них и, оборачиваясь на каждом шагу, смотрел и смотрел прямо в худое лицо, видел тонкий нос и бумажный мундштук папиросы, которую арестант все еще жевал. Мое отворачи-

тельное любопытство здесь, на главной улице, разделяли еще несколько прохожих, и это скрадывало часть вины.

Куда его ведут?.. Только теперь я догадался задать себе этот вопрос и тут же увидел отгадку. Городской суд — гласила вывеска на ближайшем доме.

Серый, коротко стриженный человек, прямой, как жердь, с вывернутыми руками и сведенными лопатками, жуя свою папиросу, медленно шел по залитой солнцем улице, шел на свидание с моей новой знакомой — с моложавой женщиной в светлом нарядном костюме, которая только что ела окрошку с огурцом, на свидание с супругой доктора по имени Антон Павлович.

июнь 1968 — декабрь 1970

Продолжаем наш концерт...

Прошу вас, милостивые государи, обратить особенное внимание на предыдущий номер... Дело в том, что автор наш, вернее, рассказчик, вовсе не часто является на страницах собственной своей персоной. Он предпочитает не высовывать носа, все время норовит скрыться в пестрой толпе персонажей, в их базарной разноголосице...

Ну-с, а теперь позвольте мне...

Нет-нет... Виноват, еще два слова... Мне пришло сейчас в голову, что «Цистерна» все же название неподходящее. Само по себе оно не такое уж плохое. И, конечно, вполне бы сгодилось, кабы ему удалось осуществить свой замысел...

Ну а как же бы наименовать то, что получилось?

Не знаю... Может быть, как-нибудь так: история одной неудачи. Эдакий новейший жанр...

Бесспорно он — неудачник... Да, честно говоря, здесь присутствуют теперь целых два неудачника — молодой и старый. Старый и молодой...

Но — продолжаем наш концерт...

А городок между тем прелестный — весь иссечен оврагами и вздыбился буграми, дома и сады то карабкаются на самый верх, то прячутся в низинах... Петляют и горбятся улицы, поросшие травой, по ним расхаживают степенные куры и горластые петухи...

Окна все с резными наличниками, на фасадах под крышами игрушечные балкончики — гуляночки... Всюду лавочки, крылечки, на них сидят соседки, глазют друг на друга и на прохожих, щелкают семечки, судачат обо всем на свете и на своей улице и, отгоняя комаров, ритмически обмахиваются березовыми ветками...

Особняк на бывшей Дворянской улице. Каменная кладка, два этажа, чугунное крыльцо, навес над парадной дверью. Все хорошо, но почему-то торчит поперек тротуара несообразно большой балкон с массивными каменными кронштейнами — эдакая тяжелая нижняя челюсть, выпяченный подбородок...

Здесь помещалась частная женская гимназия Гидройц-Юраго.

А под балконом скамеечка, а на скамеечке — старичок, старушечка и беленькая кошечка с розовым хвостиком. Всей семьей гуляют, дышат вечерней прохладой...

И почти у каждого деревянного домика над крыльцом пристроена низенькая верандочка. Там обычно обитают молодые пареньки и девчонки на выданье, оттуда по вечерам надрываются пластинки и магнитофончики:

Хмуриться не над-да, Лад-да,
Хмуриться не над-да, Лад-да!

НА ТОЛКУЧКЕ

— А-а-а.. Сегодня это что за базар?. Вот в прошлое воскресенье...

— А куда она мне?

— Бери, бери! Чего смотришь?

— Ну и нечего глядеть!

— Вы говорите такую цену и не стесняетесь?!

— Это ведь шуба, не пальто...

— Дырявая шуба.

— Сам ты дырявый!

— Кругом одна дырка!

— Постыдились бы бесстыдство свое показывать!

— Это что это у вас лохматое? Шиньон?

— Шиньон.

— Ну, и сколько?

— Тридцать рублей... Его расчесать можно.

— Да ты померяй, померяй... Самый сейчас модный сапог!..

— В прошлое-то воскресенье тепло было...

— Бог-то, видать, совсем уж старый стал. Все путает — когда дождь надо, когда чего...

— У меня была рогонда на лисьем меху...

— Рогонда? Это что за рогонда?

— Все я продала, все у меня было. Какие у меня были сережки с бирюзой и с аметистом. Я работала в поликлинике, и лучше меня из сестер никто не одевался. Потому что мне сестра из Москвы присылала. Эх, всего я поносила, всего покушала. Икорку кушала и рыбку...

— Рыбка-то вон и сейчас есть. Треска...

— Да и той нет...

— Если бы у меня был жив зять, я бы так не бедствовала...

— Вот, бери одеяло...

— Нужно оно мне, как на Петровку варежки!

- Да ты мне ее так отдай, впридачу...
- У меня давалка-то не на палке, была бы на жерде, совал бы везде!
- Это сестрина кофта. Болела она крепко. Теперь сКоронили... Осталась я одна, как куст обкошенный...
- А деньги-то на поминки приготовила ли? Припасла?
- А куда они мне? Я уж есть не захочу... Завоняю — придут, похоронят...
- Поверх земли-то не положут...
- Где этот цыган-то тут вертелся? Не видали? Я ведь ему полтинник за двугривенный сдала!
- Уж он убег...
- Вы скажите, какая ваша цена?
- Ну, рублишку я дам...
- Рублишку?..
- Это же рухлядь, рвань!
- Ведь это — бывалочная вещь...
- Ей, может, сто годов!
- Самому тебе — сто годов!
- Вот всегда так. Пойдешь на базар, какая-нибудь очередь прицепится. Ну и стоишь...
- Я себе в питании не отказываю. Я тогда только себе отказываю, как придет пост. А в мясоед я себе ни в чем не отказываю.
- Я всех сКоронила. Одним раком. Семь человек умерли одним раком.
- Меня все лечил еврей, да пользы никакой. Он терапеи лечит.
- У вас, говорит, рак в шестом, в седьмом поколении в крови.
- Вот она — хозяйка.
- Шалка беличья. На нее дождь пойдет, высохнет, и опять она такая же...
- Да больно дорого...
- Купи в магазине...

- Бульдозер на Луну запустить — это мы можем, а чтоб шапки свободно были, это мы не можем...
- Видал у галки свигалку...
- Он уж, почитай, с третьей живет...
- А чего тут дивного? Как раньше у цыгана лошади, так теперь у мужиков бабы...
- Америка нас не боится. Она нашей войны боится.
- А мы боимся ее техники. У нас таких орудиев нет.
- В Америке дамы с собачками гуляют, с веерами на лавочках сидят. А у нас этого нету.
- Он вчера бушевал. Он вчера был выходной.
- Нечего смотреть да разглядывать... Она ни разу не стиральная.
- Он у кого-то стянул велосипед. У него сроду велосипеда не было.
- Вы возьмете, другой возьмет, вот она и грязная!
- Он потому уехал, что он жену убил. Не жена она ему, а наложница...
- Дорого просите...
- Тут жила татарка. У ней муж порезал Бориса и тоже скрылся...
- Чего там дорого? Эти деньги теперь, как мясо в жару...
- Мне на ремонт три ведь тыщи надо...
- Три тысячи?
- Старыми три...
- Тьлфу!.. Что ты все старыми считаешь?
- Мы ведь его, дом-то, ставили на старые...
- Да, бери, бери, не бойся! Она шунчовая. Дочка с фабрики принесла. Они там все чистое такое работают — полотенца фланелевые, ш у н ч у...
- Хы! Все бывает. И у девушки муж помирает, а у вдовушки живет...
- Сама-то ты на гуце, а любишь на дрожках.
- У нас в улице как взялось гореть... В понедельник

дом сгорел. Во вторник. В среду — три дома... И чего горят?...

— Все, подчистую! Вор-то ворует, хоть стены оставляет, а пожар-то нет.

— Не говори. Вон у нас хозяева-то хоть выгащили так кой-чего, а квартиранты и х и на работе были. В чем ушли — в том и остались. Одни фуфайки — ни ложки, ни плошки...

— Покажь, покажь!.. Сегодня — не Казанская!..

— Что? Денег жалко?

— Вон на вино им не жалко!

— Дуют, как квас в покос!

— Старая ты, а дура.

— Дура?! Это я — дура?! Скотина ты! Скотина и есть! Скотина безрогая! Я те дам — дура! Умная! Твоими бы мозгами мне задницу подмазать!

— У Клавди-то слыхала, чего было? Она своєю на пятнадцать суток оформила. Он отсидел, вернулся домой и говорит ей: «Я, говорит, там пятнадцать суток все парашу выносил да нюхал...» Взял горшок-то ночной, дети напрудили, налил ей полстакана... «Пей!» — говорит. Она не хочет. А он взял кочергу. «Башку, говорит, отшибу!» Ребятишки-то и говорят: «Пей, говорят, мама, ведь убьет». Ну, она и глотнула. И теперь милиция не знает, каким его судить судом. По какой такой статье...

— Что делается...

— Твой-то работает?

— Как же, заставишь его. Ходит к пристани кой-что выставляя...

— Я снохе купила, да вот не хочет носить... Немодное!

— Плохо живете?

— Можно бы хуже, да некуда. Я ведь и то им говорю: вот придете к холодным-то ногам...

— Хуже нет, как брать коммунальных-то этих, каморочных. И по дому ничего не сделает, и в огороде от ней проку нет...

— А с ними разве можно ладить? Это — змеи. У нас в улице их много. Летом выйдут, я смотреть не могу! Я их еще зову — вешалки. Они на мальчишек-то вешаются. Прямо вешалки и змеи шипучии!

— Ну и молодежь пошла! Плюнешь в рожу — драться лезут!

— Разве это — базар? Вот в прошлое воскресенье...

декабрь 1970

Нищенский торг раннего лета..

На столах под небом и под навесами — желтоватое молоко, алебастровые яйца, марганцовая редиска, молодой лук зелеными пучками-колчанами, болотного цвета огурцы, белесые моченые яблоки и грибы летошнего засола.. Деревянные ложки, сита, корзины из свежей лозы..

Благодаря толчее и многолюдству впечатление скорее отрадное, нежели унылое.. Тем более что самое страшное — в стороне, скрыто за высоким серым забором.

А там просто стоят на привязи десятка полтора жалких колхозных кляч. Боже, что за одры — какие грязные, костлявые, шелудивые, со спутанными гривами и хвостами, со старческими распушенными губами..

Поверить нельзя, что это все родные внуки любимцев и кормильцев целых крестьянских семей..

Многое можно понять — надругательство над дедовским достоянием, страдание и гибель миллионов двуногих — за что боролись, на то и напоролись..

Но какую же вину искупают вот эти-то безгрешные твари?

— А?.. Что?.. Отчего я не слышу аплодисментов?.. Вот так, так.. Ну, еще похлопаем... А все же признайтесь, мне удалось заинтриговать вас?.. Ну, слегка — самую малость?.. Ну, если вы это признаете, то так и быть — по неизреченной милости моей я начну объяснение..

Я всегда вздрагиваю от звонков... И, спеша отворить дверь, никак не могу нашарить ногами свои шлепанцы... Ко мне ведь никто никогда не приходит. Даже почтальонша по новой моде сует почти несуществующую уже корреспонденцию в узенькую щелку, расположенную внизу лестницы. Пенсион они пересылают мне в сберегательную кассу... Племянницы мои редко являются проверить, не оставил ли я им еще наследства, крайне редко. Немудрено, что я забываю подчас о самом существовании звонильного приспособления...

Вот и в тот раз я вздрогнул от неожиданности, с возможной поспешностью сполз с дивана, на ходу запахнул халат и отворил дверь... Передо мною оказались дети — вихрастый мальчик и девочка с веснушками.

— Дядя, — сказал мальчик.

— Дедушка, — сказала девочка, — у вас есть ненужная бумага?

Тут я заметил у него в руках пачку старых газет, а у нее — пухлую папку с тесемочками.

— Пожалте, молодые люди, — сказал я. — Сейчас что-нибудь для вас отыщем...

Они сделали по два неуверенных шага и остановились, пораженные необычным декорумом моего жилища... В этот момент я заметил на картонной папке, которую держала девочка, слово «ЦИСТЕРНА», выведенное крупным и несколько расхлябанным почерком.

— Что это у тебя? — сказал я и взял у нее папку.

— Это нам внизу тетя дала, — сказал мальчик.

Я развязал тесемки и заглянул внутрь. Мелькнула встрепанная машинопись, какая-то правка, какие-то заглавия...

— Отдайте-ка это мне, — по вдохновению сказал я и вручил им по внушительной стопке номеров «Нового мира», коего состоял когда-то усердным подписчиком. — Идет?

- Спасибо, дядя, — сказал мальчик.
- До свидания, дедушка, — сказала девочка.
- Отречемся от нового мира, — сказал я и закрыл за ними дверь.

Дети ушли, я вернулся на диван со своим неожиданным и негаданным трофеем, улегся поудобнее и сунул ноги под плед. В руках у меня была упитанная, чуть потрепанная папка из бристоольского картона. (В размашистом слове «ЦИСТЕРНА» две первые буквы выцвели и почти стерлись.)

Я заглянул внутрь и обнаружил множество листков с какими-то набросками, замечаниями, фразами. Все машинопись. Попадались и законченные куски, так сказать, отдельные номера — снабженные названиями и даже скрепленные...

Я принялся читать наугад, что попадется. Вскоре чтение захватило меня, я поднялся и сел к столу... В тот первый раз я просидел, копаясь в папке, до глубокой ночи...

Впрочем, не кажется ли вам, что наш антракт затянулся...

Занавес попрошу, занавес!..

В ПРЕДБАВНИКЕ

- Ну, чего? Еще разок? С веничком?
- Погоди ты... дай отдышаться... Больно горячо...
- Да разве это пар? Из трубы хера ли это за пар? Мокрый да вонючий...
- А тебе б в Раю жить, да чтоб у святых ноги не повели...
- Вот в Ульяновской губернии, там они так не парятся...

— Какая тебе Ульяновская губерния? Балда ты огуречная... В Симбирской губернии... Это теперь она Ульяновская. Область...

— У меня вон дедушка восемьдесят шесть лет, а сам еще в баню ходит. И обязательно парится...

— Это и у меня дедушка ходил. Восемьдесят девять было...

— А что? Помер?

— Год уж ему... Так тихо, спокойно умер. Только вздохнул разок, и все... А день-то был, пенсию носили... Только он умер, минут пятнадцать почтальонка пенсию несет... Я-то уж в окно вижу, она идет. Она где чай выпьет, где кофий выпьет, где ей двадцать копеек за пенсию дадут, где — что... Вот и шляется, долго не идет. И вот, гляжу, она идет, а он еще тепленький... А я его так на бочок положил. Так-то сделал, будто он спит. Она заходит. Я его за плечо подергал: «Дедушка, дедушка!» Он, будто, ничего... Говорю ей: «Может, вы без росписи выдадите?» — «Нет», — говорит. Такая вредная попалась. Ну, я еще его подергал: «Дедушка, дедушка, вставай!» Он — ничего... Я говорю: «Болеет он у нас... Может быть, дадите?» — «Нет», — говорит. Ну, что делать?... Дернул я его еще разок. «Ах, ты, — говорю, — ведь он умер...» — «Ах», — говорит. «Ну, ведь, — говорю, — он ведь только что умер». «Не могу, — говорит, — дать». — «Ну, — говорю, — может, вас пять рублей устроит?» Пять рублей ее устроили...

— Да, как помрешь, так уж тебе ни пенсии не надо, ничего...

— А может, ему чего и надо, да ведь уж он не скажет тебе...

— Душа-то, ведь она куда-то девается... Может, не в Рай и не в Ад, а все ж куда-то...

— Или вот еще толкуют, говорят: кто был раньше — яйцо али курица?... Так ежели она, курица, будет, она сколько тебе яиц наладет?... Или вот страус... У него яйцо — во! — с твою голову...

- Да, природа, она есть природа..
- А вот ты мне скажи, из чего комар создался? Он тут у уха пищит, пищит, так и лезет...
- Он пищит, по-своему визжит. Своих созывает.
- Да, каждый по-своему кричит. Бык по-своему, курица по-своему, и вон петух — по-своему... Пошли, что ли?
- Погоди, дай взвеситься... Это с какой же руки тут считать? Это что же у меня — девяносто?..
- У тебя-то девяносто?
- Известное дело — бараний вес...
- А он пол-литра выпил, вот тебе и полкило весу...
- Он у нас не пьет.
- Что ж он татарин, что ли?
- Это раньше татары не пили. Теперь жрут больше русских...
- А ты чего молчишь?
- Вон у нас татарин-то...
- Вино Пророк запретил. А он почему запретил? Он туда шел, видит, люди пьют, веселятся, песни... «Вот, — думает, — хорошо. Дети мои делом заняты». А обратно он шел, смотрит: кто где — кто в озере, кто в луже, кто на голове стоит... Безобразие такое. Он и запретил...
- У нас один в улице бросил пить, как цена на водку поднялась. «Все!» — говорит. Так и не пьет.
- А! Какая цена на нее ни будь, все хватают...
- За любую цену возьмут. Нас, дураков, еще угол непочатый...
- А есть, кто по здоровью не пьет...
- Есть чудаки...
- Это со мной случай был... Мы с училища летели, с Алма-Аты. Летим — три курсанта.. А там у них был пленум ЦК, ихней там компартии. Ну, летим втроем. Две бутылки коньяку тогда взяли да красного. Ребята впереди двое сели, а я сзади. А рядом со мной мужик у окошка. В костюме. Ну, взлетели... Я стюардессу — раз: «Таши четыре

стакана». А он тут сидит у окошка. Ну, я разливаю своим и ему: «Давай, мужик!» — «Нет, — говорит, — я не пью. Желудок, — говорит, — не позволяет...» — «Да брось ты, — говорю, — чем заболел, тем и вылечишься». — «Нет», — говорит... И все... Ну, мы выпили, летим. А видимость так хорошая. Он все в окно глядит: «Ах, сколько земли пропадает...» — «Да брось ты, — говорю, — мужик! В союзе земли много...» — «Нет, — говорит, — это моя стихия». — «Ну, — говорю, — у меня другая стихия». Наливаю опять. «Ты лучше выпей». А он все: «Сколько земли пропадает». — «Да брось ты, — говорю, — расстраиваться, мужик...» Я уж тут по плечу его хлопаю... «Давай выпьем!» Нет и все... Ну, тут мы уже обе их раздавили и красное... Ладно. Прилетаем в Москву. Гляжу, ему — особый трап. Он шляпу надел и в «Чайку»... У меня глаза на лоб полезли... Спрашиваю стюардессу: «Кто это мужик летел?» — «А, — говорит, — это министр сельского хозяйства всего союза». А я его по плечу...

— Это он, может, в самолете не пьет. А так-то дома, под икорку...

— А чего? Я тоже без закуски не пью...

— Налью тебе стакан, пить не будешь?

— Не буду.

— Ну, это ты скажи тому, кто не знает Фому, а я — аядя ему.

июль 1971

Стрелковый тир — ветхая деревянная избушка. Настолько ветхая, что кажется, будто из нее во все стороны должны вылетать пули.

На краской тряпке чуть вылинявший лозунг: «Наша цель — коммунизм!» Двусмысленность этого сочетания никто в городе не замечает.

Должность заведующего в этом тире — синекура.

Местный военком отдал ее спившемуся фронтовику, Герою Советского Союза. О его геройстве, впрочем, вспоминают лишь два раза в году — в День армии и в День Победы над немцами... А так за хромоту свою, привезенную вместе со звездой, он именуется Вася Дыль-дыль (дыляет, припадает на ногу).

Вокруг тира всегда выются мальчишки и крутятся пьяницы. У Васи за прилавком можно спокойно выпить, у него есть стаканы...

А звездочку свою он никогда не снимает с потасканного черного пиджака, и она перекачует в конце концов, слегка видоизменившись, на его оцинкованное надгробие (за счет военкомата).

Ах, куда, куда ушло то времечко, когда Вася только что вернулся в родной город — со своей хромотой, со своей золотой звездой, с крашеной блондинкой женой — бывшей ППЖ начальника дивизии, — победитель Германии, оккупант с десятью чемоданами награбленного добра.

Сорокалитровый жбан протиснулся сквозь лазейку в заводском заборе, и рука с татуировкой (сердце, пронзенное стрелой, и надпись «За измену!») дотащила его до автобусной остановки... Там за него взялись сразу четыре руки, он взлетел и грохнулся на подножку, бывшее содержимое цистерны булькнуло. Жбан закачался и затрясся мелкой дрожью — автобус покатило по бульвару.

Его швыряло и раскачивало — виражи и остановки, пока наконец рука «за измену» не подхватила его опять, и на этот раз он стукнулся дном об асфальт. Его снова поволокли, и он оставлял след на тротуаре...

Скрипнула дверь, и жбан, перевалившись через деревянный порожек, оказался в просторном сарае подле мотоцикла, загаженного курами. Здесь его на некоторое время оставили в покое.

Но вот дверь слова скрипнула. Рука «за измену» отстегнула крышку, и внутрь жбана с бульканьем погрузилась эмалированная кружка.

Она погружалась четыре раза подряд, а на краю стоял в это время алюминиевый бидончик с привязанной крышечкой...

Зашелестели рубли, звякнула мелочь...

Рука «за измену» лишь наложила крышку — не заперла...

Скрип двери, и на краю примостилась стеклянная четверть...

Погружалась кружка, шелестели рубли, булькала жидкость...

И пошли, пошли все эти бидончики, скляночки, баночки, бутылочки...

Рука «за измену» уходила теперь внутрь почти по локоть...

Но когда кружка нырнула в жбан первый раз, в ответ слабому бульканью в сарае раздался сатанинский хохот — это раскудахталась черная курица, она только что подарила миру яйцо...

А таких жбанов только в тот, первый, день через дырку в заборе прошло целых семь штук...

Тут попадались и совсем чистые листы и такие, на которых все было перечеркнуто... Я до сих пор не понимаю — случайный или произвольный порядок царил в папке, когда она мне досталась. Кое-что говорит в пользу того предположения, а кое-что в пользу иного...

И вот пошли, начались мои вечера, когда я все это листал, перебирал, перечитывал... Словом, я и сам не заметил, как в руках у меня оказалось перо, и я принялся делать записи. За этими занятиями промелькнула у меня осень (дети заходили, кажется, в сентябре), прошла зима, а вот уже и весна на исходе...

И стал я тогда же — осенью — вспоминать, стал думать, кому же могла принадлежать эта папка? И сразу же всплыл у меня в памяти незаметный такой человек, довольно молодой.. Бегал тут все с какими-то авоськами.. Жил, кажется, прямо подо мною, и щелкала у него по утрам своими копытцами пишущая машинка.. Была у него тут жена или что-то вроде жены. Ну, она-то и сейчас тут, а вот он исчез, пропал. То ли сам он от нее сбежал, то ли она его выставила.. И машинка давным-давно умолкла..

А потом у нее появился новый, белоглазый с «фиатом». Нет, он не совсем появился, он стал появляться — регулярно по вечерам.. Но этот, второй, всякий раз выкатывается отсюда не позже одиннадцати. И, стало быть, дама наша переменяла не только сожителя, но и, так сказать, общественное положение.

Меня-то все это абсолютно не занимало, и вовсе я о них не думал, но папка, «Цистерна», приковала к ним мое внимание, вот что заставило меня исчислять подробности..

И вот припоминаю я, как мы ехали однажды с ним, с тем, с первым, в лифте.. Минуты две-три стояли в тесной кабине, в противоестественной близости. И был он какой-то обросший и даже обтрепанный, как видно, возвращался из путешествия. Но я тогда не очень на него смотрел, меня больше заинтересовал его рюкзак — весь в ремешках, в пряжках и с какими-то даже металлическими конструкциями..

Теперь-то бы я глядел не на рюкзак..

НА ПАПЕРТИ

— Скоро уж откроют?

— Должно, скоро..

- Уж пошел отец-то Евгений.
- Да ты сядь, посиди...
- Что Клавдя-то в церкву не ходит?
- Хворает. Простыла, да все чишет, все чишет...
- Чишет? Так ведь это надо котовым хвостом.
- Хвостом?
- Бывало у нас как кто чихнет, бабушка сейчас спросит: «Кот-то дома ли?» Вот сюды прям в нос хвостом сует, да и приговаривает: чихота, чихота, иди на коту... С коту-то на дьякона, а с дьякона на всякого... И проходило.
- Вот ведь и хвораешь и все, а помирать-то не хочется.
- Кому охота?
- Да уж мне-то вон пора. Пожила.
- Вот тут бы в ограде и лечь. У меня отец тут, мать. Муж сорок второй год лежит... Уж я рядом-то лягу, хоть тут с ним поссорюсь... Ох, наподдам ему, ох, наподдам!..
- Да будет тебе!
- Чего говоришь-то?
- Уж он и затылок, поди, протер, лежавши...
- Чего, скажу, рано ушел? Не ходи рано! У тебя уж вон и кости сгнили, а я по сею пору тут маюсь... Наподдам!
- Чего ты выдумала? Чего выдумала? И в мыслях этого не держи!
- Нет, пока еще держу.
- Да... Хорошо, как сразу умрешь, в одночасье. А то вон как моя-то соседка... Хуже нет. Заболела раком, четыре с половиной года мучилась. И сестру замучила. Сестра-то раньше ее умерла. Тридцать восемь лет...
- Когда не помирать, все день терять...
- Тридцать-то восемь, это еще что... Вон у нас, в Бутырах, еще тридцати годов ей не было... Тоське-то. Дело, конечно, оно чужое. Май был, а муж-то ее у порога топор положил, припас. Да веничком вот так-то прикрыл. А девчонка маленькая и спроси: «Зачем, тятя, кладешь?» А он говорит: «Надо». А как стали дом-то запирасть, гулять идти,

он тут-то ее и оглоушил. Топором. И ножом, ножом-то в грудь. А она только все: «Хватит... хватит...» И себе вот тут маленько на горле порезал. Дескать, драка, мол, у них была. Привезли их в больницу-то вместе. А потом его в тюрьму. Три года дали такого, что уж он и не вышел... А как Тоську с моргу брали, мать-то больно убивалась. Хошь она и не родная ей, мать-то, а уж больно убивалась. «Праздник, — говорит, — мы все выпиваем, а он только на стол поставит. Не пьет». Он трезвый это дело-то делал. Двое детей...

— А им — что дети, что не дети...

— А то я еще в девках была. До войны. Так-то под вечер с парнем шла. Идем рощей. Он мне тогда и говорит: «Как у вас в деревне-то хорошо поют». Подошли мы, а это не поют — режут, плачут. Дуню Горохову муж застрелил. От четверых детей. Разрывной пулей полоснул в живот. Милиционер был...

— Этого сколько хочешь. Вот и у нас в улице, на Чайковским прям все с ножевого завода. Кто с молотком, кто с топором. В угловом-то доме уж он жену бил, бил... Она и убегла хуш бы к соседям. Он — за ней. А они ему и не сказывают, что, мол, она у нас-то. Спряталась-то. А он возьми, да и подожги дом. Соседям. К окну опять подошел, да и говорит: «Горите». Они не верят. Он опять: «Горите». А они не верят. Так и спалил подчистую. Потом выплачивал...

— У нас в улице — все покойники. То девку схоронили, то женщина одна угорела...

— Вон у нас Ольга-то летось мужа схоронила. Я ее и спрашиваю. «Небось, жалеешь его?» — «А чего, — говорит, — мне его жалеть? Мало я с ним, — говорит, — мучилась?.. Раз корову гнала, да под кустом его застала с одной... Уж я дойницей и была ее, ох и была... Так ведь он и не заступился за свою... А как взялся помирать, так говорю ему: “Василий, хоть бы ты извинился передо мной, да покайся...” — “Пошла ты, — говорит, — от меня на

три буквы”. И давай всех своих, прости, Господи, б... считать. Штук их одиннадцать. Вот с этой я еще, да вот с этой... Больно поганно помирал... Я ему, дескать, что ты делаешь? Ты ведь отходишь, не сегодня завтра там будешь... А он смеется да считает их... “Покайся, — говорю, — покайся!” Ни за что не покаялся... Так чего же, говорит, мне теперь его жалеть?..»

— Они, мужики, сейчас такие...

— Сейчас и бабы-то такие, прости, Господи...

— Кто как отходит. У меня вон папа в тридцать третьем году помер. Скоротечная чахотка у него получилась. Все приходили к нам золото искать, да револьвером у него под носом крутили. Пугали... Видно, оно со страху-то... Вот в канун смерти приходим мы все к нему прощаться. А уж он лежит вроде как без памяти. А мама тут охапку дров принесла да возле печки бросила, со стуком-то. Он как вскочит! С кровати ноги спустил... «Что это?» — «Это, — говорим, — папа, дрова...» — «Ох, — говорит, — зря вы это сделали. У нас уж была, — говорит, — вербовка. Кому сегодня помирать, те в правую сторону, а в левую, кто завтра в семь часов... Теперь мне, еще целую ночь мучиться». Так вот, поверишь ли, ровно семь часов бьет, а он помирает. Я говорю: «Папа, папа, ты помираешь?» Он только сказал: «Ну и что ж».

— У меня вон напротив бактисты живут. Они не нашей веры. Покойников своих в церкву не носят. Так-то сами попоют. И песни все такие чудные: спокойной ночи, брат... Да и зароят...

— А то еще в Москве, говорят, какая-то крематорь. Там покойников огнем жгут.

— Сожгут, как гнилое полено, нажрут, напьются, да и дело с концом...

— У нас тоже пьяных сколь хочешь. Вон отец-то Евгений, тот еще ничего. А Лонгин, ежели кто в церкви пьяный, он отпевать тебе не будет. Выйди и все...

— А вот соседка моя сюда к нам в церкву не ходит. В Никологоры ездит. Тут, говорит, поп ваш поляк и католик..

— Это Лонгин-то?

— Какой же он католик, когда он — благочинный?

— Теперь все перемешалось..

— Вот старые-то люди говорят, близок уж конец. Ох, близок.. Все, дескать, совершится в этой сотне..

— Уж какой нынче народ пошел.. Один мат, одно вино.. Я говорю, хоть на волю не выходи, чтоб не видеть этого народу..

— Да вот, хоть и у меня зять с дочкой. Как к ним не придешь, телевизор ли, радио, чего-нибудь у них да брямчит. Уж я говорю: неужто вы семь недель, постом-то не можете без этого Содому? Ничего не скажут. Только что выключат, пока я, значит, тут у их.. И едят чего ни попадя. Хоть бы вы, говорю, мясо не ели. Хоть бы одно молоко. Ну хоть бы какое воздержание. А то ведь как скотина живете.. Да еще и хуже..

— Теперь чего не жить? Махнул полой, да и стыд долой..

— Купят жабу за две, за три тыщи и глядят на нее..

— Нам еще отец-покойник, Царствие ему Небесное, говорил.. Настанет, дескать, такое время, что из тьмы один мужчина будет верующий, а из тысячи одна женщина.. Вот сейчас в городе-то пятьдесят ведь тысяч народу, а много ли нас в церкву-ту идет?..

— А и то сказать — одна церква на весь город.. Раньше-то их вон сколько было..

— И эта-то как осталась удивительно.. И то ведь разоряли ее.

— Да, вера им что нож острый..

— Мы раз так-то шли, монахиню хоронили.. Идем за гробом улицей, Святой Боже поем.. А навстречу председатель горсовета. Он как услышал, кричит: «Это что такое?»

Прекратить! Замолчите!» А мы на него не глядим, идем себе да и поем... Так уж вот он разолился — видит, ничего не сделаешь, повернулся, да и пошел обратно...

— Это им — что нож острый...

— Так-то сказывают, вольный свет будет существовать, пока три праведника останутся... И два останутся, все еще будет существовать. А когда один останется праведник, то уж на нем вольный свет не устоит. Погибнет вместе с грешным народом.

— Я так слышала, дескать, пока еще дети есть от венчаных матерей и пока поют Христос Воскресе...

— А вот говорят, ежели под Светлое Христово Воскресение в двенадцать часов прийти на кладбище, к родным-то могилам... А часы поставить по-церковному... Ровно в двенадцать часов приложи ухо к земле, к могиле, да и скажи: Христос Воскресе! И вот услышишь, какой гул пойдет под землей-то... Как мертвые-то тебе ответят: Воистину Воскресе!

— А то я еще слыхала, как идешь через кладбище, погостом...

— Погоди. Уж открывают?

— Открыли.

— Ну, поднимайся...

— Вставай.

— Пойдем с Господом.

— Ох, грехи наши...

— Господи Иисусе Христа, Царица Небесная, помилуй нас, грешных...

март 1971

Восемь часов вечера...

Еще совсем светло, а служба в церкви уже отошла, и на двух противоположных автобусных остановках тесными группами толпятся, жмутся дружка к дружке прихожанки

— аккуратные старушки, похожие на пингвинов — темные одеяния, белые платки прикрывают голову и грудь... Они сутулятся, переминаются с ноги на ногу, поворачиваются разом, как по команде, и не лицом только, а всей фигурой...

А мимо них азартные, как завсегда на ипподрома, с сумасшедшими огоньками в глазах, стучат каблуками девчонки. Им некогда ждать автобуса, они спешат, спешат на танцы, каждая рассчитывает на чудо, на главный билет, на сказочного принца, который подойдет к ней в толчее жалкой веранды под завывания и уханье механической музыки...

И вечер проходит за вечером, принца нет, нет выигрыша, а они все идут, идут наряженные, причесанные, накрашенные, стучат каблочками, распространяя запах дешевых духов...

В создавшейся ситуации меня занимает, конечно, не то, по какой причине этот мой бывший сосед ушел от жены (или она сама его выставила). Совершенно непонятно другое: как он мог оставить здесь эту папку?..

Ну, предположим, он отчаялся, отрекся, отказался от этого замысла... Тогда почему не порвал, не уничтожил, не сжег все, чему поклонялся? (Почему не поклонился тому, что сжигал?)

Такое нельзя просто забыть у бывшей сожительницы...

Он исчез, провалился, пропал... А сам — задним числом — вывел меня из моей спячки, разворошил сонный муравейник моей памяти...

Я давным-давно ни о чем таком уже не думал, и у меня было весьма твердое ощущение, скорее, впрочем, подсознательное, что к прошлому уже нет возврата, что все забыто, мертво, придавлено стопудовым камнем...

А вот — поди ж ты — кто-то до сих пор бродит по

городищу, разглядывает руины, ворошит кости и тряпье...

Неужели мертвых с погоста носят?

А коли пытаться вспомнить все, все — с самого начала, по порядку?.. Боже, что за жалкая добыча!.. Черепки на пожарище... Нет, щепочки на поверхности черного омута...

Дымок.. Только что погасли огоньки на рождественской елке, каждая свечка испускает тоненькую струйку одуряющего запаха...

Трамплин.. Дух захватывающий бугорочек на ледяной горке у Чистых прудов, по ней летишь на саночках, зажмурившись от страха...

Фраза из какого-то глупого диктанта: «Дитяте маменька расчесывать головку купила частый гребешок».

Я, например, начисто не помню уже лица моей няни.. Нет, не Матрены, а первой няни — кормилицы.. И почему-то запомнил на всю жизнь один из первых в нашей квартире электрических выключателей — эдакую мордочку.. Рычажок мне представлялся носом, а головки двух винтиков — круглыми глазками.. Рычажок вверх, нос полугнулся курносый — лицо славянское. Рычажок вниз — лицо семитское...

А няня у меня была очень набожная и почти всякий день водила меня в какую-то свою церковь, как я понимаю, тайно от моих родителей.

И церковь эту я помню, и как мы входили в нее с улицы, и на вид она была очень темная и древняя, и был всегда полумрак, и были цветные огонечки лампад, и как

все это было таинственно после светлого дня...

Мне, наверное, было года четыре, когда она взяла меня в первый раз на вынос Плащаницы. Я помню свечки, свечки в руках у всех, все лица возбуждены и каждое высвечено отдельно, и взоры все обращены в одну сторону...

Няня поднимает меня на руки, и теперь я вижу, как бабушка с седой бородой несет что-то разукрашенное на своей голове.. И вокруг и сзади идут люди.. И все почему-то плачут.. Я вижу слезу, которая зигзагом катится по щеке рябой бабы..

И няня обещала взять меня к Светлой заутрене.. И мама почему-то поморщилась, узнав об этом.. И меня уложили спать и обещали разбудить, когда надо будет идти в церковь...

И, конечно, никто меня не разбудил, и я преспокойно проспал до ясного и солнечного Пасхального утра...

И я помню, как я плакал — долго, горько, безутешно.. И как все окружили меня, как мне дарили игрушки и сова-ли сласти.. И я все не мог успокоиться.. И после этого няня моя исчезла.. Ее удалили, чтобы оградить меня от сомнительного влияния, чтобы я не рос слишком впечатлительным и нервным..

Вспоминаю платье ее, белую косынку, а там, где лицо, — пустое место.. Зато хорошо помню ее большую мягкую ладонь, которой она наклоняла мою голову в лад взлетающему по короткой дуге кадилу..

ПОНЕДЕЛЬНИК

- Раздевайтесь! Кому говорю, раздевайтесь!
- Да мы не сядем..
- Не отпускаю, не отпускаю, не отпускаю! Это вам кафе — не забегаювка!

— По одной кружке...
— Ни по кружке, ни по полкружки! В пальто ни одного не обслужу!
— Вот ведь какая вредная... Люди на работу спешат...
— Перед работой и пить нечего.
— Подержи-ка пальто.
— Привет, блудные сыны!
— И ты уж здесь?
— Чердак болит — надо чего-то делать...
— Небось баба-то деньги на обед дала, а ты — на стакан...

— Тут тебе обед, тут тебе и завтрак.
— Пиво-то не больно хорошее.
— Вроде бы как подсолненное.
— Эх, вот я в Костроме был — там и пиво! И палатка на каждом шагу, прямо из цистерны дуют. И вино тут под видом пива, и бутерброды... Пивовар у них хороший — вкус в самую точку попадает. И пьяных-то у них не видать, не как у нас — валяются. Выпьешь за углом два стакана, да без закуски... Вот тебе и все. А там этого нет. Там чинно, благородно. Пару кружек да бутерброд...

— Еще по одной?
— Вали!
— Не опоздаем?
— Ничего не делается...
— А вот я в Саратове летом был. Там тоже пиво — сколько хочешь. Приезжает прям в улицу железная бочка, как у нас квасом торгуют. И все валят — кто с ведром, кто со жбаном, кто с чем...

— Это что... Тут в шестьдесят третьем, кажись, году — морозы-то зимой были сильные... И вот у нас на межрайонной базе все красное вино — вермут там, портвейн — все замерзло. Да бутылки и полопались... Ну, чего?.. Списали все... А мужики, кто на базе работает, достали чан, развели костер и давай их греть прямо с осколками. Потом

через решето процеживали... Тоже ведрами домой таскали...

— Вон у меня брат в ГАИ работает, рассказывал. В Чудинове на шоссе машина с водкой перевернулась... Все до одной бутылки побились... Ну, водка вся в канаву стекла и так-то лужей стала... Милиция еще только едет, а мужики чудиновские уже на четвереньках ползут... Ведь что думали?.. Тряпки в луже мочили и в ведра выжимали. Откуда-то у них тут и тряпки, и ведра сразу взялись... Еще милиция только едет, а уж они на четвереньках ползут...

— Привет.

— Трешь, мнешь, как живешь? Яйца катаешь, как поживаешь?

— Живем по-херовски, курим папироски...

— Раздевайтесь, так не отпущен!

— Давай пальто поддержи.

— Ты чего так пьешь?

— У меня баба заболела. Рот открыла, закрыть не может. Орет, орет... Совсем сбесилась.

— Ну, да Вальс — плиз! Две коленки вверх, две вниз...

— Ты чего пьешь, не торопишься?

— Пускай мастер торопится. Мне — чего?

— Эх, работа...

— На той-то неделе мы хорошо работали. Четыре дня энергии не было. Асфальтовый завод, вторчермет, сельхозтехника — три предприятия стояли...

— Ну и чего?

— А ничего. Крановщик, видно, пьяный на машине ехал, да провод и оборвал. Они в тот же день его уделали, а потом три дня начальники спорили: ты плати! — нет, ты плати, нет, ты... Четыре дня. Акт не подписывали. А всего-то дела — надо было монтерам на литровку дать...

— Вот где смех, килограмм двадцать...

— Смех смехом, а она все кверху мехом.

— А ты — чего? На больничном был?

- В командировку ездил, елки зеленые...
- В Москве побывал...
- Да ни хера я ее не видел, Москву-ту!
- Пьяный был?
- И то бы лучше... Дачу одному уделывали...
- Дачу?
- Вот, елки зеленые, чего бывает. Вызывает меня мастер. Говорит: «Надо на несколько дней в Москву съездить».
- «Не могу, — говорю, — я сейчас крышу крою». — «Нет, — говорит, — я больше такого человека не найду. Не подходит больше никто к этому делу...» Ну и поехали. Начальник, мастер, шофер и я. На пульмане, ЗИЛ-150. Полный был загружен. Я после-то узнал. Нашей конторе плиты бетонные во как нужны. А этот, чья дача, он в Москве плитами заведует... Дескать, вы мне дачу уделайте, а я вам — плиты... Сам начальник конторы поехал, елки зеленые... Работал у меня — я как за бригадира был. Мы там все четверо вкалывали, будь здоров — по шестнадцать часов. У нас в пульмане — кольца бетонные, трубы, тес. Колодец ему вырыли, насос поставили, бочку для душа на три метра захерачили... Доволен, гад, был. Все рыбкой сушеной угощал, лещиками... Начальник-то с мастером пить боялись, а я — мне чего? Наливай! Чудеса, елки зеленые!
- Вот.
- Вот. Дали ему год, отсидел он двенадцать месяцев и вышел досрочно...
- Айда, ребята...
- А ты чего?
- Я еще посижу. Ничто им... Башка трещит...
- Здорово!
- Ты чего?
- Я ногу сломал...
- Вот елки зеленые!
- Если бы ты ногу сломал, ты б сейчас здесь не был.
- Пошли, ребята!

— Не, честно... Я, понимаешь, ногу сломал. С воза упал. Я сейчас в отпуске. В деревне, у матери. Дочку привез в интернат. У меня жена в девятый раз с ума сошла. Она у меня у тещи, у своей матери. Девчонка все понимает, двенадцатый год... Не хочет в интернат. Я тут близко над стеклянным магазином живу. Мне две комнаты от фабрики дали. Я сейчас в город от матери ехал, со мной кондукторша знакомая попала. Моя первая любовь. В армию меня провожала. Плакала. Теперь замужем, двое детей. Денег с меня не взяла. Я теперь сам не свой. С воза свалился, ногу сломал... Я там в совхозе подрабатываю. Я с вилами наверх залез, а тракторист дернул. Вот до сих пор все болит. К врачу надо идти. Я у матери утром курице голову оттыпал. Суп сегодня будет. Я сам — в отпуске. Жена у меня, понимаешь, в десятый раз с ума сошла... Слушай, парень, будь друг, купи мне пачку «Прибоя»? Спасибо, друг... А может, еще по одной выпьем?.. Не хочешь? Ну, не хочешь — как хочешь...

декабрь 1970

На бывшей Больничной улице между двух вполне благополучных и даже процветающих братьев — справа каменный, слева бревенчатый — стоит черный старый деревянный дом. Передняя стена его завалилась назад, и от этого глазницы трех застекленных окон обращены в небо, как у покойника... В стеклах отражаются облака и синева. Крыша тоже осела, в самой середине конька получилась седловина. Дому как будто перебили хребет.

Здесь живет Вася Дыль-дыль.

Жена его давным-давно бросила...

Всюду дрова: поленья, кряжи, бревна — вдоль заборов и под навесами, в кучах и штабелями... Их пилят ручными и мотоциклетными пилами, колют — кха! — топорами, швыряют, таскают, складывают в поленицы.

Кажется, поднеси спичку к любому месту — и спалишь до тла весь городишко...

Еще одна летняя примета — везде ремонт, стройка. Кроют заново и красят крыши, подрубают углы, пристраивают новые верандочки и коридоры, подводят кирпичные фундаменты...

И по ночам на спящих улочках урчат грузовики с погашенными фарами — подвозят и сбрасывают ворованное: доски, шифер, кирпич, тес...

Сегодня ехал в лифте с этой нижней соседкой, с его бывшей мадам... Нет-нет, ничего... И размер подходящий — мой размер... Пардон, бывший мой...

В глазах только, пожалуй, есть что-то несытое... А так оно все очень ладно устроено. Подобные агрегаты ни в коем случае не должны простаивать...

Пожалуй, изюминки все же нет... Стреляться из-за нее не станешь...

Новый, белоглазый во всяком случае не застрелится...

Первые-то год-полтора после моего выселения я часто убегал в Москву, мне тогда еще казалось, что ностальгия — лишь пространственная болезнь... И бродил я по Москве, по тогдашним еще ее остаткам, по бульварам, по Покровке, по Маросейке, даже по Ильинке и по Никольской... Я, собственно, избегал только Лубянку да наш переулок, свой дом...

Впрочем, домой-то я сунулся один раз, через год, наверно, после изгнания... Боже, там все уже было выкрашено в полицейский желтый цвет, там у нашего подъезда дремал табун лимузинов, там появились стеклянные двери и вывеска с нечеловеческим синтаксисом... Там за этими дверями сидел пожилой цербер с рожей, не оставляющей сомнения, какого он и все это место ведомства... Там в

вестибюле висели светильники и расстилались дорожки, там сновали белоглазые самцы в очках и девки в брюках...

Ах, бежать отсюда, скорей бежать! Пропадай все пропадом!

Прости-прощай шмидтовский буфет! Душу бы отпустили на покаяние!..

А у нас на лестнице и раньше были ковры, галошная стойка была, будка для телефона (номер до самой смерти не забуду: 16-88), доска была — звонки во все квартиры, зеркало было, аквариум был, чуело было — медведь с подносом, швейцар был, галуны были...

Будка, телефонная будка всех пережила, в ней потом дворники свои метлы хранили... И зеркало — уже и амальгама вся потрескалась — оно все еще было...

Разбили его в последний мой московский год. Под Пасху, в самую ночь... Зашел, верно, в подъезд за нуждою какой-нибудь пьяненький гегемонстр, заглянул в стекло и ужаснулся от несоответствия облика своего с Праздником...

Утром на полу валялись осколки, а в пустой раме, на дне, обнаружили старые газеты, когда-то подклеенные под стекло.

«Русские ведомости», четверг, 30 ноября 1895 года.

«Потомственный почетный гражданин Иван Васильевич Иокиш волею Божию скончался. Повиновение имеет быть при фабрике Иокиш в Михалкове».

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

— Вы меня простите, что я вас все время перебиваю. Мне и бабушка говорит: «Все-то ты, старый, перебеешь». Да только у меня все так-то получается... Я сейчас живу

сильно тяжело. И, главное дело, вокруг меня людей нет... Вина я не пью, сплетнями не интересуюсь. Они старухе говорят: «Он у тебя юродивый, вроде бы падаль...» Я только что хочу сказать, когда я строился, этих всех домов не было. У нас в улице один порядок был, а вот здесь — усадьбы... Мне место выбирал латыш-садовник Карл Иваныч Гайлис. Он у Сенькова-фабриканта работал. Мы с ним место выбирали, чтобы бугор и низина была. Теплицу хотели делать... Я ведь в одно лето — в осень одну выстроился... Вот этот-то дом каменный... Тут сильно умный мужик живет. Работал шофером на Севере, каждое лето в отпуск сюда приезжал — все заготавливал, кирпич, лес... А как все заготовил, так и совсем сюда перебрался... У него вот тут деревянный домишка стоял. Хороший тоже был домишка... Дедушков... Я вам только что хочу сказать, ведь городишка наш, с детства помню, был маленький. Совсем маленький. Главная-то улица была Шоссейная. После — Благовещенская, шла к собору. Потом Попова улица, Масляная, Песочная... Была Засерина улица, теперь — Красная. Потом гора была Барская. Теперь Трудовая гора... Наверху-то дом Рюминских. Я его еще покупал, этот-то дом. Там на усадьбе яма круглая. Сказывают, была долговая тюрьма. Купил бы я тогда, полямы были бы мои... Народ-то у нас больно дикий. Я помню, копали они там по Больничной улице узкие канавки. А там ведь шла Владимирка. И нашли кандалы. Я пришел, говорю: где же эти кандалы? А, говорят, в палисадник кинули. Никому ведь не надо. Больница при мне строилась. Город строил, управа. Доска была большая, все было указано: кто строил, когда. Потом товарищи все буквы сбили, потому что все это сильно вредно... Там город-то и кончался. Смычка была. Дальше кладбище, церковь Здвиженская. На Здвиженье там репу торговали. Репная ярмарка. Репа — белая, розовая. Так поштучно и в кадках. А еще бывал у нас Вонючий базар, около собора. Это в начале Великого Поста. Бухмой торговали. Бухма, она как репа, только боль-

шая... Вывозили ее пареную, горячую в кадушках. И лоскутными одеялами накрыта. Одеяло поднимут, и — вонь! А все покупали да ели. Продавали деревянными блюдечками с толстыми краями... У собора тоже кладбище было. Мне один говорил, там только попов хоронили. И верно — там три попа было. А при старом при зимнем соборе-то было большое кладбище. Помню товарищи и все интересовались, грунт там какой. Яму вырыли квадратом между летней и зимней. И всюду были гроба. Я себе тогда один облюбывал — колода, но не круглая — квадратная. Вытащили мы его, на подсанки и в музей. Не знаю уж, цел ли он, я давно уж в музее не бываю... Вот этот дом был поповский, Покровской церкви, крепкий дом. Здесь забор был весь каменный... Это вот кладбище, самое старое кладбище... Тут и тесть мой, и отец похоронены... Тут вот склеп был — генерал Неронов, предводитель дворянства. В корсете ходил, а жена у него была восемнадцать лет. Здесь справа чугунная была часовня. Богашов. Я все дивлюсь, как они ее скovyрнули. Уж больно велика была. Тут Сеньковский склеп. Вот тут начальница гимназии Гидройц-Юраго. А вот тут против Алтаря была могила — священник острожной церкви отец Михаил. Крестил меня когда-то... Тут опять Сеньковские могилы... А вот тут делопроизводитель Иван Евлампиевич Протасьев. У него первый в городе трехколесный мотоцикл был. Мотор в дифере. Жена у него была красавица Дуня. Из его крестьян. Я еще мальчишкой был, у меня на улице отняли нитки и змей. Я пошел к нему жаловаться, а он мне двадцать копеек дал на нитки. У него в Татарове фабрика была. Я же потом ее с товарищами разорять ездил. Больно уж он девочек любил. Все ладони им щекотал пальчиком при здорованьи. Козочками называл.. Мотоцикл он потом забросил, купил автомобиль с паровым котлом. Помню, во Владимир уедет на автомобиле, а уж обратно на паровозе... А теперь вот и могилы не найдешь... Ведь что делали?... Я вот своим, тестю с тещей три раза крест ставил,

три раза крали... Последний раз уж принесли мне, купил с Введенской церкви. Загляденье — а не крест! Я к нему трубу наварил, до самого гроба, верно, труба прошла. Стащили! Я старухе говорю: хорони меня без музыки и без попов. Музыка — это только слюни в трубу пускают, и все только за деньги. И попы — тоже деньги... Мне этого не надо. Раньше-то оно не так было, а теперь вот угагло. Округа такая вся опачканная. И мне-то в этой округе чистым не пройти. Хоть рукавом, а все задену... Улица раньше эта так Кладбищенская и была. Асфальт тут недавно. Раньше булыжник был. Я вот так-то иду раз с горки, слышу — на кладбище шум. Гляжу, расколачивают нероновский склеп. Богашовскую часовню уж свалили и чугун весь расколотили. А потом давай кувалдами памятники бить. Ведь это остались только те, что не поддались... А так в щебень все искрошили и на дорогу таскают. Перед асфальтом-то булыжник перебирали и добавили этот щебень. А уж асфальтировали потом... Вот тут пониже Маштаков дом был. Он сюда льняную пыль в кулях все возил. Трясли ее и жваки да очески выбирали. Потом опять в кули и — на железную дорогу, буксы набивать. «У меня, — бывало, говорит, — концевая фабрика. Я, — говорит, — на казну работаю». Тут такие-то фабриканты были. Лапин был такой из Денисова. У него лисья шуба была. Он, как едет, у него всегда пола отвернута, чтобы мех видать... А у самого в фабрике труба к березе была привязана... Вот тут на шоссе у монастыря часовня была. Икона, я помню, риза богатая... И так вот кружка. Зимой мальчишки деньги оттуда таскали. В мороз мокрую нитку опустят в щелку, монета примерзнет, они и тянут... А напротив портнихи жили — Разгуляевы, высокие бабы... Это собор монастырский был. Староста тут — Иван Михайлович Кашников состоял, а священник отец Алексей Гусев. Отец Алексей, помню, интересно служил. Начинает шепотом, шепотом... Громче, громче, потом — рывкнет, и как отрежет. Долго ничего не слышать. Потом

шепотом, шепотом — и снова как рывкнет! И вот так-то головой тряс... Вон там на горе кустарь жил, Роганов. Он пилы-напильники насекал. Помню, три копейки за дюйм. Не здешний был, приехал сюда какими-то случайностями... И ведь, бывало, насекает — даже не глядит. Курит, шутит... А вот калил потом всегда один, сам. Секрет у него был. Так никому и не сказал, даже сыну... И клетушка у него была такая маленькая. Я его пилы ни на какие не променяю. У меня и по сею пору осталось две штуки. А так-то весь хороший инструмент у меня товарищи в войну взяли... Я потом узнавал, как меня выпустили: кто взял, куда делось? Неизвестно. Они не стеснялись. Помню, еще у отца мастерская была, пришли к нам с обыском. Будем, говорят, искать у вас оружие. Искали, искали, а у нас мотоциклетные цепи были новые. Цепи взяли и ушли. А потом мне один сказывал из ГПУ: «Нам цепи-то и нужны были, никакого оружия. Нам только говорили, что у вас цепи есть мотоциклетные». Так вот. Вот этот-то дом угловой Сеньков своей любовнице строил. Он всех своих любовниц обеспечивал. Тоже чудной был. Если, к примеру, в управу приедет и ему в уборную захочется, он едет домой — тут он не сядет. И за телефонную трубку ни за что не брался. Мне Карл Иваныч Гайлис рассказывал, клумбы он в саду любил расковыривать. Чуть что не по нем, он в сад и расковыривает клумбы. А назавтра чтоб все по-старому. Ну, уж они это знали, у них всегда в ящиках были запасные цветы... И в оранжерее персики тростью считал. Все равно сам ни одного не съест, все им достанется. А придет — считает... Уж потом видал я его, идет, калоши к ботинкам бечевкой привязаны. Да... Вот Демидовский дом. Фабрикант тоже богатейший. Староверы... В революцию тут матросы жили. Я к ним ходил гречневую кашу есть. Печь они мебелью топили. Раз пришел, а из печки ножки только торчат от хорошего стола. А матрос один на кровати лежит и из нагана в потолок дует. Только пыль летит... А каша у них

хороша была. Я туда долго ходил... Это — Штанин дом. Тут у него была казенка. Вином торговали. Вот эти ворота, столбы-то красные были — об них все сургуч оббивали и прям пили тут. А рядом — вот уж не помню — мужик ли, баба ли с лотком — закуской торговали... Тут трактир был — между Цепелевым и Беговым. Потом усадьба Матренинского. Вот мой-то отец пол-усадьбы у него купил с той стороны, сзади. Ведь как оно было. Дедушка наш сюда приезжий был. Винокур. Приехал на винокуренный завод. Там, где теперь скотобойня. Там дом был, недалеко... А в подвале у него мастерская. Чинили старые пожарные машины, самовары. Дедушка крестики лил, иконки под старину. С этого и начали. Станишка был токарный плохонький. Руками крутили. Купили деревянную сараюшечку. Потом бревенчатую. Сначала по сорок килограмм лили. Потом по шестьдесят. Сначала на древесном угле. Потом на коксе. Кокса нет — на антраците. Потом на мазуте да на нефти... Нефтью-то все и закончилось. А всего-то работали отец да мы — братья. Шестеро нас было. Как тут нас раскулачишь? Своя семья. А все равно задавили. Только что не оскорбляли. Ни разу никто буржуями не назвал... А задавили. Налогами. До того уж обложили, что не стало ничего хватать. У вас, говорят, еще должны быть частные дела, крестьянские... Ну, и пришлось нам тут волей-неволей кончать... Я ведь только что хочу сказать. Ведь это плохо, коли мой сын не знает, как мой дедушка жил. Не годится это. А дедушка у меня чудной был. Запойный и в Бога сильно веровал. Иконы были, свечки, лампы горели... А сосед был там, где скотобойня, сапожник Антипов, тот был безбожник. Вот сойдутся они, книги разложат и спорят. Один божник, другой безбожник. А потом уж гляжу, оба плачут — Богу молятся... Дедушка чудил много. Достаток был. Вот, помню, запил он. Глядим, во дворе в самой грязи лежит, только торчит борода. Подняли его, в дом внесли. Вымыли, уложили на кровать. А он опять в окно вылез, да и в борозде лег.

И помирал чудно. Вот раз говорит: «Помираю». Ну, попы тут с маслом явились — любили его. Соборовали, все, а он и не помер. И другой-то раз так же... А на третий раз, помню, мать мне говорит: «Санька, походи к дедушке, помирает ведь». Ну, я тогда шел гулять, думаю, успею. Домой пришел поздно — в молодые-то годы. А мне и говорят: «Санька, а дедушка-то помер». Тут уж по-настоящему, без чудес... Вон там у нас богадельня была. Я еще помню, мы с отцом ходили сюда святить куличи. Тут прямо в комнате одной церковка была, а народу всегда полно. А тут вот колокольня. Колокол у них был прямо бешеный. Везде его слышать!.. Здесь дядя мой жил. Самовары никелировал. Дело было хитрое, динамку рукой крутили. Бывает, самовар с одной стороны блестит, а в одном месте почернеет. А жена сбоку лезет: «Еня, а этого не подложить?» — «Да иди ты!» Она опять: «Еня, а вот этого?» До того доведет, что он самовар в окно, да ногами весь истопчет. А после хозяину новый покупает... Вот тут англичанин был какой-то, Франц Федорович Кубик... И Клязьма ведь раньше не тут, дальше текла. Где теперь течет, тут огороды были Кокина и Березина, капуста и огурцы... Вот здесь Дикушин был, мануфактура.. Когда их раскулачили, все свезли по лавкам торговать. Помню, часы Дикушина продавали. И просили недорого. Купить, думаю... А как он ко мне придет да и увидит? Нет, думаю, не надо они мне... Вот тут наверху был Николаев — трактир. Беззубый был старик, вот такая борода.. А если его кто дедушкой назовет, он прямо с лестницы спустит, втолчки... Здесь потом все собирались первые большевики. Биллиард там у них стоял еще от трактира.. Было тут два постоянных двора — Рукавичников и Березин... На углу — чайная Шульпина Михаил Федорыча. Чай, пиво тут тебе не один сорт. В кухне тебе что закажешь — сделают. Была вот тут какая компания. Отец мой, Василий Семенович Булатов — бондарь, Тимофеев — извозчик, Маштаков Егор Филипыч — это концевая-то фабрика, что на казну рабо-

тал, и Лбов Василий Михалыч... Они уж каждый день сидели, стол у них был специальный. Бывало, Маштаков придет к нам в мастерскую, молча постоит в дверях. «Ну, — говорит, — я пошел». Повернется и пойдет. Отец одевается и за ним... Только воротится, а тут Булатов: «Сергей Михалыч, у меня только гривенник, пойдем пропьем». И опять отец идет. Ну, уж вино не пили. У них только чай, булка, колбаса, сливки, лимон... Ну, селянки тут разные. Тут уж поди, к гривеннику-то рубли прибавляются... А встают из-за стола, половой денег не спросит. Встали — пошли. Люди известные... Тут-то вот не так давно ко мне приходит один, да и рубль кажет этот металлический с Лениным. Видал, говорит, монета? Ну и что, говорю, твоя монета? Полкило луку... В этом доме один чудак жил. Портной Орлов. Сидит у окна, потом откроет окно, по пояс высунется, пропоет петухом и опять закроет... А раз в церковь к Кресту спорок с шубы принес. Положил и все... Тут были у нас известные люди. Монах был один юродивый — Антип Гнет. В Крещение в фонтан залезал. Егошка Хитрый, Мишка Чирьев... Его спросят, бывало: «Минька, а ты в Бога-то веришь ли?» — «А как же, — говорит, — я ведь с Христом в одной кузнице работал». Ну а главный чудак был у нас Сикерин, парикмахер. У этого с японской войны все Георгиевские кресты были... Вот, бывало, наточит бритву, у него клиент сидит, а он свою принадлежность на стол положит и пробует, остра ли бритва... Раз пьяный попал в полицию. Утром жену туда зовет. «Настя, Настя, принеси мне все медали». Она ему принесла, он надел и говорит: «Без музыки домой не пойду». Так ведь и шел с музыкой... Раз намылил одному лицо. Только собрался брить, а тут ко всеношной ударили. Он бритву кладет. «Настя, Настя, я пошел...» — «Ты хоть человека добрей!» Куда там... «Уж звонят, — говорит, — я пошел...» А часовня эта, где мясом-то торгуют, еще от собора осталась. Снесли его в тридцать втором... Это все я сильно хорошо запомнил. Первое дело — коло-

кола. Привезли они домкраты, лебедки, тали... Первый-то колокол большой, кажется, лебедкой стащили его. Я тут был. Вон стоял около молочной-то лавки. Как же мне тут не быть? Он как ударил в землю, тут двойные двери внизу были — настежь они открылись. Вот на том-то доме труба кирпичная упала. Помню, у них один колокол об другой стукнулся. Так вот только по такому кусочку отскочило... Ну, потом привезли из литейной шар с бревном, с блоком, чтоб колоть их да в машину грузить... А вот тут, помню, розвальни стояли, на них все ризы с икон складывали да возили в музей. Слесарь знакомый мне говорил, его нанимали резать их, ризы-то. Потом в комнату заперли да обыскали, не взял ли камешков... И тут уж в соборе все иконы без риз стали, и склад там сделали — рожь, масло, пустая посуда. Я тогда на хлебзаводе подрабатывал. За кусок. Раз, помню, нам понадобились шесты для лопат. Нет лопат, да и только! Пошли прямо в собор, взяли шесты с хоругвей... А раз днем захожу я, паникадила уж не было, вижу, стоит в левой стороне собора один в пальто и в шапке. Видать, мастер. Стоит и смотрит. Я потом-то с ним подружился — Василий Рафаилович Уваров. А тут уж смотрю, они и бочки навезли, и соляную кислоту в бутылках. Золото с иконостаса смывать. Он в ГПУ тогда работал, а у самого в мирное время была иконостасная мастерская... Жена у него была крупная женщина, сам-то он маленький. Татьяна Александровна звали... Я к ним все чай ходил пить с булками. Ему ведь в ГПУ и хлеб, и молоко, и разные пряники, все у него было... Раз, помню, его жена смеется, мне говорит: «А ты думаешь, он в Бога не верует? Сам иконостасы смывает, а сам верует. Вон у него иконка-то, молится». И верно, смотрю, висит у него медальон под цвет обоев, и не заметишь. Так вот он кислотой все смывал, потом эту грязь в бочки и отправлял в Москву. Один из ГПУ, помню, спрашивает: «Василий Рафаилыч, много ли смыл?» А он только и сказал: «На трактор, — говорит, — хватит». Зима была, в соборе-

то холодно. Я ему еще сделал тогда водогрейку, трубу в окно. А чтоб труба плотней к дыре, венец с Николы мы сняли да и приладили... Он после нас в Кронштадт поехал, смывал там. Письма мне писал оттуда... Да... Потом ломали иконостас. Он у нас был высокий... Помню, оторвали его, он так-то выпятился и рухнул... Колонны уж сильно красивые были, витые. Две в музей взяли, две в театр. Врата Царские я отвез на подсанках в музей... Ангелы были с репидами да Евангелисты — фигуры в человеческий рост. Теперь все пропало. И вот стали они собор бурить — бурили дырки в стакан диаметром вокруг всего собора... Потом заложили взрывчатку... Я вон там стоял, около речки. Как рванули, так вот я сам видел, он весь приподнялся. Может, с полметра просвет был, и опять сел на место. Я правду говорю. Ну, они тут второй раз бурили и опять рвали... На второй раз он развалился крупными кусками. Тут стали разбивать — кому чего понадобится. Часть камней помельче — в речку, а часть — вымостили тротуар... А фундамент был сложен у него из булыжника на глине... Потом за колокольню взялись... Хотели подбить да повалить. И до того ее додолбили, что подойти к ней страшно... Потом уж приехали солдаты, что-то положили — она и повалилась... Ну, тут мы на нее набросились... Нам железо было надо. Я только что хочу сказать, я вот сейчас вернусь еще раньше. Помню, в семнадцатом году тут вот на площади был какой-то митинг... А я глядел с колокольни, и еще один. Кузнец такой был из поляков, Нарушевич. Он мне тогда, помню, и говорит: «Эх, до чего же тут колокола хороши, сколько всего понаделать из них можно...» А пришло плохое время — ни жрать нет, ни дров, пошел он с салазками за Клязьму, за хворостом. Да и попал в полынью прямо с салазками... Так и не нашли его. Вот и суди, как хочешь... Из этих-то, кто собор-то ломал, — ни один человеческой смертью не умер. Один в Иванове ослеп, Карлов, начальник милиции. Другой под поезд попал, кишки на колесо

намотались... Я вам только что хочу сказать. Я теперь в твердом убеждении, что от таких слов, как — Бога нет, — надо отказаться. Что это значит — Его нет? Это что, как колбасы, что ли? Раньше она была в лавках, а теперь нет?.. Эх, и колбаса ведь была! Вон дом-то — Иван Александрович Александров, колбасник. Раньше, бывало, постучал к нему хоть в десять часов. Только спросит: «Чего тебе?» — «Иван Александрович, мне бы фунтик колбаски...» — «Какой тебе?» И сейчас он вынесет. Рабочие у него были, а торговал всегда сам. Рябой он был, а румяный... Теперь давай туда перейдем, там мой автобус останавливается... Раньше-то я к себе на гору бегом бежал. А сейчас уж не могу — ноги не идут... Я ведь раньше какой здоровый был. Картошку, помню, три раза жарили — не раскусишь ее. Так я ее целиком глотал, слышать, как она идет. Я ведь вот на что дивлюсь. Был у меня один ученик, токарь. Потом пошел в армию. Из армии в коммунисты. Потом в механики. А потом уж кричать на меня стал: «Я тебе денег платить не буду!» Вот если бы я посмотрел на такие ихние заслуги... Вот бы мне рассказали, есть, дескать, остров такой в океане, там лес и все такое, и все коммунисты туда поехали, и живут там вторую сотню лет и свой хлеб едят. Вот это были бы заслуги. А то ведь нет этого. Раз, помню, на Пасху был я у отца-покойника и разговорился с двоюродным братом. Он мне и говорит: «Мы теперь все построим и все сделаем». А я ему: «Ничего ты не сделаешь». — «Как не сделаем? А вот мы уже сколько построили...» А я ему: «Ну, и что вы сделали? Ты только кирпичи сложил. Ну, даже ты его, кирпич, этот обжег. А глину ты сделал? А воду — ты? А огонь ты сделал?.. Вот и выходит, что ничего вы не сделали, ничего не построили...» Я на одном стою: я — ничто... Надо знать, что ты — ничто, а тобой кто-то руководит. И руководитель этот с тобой в любой момент что захочет, то и сделает. Человек — ничто, вся мудрость его, все затеи — все ничто... Вот они запустили грузовик за

щепнем на Луну... И это еще не чудо, что американец на Луну залетел да там прошелся. Это еще не фокус! Вот был я на похоронах, вот бы спросить покойницу: как тебе там? Не жмет ли чего?... А она б ответила. Вот это было б да!.. Так ведь не ответит она тебе... Я только на одном стою: пока есть мое «Я», а придет время, и эта буква задвинется в самое последнее место... Вот он, мой и автобус... Вот давеча они по радио передавали про стройку одну. Хвастались. Там, дескать, все нации работают — и русские, и мордва, и татары... Так это они что же, Вавилонскую что ли башню строят?... Я только на что дивлюсь... Нам все дано: и фабрику строить, и атом, а только нет у нас мирной жизни. Все у нас какое-то подвижное, никак не установится... Надо, чтоб все твердое было. Ну, плохо — так хоть плохо. Все должно быть неподвижно... А если оно с места на место передвигается, значит, оно непостоянное... Все было... Были керосиновые фонари... Фонарщик с лестницей, с ежиком, с керосином... Стекла чистил, керосин добавлял... Все ушло... Была булыжная мостовая, был гром тарантасов непрерывный... Сейчас, сейчас — сяду, полезу... И сколько я всего знал, сколько вот этими руками сделал... И никто у меня ничего не взял... Мне не жалко своих годов, мне жалко время, когда я жил... Сажусь, сажусь... Сел уже... Я только одно знаю: корова не жеребится, а кобыла не телится...

декабрь 1970

Магазин Шанкс Мужская элегантность, Михайлов Меха, фотография Паоло (Свицков), Кадэ пресмник Трамблэ, Альшванг, Американская обувь Вера, Художественный магазин Даццаро, Мануфактура Лямина, Павел Бурэ, Выставочный зал Питореска, Аванцо, Лионский кредит, Булочная Бартельса, Жирардовская мануфактура Солодовниковский пассаж, Ювелирный Лориа, Жемчуга Кепта, Мюр и Мюрелиз, Шляпный Вандрага, Кодак, Фи-

липов, Булочная Савостьянова, Булочная Чуева, Кондитерская Сиу, Кондитерская Эйнем, Иванов Кондитерский магазин, Вульф Хаимович Гоберман Старина и роскошь, Кафе Рэтарэ, Химчистка Кутюрбе, Бликген и Робинсон, Аптека общества русских врачей, Галантерейный магазин Советова, Белов Гастрономия, Абрамсон Корсеты и лифчики, Треугольник галоши, Аптекарский магазин Брунс, Корсеты магазин Сан-Раваль (вне конкуренции!), Чичкин, Чичкин, Братья Бландовы, Булочная Алексеева, Триндин Техника микроскопы, Карташов и Миляев Мануфактурный, Кондитерская Копырина, Перлов Чай и сахар, Пло, Густав Лист, Бромлей, Роберт Кентс, Сосиски, ветчина, копчености Можейко, Мозин Мясная лавка, Книжный магазин Финогенова, Соленья Головкина, Охотный ряд, Сам ловил, сам солил, сам продаю, Трактир Лондон, Лоскутная гостиница, Трактир Тестова, Кафе Филиппова, Гостиница Комиссарова, Библиотека Рассохина, Трактир Егорова, Кафе Домино, Аптека Сем. Вас. Шера, Тверской пассаж, Кафе Алатр, Гостиница Дрезден, Кондитерский Абрикосовых, Гостиница Люкс, Синема Ша Нуар, Музей-паноптикум Абрамович — по пятницам вход только для женщин...

Ах, все профурыкали, все пропили, все проели — в тестовстком трактире, в Праге, у Яра, в Стрельне — суп из бычачьих хвостов, по утру проснувшись...

Мать со своими примерками, отец в пенсне со своим «Русским словом», Дорошевича читали, по Льву Толстому скорбели, Керенскому аплодировали...

А больше всего боялись угореть...

Эх, дурачье, дурачье, не дров надо было страшиться, не голубых огоньков в печке, а того, кто эти дрова пилил, колот, приносил в охапке, вваливаясь с мороза в квартиру и топая сапогами...

Была у моей матушки заветная мечта — шмидтовская столовая: дубовый буфет, такой же стол, дюжина стульев и прочее, словом, точь-в-точь, как у ее сестры Лели, чей муж был богатый домовладелец и тоже присяжный, как мой отец. И вот мечта осуществилась...

Буфет был весь украшен замысловатой резьбою, по размерам же напоминал орган в соборе немецкого городка и вполне мог быть пригоден для большой узловой станции вроде Синельникова или Лозовой.. Водворение буфета в нашу квартиру по своей грандиозности, пожалуй, даже превосходило установление Александрийского столпа или Фальконетова монумента.

Мог ли я думать, я, худенький гимназистик, приготовишка, когда смотрел, как ломовые с нечеловеческим трудом перли его по лестнице и двигали по квартире, переругиваясь натужными головами — Заноси его, заноси! — Куда, куда? Назад давай! — На попа его ставь, на попа! — мог ли я думать, что наступит день, когда от всей нашей семьи останемся только он да я..

Когда меня выдворяли из Москвы, в дни драматического моего с буфетом вечного расставания я нашел в одном из его ящичков пять серебряных колец с выгравированными именами — Папа, Мама, сестра, брат и я — было пять приборов, пять крахмальных салфеток на скатерти..

А все остальное столовое серебро ушло когда-то в Торсин вместе с отцовским портсигаром и часами, вместе с кольцами и сережками моей матери..

С годами я привык к буфету и теперь даже не мог бы с точностью сказать, с какого времени мы стали с ним жить в одной комнате, в нашей бывшей столовой, вернее, в отгороженной ее части.

Первый раз нас утлонили в восемнадцатом году, и в мамину спальню въехал со всем семейством дворник Сте-

пан. Тут только и выяснилось, что кроме своих — Прощения просим — и — Покорно благодарим — он знает еще некоторые слова и целые выражения из тех, что обыкновенно не включаются в печатные лексиконы. И сапогами он теперь топал, не смущаясь, а, наоборот, с некоторой гордостью за такую решительную свою походку и как бы беря реванш за годы унижения, когда ему приходилось передвигаться по нашему коридору на цыпочках.

К Степану вскоре приехала из деревни сестра с мужем и с детьми. Они поселились в комнате моего брата...

Приходило домоуправление, вышла замуж моя сестра, увезли как-то ночью брата на угол Лубянки и Фуркасовского, умер отец, а через год мама... И вот остались из прежних жильцов лишь мы с буфетом да Матрена в своей каморке при кухне. Потом я схоронил и Матрену...

А столовая у нас раньше была проходная, и вот как-то в очередной раз пришло домоуправление, и они поставили перегородку с дверью, так что задняя часть комнаты отошла к коридору... Никому, даже мне, тогда и в голову не пришло, что через узкую эту новую дверь шмидтовский буфет уже не вынесешь, что его, в сущности, замуровали заживо, как бочонок Амотильядо...

Нет, мы с ним неплохо прожили это время. Помещалась в него чертова уйма — не говоря уже об остатках посуды: все эти разрозненные рюмки, стопки, бокалы, графины и графинчики, кузнецовские чашки, тарелки, блюда, супницы, — но и семейные фотографии в папках и в затообрезанных аляповатых альбомах, все старые ненужные бумаги, переписка моих родителей до женитьбы, картонные коробочки с мелочами, с пуговицами, фуляры, старые лорнеты, отцовские пенсне, запонки, манжеты, булавки, подсвечники, бритвенные приборы, старые кожаные рамочки, разрозненные номера «Нивы» и «Сатирикона», совершенно невероятные книги и еще невесть какой хлам...

И когда пришлось в конце концов вытащить, вытряхнуть из него все это, часть просто выбросить, часть утаковать в картонные ящики, я, человек вполне несентиментальный, перед тем как покинуть его навеки, вдруг произнес с кривоватой ухмылочкой:

— Прощай, мой товарищ, мой верный слуга...

А потом его, наверное, разнесли в щепу... А может быть, во время перестройки сломали перегородку и выволокли на свалку, во двор... Словом, я и его пережил, но так и не знаю, кому же из нас больше повезло в этом случае...

Ночью, в двенадцатом часу одному пьяному приспичило бить жену. Баба вырвалась, спрыгнула с крыльца и в одном белье стала бегать вокруг дома...

Крики ее разбудили соседку — та выскочила во двор, повисла на заборе и стала стыдить пьяного...

Тут вышел из дома муж соседки да двинул как следует своей половине — чтобы не лезла не в свое дело. И она заголосила громче первой бабы...

Этот вой разбудил еще одну соседку, а потом проснулся и ее муж.

Словом, через четверть часа баб лупили на всей улице, а через час — во всем городе...

По тихой зеленой улочке, которая медленно взбирается в гору, солидно ступает казанский татарин — в тюбетейке, в сталинском френче, в галифе и в хромовых сапогах. На два шага сзади молча идет покорная низкорослая жена...

А дети — мальчишка и девочка, как видно, погодки — отстали, заигрались и возятся на траве у дороги... Татарин обернулся, свистнул и строго крикнул: «Айда!»

Мальчишка с девчонкой тут же бросились догонять и вот уже степенно идут сзади матери...

Всякий летний вечер видишь удочки, удочки, удочки. Они несутся, привязанные к велосипедным и мотоциклетным рамам, торчат из окон переполненных автобусов и комфортных легковых машин. Тотальная мобилизация мужского населения, война с рыбами до победного конца...

Рыбаки разводят костры, форсируют реку в брезентовых самодельных лодочках, замирают над гладью озер в статически нетерпеливых позах, раскидывают браконьерские снасти...

А потом возлежат, как римские патриции, возле кипящих котелков — глоток из эмалированной кружки, глоток из алюминиевой ложки, хохочут, матерятся, чувствуют себя абсолютно свободными, с восторгом слушают, как старый оккупант, покоритель Манчжурии дядя Сережа повествует о своем несостоявшемся романе с гейшей...

— У нее, понимаешь, бритая, как у ишачихи... Я не стал...

— И я бы не стал... А ты бы стал?

—

Ах, как хорошо тут у догорающего костра, ни тебе жены, ни начальника никакого, только ночь глядит на них во все свои звезды, пищат комары, тихо плещется озерная вода и в ответ ей булькает во фляжке бывшее содержимое страшной цистерны...

Когда бы я ни вспоминал теперь гимназию, мне непременно почему-то представляется зима.

Я вижу, я чувствую, как в темной и холодной синеве утра Матрена тихонько подходит к моей кровати...

Нет, просыпался я не от ее ласковых прикосновений — когда она приближалась ко мне, я уже не спал, я просто нежился под теплым одеялом.

Пробуждение происходило в тот момент, когда Степан, дворник нашего дома, вламывался в квартиру, огромный и шумный, с мороза, в полушубке, топал сапогами,

проходил в кухню и сваливал у плиты огромную охапку дров... Промерзшие поленья падали с грохотом.

— Тише ты! — вполголоса пеняла ему Матрена. — Спят еще!

— Прошу прощения! — всякий раз отвечал он ей и, стараясь ступать неслышно, удалялся...

И это означало, что через двадцать минут Матрена совсем неслышно подойдет к моей кровати, наклонится над изголовьем, тронет за плечо — осторожно, нежно...

— Вставай, пора...

Я никогда не откликался на это первое прикосновение, я норовил оттянуть, продлить сладкие минуты под одеялом...

— Вставай, вставай...

А дальше все так спешно, рубашка, штаны, гимнастерка, башмаки, ненавистное умывание, обжигающий чай с калачами, с розанчиками, шинель, ранец, хлопнула дверь, наш переулок, снег скрипит под ногами, призраки деревьев на Чистых прудах, Мясницкие ворота, Мясницкая, Милютинский переулок, проходной двор дома Обидиной, Фуркасовский, вот и гимназия — бывший дом князя Пожарского, но вход с Большой Лубянки, задыхаюсь, задыхаюсь, последний вираж вокруг здания — всегда бегом, актовый зал, восемь тридцать...

ПРЕМУДРОСТИ НАСТАВНИЧЕ, СМЫСЛА ПОДАТЕЛЮ, НЕМУДРЫХ НАКАЗАТЕЛЮ И НИЩИХ ЗАЩИТИТЕЛЮ, УТВЕРДИ, ВРАЗУМИ СЕРДЦЕ МОЕ, ВЛАДЫКО. ТЫ ДАЖДЬ МИ СЛОВО, ОТЧЕЕ СЛОВО, СЕ БО УСТНЕ МОИ НЕ ВОЗБРАНЮ ВО ЕЖЕ ЗВАТИ ТЕБЕ, МИЛОСТИВЕ, ПОМИЛУЙ МЯ ПАДШЕГО.

БЛАГОДАРИМ ТЕБЕ, СОЗДАТЕЛЮ, ЯКО СПОДОБИЛ ЕСИ НАС БЛАГОДАТИ ТВОЕЯ ВО ЕЖЕ ВНИМАТИ УЧЕНИЮ. БЛАГОСЛОВИ НАШИХ НАЧАЛЬНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕ-

ЛЕЙ, ВЕДУЩИХ НАС К ПОЗНАНИЮ БЛАГА, И ПОДАЖДЬ
НАМ СИЛУ И КРЕПОСТЬ К ПРОДОЛЖЕНИЮ УЧЕНИЯ СЕГО...

Мне всегда казалось, что эта молитва какому-то совсем другому Богу, не тому, строгому, утреннему, которому мы, задыхаясь, — ПРЕМУДРОСТИ НАСТАВНИЧЕ... А Этот какой-то неторопливый, даже безалаберный Бог, который ведет меня из гимназии домой к обеденному столу, к Матрениным котлетам в сметане...

Он ведет меня бульваром мимо стольких соблазнов, мимо катка на Чистых прудах (два раза в неделю для учащихся вход бесплатный), а на Покровке, совсем близко, сплошь женские гимназии — Вяземской, Баумерт, Винклер, и все гимназистки по вечерам на катке, а на углу Иван Иванович Штольте, синема Волшебные Грезы, Нордиск-фильм, Швеция — с участием Гаррисона, —

БЛАГОДАРИМ ТЕБЕ, СОЗДАТЕЛЮ...

Совершенно не помню уроков Закона Божьего...

Законоучителя представляю себе очень смутно, только его крест с камешками и немосковское окоящее — ГОСПОДЬ...

Зато слишком явственно помню, как завидовал я трем мальчикам из нашего класса — поляку, немцу-лютеранину и еврею, они были освобождены от Закона Божьего...

Какое блаженство — не зубрить Заповедей Блаженства!

А Великим постом все мы непременно должны были говеть и причащаться... Момент приобщения ускользает, но зато так и вижу исповедь...

Вижу ширму в церкви, где мы считались прихожанами, за ней сидит батюшка — строгий отец Петр.

За эту ширму все заходили по очереди, у каждого в руке свечка. И он не всех разрешал, нет-нет, да и выхо-

дит кто-нибудь оттуда обескураженный, неся свою свечку обратно...

Вот этого я боялся сильнее всего, сильнее кары небесной, сильнее Страшного Суда... А что как прогонит меня с моей свечкой?.. Не отпустит грехи?

Этого, конечно, ни разу со мною не случилось, и я даже примерно не скажу, в каких страшных грехах я ему каялся.. Помню взмах руки, и спитрахиль, как крыло, опускается на мою голову.. И чувство несказанного облегчения — взял, взял, взял мою свечку..

А за столиком сидел диакон и писал круглым почерком нам, гимназистам, справки о том, что мы говели..

Нет, гимназии я не любил..

И не то чтобы учителя у нас были дурные. Их я и сейчас вспоминаю, скорее, с симпатией — директор Николай Николаевич Виноградов — Кноп, инспектор — Михаил Андреевич Смирнов — Юс, Август Евстафьевич Грюнталь — латынь, хорошенькая Лидия Константиновна Булгакова — французский, строгий Федор Иванович Фрацисси — немецкий..

Нет, не в этом, не в учителях дело... Гимназия была первым в моей жизни стадом, и вот это было непереносимо... Я ненавидел своих соучеников, никого в отдельности, но именно всех вместе — всю эту прыщавую, неприятную, гогочущую свору... Они, кажется, никогда не преследовали именно меня — у них всегда были жертвы и послабее характером, и победнее, но я чувствовал, что неприязнь стада в любой момент может обратиться и на меня, и неизвестно, достанет ли сил тогда противостоять им...

Пожалуй, самое острое чувство моего детства — чувство уходящих, кончающихся каникул — Святок, Пасхальной недели... Летом у меня портилось настроение уже с половины августа...

Боже, как представишь себе утро, проходной двор Обидиной, за спиною ранец, —

ПРЕМУДРОСТИ НАСТАВНИЧЕ, СМЫСЛА ПОДАТЕЛЮ...

Зато какое ликование в день наступления каникул!

В четверг на вербной неделе мы неслись, не чуя под собою ног, прямо из гимназии на Красную площадь, ныряли в эту ярмарочную суету и разноголосицу, под кремлевской стеною — ларьки, лотки, палатки, пряники, квас, сласти, мячики, свистульки, тещины языки, стеклянные чертики в пробирках...

А по самой площади — Поди, берегись! — несутся экипажи, у кого лучше выезд — вороные, гнедые, буланые... — ну, то ли еще покатит! — до Тверской и обратно, до реки и назад, назад...

Ах, впереди целых две недели свободы!..

И, Боже, как чудовищно, как неправдоподобно и непредвиденно оправдалась и подкрепилась вся моя детская ненависть, отвращение, страх, которые я испытывал по отношению к своей гимназии, к Лубянке, к Фуркасовскому, ко всему этому кварталу...

И суждено было согнуть со света на этом самом месте и самому бывшему дому князя Пожарского, и всем оставшимся князьям — Пожарским и не Пожарским, и брату моему, и мужу сестры, и почти всем родным, и знакомым, сколько видит глаз, и еще миллионам мне неизвестных...

Мне часто снится один и тот же страшный сон.

Я бегу зимним утром, опаздываю в гимназию — Мясницкая, Милютинский, двор Обидиной, Фуркасовский, заднее крыльцо...

Я всегаю в класс последним, я усаживаюсь на место, я не успеваю даже убрать ранец, как меня вызывают к доске...

— *Отвечайте!* — *говорят они мне.*

И я не знаю урока.. И я пытаюсь им объяснить, что тут какая-то ошибка, я ведь уже давно кончил гимназию, кончил даже университет..

Но они ничего этого слушать и знать не желают.

— *Отвечайте!* — *говорят они мне.*

И они — это уже не наши учителя, не Кноп, не Юс, не Август Евстафьевич, не Лидия Константиновна, — нет, они — они с португезями и кобурами, они со шпалами и ромбами в петлицах..

— *Отвечайте! Отвечайте! Отвечайте!..*

ПАСТОРАЛЬ

— Хорошо тут на речке лежать да загорать.. Ты чего, в отпуске?.. А я вот пасу.. Отдыхаешь, значит.. Сам с Москвы?.. А ты на турбазу-то едешь? Не едешь? Ну, зря.. там тебе и танцы, и что хочешь.. Я вот сам ездил туда раз семь на мотоцикле.. Да не везет мне, никак не везет.. У меня уж и жена была, месяца четыре с ней жили.. Такая поб..шка попалась, куда там.. Ковровская, из Коврова.. Я когда не пас, зимой, там в Коврове в ресторане кочегаром.. А у нее там отец со мной работал. На мотоцикле.. На четырнадцать лет была меня моложе.. А отец на мотоцикле.. Возил там мясо, муку — чего придется, мотоцикл с лолькой.. А раз получаем мы с ним вместе получку, купили бутылку. Он и говорит: «Поедем ко мне выпьем». И еще покрышку для мотоцикла я у него хотел взять.. Он говорит: «Есть у меня покрышка..» Старенькая такая была покрышка.. Пять рублей я за нее ему отдал.. Ну, сели мы тогда на мотоцикл, поехали. Приезжаем. У него дома жена. Вот он и говорит: «Знакомься, Валентина, мы с ним вместе работаем, кочегаром он у нас в ресторане». Ну, сели, налили, то да се.. А потом он и говорит ей: «Давай его на нашей

дочке женим. Ведь он холостой, неженатый...» А ее еще, Альки, не было... Она потом пришла «Она, — говорит, — тебе понравится...» — «Ну, чего, — говорю, — я не против». А тут она приходит, я как поглядел, у меня глаза и разбежались... Ну, смехом, смехом, выпили эту бутылку... Она только зашла одну рюмку выпила... мы с ним после съездили еще купили... Покрышку я у него тогда взял, отдал пять рублей... Ну, он и говорит ей: «Пойди, Алька, проводи его...» Она и пошла меня провожать... Постояли мы с ней... «Приезжай, — говорю; — к нам, у нас место хорошее». Она говорит: «Вот приеду, погляжу». Ну и говорит тут мне: «Дай закурить». Примечаешь? Семнадцать лет, а она уж курит... А она у них — я после узнал — б...а, б...а... Ну, я говорю: «Давай сойдемся, проживем года два, потом распишемся». И вот через неделю приехала она сюда... Поглядела все и говорит: «Теперь я за вещами съезжу». Ну, отец мой ее прописал, на работу ее устроили... Я тогда в Семьях пас... И тут началось... Тут уж она себя показала... Я пасу, я в неделю только три-четыре раза приезжаю домой ночевать... На мотоцикле... «Минск» я тогда взял... А тут у нее и таксисты, и кто хочешь... После уж соседи рассказывали. Подкачивает к дому такси, он посигналит, она выбегает в одном халатишке, только сверток у нее — там бутылка, и покатила в лес, туда к станции... А со смены придет, поужинает, вроде бы спать пошла на терраску, а сама в окно... А там уж ее ждут... Раз я приехал, гляжу, у нее парень сидит... Ну, она мне говорит, вроде бы он к брату к моему пришел... Ну, я — ничего... А то еще директор школы у нас тут был, красивый мужчина, высокий... Года с двадцать седьмого, в таких годах... Потом его поймали, он тут с одной молоденькой... Года с пятидесятого, ученица его была... Вот он с ней два года дружил. А сам женат — двое детей... Ну, вот поймали их, его, конечно, от нас убрали... Вот и он тоже... Тоже с моей, с Алькой... Мне потом друг сказал, на пойму они ходили... Обнялись и на пойму... Отодрал он ее там,

наверное... А мне чего? Мне не жалко, раз уж все ее... Я на него не обижаюсь... И в Ковров она все ездила — вроде бы на день, на выходной... А сама два, три дня... Наб...ся там досыта, приезжает... Я говорю: «Давай вместе в Ковров съездим». — «Нет, — говорит, — с тобой не поеду. Тебя, — говорит, — моя мать зовет. Поезжай к ней сам, а я с тобой не поеду...» Примечаешь? И отношение тут у нее ко мне плохое стало. Прямо ужасное отношение... Ложимся спать, а она мне: «Пошел ты на х...» Или там — к матери... Букарашек я на ней раза два ловил... И так-то ленивая по дому была. Редко-редко когда пол подотрет или по воду сходит, а так ничего не делала... Я уж и не жалел, когда она вещи собрала да и совсем уехала... Какая это жизнь?.. Вот говорят: женщины, женщины... А я так скажу: другая женщина есть хуже мужчины... Вот уж этот год, я уж тут пас, ко мне тоже из Коврова одна ездила.. Полная такая... Ездила ко мне... А тут один мужик мне по пьянке говорит... «Я, говорит, — на работу лесом шел, и она тут шла.. Ну, я с ней стоворился, сошли мы с дороги...» Я после у него трезвого переспросил... «Точно, — говорит, — было». Я и сказал ей: «Не ездь ты ко мне больше». Ну, чего ей надо? Она и там в Коврове б...т, и ко мне сюда ездит, и тут глядит, кому бы подвернуть?.. Или вот Алька моя... Высокая, полная — у тебя б глаза разбежались... Ей семнадцать лет, а у нее Я с ней ничего и не чувствовал... А вот была у меня еще женщина, здесь живет... Старше меня лет на девять... С двадцать восьмого года... В таких годах... Килограмм была на девяносто... Высокая, мясистая, жирная... Вот с ней-то мне больно хорошо было... Лет восемь я с ней дружил... И еще в Коврове, как я в ресторане работал, была у меня одна Зоя... Тоже я с ней дружил... Лет на одиннадцать меня моложе, в таких годах... Черная была такая — мать у нее еврейка... Полная... Дружили мы с ней... Я и говорю ей: «Давай сойдемся, будем жить». И комната у ней была... «Нет, — говорит, — чтоб сойтись, ты для меня уже старый.

Так дружить еще подходящий». Или вот на турбазе. По-знакомился тут с одной. Тоже москвичка, евреечка.. Не-большая такая, полная... «С мужем, — говорит, — не живу, но у меня девочка — в Москве с матерью осталась... Ты, говорит, — завтра вечером приходи. Только надень белую рубашку, костюм да галстук, полботинки...» Ну, думаю, пойду... Может, у нее и комната есть, так можно сойтись да жить... А тут к вечеру, как назло, баранишка пропал у меня в лесу... Пока его искал, куда тут пойдешь... Так и не пошел... А на другой день вижу, она идет с мужиком... «Муж, — говорит, — приехал». А сама сказала, с мужем не живет... Примечаешь? Нет, не везет мне... Никак не везет... Ну, ты лежи, загорай... Я пойду... Мне скотину поглядеть надо. Хоть там у меня есть бабенка, присматривает... Приблудилась тут одна.. Сама-то из города, а живет в сторожке на кладбище... Пропащая бабенка...

август 1972

Где пьют отраву.

На старом кладбище прямо на пышной траве (ломоть хлеба, перышко зеленого лука и соль на клочке газеты).

За заводским забором, сидя на драной резиновой по-крышке от грузовика...

В чьем-то палисаднике под кустами сирени...

Даже в дощатом автобусном павильончике, куда без дождя с иными целями никто и не заглядывает. Здесь лавка, а в стенках начертаны перлы сортирного фольклора.

Любовь до гроба —
Дураки оба.

Косой заиц
Нанес яиц.

Тарас,
иди на матрас.

Леша + Наташа = любовь до первого сношения

Девки, падалы вы, дешовки,
Все подстилки, шалащовки.

Нынче утром пришлось мне копаться в плите, потому что надо было зажарить яичницу, но лень было мыть сковородку... И я решил отыскать другую... И вот когда я с брезгливостью шарил там, попался мне вдруг один забавный предмет, Бог весть сколько уже провалявшийся без употребления. Чугунный трилистник, три маленькие, величиною с чайное блюдце, спаянные между собою сковородочки — старинный агрегат для выпечки деликатных, тоненьких, к барскому столу блинов...

И только взял я его в руки, как мгновенно вспомнилась мне Масленица, вспомнилась такую, как была она когда-то у нас дома — с дымом, с чадом, разносящимся по всей квартире, с раскрасневшейся потной Матреною, стоящей у плиты и едва успевающей переворачивать и снимать свои маленькие кружевные блинчики, с мамой, мечущейся между кухней и столовой, с белой скатертью, с водочными графинами, с лимонной цедрой на дне их, с лоснящейся розовой семгой, с севрюгой, с икрой — с красной и с черной, салфеточной, с нестремной чашкой крепкого бульона после жирной еды, со звонками запаздывающих гостей...

Утром отец скажет:

- Матрена, блины вчера были изумительные.
- А у меня всегда, что ли, плохие?..

Как мне не хватает ее, Матрены.. И даже не тогдашней — хлопотливой и услужливой, отпирающей двери отцовским клиентам, помогающей им снимать паль-

то и получающей гривенники.. (У нее вместе с общесословными цепями пропали в банке триста рублей, золотом.) Нет, мне не хватает ее уже старой, ворчливой, не хватает ее вкусных котлет, которые она ухитрялась стряпать мне даже из ихнего мерзлого мяса, ее грубоватой нежности, ее соленых поговорок..

— И чих, и брех, только пёрду нету..

— Съите, бабы, гряды горят!

Маму я никогда особенно не любил. Пока мы были маленькими, ей было не до нас — с ее портнихами, с сестрами, приятельницами, гостями.. А когда все это разом кончилось, будто той жизни и не бывало, она спохватилась, что у нее есть дети.. Но мы уже были слишком взрослые и не смогли отвечать ей искренней взаимностью, отчуждение детских лет оказалось неодолимой преградой..

А Матрену мы все трое обожали.

Фрейдисту было бы нелегко заниматься русской интеллигенцией. У нас почти ни у кого нету комплекса Эдипа, зато почти у всех налицо — комплекс Пушкина, у каждого своя Арина Родионовна, своя дряхлая голубка..

Это обстоятельство, впрочем, тоже сыграло свою роковую роль..

Кто у нас был народ? Кормилица-нянька, да лихач Ванька..

И в один прекрасный день мы с удивлением обнаружили, что и у няньки, и у Ваньки существуют не столь услужливые и даже довольно страшные родственники и однофамильцы..

Временами кажется, что наша этажерка — действительно какой-то карточный домик, что эти переборки и перекрытия не только не скрадывают, но даже усилива-

ют все звуки... Только что угомонился лифт, точильщик-паяльщик-сверлильщик слева что-то медлит сегодня, а проклятый ящик за противоположную стену вместо своего апокалиптического «гооооо-ол!» солидно бубнит что-то касательно надоев...

Мат-росы мне не-ели про ост-ров,
Где раст-тет го-лу-бо-ой тюль-пан...

Боже, разве сегодня среда?.. Конечно, конечно, я совсем забыл.. Среда, и, конечно, у мадам внизу нынче белоглазый.. Вон под окном дремлет верный «фиат».. Это у них, должно быть, именуется — «наша среда»..

Бывают, правда, и внеочередные среды — по пятницам и по понедельникам, но никогда в субботу или в воскресенье. Белоглазый, как видно, добрый семьянин и приличный отец..

А я пил го-ор-ькое пиво,
Улы-баясь глубино-ой души..

Старый пошляк, он и после смерти все еще кривляется, Вертинский под патефонной иглой.. И голос его, как я успел уже заметить, неизменная, так сказать, художественная часть этой «нашей среды»..

Мы при-гла-си-ли ти-ши-ну-у
На наш прост-чал-ный у-жин..

Да-да, у них скоро станет тихо, совсем тихо, и они предадутся иным ритмам, несколько менее прихотливым, нежели в музыке изломанного паяца..

По-моему, пластинка эта появилась внизу вместе с белоглазым. Может быть, он ее и подарил. Во всяком случае при том, предыдущем, я ее ни разу не слышал..

КУРЯЧИЙ ДОКТОР

— Здравствуйте...

— Здорово, дедуся.

— Это с петухом сюда, что ли?

— Заходи, заходи! Показывай своего орла.

— Нет, ты, милоч, погодь... Ты мне вот что сперва скажи. Отчего у меня куры мрут? С позапрошлого года почти-тай двадцати молодкам головы оттяпал... И топор-то у меня тупой. Раза три вдаришь, пока она отскочит. Мрут и мрут.

— Ну, это, дедуся, так сказать затруднительно. Мало ли какие у них бывают болезни. Туберкулез, чума. Ты давай показывай петуха-то, показывай.

— Погодь, погодь. Вот и он. Уж третья неделя. Раньше-то у него хохол красный был, а теперь вот, значит, пожелтел... Да повис. Чего это с ним?

— Сейчас, дедуся, посмотрим... Сейчас определим... Держи его вот так, держи... Так, так... Шелушение... Сс-режки... кожный покров ног... Ну-ка ты ему, дедуся, клюв открой... так, так... Вот сюда, поближе к свету... Ну вот. Желтое образование в гортани. Картина ясная. А витамина-ноз.

— Чего?

— А-ви-та-ми-ноз! Болезнь, хворь у него такая... Ты, дедуся, чем их кормишь?

— Известно чем — хлебом, картошкой...

— Вот-вот — хлебом да картошкой... А им, дедуся, витаминны нужны.

— Чего?

— Вот что, дедуся. У тебя дома морковь есть?

— Есть. Как не быть?

— Значит, так, натри им морковь и давай. А свекла есть?

— И свекла есть, милоч.

— И свеклу им руби да прибавляй. Дрожжи им тоже

давать неплохо. Рыбий жир можно вливать по чайной ложке. И потом, дедуся, солнце. Они ведь у тебя всю зиму в курятнике сидят, солнца не видят. И гравий им надо, ракушки в зиму заготавливать.

— Это курям-то?

— Курям, курям, дедуся.

— Чудно, милоч... Вон у отца-то у мово сколько их было, и ничего им не делалось... А теперь вот, видишь, и моркву им, и рыбий-то жир. А они все мрут, все дохнут.

— Тебе, дедуся, сколько годов-то?

— Восемьдесят третий пошел. Раньше-то...

— Да что там — раньше-то? Ты на «раньше» не смотри... Раньше вон одно мыло было, а теперь вот порошки разные, синтетические. Баба вылила их на улицу, она, курица, попила из этой лужи — вот тебе и готова. Много ли ей нужно? И удобрений разных не было. Раньше-то по деревне возили только что навоз. А теперь вон тракторист тряхнул, удобрение просыпалось, и вот тебе опять пожалуйста. Наклевались они и готовы. Так что, дедуся, картина тут ясная — авитаминоз...

— Нет, милоч. Мне думается, он не от этого... Я его риперином лечу.

— Чем, чем?

— Риперином. Таблетки такие.

— Какие еще таблетки?

— А вот ты слушай. Мне голос был. На просонках. Будто кто в ухо сказал: чем себя лечишь, тем и его лечи... Риперином. Вот он пузырек-от, погляди...

— Ну-ка, ну-ка... Реоперин... Ревматические заболевания... острый, подострый... хронический артрит... люмбаго... Вот что, бабуся, то есть дед... Ваши таблеточки тут ни при чем. Ты его в гроб вгонишь.

— Нет, милоч... Я смотрю, ему вроде помогает. У него вот на той-то неделе хохол совсем желтый был... А сейчас вот, гляжу, вроде как поправляется. Еще не совсем крас-

ный, а уж вроде того. Я об ём все думаю. Вот мне голос-то и был на просонках. Будто кто прям в ухо сказал: чем, дескать, ты себя лечишь, тем и его лечи...

— Ты, дедуся, со мной не спорь. Говорю тебе: авитаминоз. А таблетками этими ты его изведешь. Только в гроб вгонишь.

— А ты что, ветеринар, что ли?

— Ветеринарный врач.

— А то у меня еще был друг большой, ветеринар. Тоже тут, в городе. Морозов Федор Степаныч. Мы тогда молоко им сдавали. А обрат-то нам опять не давали. Наш-то обрат весь в колхозы шел да в совхозы. С каждого хозяйства литров по сто двадцать. Я тогда и напиши в область, дескать, наш-то обрат уходит в колхозное стадо, а своих телят выпаивать нечем. Мое-то письмо и переслали сюда. Он, Федор-то Степаныч, на улице меня увидел да рукой вот так-то машет. «Вы, — говорит, — писали во Владимир?» — «Я, — говорю, — нечем ведь кормить телят-то». А он мне: «Сколько, — говорит, — тебе нужно? Я тебе выпишу». Я говорю: «А люди как же?» — «А люди, — говорит, — хер с ними. У меня на всех не хватит». — «Нет, — говорю, — не всем, так и не мне...» Морозов Федор Степаныч...

— Ну, вот что, дедуся, бери свои таблетки и не думай ему их давать.

— Он у меня уж штук склевал шесть. Вот так-то рот ему открою, он и проглотит. И вроде как лучше...

— Слушай, дедуся... Ты этим только себя успокаиваешь. У тебя это вроде как условный рефлекс. Я вот сам — семь лет, как пить бросил. Я на праздник теперь за столом стакан лимонаду выпиваю и тоже, как все, пою... Это у меня условный рефлекс. Вроде я тоже пьяный. Так вот и у тебя — рефлекс. Говорю тебе, ты его в гроб вгонишь.

— Ну, прощай, милоч...

— Прощай, дед. Только я тебе точно говорю. Брось ты эти таблетки. Сам пей, а ему — ни-ни... Подохнет, как пить дать, подохнет...

— Подохнет али выживет — на все Воля Божья...

март 1971

Местная легенда.

Курям надо известь давать. Они без извести чахнут. Вот когда собор на площади ломали — это была известь. Сильнейшая известь. Начальник милиции, Карлов тогда был, известь домой возил машиной. И так он курей раскормил, такие здоровые куры стали, что он уж в курятник без нага-на заходить боялся...

Так весь собор курям и скормили.

А куранты с соборной колокольни почему-то в свое время не расшуровали на колесики и винтики, а сняли целиком и поместили в дощатую собачью будку на крыше старого двухэтажного магазина тут же, на площади. Они и теперь еще показывают время более или менее точное, но уж больше не тявкают...

Самое старое кладбище на горе.

Покровская церковь, разоренная и разрушающаяся, старые деревья, орешник... Зелень пышная, как всегда на погостах, и полное запустение, как в саду у Плюшкина.

Надгробий почти нет, так только ржавые кресты кое-где.

Памятниками мостили дорогу, которая поднимается по кладбищенской горе. Идешь по ней и, кажется, видишь сквозь асфальт...

Здесь покоится тело коллежского асессора Василия Ивановича Протодиаконова. Жития его было 94 года.

Здесь погребен инженер-технолог Герман Романович Гетце.

Под камнем сим покоится тело раба Божия Иоанна Ильина Шалунова.

Александр Францевич Подселевич и сын его младенец Николай.

Здесь покоится младенец Георгий Пашковский.

Почетный гражданин первой гильдии купеческий брат Иван Осипович Сеньков...

Нежные и хрупкие гимназисточки с Чистых прудов мне с самого детства казались чем-то слишком возвышенным и недостижимым, а потому я сравнительно рано стал прибегать к услугам наемного в постели труда, что вполне одобрялось моим папашей, регулярно выдававшим мне определенные суммы для этой надобности.

Знавал я и такую Москву, где каждая улица соответствовала пункту в негласном прейскуранте... Самые дешевые — на Цветном бульваре и на Трубе — один рубль. Неглинная — классом выше — три рубля, а Петровка — все пять... Впрочем, я недолго гарун-альрашидствовал в этих веселых кварталах, я скоро облюбывал себе одно определенное заведение (из дорогих, из дорогих, разумеется, папенька раскошеливался весьма охотно).

*Блаженной памяти мадам Люсьен,
Рождественский бульвар, дом семь...*

(Стихи пошли, вот до чего растял от одного лишь воспоминания.) Вход у них был со двора, дом не имел подъезда с улицы.. Номера большие, просторные, штофные красные обои, роскошная деревянная кровать, всегда крахмальное белье, в тумбочке — одеколон, вазелин и прочие по ходу работы необходимые мелочи, девочки все как на подбор, пальчики облизешь...

Эх, да что там! Мне в самом девятнадцатом году подавали у них натуральный кофий с французским ликером и с настоящими пирожными!.. Мадам Люсьен, правда, уже не было — она предусмотрительно укатила в Париж еще в начале восемнадцатого. А заведение переняла ее экономка — Маргарита Павловна, очень милая, услужливая...

Но в том же девятнадцатом — увы! — чска накрыла в одну прекрасную ночь это местечко, и я сам чудом не угодил в облаву...

А теперь там тоже стоит этажерка, снесли, нсту уже того дома... Но все идет своим чередом, ведь и у меня в этом заведении постепенно отпала надобность...

Но вот чего я терпеть не мог и к чему прибегал лишь в исключительных случаях, так это — унылый и отчаянный в своей унылости советский разврат... После службы, на липких клеенчатых диванах или в жалкой комнатке лучшей подруги, которая дала ключ...

Нет, у мадам Люсьен, на Рождественском бульваре все это было поставлено на профессиональную ногу, а я, грешник, питал и питаю неизбывную слабость к любому профессионализму и терпеть не могу дилетантства...

Вот уж университет я совсем плохо помню...

Новое здание на Моховой, против Манежа.

Огромная Богословская аудитория, а всего несколько десятков лиц... Профессор, кажется, Филиппов бубнит про кодекс Юстиниана — *corpus juris civilis* — скука, скука...

Куда как интереснее сидеть в это время в Кремле, в Митрофаньевском зале окружного суда и, затаив дыхание, слушать, как модный присяжный в щегольском фраке растекаше мыслью по древу...

— ...А теперь, милостивые государи, обратимся к об-

разованию моего подзащитного. Как сказал поэт, «мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...»

А в сортире юридического факультета была надпись: «Просят господ вкладчиков не оставлять сдачу на кассе».

МИЛЛИОН ДВЕСТИ ТЫСЯЧ

— Садись, садись... Свободно. Присаживайся. Она сейчас уберет. Чего? Обедать пришел? Тоже хорошее дело. А я вот пиво пью. Между прочим, сейчас его в городе нигде не достанешь. Только в ресторане. Я сегодня с женой поссорился, а ну тебя, думаю... И пошел пиво пить. Городишко у нас паршивый, куда денешься? Только в ресторан... Тут чего — льнокомбинат, текстильные фабрики, незамужние ткачихи составляют большинство. Завод осветительной аппаратуры, его пока заключенные строят. Да вот наш учебный центр, считается ДОСААФ... А я — инструктором. Летчик не летчик, а вроде того... Не то в армии, не то на гражданке. Не поймешь. Я под миллион двести тысяч попал. Слышал тогда? Хрущев пошутил в шестидесятом году. Нас парней таких молодых, здоровых... Миллион двести тысяч. Чего я тогда был? Курсант, идеальный человек. Двадцать пять пачек Беломора нам давали... Девушка, еще пару бутылок... А как получилось? Кончил я первоначалку, попал в боевое. В Кинешму. Инструктор у меня там был Рубакин. Такой спокойный человек. Не ругался даже. Один только раз обозвал меня. М..., говорит, ты... Инструктор — бесподобный. Он теперь в пилотажной группе... Приезжаем в Кинешму. Там такое помещение — что ты! Всюду паркет. Мы там пол не мыли — полотером его. Там до пятьдесят третьего года учились немцы. Вот для них и расстарались. Паркет, в туалете кафель... Между прочим, немцы — они на желудок слабые.

Поносят, дрищут... Мне инструктор-старик рассказывал. Как лето, так они поносят. Не с кем летать... А Рубакин теперь в пилотажной группе. Его все знают. Персидский шах приезжает, а он на сверхзвуковом начинает дорываться. Он, между прочим, там у них погорел. Из-за этого дела. Закладывает. Сейчас насчет этого строго. Был капитаном, срезали до старшего. Можно было выгнать его, но пилотяга бесподобный... это раньше было. В шестьдесят первом, в шестьдесят седьмом. Ребята гонят самолеты с Москвы, с парада. Летят парой, расстояние пятьдесят метров — видят друг друга. По радио: «Давай?» — «Давай!» Вынимают по четвертинке, раскрутили и туда ее... А сейчас строго. Пульс, давление. Если сомневаются, трубку тебе дадут на анализ. Иначе нельзя. А вон Гагарин-то с Серегиным. С похмелья они были с великого. А там, между прочим, руководителя полетов оправдали вчистую. Он им так и сказал: «Я запрещаю вам». Но ведь Гагарин. А Серегин-то был командир полка. Взяли машину, взлетели и понеслись... Они брали сверхзвуковую скорость на неподходящем типе. Самолет-то не приспособлен. Пастух стоит — бах! — сверхзвуковой хлопок. Очевидец-пастух рассказывает. В километре от него под углом семьдесят градусов. Ну как так можно? Скафандр с головой в сторону, сигара в земле... Искали их в течение месяца. Как археологи. Найдут кусочек мяса, кисточкой сго и — в институт. Найдут деталь и — в институт. Сам он виноват. Не может быть, чтобы летчик погиб так по-дурацки. Серегин-то полковник простой, ему бы там в кремлевской стене не лежать никогда. Самолет, видимо, разрушился. Он для этой скорости не приспособлен. Не говорят нам всю правду. У нас вот приказы бывают, если кто разбился. А о Гагарине приказа не было. Их вертолетчики тогда искали, рыскали... А очевидец — этот пастух. Первый раз, говорит, прошли — такой звук, чуть не упал. Второй раз, смотрю, сигара падает. Градусов под семьдесят... Девушка, еще буты-

лочку... Да, пошутил тогда Хрущев. В мае шестидесятого года. Тысяча сто человек нас — ждем приказ. Или в часть, или на х... на гражданку. Двадцатого мая приказ. На гражданку. А мы уж летали, летчики... Оформляют, одевают в офицерскую форму... В июне выхожу на гражданскую. Жизнь только что начинается, и она бьет меня по мозгам. Хрущев мне тогда, сука, крылья подрезал. Я бы сейчас самое меньшее майор был по моему здоровью... Вот, говорят, пиво с солью пить нельзя. Печенку разбедает. А я скажу — чепуха. Если у человека есть здоровье, ни черта ему не будет... Ну, выхожу на гражданку. Молодой я, диплом у меня. Прихожу на завод. Берут на испытание двигателей. Там двигатель реактивный ревет. Поставят его за бетонной стенкой, а ты гладишь в зеркало. И целый день ревет. Там мужики по пятнадцать, по двадцать лет работают. С работы идем, они выжрут по стакану и вот орут, вот орут... Там не орать нельзя. Глухие все на х... от такой работы. Я им говорю: «Чего вы орете? Тут же на улице дети». Идут, орут, матюгаются... Я пришел к начальнику: «Ну тебя на х... с такой работой, я глохнуть не хочу». И меня в сборочный цех. По сборке двигателей... Вызывают в военкомат. «Поедешь на сборы в Вологду». А я в то время фуражку вот с таким бы козырьком надел, чтобы не видеть его, небо-то... Обижен я был ужасно... Миллион двести тысяч он тогда пошутил... Потом мастером по бетону работал. Вызывает меня подполковник. «Ты, — говорит, — летчик. Зачем ты в пыли ковыряешься? Езжай в Тулу в Аэроклуб». Ну, я поехал. А там мне начальник говорит: «У тебя налета не хватает». А я ему: «У вас женщина работает, и вы меня не берете». Повернулся и пошел. Догоняет меня на лестнице. «Напиши, — говорит, — в Калугу, в Тамбов и вот сюда. Там, — говорит, — учебные центры». Ну, я написал. Думаю, откуда быстрее ответ придет, туда и поеду. Отсюда начальник, полковник Жаринов, сразу мне написал. Приезжай, дескать, но никаких

квартир... Ладно, думаю, чего ждать? Х... на х... менять — только время терять. Приехал. Четыре года на частной квартире жил. Сейчас — все нормально. Квартиру дали — две комнаты. Мне только что обидно? Теперь приезжает летчик, он только, извини за выражение, из м... вылутился, а ему уже квартиру. А я четыре года на частной страдал... Начальник, между прочим, полковник Жаринов из Монины. Сейчас — в запасе. С высшим военным образованием. Он имел квартиру там, в Монины, а тут прямо у нас в центре жил. Тогда чего были курсанты? На самолетах еще летали. Мальчишки — девятнадцать лет. Зашумят они там, он прям в трусах бежит наверх и начинает их по-всякому... Человек был страшный. Он не любил людей. Ему кинуть за борт человека ничего не стоило. Он был засранец в этом отношении. «Ты, — говорит, — мне не нужен». Идиот был самый полнейший. У нас в центре забор, а в нем — дырка. Так вот он по вечерам встанет около дырки, курсант из самоволки лезет, он его — хоп! Он имел, сволочь, квартиру в Монины, а сам тут жил. Там семья, а тут он один. Делать-то ему не х... На танцплощадку ходил. Чего там — мальчишки восемнадцать-девятнадцать лет. Он туда приезжает на машине. Курсанты как увидят его — полковник! — и через забор. Потом летчики все поднялись, все-таки убрали его от нас. И все были рады — легче работать. И, между прочим, он, если речь с курсантами говорить будет, обязательно начнет с туалета, с уборной... И этим же кончит. Как штык. «Вот, — скажет, — вы приходите садитесь в туалет. Прежде чем сесть, ты наметься, наметься туда. Посмотри, а потом уже делай...» И речь дальше толкает... Вы все сволочи, и тому подобное... Ругает их, ругает... А в конце опять: «Прежде чем садиться, ты наметься, наметься. Посмотри, а потом уже клади...» Но он был хозяйственник. Кончил монинскую академию, «поплавок» имел. Умный мужик, хозяйственный. Но он нечеловечный был человек. Вот, как Хру-

шев ахнул про Сталина и про всех, и он мог так сделать... Еще бутылочку!.. Тут, между прочим, тогда и анекдоты были! Стоим мы на поле. В зоне курсант летает. Наш один инструктор смотрит, следит за ним... «Во... вираж сделал... бочечку... вираж... сейчас разгоняет на петлю... во-во-во... разгоняет... Падает! Падает!» — и к руководителю полетов. Руководитель полетов вылез: «Где?!» Мы тут все преобразились... А это — коршун. Он курсанта-то потерял, за коршуном следит. Издали-то не видно. Коршун чего-то там увидел и — вниз! А курсант уже сел. Подбегают к нему: «Товарищ инструктор, надо пересадку делать». — «Как?!» — говорит. А он уж сел. Вот мы тогда смеялись... Падает, падает... А то еще... Когда пересадку делали, раньше у самолета двигатель не выключали. А сектор газа, он тут, с правой стороны... Вот раз у нас один курсант вылезал, да и двинул по сектору-то газа. Ну, самолет и пошел, мать вашу... Учебный самолет. У него все отрегулировано было. Руководитель кричит: «Убирай газ! Убирай газ!» А там — никого... Ну, набрал он высоту метров двадцать пять, и — вниз! Готово дело. Руководитель думал, кто убился. А там — никого... Только самолет в щепки... Но на самолетах я недолго шастал. Только приехал, через год переучились на вертолеты. Самолеты эти в Казань перегнали. А работать я люблю... В каком отношении — во всяком отношении. У меня вот и медали, их ведь за хорошие глазки не дают. Только эту зиму — неудачно. У меня курсант сломал лопасть. Я не виноват, а меня обвинили. Я допустил спешку, я допустил халатность... О! Гляди, лейтенант пришел. Моя милиция меня бережет... Я тут был у них прошлый год, в апреле. У меня жена уехала, я на радостях пошел в кино. Ну, выпивши был, конечно, хватя... Подходят ко мне их двое. «Вам здесь находиться не положено». — «Как это — не положено? — говорю. — Я билет купил...» Ну, вывернули мне руки, в вытрезвитель. А на мне синий костюм был такой, нормальный. Приводят

в вырезвитель. «Раздевайтесь!» — «Х...! — говорю. — Не буду я раздеваться!» Ко мне старшина подходит лет так пятидесяти. Как боднет меня головой в живот, в поддых. Ну, я на диван у них повалился... «Ах, ты сука, — говорит, — падла...» Матюгами меня и по-всякому. И давай карманы выворачивать. А у меня, как нарочно, ни копейки. Ну, давай опять мне руки крутить... Я им говорю: «Давайте, крутите мне руки. Я не Мересьев, я простой летчик. Руку мне повредите, будете отвечать». Ну, они тут перепугались. «Иди, — говорят, — отсюда». И квитанцию мне дали на штраф. Я на другой день в сберкассу двадцать пять заплатил и квитанцию им приношу. Говорю старшине: «Дурак ты, — говорю, — дурак. На двадцать-то пять рублей мы б с тобой как выпили. И в ресторанчике бы посидели...» А он молчит. Чего скажешь?... Теперь, как в городе меня увидит, первый здоровается... Но я свою работу люблю. У нас тут центр — может, один или два на весь Союз. Ко мне курсантики со всего Союза и с Липецка, и не знаю откуда приезжают. Лет по девять не летают. Приходят и не знают, что такое вертолет. Вот и учи их. А если что, так сразу говорят: у тебя методика страдает, туда-сюда... Их сюда приезжает по сто пятьдесят человек, и ты за своих головой отвечаешь. А они, понятно, мужики женатые. А тут вырвутся — и давай! Чуть что — разбегаются на танцы в клуб. Официантки у нас в столовой тоже. Как новый заезд, так готовятся, ждут. Накрасятся, намажут-ся... Потом провожают, плачут. И опять новых ждут... Так-то снабжение у нас в центре свое. Военная база. В буфете и колбаса бывает, и тушенка. Мы от города не зависим. Это тут ни х... в магазинах нет... Паршивый городишка... Вот зять у меня в Афинах, в Греции. Он там на нашей ГРЭС, в командировке. Он мне пишет оттуда: «Адриатическое море плещется за квартал от меня, но жратва здесь очень дорого. Чтобы мне один раз пойти в бар, я должен русскими деньгами платить три рубля с копейками...» Я

ему все хочу письмо написать, чтобы он картинок переводных с бабами привез побольше. Как это ему в письме-то намекнуть, чтоб привез побольше сувениров. Вот у нашего полковника авторучка есть. Заглянешь, а там тебе — как хочешь, любые позы... Или вот еще для ключей... Это... брелки... Заглянешь туда, а там бабы голые. И телевизор есть такой маленький. Тоже на ключи нацепляется. Покрутишь, там тебе все — любые позы. У нас в центре летчик один был — Комар. Между прочим, Владимир Михайлович Комаров, как космонавт. Мы его все дразнили. Так у него дядя — в Афганистане. Вот он его снабжал. У него такой телевизор был. А наш начполет, подполковник, морской летчик, он прямо его узурпировал. Отдай — и все! У подполковника своя «Волга». А Комар уперся. Не отдает. И уж он так его по службе гонял — целый год. То здесь ловушку сделает, то там. Душа у него была немного еврейская. Морской летчик. Отдай — и все! И допек. Прямо узурпировал. А Комар сам вроде такой тихий был. Из Владимира. Мальчишкой — карманник был. Первый вор. Вот такие лбы его слушались. Он без мыла в душу влезет... Давай еще по одной? Не хочешь... Вот как бы мне это зятю в письме намекнуть, чтоб он сувениров этих побольше привез. На них спрос есть... Я вот сегодня утром с женой поругался. А, говорит, ты такой, ты сякой... Пошел пиво пить. Человек в жизни должен все испытать. Я считаю, надо жить широко. Хотя неправильно, а широко... А здесь городишка такой паршивый. Вот суббота, воскресенье — куда кинешь свои кости? Только что кино... Между прочим, о летчиках еще ни одного фильма нормального нет. Спокон веку... «Небесный тихоход», «Воздушный извозчик» — все не то... Вот кино бы надо сделать про авиацию. А то все про работяг. Ну что работяга? Он, конечно, вкальвает. А надо сделать про летчиков. Конечно, лишнего не надо создавать... Как простые люди, по-простецки. Наша работа топорная. Это как в опере поется: «Отре-

жем! Отрежем! — Не надо! Не надо! — Где мои ноги? — Вот они!» — медицина в белых халатах, Мересьев на койке. Опера — «Повесть о настоящем человеке». А так-то я не жалуясь. Все нормально. Летчик первого класса. Летаю — не летаю, мне сто тридцать выложи. Ну и полеты с курсантами — три рубля восемьдесят копеек час. Пятьдесят-шестьдесят часов в месяц. И премиальные. Квартира — хорошая. Ребятишек двое: девчонка в шестом классе, пацан на будущий год в школу пойдет. Жена у меня институт кончила. Английский преподает. Адье, адье, май нейтив шо... Байрон. Прощание с морем. У него вообще судьба неудачно так сложилась. Любил он там одну, пришлось ему с Англии уехать... А я тебе так скажу: жизнь — сложная штука. И мы, люди, в ней, как мошки. Будь ты там идеал или там феномен, а все равно ты умрешь. И хочется после себя что-то такое оставить. Чтоб о тебе вспоминали... Вот сын у меня растет... Но это — не то. Это идет родословная... Надо, чтобы что-то после тебя осталось — музыка или еще какая-нибудь чепуха... Да... Человек ценится своей простотой и своим железным характером...

март 1971

Приемный покой — дежурная комната в городской милиции.

Низкие своды и метровые кирпичные стены (бывший уездный острог). У самого дежурного письменный стол, над ним репродуктор. Вдоль стены ряд стульев с откидными сиденьями, как в синема.

Сам дежурный вполне преисполнен, а наряд скучает в бездействии. Провели с десятков узников в камеру. Их всех быстро обшарили, не несут ли чего недозволенного. (Престидижитаторское искусство шмона под аккомпанемент репродукторного Шуберта).

В углу женщина с подбитым глазом пишет жалобу на мужа

Дежурный между прочими заботами помогает ей.

— Как именно обозвал?.. Свидетели есть?..

Привели с площади двух драчунов — молодого и старого.

МОЛОДОЙ: Зря по морде давать не надо. Ты наглец.

СТАРЫЙ: Черт ты, говнюк, деревенский засранец!

ДЕЖУРНЫЙ: Обоим по пятнадцать суток.

(А Шуберт-то, Шуберт заливается!)

Еще одна пришла, робкая. Мужу-узнику принесла сахар и папиросы.

Снисходительно взяли.

А на подоконнике стоит болотного цвета эмалированный чайник — символ равенства, братства и счастья. Все без исключения — и начальник, и дежурный, и участковые, и задержанные — все подходят к окну, берут его за ручку и, слегка наклонив голову, тянут воду прямо из выпнутого носика..

В те самые первые дни их новой власти никто из нас и не мог понимать истинных размеров и значения того, что совершилось. Все сидели по домам, на улице боялись нос высунуть, прислушивались к стрельбе...

Каждый день мы с нетерпением ждали возвращения Матрены, которую с превеликими предосторожностями выпускали из квартиры за хлебом и за свежими слухами... Мать изнывала, жизнь без примерок решительно потеряла всякий смысл. Отец ходил взад и вперед по кабинету, не в силах будучи представить себе дальнейшее существование вселенной без правительствующего сената. Старший брат мой еще гнил в каких-то окопах...

Скучные наши запасы растаяли очень быстро, Матрена все чаще возвращалась без хлеба... И я принял решение пойти к ним на службу. Отец с матерью пытались

протестовать, но делать было действительно нечего.

Я прослужил у них в общей сложности сорок с лишним лет. И теперь они даже платят мне пенсион, который считается завидным... Я переменил у них уйму должностей, главным образом консультировал, давал советы, которые, впрочем, почти и не принимались во внимание... Иногда я даже что-то подписывал, но никогда, никогда ничего не решал...

Но первую свою службу не забуду до гроба.

Вообразите себе шкаф, простой деревянный шкаф под красное дерево...

Нет, не так.. Лучше все по порядку.

Устроил меня на эту службу однокашник отца и как бы друг нашего дома Павел Семенович. (Кстати сказать, совершеннейший идиот, я за всю свою жизнь ни до ни после не встречал ничего подобного.) Так вот этот самый Павел Семенович почему-то стал каким-то начальником в Политотделе Политуправления Реввоенсовета Республики. (Вот на каком языке они уже тогда изъяснялись.)

Он составил мне протекцию, и я получил в этом же Политотделе должность делопроизводителя. Производил я вот какое дело. Ко мне поступал приказ Реввоенсовета о назначении имярек военным комиссаром или заместителем военного комиссара какого-нибудь города, уезда или даже целой губернии. И на основании этого приказа я выдавал имяреку мандат — красную книжечку с золотым тисненным гербом... Кроме того, я делал выписку из этого приказа и клал ее в отдельный картонный формуляр...

И вот теперь вообразите себе шкаф, не такой уж большой, под красное дерево, и в нем — множество целей-ячеек. Шкаф этот тогда символизировал всю Россию, а цель — губерния, уезд, город. В каждой ячейке два формуляра — военный комиссар и его заместитель...

Теперь-то я себе ясно представляю, что за всем этим стояло — бесчисленные аресты, обыски, расстрелы, закрытые церкви, узаконенные грабежи.. А тогда как-то об этом не думалось. Тогда я должен был внимательно следить за новыми назначениями и за перемещениями комиссаров и сейчас же переключивать формуляры из одной щели в другую...

Я совсем не помню теперь имен. Да и вряд ли многие из моих тогдашних мандатоносцев уцелели или даже умерли своей смертью... Но две фамилии я хорошо запомнил — Киров и Жданов. Их формуляры почему-то следовали в моем шкафу, как нитка за иголкой, куда один, туда сейчас же и другой, куда сей, туда и оный..

И все это — Политотдел Политуправления Реввоенсовета Республики — все это помещалось в известном всей Москве доме «Россия», Сретенский бульвар, № 6. Дом этот и посейчас здравствует, стоит, как ни в чем ни бывало. И если когда-то его фасад — претенциозный стиль начала века — вызывал во мне отвращение, то теперь я едва ли не люблюсь им — оказалось, что тогдашний модерн еще далеко не самая низшая степень падения архитектуры..

Они занимали частные квартиры, например кабинет Павла Семеновича был в чьей-то белой спальне, и его страшные посетители рассаживались на мягких атласных пуфиках... А мой шкаф стоял в бывшей детской.. (Этим, очевидно, подчеркивалась невинность моей игры с формулярами.) В углу комнаты пылился старьей волшебный фонарь, а из-под самого шкафа я однажды извлек куклу с оторванной рукой...

Но вот о чем я сейчас подумал. Интересно, кто же сделал, кто изобрел, кто заказал столяру этот шкаф с ящичками? Ведь когда они меня наняли, он уже стоял и вся эта система была разработана...

Неужто они ее еще в Женеве придумали?..

Служил я у них тогда, конечно, не из-за жалованья..

Надо сказать, что такого смехотворного жалованья я не получал за все сорок лет моего самовольного рабства. Выдавали мне два неразрезанных рулона керенок — зеленые двадцатки и коричневые сороковки..

Там, у Сретенских ворот, еще до катастрофы был ресторан «Саратов». Ну а в мое время, конечно, он был закрыт, и все же на этом месте всегда стояли лихачи.. Так вот всего моего жалованья, этих двух рулонов денег хватало ровно на одну поездку куда-нибудь на Арбат или на Пречистенку.

А служили мы все из-за пайка. (О, страшное и великое, могучее советское слово — ПАЕК!) О выдаче его, пайка, нас предупреждали загодя, за день.. И мы назавтра являлись все на службу с саночками. Я, например, с теми, что когда-то несли меня с ледяной горки на Чистых прудах..

И вот после присутствия во дворе, подальше от посторонних глаз нам из подвала выдавали паек — мешок муки, мешок крупы или чечевицы, маленький мешочек сахара или кураги, постное масло.. Все это бережно нагружалось на саночки, и — с Богом. Я вез свою добычу сначала к Мясницким воротам, а потом моим старым гимназическим маршрутом, Чистыми прудами.. Скользишь, прыгаешь с сугроба на сугроб, с одной гигантской снежной волны на другую.. (Дворники к этому времени совершенно раскрепостились, и Москву решительно никто не убирал.) Я балансирую, осторожно переступаю, а саночки с пайком катятся за мною, тянутся, как октябрь за февралем, как за Кировым — Жданов..

ТОЛКОВИТЫЙ МУЖИК

Домик у нее аккуратненький, и стоит он, отступя от порядка, на окраинной улице. Грядки перед тремя окнами фасада на загляденье ухоженные и ровные. В сенях стоит неповторимый запах деревенского жилья. Пахнет своим квасом и еще непонятно чем, совершенно домашним.

Задняя изба — так называется первая комната, где она и принимает гостей, — сияет чистотой. На столе светится самовар, который от времени и усердных чисток с песочком и кирпичом почти потерял никелировку и теперь показывает свое желтое медное тело. Лавки, бок печи, на полу настланы клеенки. Всюду мелкие груши и яблоки в корзинах и тазах. В углу — Царица Небесная, Владимирская, и перед Нею — лампада.

Сама хозяйка маленькая, кругленькая, ужасно подвижная и живая. Возраст при этом разобрать затруднительно — не то под пятьдесят, не то за семьдесят. Усадивши гостя под божницей, она и сама присаживается к столу и уже не умолкает ни на секунду. Слова сыплются, как горох, но пулеметная эта речь звучит напевно. Говорит она всегда об одном и том же — рассказывает о своем отце.

— Соков его звали Василий Прокофьевич Соков толковитый был мужик, он все Библию Евангелию читал, все пророки изучил к нему, бывало, и наши мужики и богатые купцы специально приезжали, он со всеми беседовал и всем объяснял, помню, все приходил к нему из города здоровый мужчина, толстый такой, потом земский начальник приезжал, он ведь один такое толкование имел все разъяснял вот бывало и этот говорит и этот и у меня есть Библия и я читаю а растолковать как Василий Прокофьевич не могу, и вот придут к нему Василий Прокофьевич говорят расскажи нам мы с тобой посидим он сейчас Библию с полатей снимет за стол сядет раскроет и говорит первое дело гово-

рит придет время не будет у нас царя и денег этих не будет сахару не будет и соли не будет, а они ему говорят этого говорят не может быть, а он им я говорит читаю у пророков я и сам не верю ведь и у самого деньги пропали и вправду не верил а только говорил им не будет у нас царя и денег этих не будет, а они ему дескать не может такого быть как же мы можем без царя и без этих денег как на камне трава не растет так и этого быть не может, а он все читал и рассказывал только по Библие придет время и храмы овдовеют как вдовы вдовицы потом осиротеют как сироты потом обнищают как нищие, как это так говорят овдoveют, а это говорит значит колокола снимут, а как же говорят так осиротеют, а это священника говорит из храма возьмут, а как это говорят обнищают, а это значит разорят церкви и будут они как нищие, а я как увидела разоренный-то храм и грязный он и весь стоит черный так я заплакала и говорю прав был отец-то, а потом говорит придет время храмы разбогатеют пуще прежнего но не много их будет не все они будут придет время будет гонение на христиань пойдут виновные с невинными всех под одну гребенку, нет говорят не может такого быть, а он говорит эти которые невинные будут всех грехов прощенные в тюрьмах наполнятся число с военными наравне священники первые пойдут в тюрьму а за ними и мы пойдём будут дети юноши в тюрьмах за прегрешения родителей а грех родительский обязательно взыщется, вот при мне мальчишку судили за шесть кило картошки в войну это было он им в суде объяснял пришел к матери а ничего у ней нет где-то он работал в городе пойдю говорит в лес гриб найду какой увидел люк открытый а там картошка и набрал он сумчонку пойдю говорит в лес испеку картошки да поем и вот дали ему два года за шесть кило картошки уж милиция и та ему вся сочувствовала говорят неужели человек ихний колхоз разорил мы говорим кто в суде-то сидели можно ему поесть а милиция говорит давайте все я ему хлеба дала и кто чего в сумке было все давали а девчонку при мне

судили послали ее в ФЗУ работать она поработала да и не пошла не пойду говорит а отец-то ей и говорит не ходи с ребенком посидишь не помню у них маальчишка ли парнишка за это ее судили отец помню стоит и плачет значит говорит я теперь не хозяин своим детям я говорит работаю конюх жена у меня работает а с ребенком некому я ее и не пустил в ФЗУ и присудили ей шесть месяцев уж так она плакала плакала и все плакали я думала у ней сердце разорвется я вышла с суда и плачу сама-то и тут-то я его вспомнила отца-то говорил он придет время дети невинные юноши пойдут в тюрьмы, а потом говорит придет время на печи будете спать а тюрьму выспите и будут в тюрьмах невиноватые, ему говорят как это дескать так мы в тюрьму-то попадем коли ни воровать ни котовать не будем, а он говорит я грешил а дети мои за мой грех пойдут на печи говорит будете спать и выспите тюрьму на печи, а пришло время и вон племянница моя на работу десять ли пятнадцать ли минут проспала и на год ее в тюрьму она хоть и не на печи спала а на кровати а все одно тюрьму себе выспала вот тогда-то я его и припомнила как он говорил придет время на печи будете спать а тюрьму выспите, и еще говорил придет время в домах не иконы будет а музыка, все говорят не может говорят этого быть как это говорят так не иконы а музыка, а вот поехала я в столовую в Ковров и заиграло там радио я тут прям и прослезилась вот думаю икон не стало а стало радио и пока ела она все играла и пошла она все играет и так это мне не пондравилось знала бы думаю и не пошла бы туда обедать вот и помянула отца-то, и еще он говорил придет время богатый обнищает и взалкает и спознает нищенскую жизнь, а они говорят быть говорят того не может как это так богатый обнищает и взалкает и спознает нищенскую жизнь как это он может обнищать спорит что ли так у богатого и сын и дочка богатые он к ним перейдет и уж не дадут они ему по миру-то пойти, а он и говорит придет время и позавидует богатый бедному и все

богатство их пойдёт по бедным, и удивились все и говорят как уж это оно пойдёт с ногами что ли оно, а он мужикам и сказал да говорит ворюга только будете отворять встречать да принимать, а как раскулачили у нас-то на селе так они богатые ходили по всей деревне и кому чего пристраивали кому чего думали потом дескать попользуемся мне и ха старая дева богатые они были мне помню говорит Клавдя говорит только до вашей говорит улицы не дошли а то по всей деревне в каждом доме наше добро вот тогда-то я его и помянула, и еще он говорит не берите ихнего ничего не покупайте и пусть дешево оно будет не прельщайтесь когда будут продавать их-то добро, у нас в деревне раньше ставили наряд на нищих на нослещиков сегодня твоя очередь тебе стучат и нищего ведут нослещика на ночь и тут уж не откажешь мы не отказывали уж какой бы он ни был нослещик и шивые было у нас стояли и всякие уж у меня так и кровать была для нослещика и вот раз приводят мне его ночевать Клавдя говорят ваша очередь пришел он это у порога сел на приступочках я и говорю ему иди говорю на лавку говорю есть может хочешь он говорит не против собрана я ему покушать потом и муж мой приходит ваши говорит документы поглядел он так-то удивился и говорит как же говорит это ты доставщик его величества государю был и мог в нищие попасть а у него двадцать две кондитерские были в каждом городе ведь у него кондитерская была и государь только что брал у него в магазине и был он кум ему царю-то крестил он у царя не помню только мальчишку ли девочку в гостях у него был у царя-то я говорит милушка вон на каких перинах спал и так-то показывает а муж и говорит как же ты говорит в нищие-то попал а он и говорит как пришло время люди стали в Америку уезжать я прихожу к отцу и говорю папаша и нам надо ехать ведь все отберут а отец-то говорит полно говорит сынок что у нас доброго и люди возьмут и нам останется и не поехали а когда нас шаркнули оставили нас только в бане отец-то тут от рас-

стройства не помню чего и получилось и с женой а дети-то от него отписались и сам-то он как их шаркнули от расстройтва оглох и вот рассказал он так-то а я и вспомнила что отец-то говорил придет время богатый обнищает и валакает и спознает нищенскую жизнь, и вот еще говорил придет время и все это говорит приближается такое время что поле все соединят в одну полосу не будет нигде ни меж ни рубежей, а они говорят быть этого говорят не может, а он говорит и все говорят будут тогда работать вместе и сначала люди будут получать много и будут плясать и веселиться а потом получают со дна меры вот это как ведро-то перевернуть да сюда насыпать много ли оно выйдет, и правда когда колхоз-то настал они все на машину сядут да катят да баба одна подпрыгивает да ура кричит тыффу думаю а сестра у меня раньше-то получала в колхозе тридцать пудов а потом получила три пуда вот те и со дна-то меры уж она ревела ревела и что поделаешь с тремя-то детьми, а потом говорит придет время и будут они получать одни только единицы, так оно и вышло у них только палочки им всем и писали а ничего на них не получали, и говорит придет время будут ссоры и здоры и неприятности, уж они там в колхозе-то бывало грызутся, а потом говорит придет время и петух на дворе не пропоет нечем его будет накормить-то и брат брата своего не познает и придет и не накормят его, вот голод-то был и опять я отца помянула, и еще говорит придет время даже такое найдут люди лошадиное копыто подкову и не будут знать что это такое, вот теперь-то в городах лошадей и нет, и даже говорил коровий рог найдут и будут спрашивать друг у дружки что это такое вот какое время придет, а как я стала с мужем дом строить не этот еще в деревне так только мы его покрыли не отделанный он был а отец-то ко мне и приходит доченька говорит доченька какой ты дом-то затеяла ты бы говорит на курьих ножках бы поставила ведь вы не будете как мы жить вы будете бежать с места на место, и вот ведь правильно пришлось мне бе-

жать, а легонький говорит домишко или перетащишь куда или продать так тебе не так-то тяжело будет и еще говорит не запасайте говорит хорошей одежи запасайте походячей вам в гости-то некуда будет ходить да запасайте побольше обуви а то скоро говорит обувь-то будете носить без заботы от пятницы до субботы швы-то развалятся вот она какая у вас обувь-то будет, я вот давя видала на остановке женщина сидела сапоги резиновые на ней новые а подметка отрывается я ей говорю сапоги-то говорю на тебе новые а подошва-то отвалилась она ах батюшки я ведь только одну неделю их ношу вот тут-то я его и вспомнила, придет говорит время хлеб будете есть все из одной печи, а они говорят нет говорят не может этого быть как уж это оно будет все из одной печи, а вот теперь-то уж и в деревнях никто хлеба не печет все едим из одной печи, и спрашивают его Василий Прокофьевич когда ж это время-то будет, а вот говорит когда шпили-то на домах станут это время уже приближается а так-то он на меня на девчонку рукой показывает и говорит вот они будут матери горе горе ихо будет великое пусть говорит эти матери одеваются вретиче и усердно молятся за своих детей если умолят они то будут их слушать а если не умолят никаких ихих слов дети понимать не будут, придет время такое что люди не будут бояться ни зверей ни чертей а только будут бояться людей мы говорит раньше коли увидим человека сзади идет поджидаем а вы будете жить бежать будете от человека, и еще говорит придет время человека не знали и не узнать бы а вам придется с ним ругаться, а вот очереди-то настали так-то нам и приходится ругаться не знаешь человека не узнать бы а ругаешься приходится ругаться опять я его покойника помянула, придет говорит время будут девицы бестыжие лица, и такое время придет что семь жен поищут одного мужа, нет говорят не может чтобы семь жен искали одного мужа, а вот я сама видала под Свет-номерама бабы дрались из-за мужика штук их пять было и все они дрались да ругались ты что у меня

его отбила а ты что у меня отбила нет ты у меня отбила уж я смеялась смеялась а бабы-то и говорят хоть бы мужик был а то ведь и мужичишка у них плохонький, а потом придет время и у девушки закроются уста от песен так что какое-нибудь тяжелое время это будет что уж девкам будет не до песен, а то я-то еще девчонкой и говорю ему отцу вон говорю богатые как живут больно хорошо, а он говорит на завидуи придет время будете на печи лежать да манну с неба получать придут вам деньги-то на дом, вот мы ныне пенсию-то получили, и еще говорит придет время скажут вам бумаги у нас нет примите скажут печать на челе или на руке но вы не принимайте это будет говорит какая-то третья печать первые-то две мы и не заметили кто говорит примут эту печать эти люди все отойдут к сатане а кто не примут спасутся услышат с неба голос не тужите вы будете живы и сыты а эти с печатями-то придут откроют склады а хлеба не будет будут склады пусты и тогда они зашумят и пойдут к правителю а он к ним выйдет на балкон весь в белом и скажет ти-и-иха! что вам? а они закричат хле-е-ба! а он им на небо укажет дождя скажет нет земля не родит где я вам возьму и тогда они все разойдутся и воды даже им не будет бежать будут искать воды и будет валяться серебро они подумают это вода блестит а это серебро побегут и дальше увидят блестит подумают вода а это валяется золото пятами будут топтать не выжмут ли чего из земли водички кто где выжмет тот попьет потом побегут к горам горы падите на нас задавите нас а смерть от человека убежит и смерти они себе не найдут это запечатанные-то так-то будут переживать, и придет время земля растрескается так что человек может войти в эту щель и придет время Господь уменьшит птиц плодов рыб и реки обмелеют а болота осушатся и будут сдвигать гора с горою...

Так вот и вижу: изба, на лавках купцы да земский начальник качают головами, на приступочках притихшие

мужики, с печи и с полатей свесились любопытные русые головки. А толковитый мужик Соков Василий Прокофьевич сидит за столом под образами в свете керосиновой лампы, сидит над раскрытой Книгой и вещает:

- Придет время...
- Придет время...
- Придет время...

август 1970

А в субботу да и в пятницу к вечеру почти все прохожие мужеского пола ступают нетвердо, неся невидимые узы алкоголя, и составляют бесчисленные композиции на тему роденовских граждан Кале...

Пьяный несет на плечах мешок соломы. При первом взгляде кажется, будто он качается от тяжести, а не от хмеля...

Парень бредет по улице, едва передвигая ноги... То и дело заглядывает себе за пазуху — там у него крошечный щенок.

- Не бойсь! Ты же, мать твою, овчарка!

На перекрестке большая лужа. Мимо движутся двое — один трезвее, другой совсем пьяный. Идут они, как Селифан и Петрушка, оказывая друг другу большое внимание...

Тот, что пьянее, неожиданно качнулся и рухнул прямо в грязь. Заботливый товарищ наклонился, подал ему руку, хотел поднять, но сам потерял равновесие и шлепнулся в лужу... Поднялся и опять принялся выручать друга, почти поднял его, но тут они упали вдвоем...

- И так без конца — пока не надоест смотреть...

Некто лежит у самой канавы... Вдруг очнулся, поднялся на четвереньки, с огромным трудом встал, начал мелко-

мелко и замысловато переступить ногами, будто в сложном танце, и снова повалился на бок...

Еще один валяется поперек тротуара вниз лицом. Куртка из ложной кожи и рубашка задрались, видна спина до самых лопаток.

— Признак смерти налицо?

— Ну, налицо...

И вдруг он несколько раз громко чихает, содрогаясь всем телом, но так и не приходя в сознание...

Шел я по проселку глубокой ночью. До ближайшего жилья было не меньше версты. И вдруг я чуть не споткнулся, чуть не наступил на огромного мужика, который развалился посреди самой дороги не хуже гоголевского запорожца.

Я полюбовался на него, безуспешно попробовал его растолкать и двинулся дальше. А еще через двести метров мне навстречу попала женская фигура, обремененная ношей. Когда мы поравнялись, я разглядел, что она несет, и сообразил, кто она.

Это шла жена пьяного и несла она ему одеяло и подушку...

А может, все-таки плюнуть, да и спросить, куда он делся, у самой этой дуры снизу?..

А почему, собственно, у дуры?

Нет, все-таки дура она, дура!.. Как она могла отдать эту папку в утиль?..

Дура, ни за что не спрошу!

А между тем я теперь очень ясно себе представляю, как он впервые прикатил в этот городок, как сошел с поезда со своим замысловатым рюкзаком... Как бродил по улицам, как глядел на все, как высматривал — и белую

кошечку с розовым хвостиком, и пьяного у дороги, и милицейского, и девчонок, и старушек, и казанского татарина...

А никто и не подозревал, что среди них бродит убийца, что он совершенно сознательно выбирает себе жертвы...

А сейчас у них там, внизу — «наша среда»...

Под окнами терпеливо ждет вишневый «фиат», уже одиннадцатый, и белоглазому вот-вот надо выкатываться...

В постели-то он, наверное, лежит без очков, и эта незащищенность лица, эти мигающие его реснички, вот что вводит ее в заблуждение.

Он садится на кровати.

— Уже уходишь?

Быстро нашарил и надел очки.

— Просто не хочется нарываться на лишний скандал.

— Как ты ее боишься...

Не отвечает, поспешное натягивание штанов.

Уже в вертикальном положении.

— Ты прекрасно знаешь, она мне совершенно чужой человек.. Но я не могу превращать свой дом в окончательный ад..

Не торопясь завязывает галстук.. Надевает пиджак..

— Ну, ты лежи.. лежи.. Позвоню тебе завтра утром на работу..

И, быть может, еще одно формальное лобзанье..

Щелкнет язычок замка, загудит лифт, грохнет дверь шахты..

А вот и зафыркал под окном фиатовский мотор, и два тревожных красных огонька с удаляющимся урчанием скрылись за соседней этажеркой..

БУЛЬДОЗЕРИСТ ФЕДЯ

— Ты Федю-то, бульдозериста знаешь? Не знаешь? Таких чудаков еще и поискать... Парень — что ты! Медведь. Плечищи — во! Бицепсы... Он тебе что хошь свернет. Такой чудаки. Мотоцикла взял в кредит, ИЖа. Ну, хера ли — ездить не умеет. Даром что силища в руках. Как ни поедет — поцарапается. Все с него летит, все с него падает. Ну, четыре раза скovyрнулся, на пятый раз взял его, положил на землю, да и говорит сменщику: «Вася, езжай!» — «Ты что, — говорит, — сбесился?» — «Езжай, тебе говорю. И все!» — «Нет, — говорит, — я на него не поеду бульдозером». — «Езжай, — говорит, — а то, говорит, — сам сяду...» Ну, Васе-то чего, он и поехал. Так мотоцикл в ляпушку. Шuтишь ли — бульдозером. Чего там от него осталось?.. «Давай, — говорит, — лопату. Я его сейчас, — говорит, — своей рукой закопаю...» И закопал. «Все, — говорит. — Теперь я спокойный. А то, — говорит, — мне с ним жизни нет...» А деньги за него еще не выплатил. Четыреста восемьдесят рублей денег еще платить... Жена у него маленькая баба, а занозистая. «Ты, — говорит, — чего натворил? Ты, — говорит, — чего наделал? Я бы, — говорит, — его продала по крайности, а теперь — чего?»

А Федя только: «Не надо он мне! Не было у меня его и не будет...» А баба все на него наускакивает. «Ты с ума, — говорит, — совсем сошел! Чего натворил-то? Еще ведь четыреста восемьдесят рублей...» И по затылку его, все по затылку... Маленькая бабенка, а злобная... Он, Федя, только что отмахивается. «Ты, — говорит, — чего щиплешься? Ты, — говорит, — спасибо скажи, что я на нем никого не убил и сам не убился...» Двое ведь у них детей. «Тебе, — говорит, — кто нужен? Он или я?.. Подумаешь, — говорит, — четыреста восемьдесят рублей... Да я тебе больше заработаю. Я заработал и еще заработаю. Я — бульдозерист. Я тебе и так и калым заработаю. А только я теперь спокойный. Нет его

— и все! И мальчишки в металлолом не сдадут. Я только знаю, где он зарытый, да сменщик — Вася. А он не скажет... Мне, — говорит, — его продать — я не хочу. Мало ли чего, еще убьется кто на нем. А я не хочу кому-либо плохо сделать. А так я — спокойный. Своей рукой зарыл. А то еще убьется на нем кто, я переживать буду. Ну его!. Не надо он мне». А она только: «С ума сошел! Сбесился!» И вот по затылку его, и вот по затылку... А он: «Да чего ты щиплешься? Дура ты и есть дура. Ты радоваться должна, что я живой остался. Ты чего жалеешь-то? Муж у тебя целый? Целый. Не покалечился? Не покалечился. Ну, и радуйся, дура! Ты чего щиплешься? А то ведь я и сам двину, так не обрадуешься». А у него — бицепсы во! Плечи — во! Медведь, говорю тебе, чистый медведь! Он так и следовательно сказал: «Товарищ лейтенант, нет его и все! Списывайте его с меня. Я, — говорит, — на все согласен, только я на него злой... Черт, — говорит, — с ним, с ИЖом. Я, — говорит, — не только что четыреста восемьдесят, я, — говорит, — всю тыщу заплачу, чтоб только его не было! Я, — говорит, — на нем четыре раза поцарапался, да пятый раз чуть лоб не разбил... Я гляжу, у всех мотоциклы, ну, и я себе взял. В кредит. Думаю, поезжу на нем. Как ни сяду — все лечу... Он прям бешеный... На нем только газ дашь, уже глядишь на спидометре — девяносто. И опять я лечу. Не надо он мне, и все! Я на своем бульдозере ездить буду. Он у меня десять километров — больше не идет. Я на нем спокоен. Еду я на нем по своей стороне, по обочине. Уж я ни в кого не врежусь. Если только кто в меня врежется... Так и то у меня вон — нож. Сам он и разлетится... А этого черта, его мне не надо. Я только сменщику говорю: “Езжай и все! А не поедешь, так я сам сяду. Все равно ему не быть. Не дам я ему быть, и все тут!” Только теперь я спокойный. Нет его! В ляпушку!.. И никто его теперь не найдет. И вы, — говорит, — товарищ лейтенант, не найдете. Только что с миноискателем... А сменщик Вася вам не скажет. Нет его,

и все. Я что положено за него заплатил. И еще заплачу. Мне не жалко. Зато я — спокойный. А жену не слушайте. Дура, она и есть дура. У нас двое ведь детей. А что, неровен час, я бы разбился? Куда б она с двоими-то? Кто ее, дуру, возьмет? Она радоваться должна.. Баба, она и есть баба. Чего там она понимает? Я заработал и еще заработаю. Я бульдозерист». Такой чудак, понимаешь. Таких во всем городе не найдешь... «Езжай, — говорит, — Вася, а то сам сяду. Я, — говорит, на него больно злой... В ляпушку! Не надо он мне...»
март 1971

Вечером из открытых окон нетрезвые голоса. Громче всех, конечно, поет в угловом доме свадьба:

Как зять тещу
Повел ее в рощу!
Вот тебе, теща,
Зеленая роща!

Посадил ее на кол,
Приударил кулаком!
Вот тебе, теща,
Зеленая роща!

Зятюшка, батюшка,
Грех тебе будет!
Вот тебе, теща,
Зеленая роща!

Ах, так твою мать,
Стала грех разбирать!
Вот тебе, теща,
Зеленая роща!

Следующий дом — двухэтажный.
Из каменного низа:

Ты вспомни, изменщик коварный,
Как я доверялась тебе...

Из деревянного верха:

Это было в Гренаде,
Где испанцы живут,
Где цветут алианы,
Где гитары поют...

Через два дома на той стороне:

Что ж я буду делать,
Милый мой дедочек?
Что ж я буду делать,
Сизый голубочек?

Из второго деревянного этажа:

Подари мне забвенье,
Подари мне любовь,
Я такой одинокий,
Что люблю тебя вновь...

Через два дома:

Спекулируй, бабка,
Спекулируй, любка!
Спекулируй, сизая
Ты моя голубка!

А свадьба уже выплеснулась на улицу и пляшет прямо
на траве.

И она: Эх, сват, сват, сват,
Не хватай меня за зад,

Хватай только за перед,
Лучше горе не берет!

И он: У милашки под рубашкой
Облигацию нашел,
Расстегнул свою ширинку,
Тут и номер подошел!

И она: Девка — розовый букет,
Между титек — комитет,
Ниже пупа — райпродком,
Пожалуйте за пайком!

И он: У милашки под рубашкой
Сорок восемь десятин,
Я молоденький мальчишка
Обрабатывал один!

И она: Солдатики умны,
Завели на гумны,
Там рожь, лебеда,
Там и дать — не беда!

И он: На дворе барана режут,
Я баранины хочу!
Если к осени не женят,
Х... печь разворочу!

И ничего он уже не разворотит. И он, и она, и вся свадьба, и соседи, и те, что через два дома, — все уже отравлены.

Вот тебе, теща, зеленая рожа!

*Плохо мне одному... С тех пор, как умерла Матрена,
— совсем плохо. Я ненавижу грязную жирную посуду, свои
черные кастрюли и чайник... Ненавижу свой веник и совок*

для мусора со сломанной ручкой... Ненавижу сосиски в целлофане и слипшиеся кислые пельмени...

Но при всем своем желании я не могу представить себя женатым, как не могу вообразить себя далай-ламой...

Я вообще почти не верю в самую возможность брака. Это — редчайший дар, и я видел его лишь у двух-трех избранных еврейских пар, когда возникает некая неправдоподобная близость, сильнее родственной, сильнее дружеской, сильнее всего на свете...

Недаром ведь тот, у кого гостили Ангелы, при случае запросто выдавал жену за сестру.

Да и неизвестно еще что лучше — грязная посуда и липкие пельмени или закормленные внуки с золотушной съедой на толстых мордашках да взрослые паразиты дети?..

Только один раз в жизни я стоял как бы на грани брака.

По счастью, у моей тогдашней пассии не было ни малейшего желания, да и никакого резона выходить за меня.

Было это в самый мой кишиневский период, когда я бродил по агонизирующей Москве и глушил себя спиртом из тоненькой гарднеровской чашечки. Дама моя была в некотором роде замужем, и при этом муж ее был не то чтобы род дворецкого при ней, а просто тряпка, ветошка...

Рога мы ему наставляли с такой наглостью, что я и до сих пор диву даюсь...

А была она весьма холодная и расчетливая стерва, которая только что постельную работу любила и знала, а я при ней — просто сосунок, кубшинчик.. И ей было совершенно ясно, что, несмотря на это, для роли ветошки я никак не годился.. А потому и не следовало бросать мужа ради меня..

И не захотела она, не согласилась бежать со мной в Потогонию — страну любовной испарины..

Смешно подумать, я ведь стреляться хотел...

Наш рогоносец уже тогда, кажется, чего-то пописывал и даже печатал в ихних газетах... Потом она вывела его в люди, сделала «инженером человеческих душ», одним из главных инженеров, и все это с такой решительностью, что он и пикнуть у нее не смел.

Недавно она его без особой печали, но с большим почтом схоронила, оставшись вдовою с квартирой и с авторскими правами. И вот теперь, я слышал, держит у себя салон для либеральных литературных мнений...

Эх, да что там целкоперы, бумагомаратели! Салондержатели — вот чертovo семя! Вот бы кого узлом завязал, в муку стер бы вас всех, да черту в подкладку! В шапку, туды ему!

ВИТЕК И ЮРКА

Прошное воскресенье у меня с утра трещала голова, и я решил пройтись по городу. Сначала потолкался на барахолке, ходил мимо развешанного на заборе тряпья и разного старого хлама, разложенного прямо на снегу. Потом вошел в самый базар. Не выдержал — с жадностью съел прямо у прилавка замерзший соленый помидор и такой же ледяной огурец. Больше было тут нечего делать, и ноги понесли меня по направлению к столовой «Заря», где, как я знаю, изредка бывает пиво.

В просторном и неопрятном зале было немногочисленно. Посетители сидели строго разбившись на два лагеря — поближе к кухне те, что пришли поесть, поближе к буфету те, что пришли выпить пива или портвейну.

Я купил у буфетчицы кружку и пошел к столику у окна. За ним сидел в одиночестве крепкий тридцатилетний паренек с красной физиономией и оттопыренными ушами. Одет он был почти щегольски — шерстяная рубашка и

добротный синий костюм. Пиво пил важно и сосредоточенно.

— Разрешите? — сказал я.

Он молча кивнул, и я уселся.

Говорить и мне не хотелось. Каждый из нас был занят своей кружкой. Моя кончилась быстрее, я встал и подошел к буфету.

— Повторить? — услужливо спросила буфетчица и налила мне новую порцию.

Я вернулся за столик.

В зал вошли еще три человека. Оглядевшись, они приблизились к моему соседу и молча пожали ему руки. Потом, очевидно решив, что мы с ним собутыльники, поздоровались и со мною.

Один из них — личность примечательная. Высокий, худой. На лице и на переносице несколько глубоких царапин. Нос опух, и нельзя разобрать, природная на нем горбинка или благоприобретенная. Глаза совершенно заплыли. Пестрый бумажный свитер, под которым скорее угадывается, чем виднеется расстегнутая черная рубашка.

Двое других — шестерки. Один такой серенький с припухшими губами, а другой — белобрысая челка и носик выемкой.

Эти двое принесли пиво и стаканы, куда немедленно был налит цвета марганцовки портвейн. Мне тоже предложили, но я отказался. Они осушили стаканы, запили пивом.

Сначала заговорил Юрка — тот самый, солидный, в синем костюме, к которому я подсел.

— Прихожу, понимаешь, с работы — матери нет. Я в гардероб. Смотрю, нового пальто тоже нет. Я — к соседям. Говорят, не бывала. Я — к снохе. И тут нет. Я туда, сюда.. Иду в больницу. Точно, говорят. В Горький отправили. В больницу. Рак у нее. Желудка. Мы со старшим братом к врачу ходили. Говорим, нам-то хоть скажите. Рак, говорит, желудка. Ей-то не говорят. Хронический, дескать, гастрит у

тебя. И есть ничего не может. Только молоко, сметану... Тут недавно прихожу, говорит: «Юрка, чего-то пельменей хочется». — «А чего? — говорю, — мясо у нас есть. Много ли нам вдвоем-то надо? Давай накрутим». Ну и накрутили. И вот, поверишь, только что четыре штуки съела — вырвало. Шестьдесят два года. Сколько еще протянет?.. И младший брат вернется, чего будет делать?..

— Толька? — сказал Витек, худой с разбитым лицом.

— Ну! — подтвердил Юрка, — Это ведь какой жук! Он в зоне, мне ребята говорили, он там работает, как лось... А выйдет — все. Ему какая хочешь зарплата, хоть шестьдесят рублей, только бы ему не работать. Только бы ему ни х... не делать. И, главное, хитрый ведь какой. Вот ты ему говори — он тебе поперек ни слова. Как будто соглашается. Знает, старший брат. Будет спорить, я же на него наору. А отойди ты на два шага, все по-своему сделает. В зоне вкалывает, а тут не хочу — и все!

— Он вообще чудак, — сказал Витек. — Вот он мой ровесник. Двадцать семь ему, а уж он почти червонец сидит. Только выйдет, его обратно в зону тянет...

— И там он работает, как лось, — сказал Юрка. — Чего теперь будет делать, не знаю. На мать уж надежда плохая. Старший брат — у него семья. Сестренка у нас в институте учится. Хочешь не хочешь, а каждый месяц — тридцатка. Ему бы какая ни зарплата, только бы ничего не делать. Я в Прибалтику уезжал, на асфальтовом заводе работал. Говорю мастеру: «Возьми братишку на мое место». Там три дня в неделю работаешь, остальные на Клязьме лежишь загораешь. И меньше ста восьмидесяти не получается. Если ты там два дня прогулял, бригадир никогда тебе ничего не скажет. Но не пятнадцать же дней. Тут тебя уж никто не покроет. А мать у меня такая. Никогда денег не спросит. Сколько ей в получку принес — пять рублей — пять. Сто семьдесят — сто семьдесят. Никогда не спросит. Положил на швейную машину и все. Утром говорю: «Мать,

мне похмелиться надо, дай два рубля». Без звука...

— У меня такой характер, — сказал Витек, — сколько денег есть, только стакан попал — все! Все пролетят. Ты вот ухитрялся три раза в день напиться? А я почти каждый день так... Лечиться думаю.

— Мне лечиться ни к чему, — сказал Юрка. — Я захочу — не пропью. Тут мать приходит, говорит, в ателье материал есть по двадцать четыре рубля метр. «Цвет, — спрашиваю, — какой?» — «Черный, — говорит, — без полоски». — «То что надо». А денег ни копейки. Так вот, веришь, я из аванса три рубля пропил, а из полочки — два. Нет, и все! Или вот я в Прибалтике жил. Двести сорок зарплата, девяносто командировочные. И все подчистую пропьешь. Иной раз на питание не хватает. Придешь к семейному: «Дай десятку, на питание не хватает». Вот до чего доходил. А тут отпуск. Ну, думаю, мне деньги будут нужны. Целый месяц тут надо гулять. И как отрезал. Говорю: «Не высылайте мне зарплату. Только командировочные». На питание хватало — во как! В воскресенье бутылку возьмешь, и нормально...

— Нет, у меня все летит, — сказал Витек. — Характер такой... Слышал? Казбек из особого в строгий перешел? «Через четыре года я, — говорит, — опять тут буду». Понял?

— У него ведь побег отсюда, из нашей зоны был, — сказал Юрка. — Я тогда в милиции на «Победе» работал. С автоматчиком его вывели, посадили в машину. С тех пор я его не видал.

— Не, ты соображаешь, особый на строгий? — сказал Витек. — Значит, он чего-то там думает...

— Таких артистов сколько хочешь, — сказал Юрка. — К нам, помню, прокурор по надзору приезжал, рассказывал. До 1 ноября шестьдесят девятого года в «крытке» легче было, чем в строгом. Так такие есть артисты. Он тебе такое нарушение сделает, что срок ты ему не добавишь, а в крытку перевести надо. Таких артистов сколько хочешь.

Или вот симулянты. У нас в зоне многие на аппендицит косили. Скажет все признаки, ну, его и режут. Каждый день — операция. Полбарака резали. Ну, одного они все ж поймали. Он все признаки сказал, а его врач и спрашивает: «На каком, — говорит, — ты боку спишь?» А он и скажи: «На левом», — говорит. «Иди — говорит, — отсюда, симулянт». А там оказывается, на левом спать — он еще хуже болит. Кишки как-то там натягиваются. «Иди, — говорит, — отсюда, симулянт».

— Тащи еще пиво, — сказал Витек белобрысому с выемкой на носу. — У тебя вроде червонец был?

«Выемка» неохотно вынул аккуратный бумажничек.

— Я его разменял.

Я вынул рубль и положил на стол. Рубль взяли не сразу, и «выемка» с «сереньким» пошли за новой бутылкой марганцового портвейна.

— А помнишь, у нас война была? — сказал Витек. — Поверишь, по шестьдесят человек выходило с ножами, с палками, с обрезам — кто с чем. Ярцевские на городских. Драка была — что ты. Шесть человек в больницу отвезли.

— Тут у нас как, — сказал Юрка, — в Ярцеве парк и в городе — парк. Там танцы и тут танцы. Ярцевских поймают в городе — бьют. Городских в Ярцеве бьют. Городские меньше чем по семьдесят человек в Ярцево не ездят. Вдесятером там делать нечего. И те так же... Ну и драка же тогда была. На суде потом только спрашивали: «Видели, как этот дрался?» — «Видели». — «Три года». — «А этого видели?» — «Видели». — «Два года». Так гребли, за милую душу...

— А помнишь, — сказал Витек, — парк хотели закрывать?

— Это из-за студента, — сказал Юрка. — Студента одного тогда ножом пропорол и в пруд скинули.

— На смерть? — сказал я.

— Нет, просто так порезали, — сказал Юрка. — Ну,

девчонки из общежития вызвали скорую помощь. И пошло дело. У него мать оказалась партийная. Шум подняла. Из области понаехали. Думали парк закрывать.

— Да, было время, — сказал Витек, — я тогда без ножа из дома не выходил. Всегда с ножом. А теперь вот боюсь. Как пьяный «мусора» увижу, так бежать. Не хочу опять в зону. Надоело. Я ведь в пятнадцать лет первый разряд по баскетболу имел. И по плаванию. Меня в техникум без экзаменов брали. Знаешь, какой парень был... А потом стал закладывать, и пошло...

«Выемка» и тот, «серенький», притащили еще одну ноль восемь. Я опять отказался от стакана и купил себе еще пива.

— Давай познакомимся, — сказал Витек, когда я вернулся с кружкой. — Я ведь думал, ты Юркин друг.

Мы еще раз церемонно пожали друг другу руки.

«Выемка» разлил портвейн, и они выпили.

— А помнишь, как с солдатами дрались? — сказал «серенький».

— С солдатами драться не надо, — сказал Юрка. — Чего с него взять. Он по своей воле, что ль, сюда приехал? Это еще хуже, чем в зоне. Там ты хоть знаешь, за что сидишь. Украл, убил или там подрался. А солдат — чего? Приходит он домой, а ему повестка: кружка, ложка и поехал... Чего его бить, он не виноват.

— Нет, — сказал Витек, — я тебе говорю: с солдатом лучше не вяжись. Шел я тут мимо части ночью. Смотрю, солдат девку у забора наладил. Я его за плечо, говорю: «Я — второй». А он мне: «Пошел ты...» — говорит. Я ему в рожу. Он мне. Ну и понеслась... Тут я наверх глянул, через забор еще лезут пять рыл. Ну, я — бежать. Откуда только ноги взялись... С солдатом лучше не связывайся.

— А чего с ним вязаться, он не виноват, — сказал Юрка.

— А ты сам кем будешь? — спросил у меня Витек.

Пришлось представиться.

Витек свистнул.

- Это хуже чем прокурор,
- КГБ, что ли? — сказал «выемка».
- Хуже, — сказал Витек.

Тут я попросил разрешения как-нибудь отыскать его, чтобы потолковать по душам.

— Х... с тобой, — сказал Витек, — приходи. Только пораньше приходи. Вон Борька меня почему сегодня поймал, он в полседьмого пришел. Я еще сплю. А так бы ни х... он меня не нашел. Я уж пошел шляться. Я жене зарплату до копейки приношу. Девяносто рублей. Я ее никогда не обижаю. Ограблю кого или там что — ей всегда пятерка, десятка. Она мне только говорит: «Не надо мне твоих никаких денег. Только ты не пей». А я не могу. Как стакан попал, так все... Дочка у меня два с половиной года. Любит меня, ужас как. К ней не идет... «Я, — говорит — к папе». Я иной раз по пьянке думаю, повеситься мне... «Мне, — говорит, — денег твоих никаких не надо, не пей только... Ты на себя посмотри, весь ты порезанный, поцарапанный... То ты с ножом идешь, то с молотком, то с топором...». Ну, х... с тобой, приходи... А только я не думал, что ты это... Я думал, ты из щипачей.

В четвертой кружке пиво оказалось каким-то водянистым и кислотатым на вкус. Я с трудом допил и поднялся из-за стола. На прощание Юрка сам мне вручил свой адрес.

— Заходи, — сказал Юрка. — Особенно летом. В июне. У меня не дом — дача. Раздевайся, загорай. Клязьма — рядом. Яблонь у меня тридцать штук, а вишен не счесть. Заходи.

Я еще раз пожал руки всем четверым и вышел на солнечную мартовскую улицу.

1971

Да, да, красные портсьеры...

Красные портсьеры — прозрачная перегородка между тюрьмой и волею...

Это я знаю, это я хорошо знаю, что такое...

Кафе «Алатр», Тверская улица, тут же сразу — по правой руке...

По-моему, июнь девятнадцатого... Да, июнь...

Дежурным в тот вечер был Фабий Кусевицкий. Я сидел там с двумя приятелями (оба уже покойники), пили мы кофий невесть из каких помоев и кушали картофельные пирожные — мерзость невообразимая. Но ведь богема, богема...

Фабий с подозрительной официальнойностью приблизился к нашему столику, но склонился весьма доверительно.

— Вас просят в вестибюль... Всех троих...

И дальше — как в страшном сне, все предчувствуешь, предвидишь, но нету сил, невозможно уберечься...

Мы послушно двинулись за ним, обходя столики.

А уборные были у них отгорожены от вестибюля суконными занавесками, красными порттьерами, и там — в соблазнительной узенькой щелочке — я разглядел кожаные куртки... Вот оно...

Сукно раздвинулось.

— Ваши фамилии? Документы? Вы арестованы...

И вот нас, троих дураков, едва ли не с почетом водворили на двух извозчиков, заранее уже зафрахтованных... (Ах, как они в то время еще были предупредительны, почти любезны!)

И покатали мы по Камергерскому, по Кузнецкому мосту, тут ведь совсем близко — до моей гимназии ручкой подать...

Допрашивала меня женщина. (Чуть не написал — дама.) Лет тридцати, стриженная, вся в коже. Обвинение оказалось совершенно бредовое. Будто бы мы трое, сидя каждый вечер в кафе «Алатр», вербовали там людей и отправляли их на фронт, в помощь Деникину...

(До сих пор ума не приложу, какой идиот мог сочинить этот бессмысленный донос.)

Товарищ в коже изъяснялась крайне просто:

— Подтвердится — высшая мера, не подтвердится — выпустим.

Странно, что камеру на Лубянке совсем не помню. Впрочем, и сидел-то я там всего трое суток — только что оброс да обовшивел.

Хорошо запомнил Бутырку.

Довольно дикое впечатление — роскошный какой-то барский вестибюль, лестница, коридор очень светлый, чистый и просторный, но с одной стороны сплошь серые двери... Они распахивают такую дверь, и...

В камере нас было человек девяносто. Нары справа и слева, два окна, от простенка узкий проход в направлении двери...

На ночь с одних нар на другие перекидывались доски, проход уничтожался, и получалась сплошная лежка... Ночью к параше не проберешься, чтобы не наступить на чью-нибудь ногу или руку...

А передач они принимали в то время сколько угодно. Можно было получать даже книги... Я там, помнится, сидя на нарах, под окошком первый раз прочел подряд всего Достоевского. С чувством, с толком, с расстановкой...

А через месяц в одной передаче вдруг обнаруживаю книгу «Нервные дети»... (У папеньки тогда еще не атрофировалось чувство юмора.) Стал я разглядывать этих «Нервных детей», и сзади, где цена обозначается, нашел карандашом написанное число — 182..

На сто восемьдесят второй странице иглой были отмечены буквы: е-с-т-ь-о-р-д-е-р-о-с-в-о-б-о-ж-д-е-н-и-с...

Мне тогда неправдоподобно повезло. Уже в сентябре девятнадцатого, после взрыва в Леонтьевском, они объявили красный террор, и всех узников, кто числился у них КР (контрреволюция), всех до одного поставили к стенке...

Так погиб мой двоюродный брат, сын тети Асли.

Я частенько задаю себе вопрос: почему же я все-таки уцелел?

Отчего дело со мною у них ограничилось красными портъерами и вообще той вегетарианской отсидкой девятнадцатого года?

Может быть, потому что я всегда был себе на уме?

Или потому что никогда не лез вперед?

Помню, как в самые что ни на есть тридцатые годы встретил я на улице своего университетского приятеля. Оказалось, он еще даже не забыл латынь...

В ответ на мое — «как живешь» — он вдруг наклонился ко мне и шепотом сказал в самое ухо:

— Non cogito ergo sum.

Но ведь там, на углу Лубянки и Фуркасовского, исчезли все — умные и глупые, скромные и выскочки...

Так в чем же тут дело? Со мной...

Слепой случай?

Просто папка с делом в шкафу затерялась?

Назад завалилась, к стенке...

Хе-хе — к стенке!..

Я стараюсь теперь никогда не ходить по Лубянке...

Я избегаю Мясницкую и Милютинский...

Но как-то раз весенней ночью занесло меня на бессмысленную площадь, которую они себе там устроили. И вдруг мне померещился монумент...

Было это тоже довольно давно. Я еще жил в Москве, еще ходил к ним в должность, но шашлычник к этому времени уже подох и лежал в паноптикуме. А резвый его пресмник как раз тогда давал мертвецу знать свое копыто...

И вот той светлой ночью представился мне на этой площади невероятных размеров недостроенный (непре-

менно недостроенный!) обелиск, сложенный из камня и кирпичей, сейчас составляющих их дома. Не только эти — высокие, главные, но и все те незаметные, где они пошли метастазами и по Кузнецкому, и по обсем Лубянкам...

Да, да взорвать бы их все в одну прекрасную ночь — ведь есть же инженеры, есть же такие способы, чтобы дом рухнул, осел, не потревожив даже спящих соседей...

И сложить бы обелиск в память всем сгинувшим со света в этом самом месте...

И пусть он займет всю их площадь...

И не надо никаких надписей, не надо никаких слов...

А вот и первая смерть, первая ласточка...

В душном и грязном городском автобусе три рейса подряд ездил пьяный. Он заснул и никак не мог прийти в себя...

Кондукторше это надоело, и она приказала шоферу ехать в милицию.

Водитель лихо подкатил прямо к «приемному покою», тормознул — пьяный свалился с сиденья и растянулся в проходе...

В автобус вошел наряд.

Милицейские потащили его, применяя популярные способы отрезвления — дергали за волосы, терли ладонями уши...

Приволокли в вытрезвитель, а это был уже мертвец...

Вася Дыль-дыль умер прямо за столом в своем полуразвалившемся доме...

На клеенке валялся граненый стакан, раскинулись руки и буйная головушка...

Геройский орден свисал с лацкана вертикально вниз, и, когда в дом явилась милиция, звезда слегка раскачивалась и крутилась на своем золотом колечке...

Есть, конечно, еще один способ справиться с моим бывшим соседом. Есть тут такая тетя Паша — консержка, она же при лифте, она же убирает лестницу, она же все, решительно все знает о нашей этажерке и ее обитателях... Можно было бы у нее спросить...

Не знаю... У меня какое-то подсознательное предубеждение против всяких о нем расспросов... Мне как будто даже хочется продлить это состояние неопределенности... Наверное, чтобы не натолкнуться на какую-нибудь ужасно пошлую прозу.

Да, тетя Паша, тетя Паша...

Впрочем, по возрасту она мне скорее годится в племянницы, нежели в тетушки.

А кишиневский мой период, по счастью, почти полностью совпал с нэпом... (Но, слава Богу, кончился не так трагически.)

Бог мой, это было похоже на волшебство — в страшном, мертвом оцепеневшем городе вдруг запахло свежим хлебом, в один день открылись булочные, кафе, магазины, покатали лихачи на дурых шинах, из-под земли явилась роскошная контрабанда — ажурные чулки, бритвы жиллетт, духи из Франции, кофий, вина, ликеры, коньяки...

Самым первым, пожалуй, возник из небытия кафе-ресторан «Гротеск» в Столешниковом переулке. Держал его пожилой тучный еврей, официантки у него были очень красивые, да и кухня отличная... «Гротеск» закрывался в двенадцать часов, и частенько оттуда перебирались в ресторан Вольского, тут же за углом, Петровка, 17. В третьем этаже, бывшая огромная барская квартира...

А в тот вечер компанию нашу составляли человек что-то десять или двенадцать... Были и дамы, моя пасынка и наш муж... У Вольского куражились, наверное, часов до четырех, и тут вдруг решили ехать в Петровский

парк, к цыганам... Послали за лихачами, расплатились... Кто-то заметил, что путь далекый — через всю Москву, на санях, и мы стали брать со стола еду на дорогу... Я взял бутылку спирта, подумал и сунул в карман шубы маленькую кофейную чашечку, чтобы было из чего выпивать, пока едем...

Дорогой действительно пили, переговаривались, обгоняли друг друга на сонных улицах и незаметно прикатали в парк..

Долго ломились, стучали в дверь какой-то избы, пока не вышел к нам мужик босиком и с всклокоченной бородой... Отпустили лихачей, толклись на снегу, и наконец мужик снова появился — на этот раз в сапогах и подпоясанный. Прошли за ним в просторную горницу — чисто, лавки, стулья. Вышла заспанная хозяйка, стала собирать на стол...

Хозяин надел армяк и ушел, а мы расселись прямо в шубах, стали выпивать и ждать...

...и вот — одно из чудес моей жизни — чашечка, та самая хрупкая гарднеровская чашечка, которую я тогда прихватил в ресторане Вольского, цела до сих пор. Она много мне послужила в те баснословные года, так и жила в кармане шубы, и через нее проследовал не один литр спирта...

Мне достаточно сейчас подняться и подойти к посудному шкафчику, чтобы достать ее, пыльную, со второй полки... Она зеленоватого, болотного цвета, фарфор очень тонкий, если поглядеть на свет — отдаст даже в голубизну... И мне всегда кажется, что это — голубизна далекого зимнего утра...

...а мы сидели в той избе, на столе — спирт, соленые огурцы, капуста, моченые яблоки, и вдруг издалека откуда-то донеслись гортанные голоса и смех, и аккорды, и скри-

пуше по снегу шаги, приближаются, приближаются, и вот уже вошли цыгане — ввалились с улицы в цветастых шальях, в хромовых сапогах, со своими смуглыми гитарами, с жемчужными улыбками, с золотыми серьгами...

КЛЯЗЬМА ТРОНУЛАСЬ

— Время это так было около четырех часов. В середине апреля. Нет, в конце, Клязьма уж тронулась. Мост, я помню, уже убрали, но еще машины шли. И вот часа в четыре звонят в милицию из больницы. Доставлен председатель Удольского сельпо с ножевыми ранениями в лицо. Преступление есть. Я — старший следователь. Надо ехать. А как ехать, когда Клязьма уж тронулась?.. Мы когда подошли к мосту, с понтона только одна доска метров десять. И вот так она ходит вверх-вниз. Надо идти. Участковый у меня в сапогах, а я в ботинках. Ну, перешли. Там уж лошадь ждет и возчик. Поглядел он и говорит: «Ты в ботинках не пройдешь. Вон участковый в сапогах, он пройдет. Бери, — говорит мне, — лошадь, садись и езжай на Иваниху и Золотуху. А мы, — говорит, — пойдем пешком». Ну, сел я в кошелку, поехал по дороге. Доехал до Иванихи. «Как, — спрашиваю, — мне попасть на Золотуху?» — «Прямо, — говорят, — через озеро». Доехал до озера. А там вода. Лошадь зашла, только седелку вижу да голову. Плывет ли, идет ли — не знаю. Я — назад. Вытащил лошадь. Тут, гляжу, идет почтальон в резиновых сапогах. Я его и спрашиваю: «Где дорога на Золотуху?» Он говорит: «Только, — говорит, — через озеро». Сел он тоже ко мне в кошелку, тронули мы. Но-о, милая... И тут вода в кошелку как хлынет... И мы оба по пояс в ледяной воде. Переплыли мы такто, а уж на той стороне, на гриве, на бугорке три уж лошади ждут. Я все себя снял, выжал одежду, штаны, кальсоны. Сел на другую лошадь, и тут уж мы благополучно доехали в

самое Удолье. И сразу идем в контору сельпо. Там бабы, мужики курят, матерятся. Все ждут советскую власть. И участковый уж там. «Вот, — говорят, — его теперь, сукина сына, накажут». А преступника тут нет. «Он, — говорят, — у любовницы». Пьет. Говорит, все ему нипочем. Говорит, Клязьма тронулась, теперь ни один дурак ко мне не сунется, не приедет. Я, говорит, теперь здесь главенствую. Что хочу, то и сделаю. Пьет, и бутылка у него тама, у любовницы. А я в сельпо и говорю: «Бабы, выручайте, мне штаны надо, кальсоны...» Гляжу, уж все тащат. Штаны и валенки с галошами. Я надел все, а мое они сушить у печки повесили. А мужики тут вокруг сидят пьяные. Матерятся, курят. А мне брюки, кальсоны и валенки надели за первый сорт. Но наручники у нас с собой. Мало ли что он может начудить. Деревня ведь. Ну, как оделся, говорю: «Где он?» А мне бабы говорят: «Вон, через дом. Он тама пьянствует». А сами все боятся. Он им говорит: «Клязьма тронулась, теперь — все! Я вас тут всех!..» Ну, мы тут же с участковым пошли в тот дом. С оружием, конечно. Может ведь оказать сопротивление. Пьяный... Входим в дом, женщина в дверях встречает. «Не ходите, — говорит, — он злой. У него, — говорит, — ножик». Ну, входим мы, а он только нас увидел говорит: «Вота вы. А я вас не ждал.. Клязьма, думаю, тронулась». Никакого сопротивления даже не оказал. Ну, взяли мы его и ножик взяли. На нем и кровь. А так-то он молодец. В одной руке бабу держит, в другой ножик. «Не подходи, я тут главенствую!» А нам никакого сопротивления... Ну, там и матом лают и бабы и мужики. Бабы там — во задница, сиськи во, лапа... Одна, я видел, с мужиком чего-то у них получилось. Он ее матюгами, а она как ему двинет. Так он с крыльца и полетел кубарем. Пьяные ведь тоже все... Ну, привели мы его в сельпо безо всякого сопротивления. Только что матом очень лаялся. «Как это вы? — говорит. — А я ведь вас не ждал». А уж и ночь. Я тут всем говорю: «Идите, — говорю, — спать». А сам сел допрашивать. А он у меня в

углу сидит и матерится. А я ему: «Си-ди!» Он только вскочит, бросится, а я ему: «Си-ди!» Ну, и допрашиваю. А тут сестры его крутятся: «Тише, Леша, тише...» А он: «Я их сейчас!» Ну, я ему тут наручники. Он же пьяный. Говорю: «Си-ди!» Ну, допросили мы его. Люди тут уже поразошлись. А он в наручниках все больше чудит... А тута мужик приходит знакомый. Говорит: «Вы, — говорит, — отдыхать будете?» Я говорю: «Будем. Только по очереди». Я участковому говорю: «Иди, спи до двух часов». А он говорит: «Потить ведь будут». А я ему: «А ты пригубь не больше ста пятидесяти и в два часа будь тута». А этот все чудит. Ну, я взял у него один наручник, а в стене здоровенная скоба, я его — к скобе. «Си-ди тута!» И лавку ему придвинул, хошь — спи. А у них лавки широченные. «Вот, — говорю, — тебе и кушетка Спи, — говорю, — как у тещи в гостях...» Ну, в два часа квартальный мой, Санька, пришел, как штык. И я тоже в этот дом пошел. Там закуска, угощают. Как же, советская власть! Я тяпнул два вот таких-то стаканчика и спать. Наутро прихожу в сельпо. Участковый тама. От стены он преступника уже отстегнул. Протрезвел преступник. Сидит он, башка у него болит. Присмирел. «Вот, — говорит, — вы — псы мировой революции явились». Так-то он нас назвал: псы, говорит, мировой революции. Ну, тут приходят мужики, родственники. Все — кум, брат, сват. «Надо, — говорят, — проводить его в дом. Пусть, — говорят, — закроет все. Чтоб был порядок». Ну, надо идти. Приходим мы к преступнику. У него в доме два стула, стол, лавка и кровать изо всей мебели. Все продал, пропил. На кровати драный матрас, одеяло и подушка. Уж не знаю, какого она и была цвета. Он все пропил. Только оставил, что считал необходимое. И только кошка у него голодная больше ничего. Ну, в дом набилось мужиков, все они с водкой. «Давайте, — говорят, — выпьем. Вы же — советская власть, выпейте, — говорят, — с нами». Пришлось выпить по сто пятьдесят. «Не выпустим, — говорят, — иначе. Мы, — гово-

рят, — сейчас отдыхаем. Время, — говорят, — такое, Клязьма тронулась. Нам ни пахать, ни рыбачить. Не выпустим, и все тут». А потом и говорят: «Можно, — говорят, — ему, преступнику, пятьдесят грамм?» — «Нет, — говорят другие, — надо ему сто. А то у него голова болит». Ну, пришлось разрешить. Выпил он это и тут забегал по дому. А они его схватили. «Си-ди! — говорят. — Харю набьем! Тебя, — говорят, — за дело взяли. Ты, — говорят, — стерва. Мы тебе, — говорят, — дали из-за того, что у тебя, сукина сына, голова болит». И все один мат тама, все с матюжками. «Ну, — я говорю, — нам надо ехать». Мне говорят: «Три уж лошади ждут». Я говорю: «Куда мне три-то?» Говорят: «Надо». Дошли до селпо. Тама три лошади. Первая — кошелка. Для меня, для следователя, чтобы ехал, как урядник. Уже все мое высушили, да бабы выгладили. Ну, оделся я, и ботинки сухие. «Но, — говорят, — уже нельзя озером ехать. Надо ехать только гривами, а там далеко». Сел я в первые сани. Во вторые сани квартальный мой, преступник и возница. В третьи депутат, мужики и сестры его. Депутат на первом месте с возницей рядом. Он ему, преступнику-то, двоюродный. Правит тама всем. «Я, — говорит, — тута хозяин». А всего четыре класса. Деревня. Доехали до Заборочья. Мой возница у магазина стал «Чего, — говорю, — ты?» — «Тех, — говорит, — подождем». Подъехали. «Тут, — говорят, — будем прощаться». Пошли за водкой. Преступник один, как сурок, в сене сидит. И квартальный сзади высится. У меня — никуда. Вытаскивают они водку и прямо в деревне посреди улицы начинают пить. Подносят мне первый стакан. «Выпей, — говорят, — у нас, — говорят, — иначе нельзя». Жареная рыба тут у них откуда-то взялась. Потом участковому моему подносят. Потом сами. Потом говорят: «Можно, — говорят, — ему пятьдесят грамм?» Пришлось разрешить. Он, преступник, выпил, только крякнул. «Братцы, — говорит, — а ведь меня увозят все дальше и дальше. К тюрьме, — говорит, — к Клязьме». А

они ему: «За дело и увозят. Посидишь», — говорят. Ну, опять и поехали все. Подъехали к Клязьме. Мы с квартальным свистим. На той стороне видят, что милиция. А уж лед идет вовсю. Кричим: «Давайте лодку!» Ну, лодка тут плывет, идет между льдинами. А они все, мужики, его тут целуют. «Прощай, — говорят, — сиди». — «Лет ведь пять тебе дадут». — «И за дело». — «Прощай, — говорят, — Лешка». Ну, тут лодка подплыла. Сели мы: преступник, квартальный и я. Тут я все-таки на него наручники надел. А то — что у него в голове? Сиганет он с лодки. Ему — чего. Я ему говорю: «Си-ди! То-то!» А то ведь он в ледяную воду прыгнет. А лодка идет, качается. Льдины кругом. Тронулась Клязьма-то. Ну, кое-как доплыли мы до берега. А тама будка. Я в милицию позвонил, и тут же нам машину прислали... И здесь уж он прямехонько в тюрьму... И вот сколько это времени прошло? Значит, вроде день один. Сутки. Точно — сутки...

август 1970

Ага! Опять — красные портьеры...

Нет, тюрьма определенно гипнотизирует, тянет его...

Кабы беды не было...

А может, это и к лучшему?

Тюрьма — известная русская Ипокрена.

Бог мой, не всегда же я был таким медведем, не всегда сосал лапу в своей берлоге... Нет, были когда-то и мы рысачами, и мы бегали, носились по всей Москве... Пожалуй, любил я только Моцарта, консерваторию, концерты... Оперу, балет — гораздо меньше. А к драматическим театрам, как ни старался себя приучить, всегда испытывал непреодолимое отвращение.

Дама моя, будущая салодержательница, частенько таскала меня в Камергерский, и я честно там скушал це-

лыми вечерами. Особенно удручающе на меня действовали пьесы Чехова. Я их все видел на сцене и читал, наверное, по нескольку раз, но так ничего и не помню — кто Астров, кто Раневская, кто Шкап, кто Вершинин... Все в голове перепуталось. Помню только его любимый драматический эффект, в последнем акте там непременно кто-то самоубивается за сценой — не то какая-то птица, не то какой-то доктор медицины..

Я теперь почти ничего не читаю.

Книги мои лежат до сих пор нераспакованные — с самого переезда, как я укладывал их еще в Москве — в картонных ящиках из-под макарон и сливочного масла. Теперь они составляют унылую кучу в углу комнаты и, как видно, пребудут в незавидном этом состоянии до того самого дня, когда племянницы мои две и, естественно, наследницы — заезжанные, уже немолодые советские мымыры с опущенными животами, когда они, бедняжки, ринутся сюда прямо из крематория и начнут метаться между посудным шкафчиком и этим углом, между Кузнецовым, Гарднером и Сытинным, Сойкиным, Марксом (не Карлой, не Карлой) — и метание это составит для них несколько часов живейшего наслаждения.

На поверхности у меня очень мало томов. Пушкин, Баратынский, Гоголь, Тютчев, кое-что из Бунина и Достоевский — тот самый полный марксовский, что сидел со мною в Бутырьках. (Толстого не выношу. Старый папиан — избрал себе ампула проповедника.)

Достоевского чаще всего листаю. Бесов, Подпольного человека... И это уже получается не чтение — я почти все те места наизусть знаю — это уже род какого-то мазохистского растравления собственных язв, чему не подберу сейчас точного наименования..

Заносит меня временами и в Дневник писателя... Тут уж я то взвизгиваю от восторга, то готов разодрать кни-

гу в клочки, затолкать ее в диван, туды ее, туды, ему в подкладку...

Что за тупость! И на одной странице с такими озарениями...

Как это в одной голове, в умной голове уживается Христос с империализмом?..

Эх, разбудить бы его сейчас, этого полупровидца, поглядел бы он, великий путаник, как бесы, те самые бесы, выхватили ловко у него самого его же бредовые идеи.. Поглядел бы он на нынешнее всеславянское братство, на Прагу да на Варшаву, на то, какого рода мессианская идея гоняет по всем четырём океанам армады бронированных страшилищ с русским экипажем на борту...

Христос и империализм?

Да не то что бы Он и империализм были совместимы, но и Христос и патриотизм и то — глупость, чудовищная несообразность — несть эллин и иудей!

Я не много в моей жизни читал Евангелие, оно и сейчас у меня пылится где-то в ящике из-под макарон, но кое-что я все-таки усвоил. Христос родился и прожил жизнь в стране, поработанной римлянами. Он был распят legionерами, но ни разу слова не сказал, пальцем не шевельнул, чтобы переменить такое положение... (Хотя, кажется, эти еврейчики только того от Него и ждали.) А Он велит им исправно платить подать ненавистному кесарю...

Вот тебе и патриотизм! Вот тебе и национально-освободительное движение малых наций!

Ума не приложу, как эти, наши, ухитрились в свое время пристегнуть Христа к своему квасу?..

Эх, поговорить бы об этом с умным человеком...

Только негде мне такого собеседника взять... Не с соседним же сосунком мне обсуждать эти материи. (Да и он, вот видишь, куда-то запропастился.)

Нет, мне нужен из них кто-нибудь самый главный и бесспорно честный... Сергия бы Радонежского об этом спросить, вот кого...

А на меньшее — я не согласен.

ОТЕЦ МИХАИЛ

— Ну, чего глядишь? Чего смотришь?.. Тут ведь церква была, острожная церква. А теперь тут милиция, вон участковые сидят. Она, церква, без колокольни так и была, вроде как без главы... Так-то колокола висели, а главы-то не было, и паперть под ней... А внутри она, так-то небольшая церква, вся без колонн, целиковая. Один Алтарь. И священник тут один — отец Михаил. Старый был старый, а прозорливый... Вот и слушай, слушай, коль охота... Тогда еще была русско-немецкая первая империалистическая война. Аккурат в половине сентября пятнадцатого года. И вот пятнадцатого-то сентября поступил тогда манифест-то от императора, от Николая... Дескать, Божью милостью, Мы, Николай Второй, Царь Польский, Царь Астраханский объявляем всем нашим верноподданным, дескать, коварный враг Германия напала на Советский Союз. ...то есть тогда еще на Россию, а поэтому, дескать... Не помню уж, как тут высказаться... Приказываю мобилизовать всех ратников второго ополчения... А я-то аккурат был ратник второго ополчения. Значит, и мне приходится служить. И было мне в то время тридцать два года, в шестнадцатом-то уж году... Двадцать шестого числа марта месяца мы и приехали с женой сюда, в город. Ночевали тогда в постоялом дворе. Двор Березина — на самом базаре. Аккурат угольный-то дом. Ну, по тому времени, конечно, постоялый двор. Кроме ночлегу наверху у него была чайная... В шесть часов утра у него был подъем, а полседьмого можно уж идти наверх, чай пить в чайную... Отпивши чаю в семь часов,

пришлось нам с женой идти в военное присутствие, где принимают... Ну, вот, придя туда, узнаем, что приемка у них начинается в девять часов. Ну, чего делать?... И вот в свободное-то время зашли мы с женой аккурат в эту церкву. В острожную церкву. И служил тут священник, старик лет восьмидесяти, как не больше... Отец Михаил...

Молилось тут женщин-старушек человек вроде того двадцать-двадцать пять. Ну, служба кончилась, начал этот священник давать Крест. Выждал я, как приложатся все старушки, и так-то последним подошел и я ко Кресту. А жена сзади, за мной... Приложился и говорю ему: «Батюшка, благословите послужить на службу...» И вот, несмотря на его старость, после моих этих слов он вроде как выпрямился и взглянул на меня таким прозорливым взором, что я не мог устоять на этом месте. Пришлось сдать шаг назад. И вот он, священник, сделав крест, поднял руку и говорит: «Благословляю, Федорушка, послужи, послужи... Ведь тебя Федором звать-то?» Которого я не видал сроду, а он называет меня по имени, Федором... Ни я его, ни он меня сроду не видались, не знались... «Надо, надо, — говорит, — постоять за Веру, Царя, Отечество. Благословляю, благословляю! Ведь война пройдет недолго, недолго. Конец ей близок, близок. Вы уж были там, вон сколько там народу-то... И все идут, все идут...» Это — в присутствие-то. Вроде он с нами не был, а как будто там и был. Потом подходит под благословение жена. Со слезами на глазах. Он благословил и говорит: «Не плачь, не плачь, молодуха, Бог милостив...» «Батюшка, — говорит, — у меня больно детей-то много. Свекор параличной, свекровь-старуха семьдесят лет. С кем я буду работать? Все мал мала меньше... Старшей семь лет, а их пятеро...» — «Бог милостив, — говорит, — Бог милостив. Все сработается, все сработается это...» И опять повторил: «Войне-то конец близок, близок». Жена и говорит: «Батюшка, уж как на войну-то угонят, за день человека могут убить али искалечить. Может, придет калекой?...» Опять по-

вторяет: «Бог милостив. Его на войну-то не пошлют. Он будет служить на окраине большо-ого города. Вот только сначала-то подольше, а потом частые, частые будут свидания». Тут он, отец Михаил, поднял вторично руку и благословил второй раз. И тогда уж я с полной надеждой вышел из церкви, от него. В душе уж был уверен я. С какой-то особой надеждой. По первости-то тогда угнали нас в Орел. Учился я там, в Орле, два месяца. А потом по особым спискам всех, кто что может работать, вызвали в Москву. Я как медник, паяльщик по профессии, служил на Преображенской заставе в Москве. Во второй запасной автомобильной роте... Аккурат на окраине большо-ого города. Все так оно и вышло. А на второй-то год уж и свидания, они у нас частые пошли. Через воскресенье. На пятичасовой поезд, на вокзал, и в ночь уж я дома... А служил на Преображенской заставе, до вокзала мне чего тут?... Да... Ну, возвратился я тридцатого апреля домой, это уж в восемнадцатом году. Побывал тогда у отца Михаила, поблагодарил его за прозорливость... И был я ему знаком до двадцать восьмого года. До его смерти в аккурат. Уж церкву-то эту нарушили, он там наверху, в Яропольи служил, у Троицы. И на дому я был у него не раз. Вот тут прям на горе домишко, по левой руке... Окошка четыре в улицу-то. Раз десять ли, двенадцать был у него. Жена тоже ездила, и жену, покойницу, он принимал. До двадцать восьмого года. Но уж он напутствовал, лежал. Не вставал. Уж не принимал которых... Вот, помню, в двадцатом году. Неурожайно у нас было тут, и пришлось нам ездить за хлебом в разные губернии. В Нижегородскую. Туда, как поехали, я еще не заходил к нему. А было нас два компаньона, был еще сосед. На обратном пути, когда мы ехали из-под Арзамасу, где мы меняли иконки на хлеб, я зашел к нему, к отцу Михаилу... Ну, посоветоваться, навестить просто. Поговорили мы с ним так с полчаса. А на прощанье он мне и говорит: «Товарищ твой вторично поедет за хлебом туда же. А уж ты с ним не езд, не езд.

Советую: не ездй». Даже по плечу похлопал «Я уж прошу тебя Федорушка, не ездй. А то получится нехорошо... Как бы смертельно не получилось... Он съездит, а ты не съездишь. Вот запомни, так я советую». Ну, прошло время, товарищ-то уехал, а я остался. Сдержал свое слово, обещанное ему. Сосед вернулся, да и говорит. Наменял он это хлеб и поехал домой. Так вот утром... ну да, утром, догоняют трое на санях. Ну, комиссар что ли... Заставляют воротиться, ссыпать хлеб. А ему было лет шестьдесят пять ли, шестьдесят семь... Он стал просить, в ногах валяться у комиссаров-то этих. Семья, говорит, у меня очень большая, хлеба не хватает, приходится вот ездить... В ногах валялся и все ж упросил. Отпустили они его с хлебом. «Черт с тобой, — говорят, — старый пес! Больше не ездй!» Вот и говорит он мне: «Ладно, — говорит, — что ты-то со мной не поехал, послушался отца Михаила». А то ведь наставляли ему револьвер в ухо, хотели застрелить... Все-таки умолил, упросил. Старый ведь. А я-то был молодой, мог поспориться.. Так вот и пронесло. А кроме того, мне тогда он, отец Михаил, сказал: «Ты еще съездишь, съездишь... Не один раз еще съездишь». И вот в дальнейшем в январе два раза съездил я в Тамбовскую губернию, и третий раз съездил в Тамбовскую, уж в феврале... И жена моя покойница к нему ходила. И ее он принимал. Вот пропала у тестя лошадь. Кто-то увели ее. На площади гуляла она, на веревке привязана. Веревку пополам разрезал эту вор. Сколько ему надо было, этой веревки отрезал и увел эту лошадь. Тесть приходит за ней, убирать, а ее уж там и нет. Ну, вот дочь его, моя-то жена, ходила с матерью к нему, к отцу Михаилу. Спросить: как поступить? Где ее взять? Искать-то где?.. Он им и говорит, отец Михаил: «Да, случай нехороший, нехороший случай... Ну, Бог с ним, не разбогатеет и он. Нет, уж она назад, лошадь, не воротится. У вас пока есть лошаденка молоденькая, на ней и сработаете». И кто ему сказал, что другая-то лошадь есть? А у них была лошаденка. Дер-

жали они два года лошаденку. Ей уж третий год пошел.. И откуда он узнал? Как колдун... «А уж ты не воротите, он уж передал ее на другие руки. Не воротите. Вот на молоденькой-то и сработаете потихоньку, сработаете». И еще раз потом жена с тещей ездили. Случай вот какой. Это уж в двадцать седьмом или в двадцать шестом, не знаю. Я тебе так расскажу. У жены-то была сестра выдана на Кавказ. Она хоть за здешнего, а они на Кавказе торговали. И вот с двадцать пятого года, когда начали прижимать торговцев-то, во время нэпа, вот мне свояк и пишет: «Начинают обкладывать». Пишет: «Посоветуйтесь, сходите к отцу Михаилу. Куда нам деваться? Что делать?..» Вот они тоже ходили. Обсказывали, вот, дескать, так-то и так-то. А он, отец Михаил, говорит: «Да-да, торговцы будут призрены. Всех торговцев разорят, а может, которые и пострадают». И посоветовал: «Пусть соберутся и ночью уедут. Пусть возьмут, что только могут, и уедут. А то разорят, разорят». Ну, мы им и написали. Получили они письмо... Да еще никто не согласился везти. Забрали они кой-чего в узлах. Серебра было много. Тогда целую меру рублей — они тяжелые — так и закопали в подполье. Дом тоже бросили, оставили. Только одежонку получше, поценнее. Так что сами-то убереглись. Ну, золотишко привезли, понятно. Захватили золото. А вот серебро-то не могли взять. Тяжело... А то жена ездила вот с соседкой. Тоже в марте месяце, в конце марта. Вода была... На третий день Благовещенья. Это было в двадцать... наверно... первом или в двадцать втором году, пожалуй что... Вот. У этой молодушки, вот у соседки-то... Она еще была молодая. Муж был в плену в Германии. В первую-то войну. И вот ее, конечно, сватали ее. Уж она хотела выйти, два года вестей-то не было. Она уж хотела замуж... Вот и поехала с женой-то моей. Мою-то жену он принимал... Посоветоваться, выходить ли замуж... А он, отец Михаил, и говорит: «Не думай, не думай!» — «Так ведь, батюшка, два года нет от мужа вести никакой». — «Ну и

что поделаешь, что два года? Погоди с месяцок — будет и весть, будет. А еще пождешь месяц, так и сам придет тогда, сам придет». Ну, и весть-то получилась как. Был с ним в плену горьковский, нижегородской губернии солдат. А адреса-то они знали друг-дружки. Вместе были в плену. Вот когда их там из Германии отпустили, из плена-то, нижегородский-то приехал домой, да и пишет ему: «Петр Иваныч, — пишет, — поздравляю вас с приездом из плену...» А его-то и дома еще нет, а уж тот приехал. Сюда поздравляет, а еще тут не получили ничего. Вот это и первая весть. Аккурат в самую Троицу он и сам пришел. Ну, Троица-то уж в июне была... А ездили они на Вербной неделе во вторник. У меня у старшей-то дочки была скоротечная чахотка. Жена тогда и говорит: «Вы, батюшка, помолитесь, дочка вот у меня хворает». А он, отец Михаил, говорит: «Знаю, знаю, я молюсь, молюсь... Но только уж она не выздоровеет. Невеста будет Христова. Но я помолюсь, помолюсь». И вот ден через десять она померла... Да... Старый был, старый старик, худощавый, высокого роста. В двадцать восьмом году ему уж лет девяносто было, когда помер-то. И похоронили его на старом кладбище перед Алтарем Покровской церкви. Все я хотел побывать на могиле-то, поклониться ему, отцу Михаилу, да так и не пришлось. Теперь-то уж и могилу там не найдешь, все нарушили... Вот так Бог и не привел побывать. Последний-то раз ходил я к нему в двадцать пятом году. Тоже посоветоваться. Вот задаю ему вопрос. «Я, батюшка, раньше по церквам работал, все больше на Урале. (А еще в те годы церкви-то не нарушены еще были.) Вот, думаю, опять сходить поработать туда же...» А он, отец Михаил, говорит: «Да, надо сходить, надо. А как тебя там поминают, как тебя там ждут. Сходи, сходи, Федорушка, благословляю, сходи». А потом и говорит: «А только ты туда не дойдешь. Ты будешь здесь работать, поблизости, поблизости». Вот я три года тут и работал — в Пестяках, да в Ландихе, да в Ивановской области... А тут, как церкви

нарушать стали, я так-то его и спрашиваю: «Отец Михаил, это что же — вере нашей конец?» — «Нет, — говорит, — Федорушка, нет... Вера православная не пройдет... Останется вера.. Только мало будет верующих, мало...» Вон там, на горе, его-то домик, отца Михаила.. Старушка у него в доме жила. Может, и еще кто жил, а в кухне одна только старушка была. Придешь к нему днем, поднимешься... «Отец Михаил дома?» — «Дома, — говорит. — Я вот пойду скажу...» Пойдет старушка, скажет. Вот выйдет он в кухню. Поздороваешься, под благословение подойдешь. Он каждый раз тебя благословит. Это каждый раз бывает. Войдет. У него скамеечка. Так вот сам возьмет скамеечку. «Ну, давай, Федорушка, посидим, посидим...» На этой скамеечке посидишь с ним, с отцом Михаилом, поговоришь. «Ну, Федорушка, расскажи в чем дело? Как живете?» Все спросит. Я раз ему говорю: «Я вас, отец Михаил, считаю за прозорливого». — «Нет, Федорушка, не считай, не считай. Ко мне кто с открытой душой, я тем всю правду скажу, всю правду. А то ведь ко мне несколько раз на дню идут — кто с чем... И испытывать приходят, приходят. Вот тут давеча собираются ко мне идти, а сами между собою говорят: пойдём, дескать, со стариком поболтаем. Ведь все меня пытаются, все пытаются. Чего же я им скажу? Какую я им правду скажу, когда они меня пытаются, пытаются?.. Сели тут, я велел им ведро воды принести да палку. Поболтайте воду в ведре, говорю, поболтайте. Они глянули — да бегом... Чего я им скажу, когда они: пойдём, говорят, со стариком поболтаем. А я им вынес ведро да палку дал. Поболтайте, говорю, поболтайте».

март 1971

Причина, по которой я никогда, ни на один момент не мог бы предаться большевикам, в сущности, одна-единственная — я атеист. Меня не может устроить никакой символ веры... А уж тем паче невозможно было мне пове-

рять в их Вавилонскую башню, которую они к тому же строят так безалаберно и бестолково.

И самое, пожалуй, в них поразительное, что при такой патологической ненависти к Христианству они инстинктивно (от зависти, что ли?) его так по-обезьянски копируют.

Маркс у них, без сомнения, Моисей.

Энгельс — Аарон.

Юлианов — Мессия.

А Джугашвили, по всей видимости, апостол Петр.

И эта слепая вера в соборность, и эти бесконечные расколы, эти ереси и ересиархи, и эти широковецательные анафемы на грани площадной ругани...

И потом эти мощи под Кремлевскую стеною...

Тождества эти настолько нешуточные, что я некоторое время тому всерьез опасался, как бы китайцы в один прекрасный день не хлынули бы отвоевывать гроб господен в Москве, на Красной площади,

Христианство — старый, старейший, самый солидный банк, чья контора должна располагаться непременно в Лондонском сити, в громадном особняке викторианской архитектуры, дивиденды вполне гарантированы..

Пожалуйста, вкладывайте ваши души!

Ну, марксизм — это так, банчишко, всегда на грани банкротства, дивиденды нетвердые, все пахнет каким-то шулерством, лопнет, не лопнет, но в любую минуту объявит себя несостоятельным, и ни копейки с него не получишь...

А мне не подходит — ни то, ни другое...

У меня, простите, кубышка... Я душу дома, при себе держу.

Нет, конечно же, Православие, да и вообще Христианство, меня бы никак не устроило. Еще какой-нибудь капризный Ветхозаветный Иегова, выбирающий себе фаворитов...

А тут — эта необходимость братаний, эти объятия с сопливými нищими, эти лобзания с шершавыми антисептическими старухами.

Нет, благодарю покорно!

А ВОТ У НАС В ЯЛТЕ...

**В ЦАРСТВОВАНИИ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II-го
ЗАЛОЖЕНО ЗДАНИЕ
ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 1903-го г. 3-го ИЮЛЯ
ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ УПРАВЫ
П. А. НЕРОНОВЕ И ЧЛЕНАХ
И. Г. ПРОШЕНКОВЕ и Б. А. ШУМИЛОВЕ
ОКОНЧЕНО В ОКТЯБРЕ 1905 г. ПРИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ УПРАВЫ А. П. НИКИТИНЕ
ШУМИЛОВЕ, ПРОШЕНКОВЕ И ПРИ
УЧАСТИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
П. А. НЕРОНОВЕ, С. И. СЕНЬКОВЕ,
Н. И. ЮШКОВЕ, А. В. ДЕМИДОВЕ
ПО ПРОЭКТУ И ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
АРХИТЕКТОРА С. К. РОДИОНОВА.**

— Ты чего тут читаешь-смотришь? К кому пришел? С какого отделения? А то давай, я позову... Ну, как хочешь... Слушай, друг, будь другом, сходи за бутылкой... Тут рядом, сука, два шага... Мне в халате нельзя, мент прихватит, курва... Держи. Два рубля, падла, и рупь семьдесят мелочью... Ты не сомневайся, все точно... Постой, погоди! У тебя котел есть? На твоих сколько? Двадцать минут? Х... на могилу!

Рано еще... Тут продавцы все суки, падалы до одиннадцати ни за что не продаст, такие вонючие, курвы... Башка трещит — не могу... Вчера пять стаканов зах...: буль, буль, буль, буль — нештяк! К Мирке, к медсестре, курва, прихожу, а у нее спирт йодом разбавлен, чтобы, сука, не пили... «Налей стакан». Она смеется, падала, наливает: «Не выпьешь». Я ей: «Дай, курва, порошок аскорбинки — кисленький, закусить». — «Бери». Высыпаю в стакан, весь йод, падала, на дно, я: буль, буль, буль, буль — нештяк! Она, сука, полтинники выкатила... Еще тридцать минут ждать... Поносный город, падала, водки с утра не купишь... А вот у нас в Ялте, курва, директор магазина Нинка была — когда хочешь бери, только, падала, плати... Помню, ее судили, смеху было... У нее мать, сука, померла и ей трехкомнатную квартиру оставила, а милиция, падала, хотела квартиру у нее оттягать... А ничего не сделаешь, курва, завещание... Ну, участковый на нее: «Ты проститутка!» Она на суде их понесла: «Ты, сука, видел, чтоб я деньги брала?» — «К тебе каждый день новый ходит». — «А твое какое дело? Я встречаюсь с отдыхающим, он меня удовлетворяет, а вам, б...м, завидно?» И матом их... «Я с вами, с местными, дела не имею, вы тут все бухарики!» И понесла, и понесла.. Ну, пятнадцать суток ей судья дал, и х... на могилу, квартира так ей и осталась... Или моя теща, курва, хотела меня выписать... У самой, сука, двенадцать комнат, а прописаны только она, Томка-жена, дочка и я... Она, падала, только сунулась туда: «Хочу его выписать». А они ей говорят: «Не суйся, а то он у тебя три комнаты оттягает...» Семь лет я там жил, сука, пока они, курва, меня не заложили... Вот где — жизни! Это тут городишка, падала, паршивый... Там — кто в магазине, кто в санатории, кто — на винзаводе, все комнаты сдают... Там деньги не считают. Червонец — червонец летит, сотня — сотня... Там я из дома не выходил, чтобы у меня сто рублей в кармане не было... Помню, идем я и Игорек Пятак... Ему, сука, потом расстрел дали... Сем-

надцать лет парню — два метра роста, кулак с твою голову... Он тогда таксиста, курва, на смерть, кулаком ему зах...л — нештяк! А как получилось?... Таксист этот жену бросил Молодая, падла, баба, дет двадцать семь ей, с другой снюхался... Ну, а той, сука, обидно, — таксист! Они знаешь, как в Ялте имеют?... Ну, она к Игорььку, курва: «Пойдем со мной в ресторан посидим...» Ну, х... ли, парню семнадцать лет: «Пойдем». Приходят... А она, падла, знала, что там муж ее гуляет с другой бабой... Ну, сидят они, она глядела, глядела на мужа и говорит Игорььку: «Если дашь ему сегодня в рожу, завтра я опять тебя в ресторан поведу». Ну, х... ли, парню семнадцать лет... После кабака он за ним, сука, идет — таксист бабу уже проводил... Он сзади подходит: «Коля!» — «А?» — тот поворачивается, а Игорек ему х...к — в рожу! Два, курва, шейных позвонка сломал — нештяк! И Коля лежит с одного удара. И ничего у него никто не тронул, Эдик только, жиденок такой маленький, после уже котел золотой — часы у него снял... Ну, месяц прошел, полтора, падла, кто убил — неизвестно... Похоронили его, Иван Иванович, директор таксопарка, хоронил, таксисты все... И тут Эдик идет играть... Проигрывает все деньги Валентину, сука, и говорит: «Золотой котел за сколько дойдет?» Валька, курва, говорит: «Полста». Эдик ему: «Мало». — «Больше не дам...» Х... на могилу, проигрывает и эти полста... Идет, сука, домой, берет, падла, котел и отдает, курва, Вальке... И, м...к, не сказал, что котел этот темный... Валентин, курва, надевает этот котел и ходит... Ну, тут как-то бухарили, он попадает в милицию. Они там видят у него этот котел, номер — «Ага! Где взял?» — «Мой», — говорит. «Ах, твой?» — и х...к, шьют ему убийство... А тут таксисты узнают, что котел этот, сука, нашелся. Приезжают к милиции, запрудили всю улицу, на работу не едут: «Отдайте его нам!» Начальник выходит: «Тихо, — говорит, — еще ничего неизвестно...» Ну, Валентин видит такое дело, падла, шьют ему убийство... «Я этот котел выиграл». — «У кого?» — «У Эди-

ка». Жиденка, сука, раз!.. Ну, он крутился, крутился, х...к — дали ему там как следует, подвели м...е к бороде... «Мой котел, — курва, раскололся: — Это я его убил». Ну, милиция: «Кончай, м...у-то смешить». Жиденок, сука, метр пятьдесят роста, а там два позвонка сломаны, в протоколе записано тупым орудием... Ну, он опять колется: «Это — Игорек Пятак...» Ну, а у нас в Ялте, сука, все на виду... Садятся мусора в машину... «Куда едете?» — «Пятака брать...» Подъезжают они, курва, к дому, а там уже таксисты стоят... А Пятак, сука, стоит в дверях с топором... Х...е, падла, делать? Один таксист говорит: «Я сейчас съезжу домой, привезу, курва, ружье, застрелю его...» Так мусора, падла, войска с Ай-Петри вызывали... Потом уже милиция кольцом его окружила, и так вели... Таксисты же по милиции стрелять не будут... А брат старший у него Мишка Пятак, сука, им с Андрюшей по восемь лет дали... Они, курва, капитана одного КГБ расх...или, удостоверение у него, пушку забрали... У него-то вообще маршрут был Ростов — Ялта, потом на теплоходе в Сухуми, он по своим делам ехал... Но кегебешник есть кегебешник... Идет он, падла, по набережной и слышит, ребята двое набухарились и про валюту, про то... Ну, он, сука, подваливает: «Где бы тут выпить?» Они его в Южный. Ну, зах...или еще бутылку на троих — нештяк! Выходят, подводят они его, курва, к кусту — тут, прямо у порта, и тут Андрюша, падла, ему х...нул.. А он стоит сука, на ногах устоял... Хотел он Андрюше зах...ить, а Миша Пятак, два метра роста, — ему в челюсть. Он с копыт и отключился... Потом на суде, курва, говорит: «Только хотел применить прием самбо к Андрею Переливченко, как Михаил Пятаков применил ко мне неизвестный прием каратэ, и я потерял сознание...» А какой там, падла, прием? Просто зах...ил ему кулаком — нештяк! Игорек, Мишка Пятак — ребята, курва, были... У них отец после Котовского первый совершил побег из Симферопольской тюрьмы... Они с двоюродным братом тогда, сука, после

войны приходят в Ялте в церковь. Хвать этого попа, курва, за шкирку — в туалет и раз его туда головой: «Где у вас тут золото?» Он молчит. Они его еще раз... Ну, он, падла, сказал им, где золото, а они его все равно там утопили, сука.. Их берут, обоим расстрел — нештяк! А там в Симферополе в тюрьме студебеккер стоял, мотор у него заведенный. Пятак конвойного головой, вскочил в кабину — х...к! — ворота сбил — конвой только полтинники выкатил.. Двенадцать лет его не могли найти. Потом нашли в Ленинграде под фамилией Черный, директор треста ресторанов.. Вот у нас в Ялте кабаки — Южный, сука, Ореанда, падла, Украина, курва, иди, куда хочешь... В Южном скрипач у нас был, мадьяр Додик. Его, сука, приезжали слушать с Одессы, с Москвы, с Киева.. Он золото слишком любил.. Ну а ребята решили его проверить. Есть у него золото?.. Прибегают к нему, курва, вечером в Южный, во время игры: «Дод Иваныч, дом горит!» Он все бросает, бежать... И на подороге, х...к, инфаркт, помирает... И во время похорон его обчистили, падла. Жена, дети на кладбище, а тут среди гостей зашли два черта.. Так в костюмах, все чин чинарем.. А родня тут на кухне закуску готовит, сука.. И готово дело — нештяк!.. Ты чего на меня смотришь?.. Ты, друг, не бзди, я не заразный.. Экзема, она, падла, не передается.. А мазь эта, на ушах — итальянская кастеляни.. Ты не бзди... Я тут три дня назад ночью, сука, в окно — и к двоюродной жене!. Дочка у нее уже спит, бутылку поставила, я один стакан — буль, буль, буль, буль, второй — буль, буль, буль, буль — нештяк! Назад надо, в палату, а тут м...а горячая — куда тут, остался на всю ночь. Ночью вспотел, утром просыпаемся, обе подушки красные от мази! Утром проскочил в палату, переоделся — нештяк!.. Х...е тут за больница — две экземы, три псориаза.. Вот я в Москве лежал на Пироговке — там больница.. Сифилитики прямо с нами в одной палате, курва, лежат. Они только первые два дня опасные, их в изоляторе, сука, держат.. А как первые уколы им,

падла, сделали — все, в палату зах...ивают. Я одного спрашиваю: «Ты как поймал?» — «А вот ехал я в троллейбусе...» Другого — «Еду я в электричке...» Третий: «Ехал в трамвае...» Там, на Пироговке, сука, что хочешь... Рыбья болезнь, слышал? Все тело у него покрыто чешуей, как вроде, падла, у окуня... Вот у нас в Ялте если только вот такая машина с полосой, с красным крестом едет, ну все, точно: за трипперным поехали... Или за трипперной... Или за сифоном... Мне в Ялте чем нравилось. Там, сука, веранда, танцы... Ты подходи к любой бабе, танцуй, даже веди ее пороть... Пусть она мне будет жена, я тебе ничего не скажу. Уговорил — все! Иди, пори ее, курва... Там за бабу драться — самое последнее дело считается... И баб там не трогают, даже не обзывают... Будь она какая хочешь б..., ей никто не скажет... Я помню, одной б... — «Ах ты, говорю, б...!» Лучший друг меня в сторону отводит — у нас в Ялте, падла, на каждом углу дерево или киоск — отводит меня, сука, в сторону, как зах...ит мне... Не в рожу, по корпусу... «Понял, — говорит, — за что?» — «Нет». Он еще раз — х...к! «Понял?» — «Нет». Еще раз... «Ну, понял? Никогда, курва, так не говори. Вот залетишь, увидишь. Друзья к тебе не придут, а б...и придут...» И точно, когда, падла, я под следствием сидел, жена, сука, ни разу не пришла. А б... ходили... Водку мне, курва, передавали... Не знаю, чем с мусорами расплачивались... И на суде. Одна мне мигает: «Выйди в уборную». Я перед приговором у конвойного отпросился. Смотрю, там в бачке бутылка.. Буль, буль, буль, буль — нештjak!. И вот я сам баб, я в жизни, курва, не бил... Только один раз... Молодая, падла, была, с мужем развелась, гуляла. Симпотная баба, ну, я ее пород... Раз, два... Потом спрашиваю: «А ты чего, падла, с мужем не живешь?» — «А он, — говорит, — у меня полтора года

..... Ну я, курва, как представил себе это... Как ей, падла, зах...л.. А так идешь с ней в Ялте по базару, грузины языком цокают — ца, ца, ца.. Им там не дает никто, местные с ними не вяжутся, отдыхающие тоже... Он тебе за бабу сто пятьдесят заплатит и еще в кабак сведет... Им главное, чтобы у бабы попа была большая. Уважаю их — коммерсанты. Умеют деньги делать... У них эта спекуляция прямо в крови... И в карты они играют. Их там всех Алик Осетин делал. Они его и пришили, восемьдесят тысяч новых он у них выиграл. И кто убил — неизвестно... Знали, сука, только что на игру пошел.. И восемьдесят тысяч, курва, не тронули, так у него и нашли... Это не Ялта, а золотое дно. Или там поезда, падла, с вином гоняют. Он, сука, за один рейс двадцать-тридцать тысяч имеет. Я с ним, курва, один раз ездил. Во Владивосток... Х...е, у него такой шприц — на пять литров и игла длинная, как долото. Он цистерны не берет — на х... нужно — только бочки. Состав запломбированный, ключи все у него... И пустые бочки у него едут. И вот он начинает... Подходит, падла, к бочке, чуть собьет с нее обруч и туда зах...ивает этот шприц. Пять литров х...к — раз, пять литров х...к — два, пять литров х...к — три, и в ведро сливает. А в эту бочку он пятнадцать литров воды, даже не кипяченой... И мыло у него есть, и горчица. Он мыло с горчицей смешает, залепит эту дырку, обруч на место, и она, падла, не течет... И так он по всем вагонам к каждой бочке... А на станциях он не торопится. Сутки состав стоит, это ему хоть бы х... Он меня оставляет, а сам на базар. Машины приходят, х...к — десять бочек, х...к — двадцать... Оно там по рупь семьдесят, а он его им по рупь двадцать... Едем дальше... До Владивостока двадцать суток... А туда он приезжает, там шерсть эта японская — кишки, какие тебе хочешь. Он тройку чемоданов набивает этой шерсти, билет на самолет — и дома. И он таких два рейса в год, сука, больше ему не надо... Пусть он там плохой работник, курва, считается... Он говорит: «Я не хочу

зарываться...» В Ялте там в филармонии контрабасистам этим, ударникам, сука, носильщик полагается... Мне Костя-ударник говорит: «Чечен, поедем со мной на два месяца в Среднюю Азию. Девяносто рублей зарплата, гостиница, падала, командировочные, курва...» Ну, узнал я, сука, какие города — нештjak!.. Два месяца с ним, курва... Х...е, я там и не таскал Там приедут, падала, с аула на лошади, отвезут его бандуру... Двенадцать килограмм анаши, сука, плана привез оттуда Там она сто-сто двадцать рублей килограмм, а у нас в Ялте — тыщу... Х...е, рупь — баш, а в нем грамм... На два косяка... Но я ее оптом, по семьсот рублей зах...ил... Пусть женят, что хотят... А вот морфушка, сука, морфий кристаллический — восемьдесят рублей, курва, грамм... Вот бы его падала, зах...ть... А план, х...е, я его сам курил. Под этим делом, сука, в техникум запросто сдал, только он, курва, мозги сушит, через месяц — х...к — меня выгнали... Так и в дурдом попадешь, падала... Нет, водочка лучше, стакан зах...л — буль, буль, буль, буль — нештjak!.. У нас тут один, курва, лежит, его жена в дурдом сдала. Он, сука, месяц бухарил, она его, падала, и сдала.. Ну, он рассказывает, там и психи... Полтора месяца там лежал и ни разу в домино не выиграл... Почти целый день с ними, курва, играл и ни разу не выиграл... А здесь х...е за больница? Сестры все суки, падалы, Мирка, Танька от мужей гуляют... Кормят, курва, дерьмом, повар, падала, домой сумками таскает... Х...е, я это дело знаю, у меня Томка-жена в Ялте, курва, шеф-повар была в санатории Крымская Здравница... Я и понятия не имел, как это в магазин ходить... Только что за хлебом, а так все дома есть... Я, сука, вчера звоню двоюродной жене, готовь четвертак, на той неделе зах...т меня отсюда, Мне теперь, х...е, по больничному за полтора месяца рублей тридцать дадут... Пятьдесят процентов алименты, иск, курва, ох...ный... Пять жен, сука, шесть детей. Я эту работу, падала, порол... Свадьбы я только две играл — с Тамаркой вот с Ялты и еще с Ленкой... Х...е,

первая у меня была жена — мне пятнадцать было, ей семнадцать. Парню уже пятнадцатый год. Она, курва, с меня даже алименты не тянет... От второй у меня — близнецы... Была, сука, лыжница. Я ее подначил в Лужниках с трамплина прыгнуть, х...е, оба под бухарем были. У нее ноги разъехались, так кишки и вывалились... Потом ее родители приезжают к отцу моему: «У нас детей больше не будет, отдайте нам...» Мне девятнадцать лет было, я не хотел. Отец мне, падла, говорит: «Дурак, куда они тебе?» Ну, отдали мы их... Эх, Ялта, Ялта!.. мне, сука, сто сорок вторую шили, валюту и мошенничество. И потом, курва, пять лет не прописывать в Ялте и в портовых городах Черного моря... Ну, х... на могилу, я их порол... Все равно пропишут — женюсь!.. Там это не проблема, кого пороть всегда найдется... Х...е, там девочки с четырнадцати лет все, сука... .. Стой, сука, кто там идет? Танька, падла? Сегодня, курва, Танька дежурит? Ну, я побежал... Давай на х... деньги... Она мне сейчас стакан спирту, сука, нальет, я не я буду... Прощай, друг!.. Сейчас: буль, буль, буль, буль — нештук!

сентябрь 1971

Вонючий и темный больничный коридор буквально забит койками.

На койках отравленные. (Еще до приезда московского профессора.)

Среди стопа, судорог, бреда движется молодой доктор-бодрячок в крахмальном халате. Остановился на секунду у постели старика. Пациент уже плох — потливость, боли в области солнечного сплетения, спутанность сознания...

— Ну, как дедушка?

Старик только застонал в ответ.

— Крови нет, говно не греет...

И пошел дальше.

Всегда ли я ощущал свою обособленность?

Пожалуй, один раз в жизни я не то чтобы предался им, но как-то одушевился вместе с ними.. Было это в самые первые месяцы прошедшей войны.. Те из нас, у кого это чувство было сильнее или длилось дольше, тогда все полегли в бессмысленном и заведомо обреченном московском ополчении..

А я?..

Я как-то быстро опомнился, слишком ясно себе представил, кому достанутся плоды победы, и мое одушевление как рукой сняло..

Да к тому же тут выяснилось, что я им абсолютно необходим в тылу, и на меня, незаменимого, наложили какую-то броню..

Как это там у них в песне поется?

«Броня крепка, и танки наши быстры..»

Впрочем, в то время эти танки быстро катились не в сторону Тура, а в обратном направлении, к Уралу..

И все-таки я всегда говорил: «они».. Реже говорил, чаще просто так думал, что есть — «они» и есть «я».. И катастрофы не предвиделось.

Но вот настал достопамятный август шестьдесят восьмого, я развернул газетный лист, и.. Я не знаю, почему на меня так не действовали в свое время ни Будапешт, ни Варшава, ни Берлин, ни даже Финляндия..

Но Прага, Прага..

И рухнули тогда «они», и появились на сцену «мы», и некуда было бежать от стыда и не с кем было даже им поделиться..

С того самого дня я никогда не читаю и даже не беру в руки «ихних», пардон, «наших» газет..

А какие-то подлцы и дураки до сих пор твердят, что это дело естественное, что это — политика, что политика — всегда грязь, что Вьетнам, что Тибет, что Доминиканская республика.

Ах, какое мне дело, что где-то кто-то ворует и торгует собою?!

А если моя мать — проститутка и воровка?

Тут есть некоторая разница, не так ли, господа?

А раньше я, грешным делом, любил время от времени листать ихние газеты. Я прямо-таки смаковал этих кровавых собак, прогрессивное человечество, общественность Удмуртии, это непоколебимое единство, единодушное одобрение, гневное осуждение и решительный протест...

И особенно ценил я — грандиозные предначертания.

Слово-то какое — пред-на-черт-а-ния... (Черт, небось, недаром забрался в самую середину.)

Есть и еще одна причина, которая всегда заставляла меня держаться от них особняком, может быть, почти инстинкт.

Покойный брат всегда обвинял меня в нетерпимости.

— Ты не терпишь инакомыслящих!

Сам-то он бесспорно был более терпимым и даже пошел с ними на компромисс, и заплатился за это (а м. б., не за это) жизнью.

Тогда я отмалчивался, слыша этот упрек, но теперь, по прошествии стольких лет, пожалуй, сумел бы ему ответить.

— Не в инакомыслии тут дело. Я охотно терплю инакомыслящих, но никогда не прощаю инакодействующих.

«МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ — CH_3OH — первый член гомологического ряда предельных одноатомных спиртов... В чистом виде М. С. представляет собою бесцветную легкоподвижную жидкость с характерным запахом, почти

не отличимым от запаха винного спирта, и жгучим неприятным вкусом... М. С. во всех отношениях смешивается с водой и большинством органических растворителей... Смертельные отравления могут произойти при введении внутрь 40 мл М. С.; прием 5-10 мл может вызвать тяжелое отравление с потерей зрения или необратимыми его расстройствами.

Принято различать три формы интоксикационного синдрома при отравлении М. С.

1. Начальная или первая фаза, когда отмечаются слабо выраженные церебральные общие проявления наркотического действия: состояние опьянения и кратковременного возбуждения, эйфория, легкое нарушение статики и т. п. Если эти явления интоксикации не нарастают, они не оставляют заметных последствий.

2. Офтальмическая форма, при которой на первый план выступают нарушения со стороны зрительного нерва и изменения глазного дна. При этой форме невралгическая семиотика скудна, очаговых изменений со стороны центральной нервной системы не отмечается.

3. Форма генерализованной массивной интоксикации при своеобразной вазопатии, явления вегетативного сосудистого синдрома в сочетании с церебральными явлениями: потливость, цианоз, тахикардия, боли в области солнечного сплетения, парез глазодвигательных мышц, спутанность сознания, изменения рефлекторной сферы, состояние аффекта, тонические судороги, смертельный исход...»

Сегодня, едуци в нашем тесном лифте, внимательно разглядывал белоглазого. Морда умная и недобрая.. Хороший рост, очки в основательной оправе, надето все безупречно... Линзы в очках очень тонкие, сильная близорукость. (Должно быть, ужасно беспомощное выражение лица, когда на нем нет очков.) Это, конечно, не тот с рюкзаком, совсем иной коленкор...

Знаю я эту породу, хотя очень немного видел их. Когда я уже выходил в отставку и хлопотал себе пенсион, они еще только-только зарождались, еще были в диковинку, но я все-таки успел разглядеть и даже оценить их — неглупых, циничных, не имеющих решительно никаких убеждений, ничего, кроме потребностей и запросов. И притом они до удивления быстро расплодились — вдруг явились среди газетчиков и дипломатов, среди литераторов и ученых, даже среди сотрудников самой тайной полиции..

Эти белоглазые абсолютно серьезно считают себя наиболее совершенным продуктом исторического прогресса и развития цивилизации. Это ради них пал Рим и воздвигался Тадж-махал, ради них князь Олег шел войной на Царьград и Владимир низвергал Перуна, ради них бился на Куликовом поле Донской и росли кремлевские соборы, ради них бунтовал Стенька Разин и Петр побеждал под Полтавой, ради них Кутузов обманул Наполеона и декабристы вьшли на Сенатскую площадь, ради них отменялось крепостное право и Ульянов убежал в Женеву, ради них палила «Аврора» и неслась буденновская конница, ради них раскулачивали мужиков и водрузили флаг над Рейхстагом, ради них хлещет из земли черная нефть, ради них зреет виноград в Араратской долине, ради них ходит по каспийскому дну вымирающая рыба с последней икрой в брюхе, ради них движутся в джунглях сафари, ради них сверкают стеклами небоскребы, ради них покрываются лаком скользкие тела лимузинов, ради них булькает в роскошной упаковке шотландский виски и английский джин, ради них кропотливые немцы и японцы собирают изящные радиомашинки, ради них шьются синие пиджаки с золотыми пуговицами, ради них сияют огнями океанские лайнеры, ради них в поднебесье покачивают бедрами самолетные стюардессы, ради них поют в Париже шансонье и взлетают ножки в Мулен-Руже..

И насколько же они не в пример страшнее своих предшественников — тупой сталинской гвардии, красноармейских подполковников и майоров...

ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТЕМ...

У нас тут материк — воздух хороший. Это там, за рекой, болото. Давление болотное... Там тебе и комары, и что хочешь. А тут — бугор. Там, помню, поп за рекой совсем было зачах, заболел. А перевели его к нам, к Архидиакону, так разжирел, румяный стал. Летом тут благодать, умирать не хочется. Тут бугор — сады, что хочешь тебе растет... Не знаю, чем вас и угостить. У меня хозяйки нет. Все один живу, двенадцать уж годов. Пенсия больно мала — тридцать шесть рублей пятьдесят семь копеек. Чего там за пенсия у водников... Вот бы так-то написать мне биографию. Мне и военный комиссар, полковник Кривченко говорил: «Напиши ты биографию, я тебе хоть шестьдесят рубликов, а сделаю». Ведь я — балтийский моряк. Нас, балтийских моряков, ни хера в городе-то уж и не осталось. Один еще ходит — придурковатый. Как сказал Владимир Ильич Ленин: «Балтийские моряки — оплот революции. Временное правительство полностью оторвалось от народа и неспособно руководить страной...» Я ведь самолично слышал его — Владимир Ильича Ленина, вождя мировой революции... Сейчас картошки начистим, наварим. Я огурцов достану... Когда у меня первая-то хозяйка была, была корова, овцы, поросенок... А теперь — куда они мне? Только кур десяток, петух одиннадцатый. И ни хера они сейчас не несутся. Весной-то неслись, куда там... Вот бы все бы написать, как оно было. В семнадцатом-то году. До основания, а затем... Четвертого июля к нам в Кронштадт приехал председатель Павел Ефимович Дыбенко центрального комитета балтийского флота. На митинге на Якорной площади он пояснил:

«Вождь нашей революции Владимир Ильич Ленин должен скрываться от ищеек временного правительства в убежищах-подвалах». Мы утром собрались с военных судов, и многочисленный отряд отправились в Петроград на буксирных пароходах. Высаживаемся у Николаевского моста. Прошли Невский, Литейный, Загородный, Забалканский, Обводной канал к Таврическому Дворцу, где занимала фракция большевиков. Донские казаки, которые охраняли временное правительство, преданные временному правительству, пытались занять Таврический Дворец. Налетели они на нас на Литейном проспекте. Улицы Петрограда обагрились кровью. Казаки размахивали направо-налево шашками, многих матросов ранили. Улицы Петрограда обагрились кровью. Нами командовал Стогов, батальонный командир. Мы стреляли по ним из винтовок. Они вторично на нас налетели. Керенский дал тогда приказ арестовать Владимир Ильича Ленина. Дзержинский был тогда арестован. Мы ходили тогда по всему Петрограду, и гнали мы их до Невской заставы. Балтийский флот — оплот революции... Вот так-то бы все написать, хоть бы рубликов шестьдесят мне сделали... Я б тогда вам... эх, ты... Вы пейте, пейте, мне нельзя... Вот только столечко... Больше ни-ни... Бери огурцы-то, бери! Не стесняйся. У меня ведь все свое... Живу один — хозяйка моя в городе. Не едет сюда, да и я к ней не еду... Дом-то уж больно жалко. Дом-то старый. Еще учительницы был. Учительница Яропольская Мария Николаевна. Барыня была — куда там. Из Петербурга приезжала. Мне вот отдали да соседу Федьке Гвоздку. Тут вот кухня была да людская. Теперь уж ни хера нет, сломали все. Тут летом-то — умирать не хочется. Композитор к ней Танеев приезжал, Сергей Иванович. Недели две, помню, жил. На речку ходил, на пианине играл. С бородой. Вот она тут стояла, пианина. Откроет окна и играет... Студенты, помню, два приезжали. Тоже на речку. Велосипед у них был, все катались... Да ты пей, пей!.. Мне-то нельзя никак... Ну,

вот столечко... Ешьте, ешьте, все ведь свое... Спешить нам некуда — вся зима наша.. Написать бы все полковнику... Как в семнадцатом-то году мы, балтийские моряки, оплот революции, советскую власть мы ведь установили... Я Владимир Ильича Ленина слышал, как он выступал четвертого июля. Тогда и переполох был. Кто за эсеров, кто за большевиков. Многие недопонимали. Дошли мы до улицы Шесинских. Со второго этажа, с балкона. Нас было тысячи три с половиной, моряков-то. Яков Михалыч Свердлов был тут на балконе и говорит: «Владимир Ильич, моряки подошли, скажите что-нибудь». Владимир Ильич вышел и стал говорить: «Оплот революции — моряки. Стойкость и выдержка. Временное правительство полностью оторвалось от народа и неспособно руководить страной». Много он тут высказывал. Был, конечно, он в пиджачке. В левой руке, конечно, кепочку держал свою. Лысая голова. Рубашка с открытым воротничком. Желтоватая бородка цапочком. Вот пришлось мне в то время видеть Владимира Ильича Ленина и слышать его слова. И как он высказывал: «От капиталистической революции перейдем к социалистической... Полностью оторвано временное правительство...» А тут Яков Михалыч. «Хватит, — говорит, — Владимир Ильич...» Так он в торопливом виде и ушел. Вон как его охраняли. Кабы чего не вышло. Мы ведь тут все с оружием. «Хватит, — говорит, — Владимир Ильич...» А уж после этого уж мы три дня бились с ними. Только соберемся, опять налетят. Только соберемся, опять налетят. Идем по Марсовому полю, мимо казарм. Глядим, гвардейцы на окнах сидят. «Присоединяйтесь!» — кричим. А они только на окнах сидят. «Вы, — говорят, — пришли, вы и делайте...» Только на окнах сидят да в гармонь играют... Петроград кипел. Одни только моряки и гуляли. К нам пришел Семен Рошаль и говорит: «Не верьте холуям временного правительства! Не верьте этим холуям-меньшевикам! Не давайте себя в обиду!..» А теперь вон пенсия у меня тридцать шесть рублей пятьде-

сят семь копеек!.. Хера ли это за пенсия? — ну ее к херам! Да ты пей, ешь, не стесняйся! Накладывай картошки — у меня ее до хера! Пей, наливай! Мне нельзя, не велят!.. Я сам налью!.. Я ведь родился в потомственной семье рабочего. До призыва работал в крестьянстве. Призвали меня во флот. Служил на учебном судне «Океан», город Кронштадт. Испытал революционное крещение в капиталистическую февральскую революцию. Отец у меня печник был. Мастер был что надо. Пил только сильно. Я тоже печки после работал. В войну был водником — на броне, как незаменимый. У меня по реке — сколько? — семьдесят, что ли, бакеншиков, и у каждого печка. Вот я все и ездил, печки им починял. Конечно, и для себя работал. В деревнях-то прибрежных. Как услышат, что приехал, так уж зовут. Бывало, и муки тебе дадут пуда два, и картошки... Только этим и жил. Из водников-то кто за зарплату служил? Где там дров возьмешь, где чего... Я первую-то хозяйку в Юже взял. Вдова она была, дочка у ней. Я на квартире там стоял. Так-то уж и получилось. Вечером сядем, самовар поставим да поллитровку выпьешь. Чего-то надо делать. Вот я ее и ушлепал... Да вы пейте, мне-то нельзя... И ешь давай. Какая это к херам закуска? Картошка да огурец в ж... не жилец... Накладывай. Капусты вот у меня нет. У хозяйки в городе. Пенсия уж больно мала. Ты бы вот так написал бы полковнику Кривченко... Или он — Кравченко?... Все б так по правде. Я — балтийский моряк. Получил революционное крещение в капиталистическую февральскую революцию. Это в семнадцатом-то году. Подняли нас в час ночи. В Кронштадте аккуратно первого марта. Вдруг тревога. Боевая. Иванов и Мясников главари, руководители — политиканы-то. Боевая тревога. Мясников прибежал: «Одевайтесь теплее, бушлаты, шинеля! Все в караульное помещение! За винтовками!» Мы похватили винтовки, патроны. Выскочили на верхнюю палубу. Но люки были закрыты — офицеры сами закрыли. На верхней палубе Мясников на банкет стал и

говорит: «Что будем делать со своими офицерами, со своим начальством? В Петрограде революция, свобода!» Кто тут кричит — расстрелять! — кто — арестовать! — кто — посадить! — кто — что! Тысяча двести человек нас было. В полном вооружении. Конечно, бросились в каюты. Оказались пусты. Они собрались в кают-компани. Офицеры там в полном вооружении были — кортики, винтовки, браунинги, сабли у них мотались... Стучим: «Отоприте!» Они кричат: «Что с нами делать будете?» Мы кричим: «Сдайте оружие!» Когда отперли, они тут сопротивлялись недолго. После сопротивления сдали они оружие. Кортики, браунинги и сабли отобрали у них. И на берегу в сарай которых заперли. Которые заядлые-то были. А других оставили на корабле. И в полном вооружении по стенке гавани шагали мы. Впереди портовая музыка. И прямо к адмиралу Верину. Значит, подошли к нему. У него часовые стоят — армейская полиция. Один в коридоре, один на улице. Когда арестовать его, как бросились в дом, он там спрятался у своих... Разыскали его матросы, вытащили на улицу. Накинули пальто, фуражку и вывели его на Якорную площадь. Ну что, расстреляли его — раз, раз — в овраг бросили. Старичишка был такой зверь!.. И еще контр-адмирала Бутакова тут же. Его с квартиры привели, он не прятался. После-то хватились, хороший он был. Но тут уж не щадили! Многих расстреляли... Покидали в овраг. Два столба врыли рабочие и лозунг: «Смерть палачам!» Это первые-то дни революции. Многих перестреляли. Ну а после этого — митинги, митинги, митинги. Все на Якорной площади митинги. Конечно, власть временного правительства. Тут они законы ввели, расстрелы, казни. Временное правительство устраивало свое благополучие. Гучковы, Милюковы, Керенский — был глава. Керенский — правая рука царя был. Большевики, меньшевики — кто за что?.. Мы тогда не понимали. Но большевики ведущие люди к хорошей жизни. Так мы понимали... Вот ты пьешь, по тебе и незаметно...

Наливай, наливай... Я ведь без хозяйки живу, ничего у меня нет. Самоварчик вот поставим. Варенья-то, повидла у меня до хера. Свое. Сад у меня — двадцать соток. Яблони все сортовые. А на хлеб да на сахар — пенсия... Да уж больно мала.. Я уж думал, может, к херам ее! Не брать ее совсем. Тридцать-то шесть рублей! Обидно... А мясо мне хозяйка привозит из города. Первые-то годы, как та хозяйка умерла, я еще корову держал. Года два доил. А потом — ну ее к херам, продал. А на второй-то хозяйке я уже одиннадцать лет как женился. У ее брата в Ярополье печку клал. А где печка — там, известно, баба. Мне хозяйка-то говорит: «Вот бы тебе жениться. Хорошая женщина, — говорит, — дева». Она у меня целка была. А целку-то теперь где найдешь? Только что у мирского быка... Ну, давай! Вот только столечко... Да у меня тут тоже один был из города. Даже ночевал. Говорит, старухе одной пенсию хлопотал. Не давали, так он — министру. И министр дал... И чего только мы, балтийские моряки, не пережили. И революцию, и гражданскую войну. Эх, гражданская война! Советская власть на ниточке моталась! Когда Бутакова-то контр-адмирала мы в Кронштадте поставили к оврагу — хороший был мужик! Но расстреляли. Горячка. Красивый был, высокий. Борода — во! Он только-то и оказал: «Если уж меня расстреливаете, то всех расстреливайте вплоть до унтер-офицера, а то, — говорит, — у вас будет гражданская война». И точно. Тогда Владимир Ильич Ленин такое указание дал: до мелочи вооружить. Готовил восстание. Восстание назрело, говорит. Это Троцкий был, сукин сын, фракционер. Зиновьев был, Каменев, Бухарин — это все сукины дети, они откололись... После как взяли Зимний, тут три дня безвластие было. На кораблях споры были: кто за временное правительство, кто за большевиков, кто за меньшевиков. Споры — только слушай. Вот Керенский тогда убежал на машине. Не сумели его схватить. А уж после — большевики. Голосуй за список номер шесть! Антихристы нас называли, по-

всячески клеймили. А что такое Антихрист? Это что такое? Большевики! Голод был, болезни завелись. К нам Федор Иванович Шаляпин приезжал выступать в Кронштадт. В революцию-то сбросить больно легко, а вот война-то была. Это было тяжелей. Балтийский флот — самая опора, когда советская власть на волоске моталась. Царские командиры армии и флота, скатившиеся в контрреволюционный лагерь... Гайда-проходимец, колчаковский был любимец, Деникин, Юденич, тут Колчак. В восемнадцатом, в девятнадцатом голод был, вредительство. Вредили на каждом шагу. Они с четырех сторон хотели задавить нашу молодую советскую власть. Наймит Антанты Юденич шел на Петроград, Деникин взял Орел. Самый свирепый генерал Юденич, наймит Антанты, задумал перевешать всех балтийских моряков. Думал перевешать всех. Он балтийских матросов ненавидел. Он дал приказ стереть с лица земли большевиков. Вот как они говорили, латыши, эстонцы, белогвардейцы. Достойный ответ они получили. Грозный ответ. От моряков балтийского флота.. Кто кого? Мы отвечали: «Там, где было море, будет Петроград, а где Петроград, там будет море, а мы не сдадим». Он и посейчас стоит Санкт-Петербург, где родилась революция, а вождь революции — Владимир Ильич Ленин, которого мы охраняли... Наливай и мне! Ни хера не сделается! Помянем царя Давыда и всю кротость его! Сейчас самоварчик соорудим. Сделаем! Мальчишку ли, девчонку, а чего-нибудь смастырим.. Мяса вот у меня нет. На охоту не ходил. Тетеревов бы пару... Тетерева они в снегу, приспособливаются. Домашний-то скот во дворе, а им чего делать?.. Вот они в снег и зарываются. Идешь, глядишь эти капушки. Прямо лыжами по ним идешь. Они только вылетают фыр, фыр! Ну, и подстрелишь пару. Придешь домой — щипать! А он, тетерев, зимой крепкий. Тетерев та же курица, только что в лесу. Самая лучшая дичь... Раньше господа все за тетеревами ходили... У нас тут и лоси. Шесть штук. Эх, его бы свалить... Да куда денешь?..

Вот ковровские-то бьют. Свалят — тут же увезут. Вот это — дело!.. А у нас чего сделаешь — все на виду. У меня за рекой есть лосятник знакомый. Хобаров. Вот лосятник. Он их сотню свалил. У него обыск делали — четыре ноги нашли, да все разные. Ему и штраф дали, а он все ходит. «Это мне, — говорит, — только комар укусил. Мне, — говорит, — это ничто...» Ты мясо-то его ел? Лось-то? Жесткое только, а так-то сладкое. И то — какой лось. У него ежели копыто острое, то его не раскусишь. А коли копыто тупое, как у коровы, — она та же говядина, жирная... Вот бы его свалить. И всю зиму с мясом. Я вон у лосятников был. Во какое блюдо наложит мясом — только ешь, не жалко. И без хлеба. Мне врачи-то пить запрещают. Только ни хера они не знают! Не знают, сукины дети, как мы революцию делали и гражданскую войну! Хорошо помню — в августе месяце, ясные дни. Сидели мы в домино играли. Ждем обеда. Вдруг откуда-то снаряда... Тревога... Ну, значит, нецензура, мат один. Красная горка. Двое с половиной суток били по Красной горке. Он наш порт-то был, но его белые взяли. На третьи сутки около часу дня штаб морских сил, вице-адмирал Кузнецов дает команду: «Развернуть орудия! Надеть чехлы! Красная горка взята!» Тут уж все тихо-спокойно. Четыре бочки вина на всю команду. Виноградное вино, а пьяное... Моряки раньше балтийского флота — все пьяницы были. Пьяницы бы не были — Зимний бы не взяли. В прежнее время ведь как говорили: умница артиллерия, красавица кавалерия, пьяницы во флоте, дураки в пехоте... Как где чего было неустойчивое, моряков посылали. И на Колчака, и на Деникина, зверя-то этого. Шкуро, Зеленый... Самый главный — Деникин был. Я все время на корабле. Мы держали Петроград. Питер всколыхнулся, Петроград бурлит. Юденич тогда комсомольцев расстреливал. Все от восемнадцати до пятидесяти стали на защиту Петрограда. Наймит Антанты был разбит. Юденич бежал со своим войском во Францию, в сумасшедшую больницу. Наливай да-

вай! Я все забываю, как тебя зовут?... Закуси огурцом-то, закуси! Мясa нет — и не надо! Мясо ведь оно надоеет, а картошка — никогда. Вот турки-то, говорят, одним овощем питаются. Одни овощи едят. И до ста лет живут. Интересный народ. А хозяйка мне мяса привезет... Теперь-то уж поглажу ее, да пощупаю, и то хорошо. Как говорится, свою жену в чужом коридоре ушлепаешь, все равно как барыню... Она ведь дева у меня была. Так до росписи и не давала. Я все встречать да провожать ее ходил. Хотел ей Нет, говорит, до росписи нельзя. Так и расписались. Венчается раб Божий Евгений с рабой Божией Ксенией! Аминь! Она у меня в фабрике. Уж и пенсию получает — пятьдесят семь рублей. Да еще и работает, пока сила-то есть. Рублей восемьдесят гребет, когда и сто. У нее деньги есть. Да и у меня есть. Она меня все в город зовет, да мне дом жалко. Я уж и хотел его продать да купить в городе... Дети мне тут написали, некуда им будет летом приехать. Это от первой-то дети. Дочка — не моя, и сын Левка — мой. Зять у меня полковник в Краснодаре. Так и не продал... Скоро самовар поспеет. А если Кривченко не поможет, насчет пенсии-то, ты министру напиши. Должны дать. Коли мне пенсию дадут, мы с тобой так выпьем... только держись! И на охоту пойдем. Приезжай — живи у меня хоть неделю, хоть две. И на рыбалку. Ты уху-то любишь?.. Ты еще ему напиши, как мы Петроград патрулировали. Город был на военном положении. Только до девяти часов. Чтобы ни одного человека не было. Вот шли мы Невским проспектом. Подходили к Адмиралтейству. К Летнему саду. Попадается барыня. Высокого роста в балерейном костюме, шляпа с соколиным пером, харя за сеткой черной. Ее начальник предупредил: «Город на осадном положении. Только до девяти часов». — «Братцы-моряки, — говорит, — я хотела бы с вами поговорить». Начальник патруля Пурышкин, козел тверской, мы так-то всех звали: мы, владимирские, богомазы, московские водохлебы... Пурышкин

говорит: «Ну, поговори давай...» Она и начала: «Вы — моряки, такое войско, такое отборное войско и допустили такого подлеца Ленина...» Начинает тут всячески клеить Ленина. Он продал Москву, Петроград, получил полтора миллиона золотом...» А начальник ей говорит: «А вы эти деньги видали?» — «Видала, — говорит, — у меня такие-то деньги и дома есть. Ленин, — говорит, — Россию продал, хочет пустить немцев в Петроград, в Москву...» — «Ну, хорошо, — Пурышкин говорит, — еще чего вы скажете?» А она только: «Вся Россия теперь Лениным продана». А начальник говорит: «Хорошо. А вы не дойдете с нами до комендатуры? До Адмиралтейства?» — «Не пойду, не пойду, не пойду! — говорит. — У меня на квартире муж ждет». — «Нет, пойдете!» — «Нет, не пойду!» — не шла она. Начальник меня назначает: Шорин и Курин (костромской был). Назначает нас вести. Винтовки наизготовку держать! У нас винтовки заряжены были. Мы в бушлатах. Она: «Не пойду, не пойду, не пойду!» Все-таки ее повели. Дал приказ стрелять, если побежит. Как к комендатуре-то стали подходить, она: «Отпустите меня, отпустите!» Золото стала предлагать. Я, как старший, говорю: «Нет, — говорю, — не отпустим! Революцию мы за золото не продаем!» Она, конечно, все золото сулила. Дескать, пойдем на квартиру, там золото... Много золота нам сулила. А пойдя мы к ней на квартиру, небось, пули бы в затылок пустили. Вот тебе и золото. Мне Курин-то говорит: «Может, отпустим ее?» — «Ты что? — говорю. — А как нас с тобой расстреляют?» А она все: «Золото да золото...» — «Нам, — говорим, — золото неинтересно. Нам надо туда вас представить, куда приказано». Привели ее к коменданту в Адмиралтейство. Здоровый такой парнина, в плечах широкий. Ходит по кабинету, и два револьвера у него лежат на столе... А мне — чего?... Было поручено сдать коменданту. А у Николаевского моста там встретимся. Пурышкин такое указание дал. А комендант здоровый такой и все ходит по комнате... «Что, сука, попа-

лась, гадина?!» Ее сразу тут в обморок бросило. «Я ничего, ничего», — сразу начинает. Я тут рапортую: «Такая-то, говорила: Ленин продал Россию, Петроград, Москву...» И он приказывает: «Отвести в морскую следственную!» Тут она в обморок-то забилась: «У! У! У!» — заухала. А он: «В морскую следственную!» — говорит грубым голосом. Она: «У! У! У!» А он: «Молчи, гадина, пристрелю!» Пришли тут два матроса конвойных, а она ревет, плачет: «Отпустите меня, меня дома ждут...» И золото все сушила... Васька Куринов хотел взять, а я не дал. Испугался. Свои, думаю, пристрелят... Ты это-то не пиши. И повели ее в морскую следственную. Их тогда собрали на Лисий Нос и распыжили! Их тыщи две тогда запичужили — полковников, подполковников, старорежимников!.. Всех их на Лисий Нос, на баржу и в море! Они комиссарами нас не называли. Все — комиссары. И после еще тысяч восемь! И правильно! Владимир Ильича Ленина, вождя мировой революции, клеймить! Сука! Мы тогда советскую власть одержали, защитили... Нас Юденич в клетку хотел изрубить, и ничего... Ты наливай себе чай. Один крепкий лей! И варенье бери! У меня его до хера! Я ведь у него был, у Кривченки... Руку мне жал. Хороший мужик, полковник. «Рассказывай», — говорит. Я ему рассказывал. Тут лейтенанты к нему в кабинет пришли два. Молчат. Полковник! Я тут ему и говорю: «Можно, — говорю, — я с ними поздороваюсь?» Он говорит: «Давай!» — «Ну-ка, — говорю, — мне постройтесь!» Они молчат. Я говорю: «Какие же вы херовские лейтенанты?.. У меня, бывало, взвод стоит по струнке! Мысли мои знают! Я только еще подумаю, а они уже знают!..» Эх, морская душа простая. У нас на море — не как у вас на берегу! Херовские лейтенанты!.. Эх, и служба у нас была веселая. Матросы все молодые. Старшина был катера, Коля-Ваня звали — то ли он Иван Николаич, то ли Николай Иванович! Вот был мужик веселый. Только скажет: «Эх, залилась м... кровью, рубцов не видать!» А у самого

..... И в карты любил играть. «Это что, — говорит, — за игра, из-за хера сзади не видать!» Обыграешь его в козла, только скажет: «Зря, — говорит, — тебя мать углом не родила, свинья б об тебя м... почесала...» На занятиях по словесности, бывало, скажет: «Это, — говорит, — все я не знаю. Я, — говорит — только знаю, из каких главных частей м.....

.....» А боцман у нас был, их и зверь! Раз и меня цепкой огрел. Я так-то вот стоял да тянулся возле койки. А он как опояшет! «Не дома!» — говорит. А кого и по три, и по четыре раза. Да все цепкой. Ох и били его в революцию. Посадили так-то вот на стул. «Простите, — говорит, — товарищи... Это, — говорит, — такая служба.. Товарищи...» — «А ты меня за что цепью?!» Раз его!. Он со стула валится. «Ах, ты валишься?!» И еще ему!. Многие тут били. Я ему тоже дал раз, чтобы мое не пропадало... Офицеры-то у нас звери были. Куда там!. Только на берегу. В походе — не то! Тут они шелковые становились. То одного столкнут в море, то другого... Да ты бери, бери варенье-то! В чай его ложи! Не бойся! Я крепкий-то чай люблю! Я и вина попил, и баб трепал. Дело прошлое. Енька Шорин давал — только держись! Знай морских, почитай флотских!.. Вон из того дома, по тому порядку старуху-то в больницу увезли... Дева! Я было просил у нее. Не жениться — так! Нет, не дала. «Скоро, — говорит, — Пасха». Набожные больно были... В церковь придет, в блюдо копейку бросит, а тянет гривенник! Вот они какие, набожные-то! Так дева и осталась. Ну и хер с ней! Это все прошло дело... Тебе, может, сахару еще дать?.. Ты ешь, ешь! Может, варенья тебе другого?.. Как хочешь... Эх, если мне пенсию дадут... А не дадут, мы прям к министру... Хера ли мое теперь житье?.. Девятнадцать лет живу один... Мне уж семьдесят четыре... А чего поделаешь? Мне соседи-то говорят: «Ты сервант купи да вон стены оклей». А на хера?.. «Ты, — говорят, — деньги бережешь...» А я и

берегу. А как их не беречь?.. Деньги-то у меня есть. А как же без них?.. Ведь вот помру — дух вон и яйца кверху! Этого не миновать. Плюнут в рожу мертвому, и ни хера не сделаешь. Сейчас-то мне в рожу плюнь, я те сдачи дам... А тогда уж ни хера не сделаешь. Лежи! Вот деньги-то и нужны. Два ящика вина купить мужикам. Шей сварить мясных, каши. Всех чтоб накормить — стариков, ребятишек... Что еще нужно? Стар я стал. Старый матрос, уж все прожил, а толку нет... Вот так-то бы написать!..

декабрь 1970

А что, коли не принимать во внимание моих нескольких давних и мимолетных с ним встреч, нашего прошлого соседства и вообразить себе его таким, каков он предстает в своей папке?..

Вот он загорает на берегу реки, он гуляет по городку, беседуя со сварливым старожилом, он спешит в местный музей на свидание с любителем старины, он встречается узника под конвоем, ах, да — он еще пишет какой-то сценарий, девять страниц, в воскресенье утром у него с похмелья трещит голова, и он пьет в столовой пиво с уголовниками, в понедельник утром он тоже пьет пиво, на этот раз с работягами, он покупает у старого офени две иконы и колокольчик, он шляется по базару, он разглядывает здание бывшей острожной церкви, он пьет воду из ведра у барынина колодца, он ходит по домам и выслушивает рассказы городских и деревенских старух, он обедает в ресторане, он подслушивает разговоры на паперти и в предбаннике, он пьет водку со старым балтийским моряком, он читает мемориальную доску на здании городской больницы, он идет через рожь в обществе старой монахини..

Вот вам — труды и дни.

Ну, где же он, где?

Куда запропастился?

Спросить, что ли, у нижней дурь?
У тети Паши спросить?
Нет, все равно не буду спрашивать! Назло не стану!
Только кому — назло? Себе или ему?
Или этой нижней стерве с намазанной рожей?..

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НЕКРОПОЛЬ

1. Охранник на заводе, кого приставили стеречь цистерну, конечно, хлебнул одним из самых первых — †
2. Вася Дыль-дыль, герой, фронтовик, фашистская пуля не взяла — †
3. Сильно умный мужик, шофер с Севера, только что каменный дом поставил -- †
4. Казанский татарин в тубетейке и в сталинском френче, — ах, Ислам, ах, Пророк, где твои заповеди — †
5. Пастух, муж Альки из Коврова и с ним пропащая бабенка с кладбища, не везет, ну, никак не везет — †
6. Холкозный-то председатель, Петров Василь Иванович, прикатил на беду в город, в райком — †
7. Муж Клавдии, жену из горшка уриной напоил, дети напрудили — не нашел прокурор по надзору подходящую статью, не применил меру пресечения — †
8. Двое милицейских, два квартальных надзирателя, сами же конфисковали целый жбан, не вынесла душа поэта, оба пригубили — ††
9. Со сломанной ногой, жена в девятый раз с ума сошла, конечно, поспел, прихромал вовремя — †
10. Рыбаки всей компанией, дядя Сережа, несостоявшийся самурай и с ним еще пять душ слушателей — †††††
11. Из предбанника интимный друг министра — курсант с Алма-Аты и внук покойного дедушки оба — ††
12. Курячий доктор — семь лет держался, по праздникам лимонад пил, к казенному спирту не притрагивался, а

тем в Индию, он с несомненностью доказал, что азиатская холера вызывается проникновением в кишечник человека особой бактерии, которая по форме сходна с запятой...

К заболеванию Х. восприимчивы все расы и возрасты; смертность наиболее велика у детей и стариков, а также у истощенных субъектов. Значительные скопления людей, многочисленные толпы пилигримов и военные действия благоприятствуют появлению и распространению Х...

После скрытого (инкубационного) периода, который длится от 12 часов до 1-2-3 дней, болезнь начинается обыкновенно сразу без предвестников и в большинстве случаев в первые часы ночи. Больной, легший спать совершенно здоровым, просыпается от урчания в животе и сильного позыва на низ...

К описанным выше явлениям Х. поноса присоединяется еще и рвота, сперва желудочным содержимым, потом желчью и, наконец, бесцветными массами. Общие явления довольно тяжелые: голос становится слабым, конечности холодными, пульс мал и учащен... Вследствие громадных потерь жидкости кровь уменьшается в количестве и сгущается, кровообращение ослабляется...

Лицо получает своеобразное выражение: ввалившиеся бледные губы и щеки свинцово-серые, запавшие глаза окаймлены синевато-серыми кругами, подбородок, нос и скуловые кости сильно выдаются. Голос беззвучный, монотонный, выдыхаемый воздух поражает своим холодом...

Особенно тягостны болезненные судороги, которые проявляются приступами чаще всего в икрах, реже в мышцах верхних конечностей и нижней челюсти.

Сознание обыкновенно сохраняется до самой смерти, но больные скоро впадают в апатию...

Из посмертных явлений упомянем повышение температуры, которое замечается непосредственно после смерти на трупе и может достигать до 42° и выше. Последующее охлаждение тела может происходить весьма мед-

ленно. Далее в течение первых часов после смерти могут появляться подергивания мышц на конечностях, груди и нижней челюсти, как самопроизвольно, так и при механическом раздражении...»

Мы ведь тоже умеем делать выписки...

Почти отовсюду в городе видна звонница самой старой разоренной Троицкой церкви — шатровая, изящная, как стрелка, указующая на небо. Известка с нее смылась, и крест заржавел, но зеленеет на этой колокольне маленькая березка — там, где кончается башня и начинается конусообразный шатер...

Это она сама себя украсила к своим именинам, к Троицыну дню, раз люди о ней позабыли...

СТАРИНА

— Это старые-то вещи? Иконы?.. Знаю я, все знаю... Только уж ее, старины-то, сейчас тут не найдешь. Ни у кого не найдешь... А ведь было, все было... Чего только не было... Я ведь сам офеня природный, владимирский... Четырнадцать годов с отцом первый раз ушел в дорогу. В устреку по-нашему-то, по-офенски... Я еще в школе мальчишкой учился. Сдавали мы экзамен в девяносто шестом году, аккурат, когда царь-то на престол всходил... Учителюша и говорит до экзамена. «Тебе, — говорит, — Лепешкин, придется еще годок поучиться... Спроси, — говорит, — отца...» Писал я плохо... Так грамматику, это я больно хорошо учился, стихотворение — раз, два прочитаю, и уж все готово, а писал больно плохо... Ну, отец-то и говорит: «Мало как пишет, в писаря, что ли? Читал бы, да и все...» Ну а потом стали экзамен сдавать, нас человек сто пять было, из пяти школ... Вот сто четыре сделали ошибку, а я один на-

писал правильно... Инспектор диктовал, так-то шамкал: «На полке ле-ф-али ча-ф-ки, ло-ф-ки и сковорды...» Все и написали «сковорды...» Один я — «сковороды»... Помню, сдавали тут во Мстере, где школа... Учительница вышла и говорит: «Удивительное дело, — говорит, — я на Лепешкина и не надеялась, а он один пятерку получил, а все только четверки...» У нас тут какое хлебопашество, хлеба едва до Рождества хватало... Вот вся округа одни офени и были... И пошли мы с отцом в дорогу первый раз в девяносто седьмом году, пятнадцатого сентября, на лошади... Шли через Шую, Иваново, Ярославль... Какие товары и водой отправляли через Нижний на Череповец, а какие с собой...

Иконы были, да книги, картины Сытинские... В Череповце получили мы иконы, а ехать надо было торговать в Олонецкую губернию, потому что старина-то она вся там — в Олонецкой, в Архангельской, в Новгородской, конечно... Ехали через Кириллов, в Белозерск, оттуда в Вытегру... Она на берегу Онежского озера... А там ездили по деревням... Книги да картины по ярмаркам, а иконы — по деревням... Там много ярмарок, чуть не круглый год. Иконы у нас были фольговые, мстерской работы... Конечно, и деревянные были, но их только по староверам продавали, староверы фольговые-то не берут. Деревянные под старый вид писаные, это только для староверов... Зарабатывали-то немного, конечно... Больше меняли. Там можно было древние-то иконы найти да выменять, а уж тут их нигде не найдешь... Потом древние-то домой привозили, а здесь их мстерские покупали. Один хороший был покупатель, Александр Игнатьевич Цепков. Этот покупал ценную старину. Даже в то-то время двести, триста рублей — это не каждый имел, а Цепков покупал. За семьсот и то покупал. Но это редко когда... Их все больше на колокольнях старых находили, по церквям... С покойником икону принесут, она там и лежит... Бывало, уж ничего на ней нет — одна старая доска, чка по-нашему, по-офенскому... Мы за них по пята-

ку платили, во Мстере-то ее уделают под самую старину... Бывало, по пятьсот даже таких досок набирали... Конечно, которые покрупнее да поценнее, те с собой, а так, которые напакуюешь одна на одну и поездом по Архангельской дороге... А во Мстере-то, бывало, по шестьдесят, по семьдесят рублей платили за семивершковую-то, за старую... Я раз шестивершковую купил, Никола оглавный. Я ее взял, на икону на фольговую выменял... За тридцать пять копеек... Принес отцу. Отец говорит: «Хороша икона, да уж выгорела. Лица-то уж не найдешь». Привезли мы ее домой, с углка нашатырем помазали, а она вся целая... Мстерские за пятьдесят рублей взяли... А еще раз привезли одну, на три части распалась — три доски... Владимирская... Так за сотню пошла... Из Богоматерей боле всех ценится Владимирская и Смоленская, ну, еще Тихвинская... Николай чудотворец, Спаситель, это все ценилось, а предстоящие — меньше... И каждому свое название. Вот Никола — по-офенскому — Хорхора, Богородица — Стодница, Спаситель — Степитель... А иконы по-нашему — стоды... Одну, помнится продали мы прям из дома, была она на божнице, аккурат вот такой же вот Никола, как этот... Ростом был аршин с чем-нибудь... Купили мы его с отцом в барском доме. Просто сам-то барин не живет в своей усадьбе, а купили у дворни. Она стояла не на кухне даже, а вот где дворня-то живут. Но старая она была, уж по краям начала пропадать, крошиться... Тоже Николай угодник, годов двадцать она у нас стояла, а тут мстерский маклер... Старичок, Осип Шитов... Вот он нам тогда покупателя и привел, из Петербурга, Егоров ему фамилия... Пришел и говорит: «Снимите мне ее сюда из божницы». Сняли вот сюда на стол, он надел очки, потом вынул кран-циркуль... Сначала измерил так и так, потом руки, расположение... «Вот это — говорит, — самого новгородского письма... Ну, — говорит, — сколько хочешь?» — «Двести пятьдесят», — отец говорит. «Нет, — говорит, — мне ведь ее еще в Петербург везти». Ну, отец и отдал за

двести тридцать, скинул двадцатку-то... У него скатерть с собой была, так он ее в скатерть завернул, да и повез во Мстеру... Вот так-то мы с отцом и ездили. Шесть или семь лет. Пока отец в дорогу ходил. А потом он во Мстере посудную лавку открыл, да и ходить перестал... А я уж тут серебрить ходил — куреньшить по-нашему-то... Серебро, значит, куреньшо, а золото — кулото... Серебрил я это с девятьсот третьего года и по... по... по пятнадцатый... А серебрили-то когда монетами, а лучше всего ломом. Лом-то я покупаю в городах десять-двенадцать копеек золотник, а в рубле-то их всего четыре золотника, двадцать одна доля... Серебро больше покупали по городам, в ломбардах с аукциона, да у часовых мастеров... Лучше нет, как работать в Вятской губернии. Там приходы большие — по пять, по четыре, по шесть священников... Утвари, во-первых, много. А вообще-то они не нуждаются в деньгах. Посеребришь им, а староста... они все эти серебряные вещи поставят посреди церкви в воскресный или в праздничный день и делают им священье. Священник кропит, а на священье народ все несут деньги, либо шерсть, либо лен или курицу принесут... Глядишь, наберет он полсотни на священье, а то и больше. Этим и выходят. Другой раз вперед рискуешь. «Серебрите, — скажут, — а мы на священье соберем...» Которые холста несут, которые — чего. Все больше льну да вот шерсти. Годов десять я ходил все по Вятской. Три раза лошадь покупал, долго проработаешь, весна захватит, приходится продавать... На санях-то пока ездешь. Одну пригнал, помню, домой. А до той уж больно хороша была кобылка, тоже хотелось пригнать... Лошадей там больно много, в Вятской губернии. Местной породы, вятская... Невелики лошади, но широкие лошадки... Какой бы цвет ни был, а все по спине у нее ремешок. Если она бурая, а верхушечка-то все чернее... Да. Чего только не было, за столько-то годов... Ведь офени-то какие только не были. И пьяницы были... Был тут раньше в отцовы-то годы Филипп Иваныч. Сын у

него теперь... вот имя-то сыну забыл. Он больно пьянствовал. В Боровичах Новгородской-то губернии с месяц торгует, а потом и забусает, запьет. Сына своего вечером посылает: «Вандай гомыры». Принеси, дескать, водку... Его и хозяйка-то со двора хочет согнать. Неделю, дескать, целую пьянствуешь, бусеешь... В Боровичах-то, помню, на постоялом дворе офеней много, вот и распорились. Какое, дескать, название козе. Одни говорят — моза. Нету, говорят те, ей другое есть название — трикотуша... Овца-то — моргуша, а вот коза-то — трикотуша... Так-то по-офенскому мы не больно говорили, только вот когда какое слово сказать, чтобы не понял никто... Если сказать, что надо лошадь сходить напоить — остряка набусать. Фера берить — сена дать. Торговаться приходили когда. Если торгуется мужик, дает мало — просишь двадцать копеек, а он дает пятнадцать... Ну, и спросишь товарища-то: «Сабосу стычит?» Дескать, сколько себе-то стоит. А мужик и не понимает... Или в церкви работаешь, а поп идет... «Тише, — говоришь, — кас хлит». Значит, поп идет... Да мало ли чего делали офени-то владимирские... Всего и не упомнишь. А то баб этих — кубасей ферили... Так-то и со мной тоже грешным делом грех один был.. Молодой был еще... Еще с иконами ходили. Молодой был, здоровый... Стал на дворе у хозяина. В Казанской губернии. Он мужик не так старый, а понюхай. Хозяйство у него — лошадь, две коровы да бык. Небольшой такой бычок. Я у них три дня стоял. А хозяйка у него — высокая, чистая, груди вот так стоят в разные стороны. Красивая баба. А этот только все по хозяйству, только все по хозяйству — валенки наденет и на двор. Я ей как-то так и говорю: «Как же, — говорю, — ты с таким-то понюхаем живешь?» — «Да, — говорит, — прямо беда...» Сирота она была, их три сестры было. Вот мать-то и отдала. И я-то вижу, я на печи спал. Он на кровати ляжет около нее, да как кутенок свернется. Да спит. А она лежит румяная, груди вверх... Тут бы ее... Я-то с печи все

вижу. Я уж и стоворился с ней, да ведь он все дома, все по хозяйству. Нельзя никак. Уж второй день стою, вижу, дело пропадает. «Эх, ты, — думаю, — офеня владимирский!» А боязно. Ведь нехорошо будет, как застанет. «Ты, дескать, с иконами ходишь, да баб...» Еще иконы мне об голову расколотит... Жалко. Ведь у хозяина они по семь копеек, а тут когда два, когда и три рубля... «Эх, — думаю, — ничего не выйдет...» На третий день легли спать, хозяин мне говорит: «Иди на печь». Я и лег. И они легли. Потом иду вроде бы на двор. А бычок у них не такой большой был и прям во дворе. А зима. Я вышел, так-то аккуратно воротину отворил. Он лежит. Я его как наподдам ногой: «Чего ты тут!» Он и бежит, на улицу-то выскочил. Я за ним. И еще ему как следует! А в снегу-то не замазался. Прихожу со двора, говорю: «Хозяин, а хозяин...» — «А?!» — только. «Во дворе-то у тебя непорядок. Воротина одна открыта...» Он тут и подхватился скорей: «Ах, ты, — говорит, — это — бык...» И скорее — на двор... Ну, а я-то тут к ней... Она только ахает... «Скорей, — говорит... Иди, — говорит, — на печь... Кабы не застал...» Ну, я дело сделал, да и на печь... Пока он быка-то гоняет. А баба такая чистая, раскраснелась... Я на печи свернулся, да и лежу. Хозяин пришел. «Ну, — говорит, — подлец бык! Я, — говорит, — уж его бил и бил трепалом». А я лежу да думаю: бык-то невиноватый, тут бы насбить... А она мне только пальцем погрозила: молчи, дескать... А я уж и сам. Утром она мне и говорит: «Я бы, — говорит, — все бы бросила, да с тобой уехала». Куда это, думаю, я с иконами да еще с ней приеду... А так-то бы с ней жить можно. Баба высокая, полная и чистая. И умная баба, хозяйственная... Да.. Попутал нечистый. Все было... И старина была, и золотишко было... Раз, помню, в Вятской губернии, с Чистого понедельника работали до пятнадцатого апреля, Пасха была в Благовещенье в двенадцатом-то году. Сперва тропари Благовещенью служили, а потом — Христос Воскресе... Село Богородское, Нолинского уезда..

Церковь была трехштатная, три священника. Четвертый нештатный из дьяконов... Пришло нам время рассчитываться. Мы два месяца в аккурат работали. Настоятель, отец Всеволод, спрашивает: «Мастер, какими деньгами вас расчитать?» — «Давай, — говорю, — золотом. Оно нам сподручнее. Мы его, бывает, травим да в дело пускаем». — «Ну, — говорит, — золотом, так золотом...» И отсчитали нам двести сорок рублей одним золотом. И все десятками... Да... И вот прожил все. Почитай, за год две лошади у меня в двадцать третьем-то году пали. Первую-то я купил, отдал шесть золотых десятков, да корову. И полтора года она у меня не была — пала. А уж вторую покупал за тринадцать тысяч. Какие цены тогда-то были... Легко ли тринадцать-то тысяч набрать? Все тогда продал, всю старину. Часы были золотые с музыкой — продал. Да серебра лому с полпуда было. У бабушки, матери-то, последняя десятка была — она отдала мне. Сдал ее в городе за тысячу рублей без двух рублей — за девятьсот девяносто восемь. Лому-то сдал тогда еще на фунты, тоже сот на пять. Были вещи — рюмочки, стаканчики. Много вещей было из ломбарда еще, из Вятки... И корову. Пришлось уж не свою, а у сестры. Она уж была отделена, сестра-то, вот у нее корову взял да за шесть тысяч продал. И вот едва сколотил я тринадцать-то тысяч, и купил молоденькую неезжалую, трех годов. Спасибо, Бог дал, хорошая попала лошадка, кобылка... Куда съездить, так живо-два... Так и ту в тридцать первом году в колхоз свели... Так вот ничего и не осталось. Только вот что дом. Большой дом... Да, лесу-то тогда дали... Ведь лес-то он барский был. Сеньковский, Демидовский... Новой-то власти надо было сперва крестьян потешить, вот и дали... Да, теперь уж старины нет... Только что колокольчик где-то был. Погоди, сейчас принесу... Да вот икона эта Никола. Этот старый. А вот это — Покров. Она только под старину писана. Вот, гляди, колокольчик этот мы еще с отцом из Олонецкой губернии привезли. Там красной меди в стари-

ну все чего-нибудь да лили... В Олонецкой губернии медной посуды много. Много было еще в то-то время, при нас... И Никола этот тоже из Олонецкой. Вытегорского уезду. Также с отцом привезли. Это — старина. Выменяли, помню, на новую икону, на фольговую... Мы у них не один год там ночевали. Главное, ее чинить-то не надо, она вся целая. И деревни помню название, Рокса название. Там староверов-то было много, в Олонецкой губернии... А уж вот Покров, она не старая, только со старого списана. Он писал ее, что ли, в двадцать седьмом. Там во Мстере-то больно голод был. Хлеба-то давали грамм триста, четыреста... Василий Михайлович имя ему, Наугольнов. Пришел он милость просить. А отец с ним был знаком до этого-то. Вот он пришел под это вот окошко милость просить, стучит. Отец говорит: «Вась, это ты?» — «Я...» — «Я, — говорит, — тебе дам две доски, ты мне Покров напиши, да Егорья, а я тебе мешок картошки дам». Он ради питания написал. Покров у нас тут престол был. А Егория писал в божницу. У нас раньше старинный был Егорий. Вот тогда-то еще приехали из Москвы, побывать сюда. Они все отседа брали. Это дети-то Ивана Митрича Силина. Уж они отца-то знали. «Епифаша, нам продай, — Егория увидели, — продай нам...» Он говорит: «Из божницы-то вроде грешно продавать. А сколько дадите?» — «Да четвертной...» Вот Наугольнов-то и написал нам под старину. Егорий, он разный бывает. Один на леву руку едет, а другой — под праву... Который куда... Один сюда — из божницы долой, а который — сюда... Не помню уж, который под старину-то. Что?.. Продать?.. Продать-то продам. За так не дам. А продать — чего уж тут... Давай за три-то рубля уж и Николу, и колокольчик, и Покров. К чему оно мне теперь все... Бери, не стесняйся... Вот они по радио все говорят, дескать, Ленин умер, а дело его живет. Да... А я вот и жив, а дело-то мое умерло. Лепешкин жив, а дело его — умерло...

март 1971

Нынче была у этих, внизу, внеочередная «наша среда»...

Я возвращался из лавки со своим кефиром уже часу в десятом, а они еще только подкатили — и мадам, и белоглазый... Потом мы все трое ехали в лифте...

Они при этом благоухали вином и шашлыком и, как видно, очень торопились... (Срочное изготовление дамских поясов и пуговиц!)

А час спустя, перед тем как белоглазому выкатываться, у них там внизу случилась сцена — рыдания, упреки, утешения, всхлипывания... (Сам виноват, дурак, не давал бы ей так много вина.)

— Тебе этого не понять... Ты — мужчина... Я измучилась... Я не могу делить тебя ни с кем... Ты мне нужен весь...

Словом, пластинка еще более заигранная, чем Вертинский...

Да... Как говорили в мое время — среда заела...

Мучит ли меня хоть по временам раскаянье?

Считаю ли я свою жизнь неудачной, несостоявшейся?

Я много не думал об этом, но одно знаю твердо: я почти никому и ничему не завидовал — ни богатству, ни славе, ни власти, ни даже успеху у дам...

Зависть вообще редко посещает меня, да и направлена как-то не в ту сторону. Пожалуй, позавидовать я могу гегемонстру, который пьет водку, сидя прямо на заплыванной земле подле желтой будки... Или ему же, когда он похмеляется морозным зимним утром, судорожно глотает свое пиво все из той же будки, из той же кружки с надбитым краем...

А острее всего в моей жизни я позавидовал, пожалуй, одной пьяной бабе на мосту...

Душиное московское лето было уже на исходе...

Я сжал в автобусе куда-то в Замоскворечье, только уж не припомню, куда... Мы катили по Большому Каменному мосту, и вдруг я ощутил, что автобус замедлил ход, а потом резко затормозил, будто перед ним оказалась преграда. И все машины, которые бежали впереди нас, сзади, рядом, — тоже. Все стали спотыкаться и тыкаться, как слепые.

Я посмотрел в окно и увидел причину замешательства.

С левой стороны моста, у самых чугунных перил, простая баба лет пятидесяти, достаточно грузная и, как видно, совершенно пьяная, напевая что-то и пританцовывая, срывала с себя одежды... Слегка покрутив в воздухе каждым предметом (когда я взглянул на нее, это было ситцевое платье), она швыряла его в кучу, на свою, тут же на асфальте стоящую, хозяйственную сумку...

Прохожих никого почти не было, и она, взнесенная мостом над рекою и столицей, возле самого Кремля, на уровне шатра Свибловой башни, кажется, вовсе не слышала исступленных автомобильных гудков, а танцевала и пела, подчиняясь лишь ей одной внятной музыке...

А с обоих концов к ней неслись уже, рвали когти псы — милицейские и в партикулярном платье, но мост этот тянется едва ли не версту, и, пока они задыхались в своем неистовом беге, у нее еще явно оставалось несколько мгновений свободы.

Вот она, приплясывая, сорвала и лифчик, жирные груди и складки на животе тряслись при этом в лад ее движениям...

И когда псы добежали до нее наконец, она уже взялась обеими руками за резинку своих голубых трусов... Когда они схватили ее за плечи и запястья, она стала вырываться и взвизгивать, но так, будто ее не хватают, а к ней пристают, будто ее не арестовывают, а лапают...

Вот и все. И она исчезла, как видение, за толпою мун-

диров и статских спин... И уже заревели моторы, уже помчалась и понеслась городская жизнь полным ходом, как будто никакой неловкости не произошло...

А когда я начинаю копаться в себе, искать, откуда же она берется, эта зависть, которую я испытываю к простолюдинам, мне приходит в голову, что тут все непростое и что чувство это родилось отнюдь не в самое последнее время, а, пожалуй, имеет в России свою любопытную историю... Мы обязаны этой завистью, как и многим другим, своему императору — первому из императоров.

Только, Бог мой, до чего же это чувство выродилось — моя зависть уже не к цыганам, не мужику Марюю, не к Платону Каратаеву или к косцам, а к несчастному пьянице да к бесстыдной бабе...

Так вот и хочется снять, в конце концов, пудренный парик и шапку, кафтан вместе с камзолом, шелковые чулки и башмаки с пряжками, поклониться по старому обычаю в ножки, в ножки, да и сказать:

— Спаси Бог, батюшка Петр Алексеевич, премного благодарны, недостойны мы твоей царской милости, великий государь...

Я теперь кроме смерти только одного еще боюсь.

Я боюсь, как бы эти мымы мои — племянницы (а они в своем развитии немногим дальше ушли, нежели соседка снизу), как бы они не вышвырнули сгоряча эту самую папку — его Цистерну, мою Цистерну — в тот самый день, когда они примчатся сюда за наследством, когда начнется тут отвратительный дележ моего барахла... Ах, как бы не угодило это все на свалку, как бы не вручили это снова тем помочным детям...

И тогда... тогда просто круг замкнется...

А что бы было, если бы дети тогда, собирая макулатуру, шли не снизу вверх, а сверху вниз?..

ДЕВЯНОСТОЛЕТНЯЯ

— Кто там?... Ай, это ты? Ты?... Пришел, опять пришел?... Не забыл старуху-то... Иэх, ты... Иэх, ты... Дай-ка я на тебя погляжу. А уж ты, чай, думал, померла бабка-то старая. А я все живу, все живу... Господь не прибирает. Уж не знаю, на что, а живу... А все ж пришел ты к старухе-то... Ну, спаси ты, Господи! Дай тебе Бог дожить до моих годов, да вот так-то бегать, как я бегаю... Девятый десяток дожила, помирать пора... А я все бегаю, все бегаю... Летось-то уж не знаю, как и жива осталась. Натерпелась страху-то. Надо бы поседеть али дурочкой быть, а я вон все за Бога держусь. Только Он и спас. Лежать бы мне теперь в яме, да вот Бог свободил. Не пришел, видно, час-то... Уж не ведаю, в каком и месяцу, только что осенью... Пахать приехали, везде пахать. Все усадьбы. У нас-то тут, в Вантине, только что в двух домах и живут. Мой — третий. Четвертый еще стоит, да только сломают его скоро. Не дадут ему быть. А живем-то все по две да по одной. В маненьком дочь ушла от мужа, тут живут. В крайнем, там — одна. А была ведь наша деревня восемнадцать домов. И уж все подчистую нарушилось. Как скотину от нас угнали в чужой холкоз, так тут все и побегли. Кто на станцию, кто в Горький, кто — куды... А тут гляжу — батюшки мои! — председатель. Конечно, уж он на машине ездит. «Бабушка, твой огород будем ломать». — «Нет, — говорю, — не будете». — «Нет, — говорит, — будем!» И так-то строго сказал: «Пора подыхать!» А я: мол, я нарочно буду жить!.. Так и уехал. И этим, трактористам-то, видать, сказал, что, дескать, не пахайте. Постояли, постояли, да и поехали. В соседней деревне, в Каширине, семь огородов ломали. Ломали, да корчевали, да пахали. Там, в Каширине, домов семь еще не нарушены. Там большая деревня-то, поболее нашей. На два порядка было... Вот там и пахали. У тех не ломали, в коих живут. Потом гляжу — опять к нам едут. Батюшки мои! Дерево на тем конце по-

валили да повезли на тракторе-то в Илевники. Они тама, в Илевниках-то, на квартире стоят. Какие у них трактора, уж я не знаю, у них чего. Ведь корни-то какие, и все выломали. На тракторе эдак-то не выломаешь, а у них такие способные машины... Ну, я тут маненько сметила.. Тоже уж не пробка. Пошла скорей в соседнюю деревню, у Паши Анисимовой там ночевала. Вроде как тогда еще не обробела. Пошла утром в церкву, в город, да там нашла подружку. Побирушку Поленьку. Она все у церкви стоит, милостыньку просит. Поклонилась я ей в ножки. «Уж пойдем, Поленька, Христа ради. Поживи ко мне». С ней-то и были вдвоем. Кабы не она, уж бы нежива была.. Вот ведь и сейчас рассказывать не могу — плачу. А они все в Каширине там ломали. Потом гаяжу — прошли мимо окошка. Я как увидела, так меня затрясло. Всю затрясло.. Ну, думаю, конец... Машины-то они тама на свободных участках бросили. Сами прошли мимо окна. Долго их не было. Уж чего там делали — не знаю. Выпивали, нет ли? Уж трезвые не пойдут. Пришли в дверь. Бот! Бот! Бот! — в дверь-ту кулаками. Меня хоть затрясло, а все ж не сшибло. «Кто тут?» — «Отпирай!» — «А чего вам нужно?» — «Отпирай!» — «Не отопру!» — «Сказано последний раз: отпирай!» А я говорю: «Я, мол, не отопру. У меня, мол, приехал внучонок с товарищем...» Сама набираюсь духу — вру. Никого ведь у меня нет. Только что она, Поленька. «Не отопру! — говорю. — У меня, мол, внучонок с товарищем выпивши на печи лежат. Если вас, мол, впустить, что у вас, мол, получится? Они там выпивши двое — внучонок с товарищем. Кто, мол, первы в тюрьму-то пойдет которы...» А сама уж не могу. Привалилась к стенке на мосту в коридоре... Ну, говорят: «Огород ломаем твой... Обломаем, — говорят, — огород». А я мол: «Нет, не обломаете. Кто, мол, кому обломает? Двое-то вас не упустят. Внучонок с товарищем...» А и нет никого. Одна Поленька. А они как хлопнут в дверь — ногой ли, чем... Я к стене-то так и упала. Лежу... А уж слышать — загремели

трактора-ти... Вроде как в Каширино... А я лежу. Поленька-то, Поленька-то мне: «Офросенька, поехали!.. Офросенька, поехали...» А я лежу. Принесла она воды-то холодной. Намыла меня, попила я маненько... Утром-ти встали, глядим, яблони, терновник поломаны... Скорей в город. Она-то в церкву, а я к Славику, к внучонку. «Ныне же езжай за мной, я там не могу жить». — «Ныне, — говорит, — не могу, я работаю». Другим-то утром взял машину да забрал меня в город... Так ведь всю зиму и не жила тут, дома-то... И уж откуда они приехали с такими-то тракторами? У нас нет таких и тракторов, кои деревья ломают. Может, говорю, пожаловаться кому на них да на него, на председателя-то? Он знает, поди, им и фамилии... Только внучонок говорит: «Не надо, баба. Сам боюсь. С такими людьми свяжешься, еще убьют. Хорошие бы терновник ломать не стали. А с такими-то связываться...» Сыновий сын — внучонок Славка. Ты видал ли его? Мать его рано померла, маленьких их двое покинула. Да отец с войны не пришел. Двух сыновей у меня война эта взяла, да зятя — третьего. А мужа-то у меня еще на той войне, в четырнадцатом году убили... Вот они мне двое внучат и остались... Вырастила их как своих. Так-то он, Славка, хороший. Только уж винцо стал выпивать. Пьет-то мало, оно его сразу сшибает. Вот придет, скажу, был ты у меня, не велел ему выпивать ни капли. Только что не послушает. Теперь еще бабы-то озорные. Ой, какая плутовка ему попалась. Пришел выпивши, она брякнула его на пол — да и лежи... Нехорошо. Тоший он стал. А вот, гляди, восьмой год с ней живет. Я ей ничего не сказала, только поревела да уехала. Всю-ту зиму не жила дома. Слава Тебе, Господи, люди-ти хорошие еще есть. Второй год на квартире держут. Вот и живу. Сплю у них на печи. Благодарь! Молоко — не считают, коли не грех, наливают... Я ведь и смолоду так-то привыкла: среду и пятницу соблюдаю — пост... А как же?... В среду-то Его, Спасителя, пымали — в каких Он руках-то, а мы тут наедемся?... А в пятни-

цу-ту распяли Его, а мы опять наедемся да напьемся... Да.. А вот по весне опять перебралась домой. Уж больно охота в своих-то стенах помереть. Всю жисть тут прожила, ведь всю жисть... Наверно, уж годов шестьдесят... Куда там? Боле... Восемнадцать годов сюда замуж вышла. Вот и считай. Купили мы дом-то этот с мужем. Сначала-то старенький был, а потом купили этот. Купили после дяди. Он уж двести годов стоит. Это лес-то мугревский, дедушков... Вон, гляди, бревны-то какие. Летось сымали на фотографию. Все измерили, все, все — все бревны. Все записывали и вышину, и потолок, и печь-ту... Ну, начисто все. Увезем, дескать. «Наверное, — говорят, — бабушка, в музей уедешь». А я: «Нет, не поеду. Останусь, мол, тут, не уеду». Всю жисть тут. Никуда не уезжала, нигде не работала, опричь крестьянского-то дела. Нигде не странствовала... А вот и наш холкозный-то председатель, Петров Василь Иванович... У него контора-то в Пировых, а сам-то он федурниковский. Тоже, может, выпивши был. «Помирай, — говорит, — скорее. Пора, — говорит, — помирать». А я мол: «Не хочу». — «А когда?» — говорит. «А вот коли наживусь». Это уж его дело. Он приказал пахать тракторами-то тими... Вот его бы постращать-то бы маненько. Притянуть бы его маненько хоть с какого краюшку... А ты в лето-то у меня еще побывай. Не один раз побывай. Вот лук пойдет, огурцы... Побывай к старухе-то, побывай... Уж кабы не Бог, да не Поленька, да не сумела бы я наврать, то уж теперь бы я, поди, заживо в яме-то сидела. Толкнули бы, да и дело с концом. Живу бы бросили погребать. Ям-то у нас полно. Вон у меня три ямы да рядом три... Да вот Бог свободил. Не знаю, надолго ли... Вот так и лето буду на Бога надеяться... Я все за Бога держусь. Вот и человека он мне дал — Поленьку. А теперича мне — чего? До ста годов надо доживать... Обязательно. Чего ж теперь делать-то?

март 1971

Ах ты бедный мой старший следователь, никак не снижается преступность в городе, не успел еще толком распутать дело о расхищении метилового спирта из цистерны, а уж новое дело подоспело — уперли со склада сто листов оцинкованного кровельного железа на кладбищенскиеobelisks тем самым личностям, что при жизни причастны были к краже спирта...

Иногда среди ночи просыпаешься с мыслью — бежать отсюда скорее, скорее в Москву, к Садовому кольцу, к бульварам, где у домов фасады и дворы, где каждый дом глядит по-своему, где рельсы, где трамваи еще звенят, где я прожил столько лет, всю мою жизнь... И тут же вспомнишь, перевернувшись на другой бок, на углу — аквариум кафе, наискосок парикмахерская-аквариум, этого дома нет, тот тоже сломали, тут втиснули этажерку, тут тоже, площадь изуродовали, по узкому проулочку катит авто, разукрашенное цветными гандонами, на каждом шагу мастерская — «Срочное изготовление дамских поясов и пуговиц!» (Что за срочность такая? Пока муж не вернулся?)

Представишь себе это и начинаешь понимать, что ностальгия действует не только в пространстве, но и во времени. Главным образом во времени...

Место, где я теперь живу, представляется мне невероятным, фантастическим дортуаром. Сотни тысячи покидают его всяким утром и всякий вечер возвращаются сюда, чтобы выспаться и снова уехать... Здесь храпят, спят пьяным беспробудным сном, страдают бессонницей, совокутляются на тысячах и тысячах коек...

Здесь на каждом шагу школы и ясли — повышенное деторождение как бы предусмотрено...

А как насчет повышенной прочности перекрытий?

Так и кажется, как-нибудь в полночь наша этажерка не выдержит колебаний и рухнет...

Здесь никогда не бывает совсем тихо.

Днем на соседней стройке ревут какие-то краны и моторы, под окнами кричат дети и лают собаки, по вечерам начинает работать полным ходом лифт, и в нем какая-то штука страшно щелкает, почти стреляет, сосед слева сверлит, строгают, лупит молотком, одинокая шлюха сверху запускает магнитофон, у соседа справа рывкает телевизор, время от времени захлебываясь нечеловеческим — «г-о-о-о-о-л!»... И когда к ночи наконец почти все это стихает, то вдруг неотвратно приближается со своим лязгом и гудками железная дорога, та самая, старейшая, граф Петр Андреевич Kleйнмихель, душенька...

А по субботам тут звонит, кричит во все свои слабенькие колокола старая церквушка — кирпичная, крошечная, принадлежавшая стертому с лица земли небольшому селу... Ах, как жалко ее, очутившуюся вдруг в страшной сказке, в жутком сне — окружили ее со всех сторон неизвестно откуда взявшиеся бетонные громады, и вот носится среди них ее безнадежный звон, ее отчаянное «ау!», бьется о фасады и торцы этажерок, жутко отдается в замкнутых пространствах...

А соседняя с нашей этажерка — не чета другим. Ее возводили за свои, так сказать, пречистые господа сотрудники тайной полиции, кооператив «Гранд опера». И на площадке перед фасадом у них — все «фиаты», «фиаты», тридцать пять тысяч одних «фиатов», — лазоревые, как полковник из сна, красные, как портьеры в кафе Алатр...

Меня особенно умиляет один из этих соседей. Он ухитрился затянуть железными прутьями все пространство над своим балконом. Тоже в своем роде характер. Дескать, я — на свободе, я — дома, а весь мир у меня — за решеткой! Си-ди! То-то!

За квартал от нас они довольно давно сооружают что-то такое весьма просторное, кубическое, с большим количеством пррсветов, бетонных опор и прочих атрибутов суперсовременности... И лишь вчера я заметил у них щит, который оповещает, что здесь возводят — Институт Советской Торговли..

Чему же тут, позвольте спросить, будут обучать?

Врать? Воровать? Обвешивать? Хамить? Устраивать бессмысленные очереди? Прятать товары под прилавок? Спекулировать?

Я ко многому уже привык. На многое можно не обращать внимания...

Даже на то, что сосиски у них в целлофане, даже на это апокалиптическое «г-о-о-о-л!» за тонкую стеною...

Но вот к чему я никак не могу привыкнуть, так это — отсутствие у них чувства юмора и способности воспринимать смысл слов.

Ну что это за кондитерская фабрика имени Марата?

Что за венерический диспансер имени Горького?

Венерический диспансер должен быть имени Мопассана.

А имени Горького — туберкулезный диспансер.

Я при случае мог бы предложить им целый список наименований...

Чем, например, плохо — глазная больница имени Гомера? Или Милтона?

Фабрика ортопедической обуви имени Байрона?

Институт переливания крови имени Робеспьера?

А уж если так хочется почтить и Марата, то хотя бы так — завод бытовых ванн Жана Поля Марата и Шарлотты Корде...

Нет, упаси меня Бог! Я не создаю себе задним числом иллюзий!

Я прекраснейшим образом отдаю себе отчет в том, что не они, вернее не они одни, тут виною...

Нет, но они вступили в естественный и тесный союз со всем, что было самого отвратительного в достопамятном старом времени, — срослись с российской тупостью, с безалаберностью, с ленью, с добровольным рабством, с удручающим отсутствием самоиронии, с бахвальством, со всем тысячелетием беспорядка и бестолковщины, уже царившей на Руси...

Симбиоз старья с новой властью, вот что нас губит на корню...

БАРЫНЯ, БАРЫНЯ...

Что? Попить? Пейте, пейте! Прямо из ведра и пейте... Вода у нас чистая, ключевая... Этот колодец, между прочим, метров пятнадцать глубины... Барынин колодец. Так и зовем — Барынин... Я ведь еще и сам ее помню, Барыню... Только что называлась Барыня, а бедней бедного жила. Старая была престарая... Крючком согнутая ходила в халатике засаленном... А колодец этот у нас на все село единственный. И место-то тут какое, ты погляди. Все заречье видать, и большая дорога... У нее тут имение было, у Барыни... Теперь уж тут ничего не узнаешь, а ведь так-то вот от колодца дом шел. Большой, двухэтажный... Весь застекленный — окна, двери... Вид такой церковный, все такими полукружками было. Тут тебе стеклышко фиолетово, тут розово, тут оранжево... Столбы резные... Это — большой-то дом. А за ним церква стояла деревянная. Только уж она, Барыня, так ее и не достроила... А уж как хотела. Потом по леву руку маленький флигелек, келья. И по праву руку такая ж... Сарай был, кухня. В сарае-то тарантас, сани... Ее так-го уж по имени никто и не знал. Все только: Барыня да Барыня... Простая была... Вот к Аннушке, в крайнем-то

дому живет, бывало придет, сядет: «Аннушка, я к тебе». Картошки поест. Хуже бедных была.. А летом к ней в большой дом все из Москвы дачники едут. Барины, барыни, баронесса.. В кухне тут тебе обед готовят, варенье варили.. А сама-то она во флигеле жила, в келье... Так поест кой-чего. Кошки у нее были, собаки — табунами. И ест она с ними с одних блюдечек... Как-то отец мой, покойник, зашел к ней. Она его любила. Все бывало: «Голубчик, голубчик...» Зашел как-то к ней. «Зайди, зайди, голубчик, давай чаю попьем». А из этих блюдечек кошки да собаки едят... Отец сказывал: «Меня чуть с души не своротило». Уж на что бедная была, а церкву построила.. Уж очень ей хотелось. Это она за отца.. Отец у нее тут похороненный был в склепе... Про мужа-то она никогда и не поминала, а вот за отца Над его, значит, могилой... Мы ведь и не знали, что тут склепа.. Это уж потом получилось. Только что могила была, крест стоял железный, с венком.. Да.. А потом Барыня четыре столба вокруг поставила, а на их — церкву.. Только денег-то у Барыни уж не было, кончились деньги-то. Так вот, сказывают, она луга свои заречные, да лес у ней был, да вот и именье свое — все продала тогда фабриканту Демидову... Все продала Барыня, чтобы, значит, это отца-то почтить, церкву-то поставить.. А тут уж и революция, церкви-то, они и не нужны стали. И Демидов уж не попользовался купленным. Тут и в городе-то их из домов попросили. Так церква у Барыни недостроенная и стояла. Но уж рамы были, полы настланы, потолок... Алтарь уж был. Только что иконы не повешены, а так-то все готово. Маленькая была церква, деревянная... Я ведь почему знаю, мальчонком еще с пацанами лазили в окно. В церкву-то... Окна были — где квадратики, где овалы, где круги... А так-то Барыня образована была. Отец сказывал, три языка знала. Книг у нее было много, да все ноты эти для пианины... Потом все в кучу стащили да жгли. Ну, а которые книжки с картинками, те мальчишки растаскивали. А без картинок-то они кому ин-

тересны?.. Или вот ноты те... Сначала у Барыни лошадь была да кучер Прокопий. Вон в том доме жил. А уж потом она лошадь продала, он ее на своей возил... А то и с Аннушкой на телеге ездила Барыня. И обряд тут уж у нее какой — шаль да вельветово пальтишко... Молоко Барыне наши носили, деревенские... С большой дороги у нее огонек всегда было видать... А в буран мужики к Барыне ночевать ходили. «Пойдем, дескать, к Барыне». Она не запиралась даже. Отец-то ей, бывало, скажет: «Барыня, Барыня, больно просто ты живешь... Наскочут ведь». А Барыня ему: «Голубчик, если меня убьют, значит, судьба у меня такая...» Хотелось ей, видать, мученической-то смерти... «И потом, — говорит, — со мной Боженька и шесть дружков». Это наган у нее какой-то был, говорят, шестиствольный... Так-то Барыня отцу говорила. И вот утром баба одна наша понесла ей молоко. Идет коридором, а шкапы-то все отворены, да ноты эти все из шкапов повыкинуты... Баба идет, только шкапы закрывает... Может, думает, Барыня угорела? Да и к ней скорей бежит... А она-то, Барыня, лежит на кровати и на стул свисает... Вся багровая. И на темени мозг видать... Ну, тут в колоколо ударили. У нас там часовня была. «Барыню! Барыню убили!» Все сбежались, а Барыня так на стул свисает с кровати и стонет: «О!.. О!.. О!..» — «Барыня, кто тебя? Барыня, кто тебя?» Уж она ничего не ответила, не сказала... А знала, видно. Тут ее на лошадь, да и в больницу. Только не доехали, дорогой померла Барыня. Назад вернулись... Не довезли до больницы. А кровать-то у нее напротив двери стояла, и огонек всегда ночью горит. А на столике лежал наган припасенный. Барыня, наверно, протянула руку — вот я в тебя выстрелю... Это мы уж после тогда плановали. У нее рука была расщиплена. Ей со свету-то в темноту не видать целиться... А тут ей по руке и шарахнули, выбили шестиствольного-то дружка.. И тринадцать ран складным ножом в щеки. Мучили Барыню перед смертью, врач сказывал... Где, дескать, твои деньги? Все думали, есть

у ней деньги... А уж чтоб прикончить, по темени шархнули. Мозг был виден... Это уж в самую революцию, тогда и не искали их. Подумаешь, Барыню прикончили.. У нее только что пропало — зеркало со стены, наган этот да шаль черная, она зимой ходила. Потом зеркало это у одних появилось. Было это зеркало у них, только теперь уж и они умерли. А кто искать-то будет? У Барыни никого не было. Жила одна поедная. А денег у ней не нашли. Только что под матрацем вышитое это... Чем в церкви Дары покрывают, это нашли... Это она сама вышивала для церкви. А дом-то потом еще стоял. Сколько лет... И дом, и кухня, и церква.. Только уж потом его, дом, внутри весь ободрали... Трюмо было, как в хорошем магазине, стулья на колесах мягкие, пианина... Все тогда вывезли в народный дом. И куда все делось? Видно, по начальству пошло... А дом-то весь растаскали. Такая по ночам таскотня была. Сначала рамы стали снимать, двери. Потому что ручки хорошие были, никелированные... Потом внутри весь ободрали — плинтуса, тес... Израцовы печки — и те растащили. Тут все наши деревенские воры шабарили. А мы, молодежь, туда гулять ходили, беседу там устроили... Без дверей он стоял, без рам. Мальчишки камнями все стекла цветные повыбили... А гулять в нем хорошо — и холодок, и дождик не каплет. Гуляли мы там каждый вечер. Только что в церкву еще заходить боялись — стояла она на замке закрытая... И вот, помню, в самый-то Духов День, на другой день Троицы, сестра у меня замуж выходила... Пропивать сестрицу-то к нам ехали... А тут часа в два, в три вспыхнул там пожарище... А она у нас за симпатию выходила. Такой был красавик... И вот старики считали, что плохо дело. Примета нехорошая — на свадьбу пожар... Парень-то был высокий, красивый... И вот на шестой год оставил он ее. Помер. Порок сердца... А к нам ехал тогда пропой. А мальчишки-то маленькие, наверно, курили на чердаке ноты-то эти, вот оно и занялось. А ведь она drankой крыта, в Тро-

ицу, в сухоту-то такую... Ударили тут в колоколо: «Барынин дом горит! Барынин дом горит!» Тот-то вон край мужики едва и отстояли. Только еще овин сгорел... Ну, и все Барынино именье подчистую... И церква, и кельи... Большой-то дом больно красивый был. Жалко... И весь стеклянный, насквозь его видать... Раз она, Барыня-то, попов к себе ждала, да в большом доме стол накрыла... Они, попы, ведь тогда ходили по домам в престол да на Рождество — Христа славили... Ну, вот и Барыня готовилась — накрыла стол. Пошла опять в кухню за новым, за кушаньем, а дверь-то стеклянную не заперла... А мальчишки наши и увидали. Влетели туда, глядят — сыр... Мы ведь раньше-то сыру не знали, не пробовали, что такое. Глядят, сыр нарезанный стоит. Схватили да и уехали в болото. Давай пробовать... Тыпфу ты, какая гадость!.. Все побросали... А Барыня после жаловалась: «Только, — говорит, — я вышла, они у меня сыр стащили». Добрая была Барыня... Ну, а как уж тут все сгорело, мужики наши давай фундамент ломать, кирпичи таскать... И вот как тут получилось. Мальчишки там по саду бегали, играли. Сад-то еще был. И вот слышат, вроде в этом месте под ногой зыбит, гудит. Вроде там пусто... Ну, давай ковырять, а там кирпич. Это под церковью-то, где церква у Барыни была... Кирпич. А они давай камнем бить... Все клады тогда искали. Пробили в кирпиче дыру... Кинули камень, а там загремело. Склёпа, значит... Гроб-то был оцинкованный, как все равно вот ведро. Они все больше да больше расковыривают... Расковыряли, сделали как в подполье лазею... И гроб этот видать. Пойдем вот так же, бывало, по воду на колодец да полюбуемся — там гроб стоит... И как-то тут в воскресенье мужики наши подвыпили да и уговорились: давайте разломаем гроб. Пожалуй, что там золотая шашка есть. Отец-то Барынин военный был. Говорили, генерал. Может, шашка золотая или золотые часы... Ну, Барыня-то не дура, она золотую вещь не закопает. А мужики-то дураки, думают захватить да поделиться... Заж-

гли сноп соломы, дело-то уж под вечер. Иван Иванович Шеин спрыгнул туда и давай вскрывать этот цинковый-то гроб. Ломом. Думает, там часы золотые... Долго ломал, ведь завинчено все, да и заржавело. А там внутри гроб уж деревянный, чистый. Ничего ему не сделалось, вода-то не проходила... А внутри чего — костюм у его, кости, белая подушка, волосы... Уж ищеило все, ислело... Все перевероршили, склёпу тут народ окружил. Ничего не обнаружили, чтобы там шашка или какая шпага... Или золотые часы. Только что медную пряжку нашли... Помню, волосы были желтые... А так все ислело. Перевероршили могилу и разошлись народ... Его ведь еще когда хоронили... Я-то не помню. Знаю только, Барыня по нем поминки устроила. С неделю сюда со всех деревень шли обедать... Только что объявили, чтоб со своими ложками. Все шли целую неделю. Кто хочет, поди... Кому только лень не пошли, а так все тут были... Это Барыня ему, отцу-то, поминки делала... Отца поминала. Добрая была Барыня. И великая была лечебница. Лечила всех, никому не откажет. У нее аптечка была, травы Барыня выискивала. А уж у кого чирей, нарыв ли, примочки какие — всем помогала... Я раз прибегаю к ней: «Барыня, Барыня, дай пластырь». — «А у кого чего болит?» — «У Коли у брата палец нарывает». — «Николке бы не надо давать, он у меня собачью кастрюльку кинул». Три собачки были у нее мохнатенькие... Никогда не откажет. И всех нас, ребяташек, по именам знала... Ну, расковыряли мы тогда эту склёпу, а тут как на грех такая оказия... Барыниным садом тогда гоняли стадо. Ну, одна коровенка — то ли на нее бык насел, то ли своя же корова — только что залетела она в эту самую склёпу... Ну, опять в колоколо: «Корова в склёпу попала! Корова в склёпу попала!» Чего тут делать? Народ собрался, ахают... Как ее вынешь? Веревкой поуродовать можно... Ну, тут вышел мой отец покойник. «Неси, — говорит, — мужики, лопаты». И давай в склёпу-то землю кидать. Накидали земли, ровень стало, ну, коро-

ва-то и вышла... Да... Так вот и склёпу зарыли. А уж тут чего осталось? Только что сад... Да внизу у Барыни была насажена березовая роща. Я еще мальчонком, помню, грибы белые там собирал. Рощу свели. Еще вокруг всего имения акации росли. Так квадратом, и канавы были. Забора-то у Барыни не было. Ну, акацию эту мужики вырубил, все плетни себе городили. Тоже всю свели... Вот и не осталось ничего... Только что этот колодец. Да место уж больно красивое... А колодец давно копаный. Мне уж шестьдесят шесть, а он все был, колодец-то. На свои деньги Барыня копала. У нас мужики и тут копали, и там, а все воды нет. А вот Барыня нашла. Ключи там какие-то... И на самой, гляди, горе. Вот добро-то какое оставила селу, поит нас водою сколько лет. А вода-то какая, вы распробуйте... И вот раходит. Барыня его любила, он разговористый был мужик. «Голубчик, — все говорит, — голубчик...» А он ей: «Барыня, Барыня, вот ты, говорят, поешь да на пианине своей играешь. Хоть бы раз мне чего сыграла да спела, а то ведь никогда». А голос, сказывают, у ней был замечательный... Вот уж сколько лет прошло, и отец помер, а я так и не забыл песню ту, что ему Барыня пела. Отец ее часто вспоминал, как она ее пела... Открыла Барыня пианину, заиграла и запела нараспев:

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел.
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов.
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой...

июль 1971

Троллейбус выплевывает меня на конечной остановке, а сам делает крутой вираж, чтобы катиться в обратном направлении... Я стою среди этажерок на каком-то подобии площади и озираюсь. Это еще хороший час, и меня не толкают, не сбивают с ног, не обдают из-под колес грязью...

Не то чтобы безлюдно, но все тут выстроились покорными хвостами возле палаток и ларьков... Проходя, я заглядываю через спины — чем торгуют?... С отворачиванием гляжу на угреватые апельсины, на чумазые яйца в картонных сотах, на обернутые в целлофан клочки растерзанной коровы...

Надо миновать еще одно развеселое местечко... Большая желтая будка с пивом, а вокруг роится мужичье... Все загажено тут до невозможности — жестяные банки, окурки, рыба кожа... А гегемонстры с ближайших строек устраиваются прямо на земле, ставят кружки, тут же на газете хлеб, колбаса, у кого-то водка... Кто-то уже спит пьяный, кого-то рвет спазматически...

Боже мой, неужто они и впрямь не достойны ничего лучшего?..

Я возвращаюсь домой...

Вы видели когда-нибудь, как русская баба моет пол?

Как она подоткнет подол, как сложится в поясном поклоне, как заголит свои необъятные розовые окорока, как начнет в этом положении пятиться на тебя, стоящего на последнем острове, спасающегося на крошечном кусочке сухого пола, а она надвигается всем своим внушительным дерьмером медленно и неотвратно, как оползень, как эпидемия, как судьба...

Тетья Паша мыла лестницу и опускалась по маршу шаг за шагом, со своим ведром, со своей тряпкой, со своими брызгами и тоненькими водопадными струйками, а я стоял внизу на площадке, почти прижавшись к двери

лифта, и внимал ей, отвечающей на мой вопрос... Она говорила натужно, с передышками, слова чередовались у нее с всплесками воды в ведре...

— Как же... был у ней, был... Как не знать... Культурный такой... Обходительный... Да ведь она его схоронила... Уж год, как схоронила... Больше году... Поехали они... это... тогда на юг... Провались он пропадом... этот юг... Ну, а там он... это и того... холеру подхватил... а она не заразилась... только что его схоронила... Она, вишь, жива... а он, вишь, помер... да... холера... там его и схоронила... а так-то он у ней хороший был... культурный... ничего не скажешь... культурный...

Тетя Паша сошла с последней ступеньки, выпрямилась и подхватила ведро, а я все стоял у двери лифта не в силах отойти, не в силах двинуться, не в силах пальцем пошевелишь...

Культурный...

В тени вечерних кипарисов...

Где это я читал, что на Востоке кипарис считается деревом смерти?..

Вечером того же дня мне пришлось разворошить четыре картонных ящика в углу моей комнаты, пока я отыскал нужный том Брокгаузовского словаря, и я не смог отказать себе в мрачном удовольствии, и я выписал несколько абзацев из статьи «Холера азиатская»...

Милостивые государыни и милостивые государи! Наш концерт подходит к концу... Сейчас разрешите мне объявить несколько необычный номер, принадлежащий к так называемому эпистолярному жанру... Я обнаружил это письмо не сразу. Наверное, месяца через три после того, как дети принесли мне Цистерну. Оно было сложено вчетверо и находилось среди таких же сложенных листков в

конце папки, а до них я добрался в самую последнюю очередь... Я до сих пор не могу понять, что же это такое — недописанное послание или просто черновик..

Приспичило мне, душа Тряпичкин, настрочить тебе письмо. Да к тому же еще и лирическое — с признаниями... Застрял я что-то тут, в прекрасном своем далеке, странная вышла со мною история...

Ты, да и все вы, я знаю, удивляетесь новому проявлению моего юродства — для чего я удираю из престольной в этот паршивый городишко и месяцами отсюда не вылажу... А нынче я почему-то решился сам ответить тебе на этот вопрос, который ты мне так никогда и не задал впрямую, но, по-моему, он всегда вертится у тебя на языке. А я, честно сказать, никогда не отвечал на него прямо даже Мадам.

Это все — весьма давняя история. Ты, надеюсь, не забыл еще, как несколько лет назад я на зиму забрался в глушь вологодских лесов и преусердно строчил там пиесу для театра. Кончил я работу уже Великим Постом и стал оттуда выбираться.

Сначала был грузовик, уже тронутая апрелем накатанная зимняя дорога, потом набитый людьми и клубами табачного дыма дощатый павильончик, ожидание рабочего поезда, штурм одного из трех темных вагонов — электричества нет — за стеклами пыльных фонарей оплывают огарки, станция Вохтога — первый полуживилизованный пункт, до поезда восемь часов, глубокая ночь, на вокзале все скамейки заняты спящими, темные улицы пристанционного поселка, чудом найденный дом приезжих, заспанная баба, сейф, исчезающий мой паспорт, разноголовый храп, одна из двадцати с лишним указанная мне кровать, липкие, совершенно мокрые простыни, и это — все же удобство, синее утро, снова вокзал, два часа в сидячем вагоне, Буй — маленький костромской городок, воскресенье, река еще подо льдом, сразу за мостом церковь, на

вид очень древняя, конец обедни, сотни две причастников — ТЕЛА ХРИСТОВА ПРИИМИТЕ, ИСТОЧНИКА БЕССМЕРТНАГО ВКУСИТЕ — рыжий батюшка с потиром и лжицею, — и вот, наконец пробегающий московский экспресс, чуть ли не из Пекина, мягкий вагон — совершенно пустой, лишь один человек в одном купе, он, как и положено командированному, в пижаме, скука и сожаление в его провожающем меня на верхнюю полку взоре, а там — мечта опального поэта — сухие простыни, буржуазный конверт убаюкивающего железнодорожного сна, и часа через три, когда я спрыгнул вниз с довольной и помятой от сна физиономией...

Мы наконец оказались визави с моим попугачиком, и он выплеснул на меня свою тоску по собеседнику, накопившуюся несколько суток. Он рассказал мне едва ли не всю свою жизнь... Но Бог с ней, с его жизнью... Он оказался врачом, нет, не настоящим эскулапом, а медицинским начальником из Тюмени... Но он, черт бы его побрал, сам того не подозревая, запустил мне ежа под череп. Он награждал меня сюжетом, пожалуй, почище тех, которыми Пушкин одаривал Гоголя. Он в простоте своей и подозревать не мог, что он делает с тридцатилетним литератором, который тогда еще изо всех сил хотел быть лояльным и даже вез в рюкзаке пьесу для театра в твердой надежде на то, что она будет поставлена...

Между прочими глупостями, составлявшими нехитрое его жизнеописание, он мне вот что рассказал... Вообрази, душа Тряпичкин, себе Тюмень... Я бы мог даже так начать: Тюмень — один из самых скверных городов и т. д. Я был там дня три — несколько старых зданий на главной улице, но все невероятно загажено за годы сталинских пятилеток (без права переписки и с последующим поражением в правах.) Окраины — чуть отраднее, сибирские деревянные дома, а потом опять мерзость — вонючие заводы, свалки и прочие прелести российского пригородного ландшафта...

Словом, он рассказал мне, как несколько лет тому пригнали на один из тюменских заводов цистерну древесного, метилового спирта..

...как директор завода, кое-что предвидя, приставил к этой цистерне специального охранника..

...как ему, охраннику, долго втолковывали, что этот спирт — страшный яд..

...как рабочие завода все-таки уговорили охранника попробовать, дескать — «знаем», начальники это нарочно говорят..

...как они-таки попробовали, и отравы, конечно, подействовала не сразу..

...как пошли тащить ведрами и жбанами и как разворовали в первый же день несколько сот литров..

...как спирт стал растекаться по городу и близлежащим деревням..

...как в местную больницу стали доставлять первых отравленных и как те молчали, боялись признаться, чем отравились..

...как, тем временем, появились и первые покойники..

...как кто-то все же проговорился, что это за отравы..

...как пустили наконец по следам милицию..

...как отравы распространялась все дальше и дальше..

...как целый жбан этого зелья попал на свадьбу..

...как команда речного катера отплыла в рейс, захватив с собой канистру и как через несколько дней над этим неуправляемым катером каркали хищные птицы..

...как выписали в срочном порядке из Москвы профессора — специалиста по отравлениям..

...как выяснилась поразительная вещь (такого сюжетного поворота нарочно не выдумашь!) — противоядием метиловому, древесному спирту может служить только этиловый, винный спирт..

...как умирающие в больнице отказывались принимать

противоядие, потому что по вкусу и виду оно ничем не отличалось от отравы...

...как спаслись в конце концов только те из пьяниц, кто после ворованного спирта глотнул еще чего-нибудь, словом, кому — «не хватило»...

...и как в общей сложности на тот свет отправились почти триста человек...

Ну-с, душа Тряпичкин, а теперь признавайся, слышал ли ты когда-нибудь более российскую по своей сути историю? Есть на свете сюжет подобный этому, где бы такую роль играли сразу обе погибельные страсти нашего народа — пьянство и воровство?

Что такое в сравнении с этим чума мусью Камуза?

И вообще, куда там Западу до нас. Им для трагедии нужен непременно интриган, злоумышленник, убийца — Яго, Макбет, Клавдий... А у нас сами себя травят, как мухи...

Я, конечно, в тот же миг оценил, какой лакомый кусочек достался мне, грешнику... И вот все годы крутил этот сюжет и так, и сяк, пока он не одолел меня окончательно и не погнал в эти самые края, не столь от Москвы отдаленные...

Я отправился сюда, как честный предатель, как чесатель колхозного льна, так сказать, за живым материалом. А потом вошел во вкус, пристрастился... Книжки записные завел, чиркал в них аккуратненько... Но пока что, как ты сам знаешь, привез я отсюда лишь два десятка икон и еще кое-какой старый хлам...

Записные книжки мои тем временем переполнились, но мне теперь кажется, что ничего существенного в них нет и что я так же далек от реализации лелеянного замысла, как был три года назад.

Твердо знаю только, как это все должно начинаться:

«Вороной, весь промасленный станционный паровоз издал свой щемящий гудочек, шумно выдохнул, — толчок, и цистерна покатила...»

А кончатся должно возгласом попа на вселенской панихиде в Троицкую родительскую субботу — ... И ТЕБЕ СЛАВУ ВОССЫЛАЕМ СО БЕЗНАЧАЛЬНЫМ ТВОИМ ОТЦЕМ И ПРЕСВЯТЫМ И БЛАГИМ И ЖИВОТВОРЯЩИМ ТВОЯМ ДУХОМ, НЫНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМИНЬ.

Но что же будет между двумя этими фразами, убей меня Бог, до этой минуты с достоверностью не знаю.

Да к тому же на второй год моих набегов случилось со мной нечто вовсе непредвиденное. Я стал вдруг почти против воли сочинять, вернее, даже записывать совершенно неожиданные и негаданные рассказы и рассказыки... Меня захлестнул поток персонажей... Мне их вовсе не нужно было столько и таких. Они уже не вмещаются в мой сюжет, они разрывают его и вылезают в прорехи... Я ведь ринулся сюда за фоном, но фон этот вдруг взбесился, лезет вперед и уже забывает самую картину...

Я знаю, мне теперь необходимо сделать титаническое усилие, чтобы спасти сюжет, но я боюсь, я чувствую, что у меня уже не хватит сил для этого рывка... Кажется, я просто-напросто вырос из своего замысла, как гимназист из прошлогоднего мундира. Слишком долго я прособирался...

И вот сижу я теперь в этом своем Болдине, в своей несостоявшейся Йокнапатофе, сижу в полной растерянности... Есть, правда, неотложное дело — непременно надо съездить в небольшую экспедицию. Я натолкнулся случайно на последние остатки Марфо-Мариинской обители. Ты помнишь бунинский «Чистый понедельник»? Там героиня уходит к марфо-мариинским сестрам... Но только это уж к моему сюжету ни с какого бока не подходит.

А тут еще Мадам бомбардирует письмами-ультиматумами, надобно ехать на юг, к морю... Ей ведь, кровь из носу, нужно прогуливать свои новые тряпки в тени вечерних кипарисов...

Но все это еще не беда, даже и не полбеда. А дело-то

в том, что стало мне нечто совсем иное приоткрываться... И нечто это — чудовищная безнравственность всей ситуации. Нельзя мне было прельщаться ни этим, ни каким бы то ни было другим соблазнительным сюжетом. Никак нельзя, нельзя было ехать за одушевленным материалом...

Ах, мне тогда казалось все это так легко и просто: реализма хотите? Так вот же вам ррреализм!!! Вот! Вот! Нател! Нател!!!

И не замечал я в своем запале, не хотел замечать до сих пор, что все искусство это — бесовское. Нет, не только мои записные книжки да рассказы — все, все, все, вся изящная словесность начиная с Данта и кончая самим Федором Михайловичем... Как бы ни клялись они и ни божились, что преданы Христу, — все это чистейшая прелесть в полном, богословском смысле этого слова! Гоголь, Гоголь, сжигающий «Мертвые души», — вот он теперь мой новый идеал!

В мире есть Один, только Один Свет...

Я еду в Москву, мне сегодня необходимо ехать...

Я влезаю в дряблый автобус со старческим трясутымся задом, и он честно довозит меня до самого конца своего маршрута...

Я вываливаюсь в обширную лужу всего в двух шагах от дыры, куда мне следует нырнуть...

Машинка громко икает, проглотив мой двугривенный, и затем осыпает меня золотым дождем из четырех новеньких пятаков...

Вот я медленно опускаюсь в самое подземелье...

Эти кротовые ходы, эти скотопрогонные галереи, которыми мне предстоит сейчас мчаться, имеют у них теперь не только утилитарный, но и какой-то возвышенный, символический смысл. Ими, например, этими катакомбами косвенно определяется граница нынешнего ни на что уже не похожего города...

Я смиренно стою на платформе...

Я жду, когда из черноты тоннеля вырвется с грохотом и лязгом белоглазое чудовище...

Нет, я не вздрогну от неожиданности — я увижу сначала, как на сортирно-кафельной стене вспыхнет отражение его бесценого взгляда...

И я стою, и я гляжу вниз, на рельсы, на их смуглые бока и накатанные серебристые спины...

И между ними зачем-то устроен глубокий желобок, такая канавка, такое углубление...

И даже сами шпалы из-за этого состоят каждая из двух частей, под каждой рельсой своя короткая шпалочка...

И тянется эта канавка вдоль всей платформы, и в тоннеле ее уже нет, и она кончается...

Зачем это?..

Ах, неужели?.. Неужели?..

Нет, вы понимаете?

Вы догадываетесь, зачем она? Зачем тут углубление?..

Да ведь это же для самоубийцы, для самоубийцы! Да ведь это же им последний шанс дается!

Вот загнали тебя под землю, швырнули тебя на рельсы, под стальные колеса... Секунда — и нет тебя, и поминай, как звали...

И вдруг в последний, в последний миг — такое сострадание!

Ты еще можешь спастись, можешь скатиться в этот желоб, в эту сострадательную канавку, в эту сердобольную ямочку...

Ах, какая предусмотрительность! Деликатность какая!

Да я бы расцеловал его, этого архитектора, изобретателя, того, кто ее придумал!.. Я бы руку ему пожал!

Я плачу, просто плачу от умиления!..

Сердобольная ямочка... Сердобольная ямочка!

Вот за что нобелевские премии надо раздавать...

МАТУШКА НАДЕЖДА

— Вот он наш Батюшка... Это уж самые последние годы. Можно сказать, перед смертью... Вот они с Матушкой картошку копают в огороде. Тут еще он помоложе... Вот — хороший снимок. Он вообще у нас фотографий не любил, а про эту сказал: «Пусть останется. Тут я похож». У него и на могилке такая... Он нам так сказал: «Здесь у вас маленькая обитель». Эту избушку для Батюшки Матушкина сестра купила, Вера Владимировна. Когда они после второй ссылки вернулись. В тридцать третьем году. Батюшкина Матушка была Ольга Владимировна... Сколькo-то минус ему тогда дали, сколько не помню... Им тогда родные в Воронеж советовали, а кто-то еще куда-то... Не помню. Ну, вот, а я как раз тут из Туркестана приехала в Москву. Мама у меня умерла, захотелось на могилке побывать. И вот сюда заехала, в деревню к Батюшке. А он мне строго так говорит: «Сестра Зинаида, как ты мне скажешь? Куда мне ехать? В Воронеж или здесь оставаться?» Или еще спрашивает какой-то город... А я: «Почему вы, Батюшка, меня спрашиваете?» — «Нет, — говорит, — ты скажи. Как ты скажешь, так и будет». — «Здесь, — говорю, — Батюшка...» — «Ну, — говорит, — так тут и остановимся...» Вот этот портрет — Матушка наша Великая. Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Это она еще в миру... Красавица была, талия как осиная. Мне еще, помню, лет всего двенадцать было, а родные у меня — дядя — охотники были, егеря... Так вот придут к отцу с матерью и рассказывают. На охоте такой-то князь был и графиня такая-то... И вот как-то рассказали они про Великую Княгиню Елизавету Федоровну. Что она такая, что строгая... Так меня тогда эти слова поразили. Я-то, девчонка, и подумала: вот она — настоящий человек... И, дура была, написала я ей письмо. Так и написала: «Я думаю, что Вы настоящий человек...» Заклеила и отослала... На конверте так и написала: Великой Княгине Елизавете

Федоровне... Ну, конечно, никакого ответа, ничего... Да и я все позабыла. Училась я тогда в прогимназии Лепешкиной, на Пятницкой улице. Хозяйка была Варвара Лепешкина. Там на домашнюю учительницу кончали. И родилась я, и училась, и работала в Москве. Сорок лет прожила, потом попросили об выезде. Отец у меня работал бухгалтером. Да... И вот как-то журнал такой был — «Искра» или «Искры» — не помню... Раз приносят нам этот журнал домой, и в нем на первой странице Великая Княгиня Елизавета Федоровна. И тут у меня опять все всколыхнулось.

Уж она открыла обитель на Большой Ордынке... Поглядела я фотографии, а потом опять все ушло куда-то. Я маму очень любила. Все хотела скорей зарабатывать да деньги ей отдавать... Вот это фотография — тоже Батюшка, только он молодой совсем. Еще только в священники посвятился. Красивый был Батюшка... А у Батюшкиной Матушки носик был курносенький. Уж старые они тут были, а она все говорила: «Какая же я уродина! Вон у Батюшки носик прямо точеный...» А вот они мои Папа с Мамой... Мама была очень строгая. После гимназии поступила я счетоводом в частную контору Селитринова. На Ильинке. А жили мы за Покровкой, в Гавриковом переулке... Потом меня хозяин сделал бухгалтером, и получала я семьдесят пять рублей. Золотом... Так и бегала через Покровку на Ильинку. А раз, году уж в девятьсот девятом, после работы побежала я в Замоскворечье. Спрашиваю у городского: «Где тут Марфо-Мариинская обитель?» Он мне показал. Бегу по Ордынке. Собора еще не было, собор в десятом году выстроился... Еще только одна была больничная церковь — Марфы и Марии, маленькая. Вхожу я, а у них всенощная. Все в белом. Великая Княгиня в белом, сестры в белом... Батюшка в голубом облачении. Ну, думаю, это мне видение. Не помню, как стояла.. Видение это мне... Кончилась всенощная, а я никак не приду в себя... Приложилась и добежала домой через Покровку... Бегу и всю дорогу слезами облива-

юсь... Дома спрашивают: «Где ты была?» — «Где я была, — говорю, — вы не можете себе представить...» И опять все забыла... Вот фотография мы здесь — сестры. Белые апостольники, платья серые туалъденоровые... Одевали, кормили, поили... Одежда зимняя, весенняя... Летние пальто — серые. Осенние — черные... Чулки, все до самых мелочей... До зонтиков... А вот эти, это уже крестовые сестры. У них крест деревянный, и на Кресте — Марфа, Мария, Покров... Это уже — не послушницы. Они уже замуж не выходили. По одной в комнате жили. Там квадратные кивоты светлого дерева. Иконы — Покров обязательно (собор у нас Покровский был), Марфа, Мария... В комнате столик, кресло соломенное — мягкое, с подушкой, гардероб, стульчик, кровать пружинная с волосяным матрацем... Портреты бывали, картины. В келью никто из посторонних входить не имел права, не пускали даже родителей... А для гостей комнаты были... На окнах у всех занавески — белое полотно с розами. Три рубля вроде бы жалованья полагалось — на марки, на письма... А в одиннадцатом году переехала я с отцом, с матерью на Якиманку в дом Толдычина. И все я еще на Ильинке работала, и ничего такого в голове не держу... Замуж тогда собиралась. За вдовца мечтала с двумя детьми, чтоб сирот пожалеть... Раз мне подруга и говорит: «Пойдем на Ордынку, в Марфо-Мариинскую обитель». Как раз под Покров... Все собрались мы, братья, подруга моя... Только я вошла в собор, все у меня воскресло. Едва на ногах устояла. Брат потом дома говорит: «Вы бы посмотрели на Зинаиду, что с ней сделалось...» Ну, тут уж я стала в обитель как следует бегать. Стала к Батюшке проситься на исповедь, причащалась... «Да, — говорит, — нам нужно... Мы сейчас набираем сестер». А про родителей моих не спросил. Я так обрадовалась, скорее к Маме. «Мама, я поступила в обитель!» — «Что?!» — Мама властная такая была. — Ничего подобного! Этого не будет!..» Вот те раз... А ей, конечно, жалко было. Семьдесят пять рублей я приносила,

золотом платили — горсточку получишь. И все до копеечки я ей отдавала... Я опять к Батюшке. «Не пускают меня». — «Нет, — говорит, — против родительской воли мы не можем...» Ну, я думаю, Великую Княгиню спрошу, саму хозяйку... В Больничной церкви вечером она стояла, народу никого не было. Кто-то читал правило, сестра какая-то. И вдруг смотрю: над Алтарем иконка маленькая — Богородица Скоропослушница. И от нее луч прямо на Матушку Великую... Я тогда не очень это понимала, в церковь мало ходила... «Ваше Высочество, я хочу к вам поступить, а родители не пускают». Она посмотрела на меня — а я хорошо одета, в шляпке — и говорит: «У нас трудно. Знаете, какая работа, в больнице... Ну, я поговорю еще с Батюшкой...» Обнадежили. А потом опять говорят: «Нет, без родителей не можем. Нам старцы запретили принимать без родительского благословения...» И вот семь лет я к ним бегала, семь лет меня не брали... А тут, как я маме сказала, что поступаю, мы тут же с Якиманки переехали подальше от обители. Она подыскала тогда квартиру на Малой Бронной... И я с Малой Бронной пешком на Ордынку. Не могла я у мамы просить на трамвай, она не хотела. Все спят, а я натошак утром в обитель на молитву бегу. Часть обедни отстою и бегу на работу уже на Мясницкую. Там Селитринов новое дело открыл... А жалованье я все целиком, до копейки маме отдавала... Несколько раз к Великой Княгине подходила: «Когда же вы меня возьмете?» — «Ты не умеешь маму просить». Как же еще ее просить, думаю. У нее один ответ: «Иди, пожалуйста, ты мне не дочь». Семь лет бегала. Уж тут, в деревне, последний самый год перед смертью Батюшка у меня прощения просил: «Ты меня, Зиночка, прощаешь?» — «Что вы, Батюшка?» — «Да вот мы тебя семь лет не принимали... Ты бы только сказала тогда, что мама тебя не пускает из-за того, что ты много зарабатываешь. Великая Княгиня платила бы за тебя, сколько надо... А так мы не могли тебя принять. Старцы нам запре-

щали». Был такой у нас старец Алексей из Зосимовой пустыни. Я к нему тогда пришла, а он с кликушами занимался. Думаю, что это он с ними возится... У меня тут дело важное такое... Ну, потом «Батюшка, я к вам...» Еще ничего не успела сказать, он как взглянет на меня: «Ишь чего захотела — в обитель? Сначала послужи родителям, а потом в обитель!» Я иду на обратном пути, и вот ругаю его, вот ругаю... Что это за старцы такие? Не понимают ничего! Тут у человека горе, а они не понимают... Богородице я тогда молилась... А у нас в доме икона — Казанская Божия Матерь. Я, бывало, к ней стул подставляю: «Что же Ты меня не слышишь, что ли»?.. Вот дура-то была... А вот этот снимок — Валентина Сергеевна, наша вторая настоятельница. Как Великую Матушку увезли, так она у нас стала. Ее Патриарх Тихон ставил. Тут она еще крестовой сестрой сфотографировалась... Верила твердо. Чуть что: «Что ты, душенька? А Марфа и Мария? Марфа и Мария нам помогут...» Это у нее первое слово... Прямо детская вера была: чуть что — Господь, Марфа и Мария... Господь, Марфа и Мария... Великая Матушка молитвенница была, а Валентина Сергеевна для обители трудилась. Та была Мария, а эта — Марфа... Нас с ней в Туркестан выслали в двадцать шестом году... Пришли, обитель заняли и всем велели убираться. Только что взять личные вещи. Солдаты там стояли — охраняли... Им-то что — им только приказали. Одна сестра свою швейную машинку выносила — проходи, не тронули. А еще одна часы такие огромные, апостольником накрыла и несет. И аккурат когда она мимо солдата шла, часы-то у нее и забили... Да, а нас семнадцать человек сочли за администрацию. Всех крестовых сестер да нас с Фросей... Какая мы с ней администрация?... Только что близкие были. И слушались. Как нас попросят что — так и летали на крыльях любви к обители и к начальству... Прислали нам такие билеты. Приезжайте на вокзал, с этими билетами бесплатно, отдельный вагон. И отправились мы до Кзыл-Орды, столица Казахста-

на. Это было как раз на Взыскание Погибших, пятого февраля. Приехали туда — десятого. День Ангела нашей настоятельницы Валентины Сергеевны. Купила она нам плюшек... Мы ведь были тогда самые первые ссыльные, на нас все с удивлением смотрели... Двадцать шестой год. Пошли в НКВД. Приходим туда, нам говорят: «Будете все здесь работать. Нам здесь хорошие работники нужны». А мы и поверили. На другой день пришли, уже говорят: «Мы вас здесь всех не можем оставить, должны вас отправить в пять городов. Вы, — говорят, — сговоритесь, кто с кем хочет и поедете...» Мы и сговорились. Настоятельница выбрала тогда нас четверых — Фросеньку мою, меня и еще двух сестер... Опять приходим к ним. «Сговорились?» — «Сговорились». — «Я — с ней». — «Мы — с ней...» — «Так, — говорят. — Вы с ней? Поедете отдельно! И вы — отдельно!...» Так никому и не дали ни с кем. Тут всех нас и меня с Фросенькой разлучили. Ее — в Туркестан, а меня в Чимкент назначили. «Никаких разговоров! Поменьше говори, а то на верблюдах тебя в степь загоним!» С Валентиной Сергеевной мне потом все-таки разрешили... И вот стали мы разъезжаться в разные стороны — Алма-Ата, Козолинск, Туркестан, Чимкент... Фросин поезд отходил в четыре дня, мы с ней прощались так ужасно. Я на площадку зашла, плачу. Вдруг смотрю, Валентина Сергеевна такая печальная стоит... «Ты только меня не бросай...» Старенькая она уже была... И вот поехали мы с ней в Козолинск. Город ужасный. Домики с плоскими крышами, ни дерева, ни кустика никакого... Только один, смотрю, хорошенький домик — с крышей, деревянный. Вот бы, думаю, нам снять... Я пошла туда, вышла какая-то старуха, испугалась нас... Потом выходит старик, красивый такой... «Пожалуйста, — говорит, — у меня только что жильцы уехали, могу вам сдать». — «Мы, — говорю, — ссыльные...» — «А для меня это не имеет значения. Десять рублей в месяц...» У них там икона, диван, столик, полы крашеные... Только устроились, мне Валентина Сер-

геевна говорит: «Иди в финотдел». А мне боязно... Ну, иду на другой день. «Ничего, что ссыльные, — говорят, — нам работники такие московские очень нужны. Приходите». Жалованье мне опять — семьдесят пять, только уж не золотом... Устроились мы там замечательно. Когда нас из Москвы-то попросили, старушка одна на вокзале Валентине Сергеевне корзинку сунула. А там — одеяло вязаное, Великая Княгиня ей сама вязала, на шелку, потом матрасик волосяной, белье и занавески, главное, наши — у всех в обители были одинаковые, с большими розами... Ну, это я все приладила.. А тут и Валентина Сергеевна моя пошла работать к нам в финотдел. Она математик была, кончила какой-то математический факультет... Ее тогда взяли в налоговый отдел. Так начальник говорит: «Я не напасусь на нее работы». Она за два часа все сосчитает и идет ко мне: «Пойдем домой, душенька». А мне нельзя, я работаю... «Неужели, душенька, нельзя уйти домой?» Но только она недолго проработала. Через месяц начальник говорит: «Не могу я двух ссыльных в отделе держать». Пришлось ей уйти, а я осталась. И в НКВД так любезно нас приняли. Все смеялись. «У нас, — говорят, — такое доверие к ссыльной, у нее все секретные бумаги на руках». Это — у меня, в финотделе. И каждую неделю мы должны были приходиться к ним расписываться. Я им говорю, что Валентина Сергеевна старая, больная. Ну, говорят, пусть раз в месяц приходит. Раз я прихожу расписываться, а жена этого главного НКВД выходит из квартиры: «Зайдите, у меня горячие пирожки, чаю попьем». Неудобно не пойти... Только зашла я, села — входит начальник. Я испугалась. А он: «Сидите, сидите. Пейте, пожалуйста, кушайте...» И так хорошо мы жили... Только что Валентина Сергеевна у меня на табуретке сидела.. И задумала я ей кресло сделать... И человек нашелся такой, сделал ей кресло. С прямой спинкой, так подлокотники... И в День Ангела я ей поставила... Она у меня чуть не заплакала. «Ну, вот, — говорит, — опять я —

настоятельница». Так и жили мы с ней до двадцать восьмого года. И тут снится мне Святитель Филипп. На небе. Солнце светит, и он там стоит. А в Пятницу на Страстной повестка в НКВД. Я прихожу. «Вы, — говорят, — свободны. За вас мать хлопотала». — «Мне одной?» — «Да, — говорят, — только вас освободили». — «Я никуда от вас не поеду». Они там прямо поразились. «Ты что, праведница?» — «Нет, — говорю, — не поеду». — «Гляди, она с ума сошла...» Прихожу домой. Даже не хотела говорить Валентине Сергеевне. Она сама спрашивает: «Ну, что там?» — «Да вот, — говорю, — мать за меня, оказывается, хлопотала.. Освободили меня». Она так поглядела на меня: «К Фросе теперь поедешь?» — «Нет, — говорю, — я вас не оставляю». Да... Так и дожили до двадцать девятого года. А тут нам всем прощение вышло. Только минус Москва и область. И мне так же. Не уехала я тогда, и опять вроде мне прибавили. Валентина Сергеевна говорит: «Сейчас же пиши Фросе, пусть все готовятся ехать в Ростов. К Святителю Дмитрию, к Святителю Дмитрию». Фрося нам отвечает: «Дорогая Валентина Сергеевна, не ездите в Россию. Здесь у нас в Туркестане так хорошо, приезжайте к нам...» А Валентина Сергеевна ни в какую! «Душенька, она с ума сошла! Не ехать в Россию! Сейчас же пиши, чтобы все собирались!..» Так и поехали мы в Россию, в Ростов... Приехали — Валентина Сергеевна, Катя, Фрося и я... Тут, в Ростове, много сестер было, они все потом в тюрьму пошли. Нашла я хозяйку дома, она нам сдала: платить пятнадцать, кажется, рублей. Зала метров двадцать и маленькая комнатка. Она торговала сама, в Ярославле с лотком ходила... И недолго мы тут пожили. Помню, праздник был, под Успение... Поехали с Валентиной Сергеевной в церковь, а Фрося не пошла. Приходим от всенощной, а она лежит у нас с мигренями. «Приходил, — говорит, — человек из НКВД, свой. Что вы, говорит, наделали? Зачем вы все сюда приехали? На вас теперь опять дело завели и опять вас всех сошлют,

только уж теперь всех врозь. Немедленно уезжайте!» Так мы все и уехали от Святителя Дмитрия. А которые не уехали, все в тюрьму пошли... Фрося сначала поехала одна в Туркестан, а уж потом мы с Валентиной Сергеевной к ней... Вот она — моя Фросенька... Тут с цветами сфотографировалась. Она цветы так любила, так любила... Все, бывало, их целует. Ей наш зосимовский старец Алексей, как постригал ее в рясофор, дал имя — Любовь. И благословил тогда, чтобы так это имя и в монашестве осталось. Монахиня Любовь... Бывало, когда к нам в обитель сестры шли, он, старец Алексей, всегда говорил: «Идите в Марфо-Мариинскую. Там одна Фрося чего стоит...» В голодное время всю нашу обитель спасла. Пошла в деревню Семеновку, это за Калужской заставой, познакомилась там с крестьянами. Ну а потом они нам и помогли в революцию... А мы детей у них крестили... Я и сейчас, в Москве когда, у крестника, у семеновского живу... Девочки их, семеновские, в обители воспитывались. Одеждой им помогали, а они нам хлебом, картошкой... Церкви у них там не было, так им церковь построили по благословению патриарха Тихона... Вот фотография, как ее закладывают... Вот Батюшка наш — в митре, в облачении... А в обитель Фросю преподобный Онуфрий привел. Она жила в Харькове, сама харьковская... И вот приснился ей сон — преподобный Онуфрий... Вот его икона, с длинной бородой... Явился он ей во сне и провел ее по всем местам, и где грешники в огне мучаются, и в снегу замерзшие мучаются, потом показал, как праведники ликуют... И благословил ее преподобный Онуфрий идти в Москву, в Марфо-Мариинскую обитель... А она тогда ничего еще не знала. Проснулась и стала всех в Харькове спрашивать, есть ли такая Марфо-Мариинская обитель в Москве? «Есть», — говорят. Так она в обители и появилась... Фросенька моя... Он и потом ей много являлся во сне, преподобный Онуфрий. Посты ей назначал... Один раз она ровно тридцать семь суток не ела, не пила ни капельки... А как

работала! Из Семеновки по два мешка картошки — восемь верст — несла, всю обитель кормила.. А мне Батюшка поститься не благословлял. Я его прошу, а он мне: «Твой пост — ешь досыта!» Слабой меня считал.. А я вот, видишь, всех и пережила... Ты уж меня прости, старуху, я так бестолково говорю... У меня вечно одно за другое цепляется.. Да.. И вот поехали мы тогда обратно в Туркестан. Сняли у хозяйки одной, в каменном доме — две комнаты... Там к ссыльным тогда еще очень хорошо относились — узбеки, киргизы, бухарские евреи. И квартиры нам давали, и все... Церкви там в городе две были — в центре Святителя Николая, и еще два часа ходьбы — Покрова.. Хорошенькая такая церковь, маленькая... Там все ссыльных хоронили. Одного киевского архимандрита, помню, рядом с Алтарем положили... Я поступила тогда в продснаб. Рублей шестьдесят-семьдесят — неплохо получала. Счетоводом была. Люди там — замечательные. Прижились мы там... Двух девочек я грамоте учила. Потом одну на почту устроила, а другую — себе в помощники... А Фрося моя — там палатку открыли мороженым торговать — вот она и пошла. Потом одеяла стали шить. Фрося, прямо как художник, такие рисунки, такие узоры выдумывала.. Заказы так и полетели... Словом, хорошо жили... Фрося вечером придет, я вернусь... Валентина Сергеевна спрашивает: «Сколько сегодня продала? Сколько заработали?» В церковь ходили в апостольниках, как в обители. На клиросе пели... У Фроси голос был изумительный, Апостола она читала бесподобно... А потом Валентина Сергеевна наша бедненькая слегла. Очень мучилась, мучил ее «враг» перед смертью. Мы дежурили по очереди... Ночи не спали. Вот сидим раз около нее, а она в полубессознательном состоянии. Потом повернулась: «Фрося, Фрося, погляди — преподобный Серафим... Тянет меня туда.. А там так высоко, высоко...» А на другое утро спрашивает: «Что у нас сегодня — не суббота? Будет всенощная?» — «Зачем вам суббота? — говорим. — Зачем вам

всенощная?» — «Мне надо...» И теряет сознание. А это было в июле, как раз восемнадцатого числа... Как раз под преподобного Серафима... И вот только всенощная кончилась, она у нас и скончалась... Священник только пришел. Тоже, конечно, все ссыльные священники... Какое переживание было ужасное... Вынесли мы ее в церковь... Жара, скорей, скорей... И похороны такие были — Боже мой!.. Хоронили возле той церкви Покрова, рядом с архимандритом этим... Народу было... Это, значит, тридцать первый год... А к нам туда все шлют и шлют, все едут ссыльные... А Фрося моя всех устраивала их и на квартиру, и на работу. В НКВД так и говорили им, ссыльным: «Идите в трудовую контору Журило». Это Фросина фамилия — Журило. Она всех устраивала, всем все доставала... Раз сижу я в своем продснабе на работе. «Иди, — говорят, — тебя там поп какой-то спрашивает». Я выхожу, думаю, как это поп?.. Батюшки мои! Архиерей! Высокий такой архиепископ Амвросий Виленский. Его выслали и с ним монахинь шестьдесят человек... Отпросилась я, идем домой... А монахини у нас в саду сидят.

Ну, тут моя Фрося развернулась... Соседи — кто муку, кто крупу несет... Суп мы им наварили — шутка ли обедом накормить шестьдесят человек... А Владыку мы определили в комнату Валентины Сергеевны. Ей как раз сорок дней было. И стал он нам рассказывать. Я плачу, смотрю, и Фрося моя плачет и платком слезы вытирает. А она увидела, что я реву, разорвала платок пополам и дает мне. А Владыка поглядел и говорит: «Сколько лет живу да свете, первый раз вижу такой раздел имущества». А на другой день услали его в Сузак. Сто двадцать километров на верблюдах, по самой жаре... Фрося ему, правда, тележку раздобыла. Корзинку мы ему с собой дали, зонт от солнца и письмо в Сузак к врачу одному, к нашему знакомому... Собрали мы его, не знаю, уж как он, бедняга, ехал... А только прислал нам врач наш письмо, что Владыка через

два дня в Сузаке умер. Не выдержал... Царствие ему Небесное... А на этом снимке тоже наша Матушка Великая. Это она тут в черном апостольнике сфотографировалась и тоже — настоятельский крест. Она власяницу носила и вериги, да только мы никто не знали, после уж стало известно. Она даже картошку в подвале перебирать ходила. Раз сестры заспорили, не хотят никто туда идти. Она ничего не сказала, только оделась и пошла сама... Тут уж все за ней побежали... А то еще раз пошли мы в собор, там в подвале места нам были приготовлены, чтобы сестер хоронить... А Матушка Великая тут нам и говорит: «А я хочу, чтобы меня положили в Святой Земле». Сестры тут удивились: «Как это?.. А мы тут как же?» А она больше ничего не сказала... А последний раз я ее видела в восемнадцатом году, я еще в обители не была, все бегала. После службы. В соборе уже никого не было. Она меня подозвала: «Подойди ко мне. Как жаль, что ты не можешь упрости маму... Но мы с Батюшкой поговорили и решили тебе дать послушание, как нашей сестре. Пока твое послушание — послужи родителям. А в обители ты будешь. Будешь! Ты веришь мне?» — «Ну, ладно, — тогда думаю, — что мне с вами делать?» А на тот год сестры наши собрались ехать в Зосимову Пустынь, к старцу Алексею, и меня с собой зовут. Ну, думаю, лучше мне не ехать. Он, говорят, прозорливый, сразу узнает, как я его ругала тогда, когда первый-то раз от него шла... Но все-таки они меня уговорили. И вот стоим мы перед обедней, ждем его, как он в церковь пойдет, чтобы взять у него благословение... А была у нас сестра Татьяна, княжна Голицына, высокая такая, большая... Вот я за нее и спряталась... Не заметит, думаю... И вот он идет... Подходит, сразу рукой ее отстраняет, увидел меня и говорит: «А... Зинушка пришла..» А на другой день принял он нас... И меня принял. Села я у него, и стал он мне все мои грехи говорить — от самой юности, каких я и не помнила... И вот сижу я и

плачу... В жизни так не плакала — слезы прямо по всему лицу, все лицо омывают... А он мне своей бородой их вытирает и говорит: «Как бы я хотел, чтобы ты сейчас умерла». — «Что вы, — говорю, — батюшка, я не хочу умирать. Я в обители хочу потрудиться». — «Ну, в обители ты будешь, сама не заметишь, как там очутишься...» А ведь он это всю мою жизнь тогда предвидел... Да... А тут как раз отпуск мне — две недели. С восьмого июля, в Казанскую как раз. Я маме говорю: «Хочу провести отпуск в обители. Я уже с Фросей договорилась, с Батюшкой, с Валентиной Сергеевной». — «Как?! Это что такое? — говорит. — Какой тебе там отдых будет?» Я говорю: «Дай мне хоть в этом волю»... Нет, это уж был девятнадцатый год, Великой Матушки уже не было... Прихожу я в обитель к Батюшке: «Вот я в отпуск к вам». — «Правильно, — говорит, — давно бы так...» Ну, а кончился мой отпуск под преподобного Серафима. Иду к Батюшке в кабинет, он: «Ну, отдохнула, теперь, значит, на работу пойдешь?» А я говорю: «Не пойду! Я теперь не пойду!» А Батюшка так удивленно говорит: «Как же так?» — «Как хотите, сяду вот на лестнице и не пойду никуда. Не пойду домой...» Он прямо удивился очень: «Да, — говорит, — давно бы тебе пора к нам... Все-таки сходи еще раз к маме, попроси благословения...» Я побежала пешком с Ордынки на Тверскую... Бежала, такая жара была ужасная... А сестра младшая меня встречает, девятнадцать лет, замужняя уже была... «Соня, я в обитель поступаю!» — «Ну и что?» — «Я вот маме боюсь сказать...» — «А ты скажи и все!» Я села за стол... Мама сидит у самовара, чай разливает. Чувствую, она беспокойная. Вообще-то она со мной не разговаривала почти. Я прямо и бахнула: «Мама, я поступаю в обитель!» Как она вскочит, всплеснула руками: «Так я и знала! Доканали! Иди на все четыре стороны! Ты мне не дочь!» А я и не знаю, что ей сказать. Я говорю: «Мама, все-таки надо меня пожалеть. Сколько лет я вам

служу и никому... Братья все женились, сестра вышла замуж. И никто тебе ничего не говорил, разрешения не спрашивали, сами устроились и все. А мне уж пора подумать о своем будущем. Вы же знаете, замуж я не пойду... А если бы я и пошла, разве бы я вам так могла служить, как буду вам служить в обители?..» — «Я тебе сказала: ничего мне от тебя не нужно, иди на все четыре стороны. Я тебя не знаю...» Вдруг папа приходит. Я к нему тогда: «Папа, ну когда же вы меня отпустите? Я вишу между небом и землей. Ни у вас я, ни там я...» Папа говорит: «Мать, надо отпустить...» Только он это сказал, схватила я икону — Скоропослушницу — встала на колени перед мамой: «Благословляй!» Заставила ее в руки икону взять и ее руками себя кресту... А папу и забыла... И кубарем с лестницы, так и убежала. Только икону под мышку... Прибежала к Батюшке красная как рак. Целый час я бежала по Садовой улице. «Батюшка, благослови!» (Уж не сказала ему, как она меня благословляла.) — «Ну, слава Богу, теперь ты — наша сестра...» Так и поступила... А вот этот снимок — патриарх Тихон. Он нашу обитель любил. И Батюшку нашего с Батюшкиной Матушкой Ольгой в монахи постригал, так что уж Батюшка стал архимандрит Сергей, а Батюшкина Матушка — монахиня Елизавета... Любил патриарх нашу обитель. Бывал часто. Встречали его... Девочки наши воспитанницы в ряд выстраивались и розы ему под ноги бросали. У нас двадцать две девочки круглые сироты воспитывались и среднее образование получали... Одинокие старухи жили, за ними сестры ухаживали. Мальчик один, помню, был расслабленный, калеки, бедные всякие... Великая Матушка снимала еще специальные дома — один для чахоточных женщин, а другой для фабричных девушек. Обеды были в обители бесплатные. Каждый день пятьсот обедов для бедных. Больница на тридцать кроватей тоже бесплатная. Амбулатория, самые известные профессора принимали... И все сами сестры обслуживали, и

на кухне, и всюду. И аптека была, давались бесплатные лекарства. Сестры ходили по домам на окраины города, где подвалы. Искали бедных. Кому что нужно. У одних, например, отец безработный — работу находили. У других мать шить может, а машины нет. Машину покупали. Одежду раздавали, детям обувь. Великая Княгиня переодевалась и даже на Хитров рынок ходила, оттуда людей вытаскивать... А к Рождеству у нас устраивали в амбулатории елку громадную для бедных детей. На елке игрушки, сласти, а главное — теплая одежда, сестры сами шили. И валенки для девочек и мальчиков. А последнее дело Великой Матушки, уж она его не кончила, начала строить пятиэтажный дом кирпичный. Для бедных студентов, чтобы все для них общее. И все бы это свои бы сестры обслуживали... А сестер у нас принимали всех званий и состояний: княжны у нас были Оболенская, Голицына — и самые деревенские. И всем вначале одинаковое послушание давалась. Княжна ли ты, графиня или самые крестьянки полевые... Это уж потом по уму-разуму, кто на что способен. А вначале хоть ты княжна, а мой пол, мой посуду. Это Батюшка назначал. Он у нас был духовник и настоятель... Великая Княгиня тоже всех принимала сестер. К ней все идут жаловаться. К ней с такими делами, с которыми скорее идти к матери, чем к отцу. Она как мать была, а Батюшка как отец... А это — белый-то клобук — митрополит Елевферий. После двадцать третьего года, как нашего Батюшку в первый раз сослали, он у нас в обители служил. Тогда был отец Вениамин. А потом видишь, архиереем стал, был Ленинградский Владыка. Санкт-Петербургский... А после войны мы с Фросей тетку его навещали, совсем уж старенькая она была. Плачет горькими слезами: «Фросенька, Веничку-то моего как обидели... Назвали-то как — Елиферь какой-то...» Да... А в Туркестане мы с Фросей хорошо жили. До тридцать восьмого года. А тут приходит моя Фрося с базара и приносит открытку,

а на ней так — домик и дорога. Показывает мне и говорит: «Поедем-ка мы с тобой в Москву. У Батюшки побываем...» А Батюшка наш после второй ссылки опять тут, в деревне был... Ну, сели и поехали. И у Батюшки тут побывали... А только присылают нам из Туркестана письмо, что арестовали там Надежду Эммануиловну, нашу сестру (она княжна была) и Агафью Александровну, старосту церковную... А церкви в это время уже обе закрыты были... И вот Агафья Александровна ездила все хлопотала, чтоб хоть одну на весь город открыть. Открыто хлопотала. И когда мы уехали в Москву, их забрали и обеих расстреляли... Шофер НКВД знакомый был, он потом рассказывал. Княжна очень кричала, ей тряпкой заткнули рот. Так она, говорит, наверное, задохнулась. А Агафья Александровна ехала — только молилась. Ее тоже поставили, она молча встала... Они выстрелили, она упала... Стали ее землей засыпать. А она кричит: «Я жива! Жива!» Так ее и засыпали... Мученица великая, Царствие ей небесное... Только за церковь хлопотала. И у нас с Фросей на квартире был обыск, так что нам написали, чтобы мы пока не ехали. Пока это все не уляжется... И вот приехали мы сюда, к Батюшке. Смотрим, старенький уже такой старичок в синей курточке... А сюда не позволяли к нему ездить власти. Чтобы никакого общения с ним не было. И церковь тут уж не служила, она в тридцать третьем году кончилась. Он тут сидел — ни шагу, никуда... Так только в магазин ходил... Да... А в Москве у моего брата нас не прописали. Сказали: «Мы не прописываем сейчас никого». Туда мы сунулись, сюда... Фрося говорит: «Поедем в Харьков». Там у ней много родственников было — племянников, племянниц, что-то такое семьдесят человек. Вот мы поехали туда. Нас в Москве мои родные снабдили. Громадный узел дали: там дадите своим, что же вы так приедете... Шали, платки, отрезы... Приняли нас хорошо. Там у одних племянников, там у других. А мы, по глупости, рас-

сказали, отчего нам в Туркестан нельзя ехать. И вот все стали бояться нас прописывать. А там ловили которые без прописки. И на машинах отправляли на какие-то работы. Потом предстояло время выборов. И перед выборами такое волнение — всюду искали непрописанных... Прямо шкафы открывали. А тут мы уже жили у одной Фросиной племянницы. Молодая вдова, племянница. Хорошая такая женщина, простая... Домик собственный. И Фросе снится преподобный Онуфрий и говорит ей: «Какая ты малодушная. Ничего не бойся!» И вот Настенька, эта племянница, говорит: «Пойду последний раз попрошу, чтобы начальник вас прописал». А Фрося дала ей с собой иконку преподобного Онуфрия. Приходит она в милицию, а там прям плач стоит — никого не прописывает. Он всех гонит. Орет на многих. Ну, тут Настенькина очередь доходит, а уж она ни жива ни мертва... Вдруг он улыбнулся: «Ты, — говорит, — что так волнуешься?» — «А вот, — говорит, — ко мне тетя из Туркестана приехала, боюсь, не пропишете». И прописал! На две недели или на месяц. И мы спокойно восседали в зале выборов. И даже выбирали кого-то... Кончились наши две недели, и поехали мы опять в Москву. И опять без прописки мыкались... А тут приснился мне наш Батюшка. Будто я стою на лесенке, а там наверху икона Божией Матери, а он мне говорит: «Молись, молись... Это — Одигитрия, Она все дела устраивает...» И вот одна знакомая старушка профессорша Бобрыкова говорит: «Около нашей дачи школа новая строится. Поезжайте туда, живите у нас на даче. Может быть, на работу в школу вас возьмут и пропишут». Поехали мы туда, поговорили с директором. «Давайте, — говорит, — давайте! Нам очень нужны работники! И счетный нужен, и технический. По хозяйственным делам человек». И прописал он нас постоянно. А потом в Тайнинку его перевели, и мы с ним туда. Комнату нам дал большую, и жили мы расчудесно. Всю войну там прожили. Только бомбили

там ужасно. Там вагонный завод со школой рядом, все в него метили. Но так и не попали. А как бомбежка, мы с Фросей сидим в коридоре и молимся. И все учителя к нам жмутся. Тут все за Бога взялись... Директор очень Фросю ценил. Во всем с ней советовался и в какую краску классы красить. Всюду ее с собой возил. Была она у него правая рука... Четыре года нас в отпуск не отпускал... Так там мы и жили до сорок шестого года вместе... А вот тут, в рамке, это — наша обитель. Какая она была... Ворота, тут куполок... Видишь, под ним икона... А там дальше — собор. Его в десятом году освящал митрополит Трифон... А жили вот в этих, в соседних домах. Их Великая Княгиня в восьмом году, когда они с Батюшкой обитель открывали, купила у одной старушки. Так все, пять домов. Сначала у них одна всего с Батюшкой сестра была, Батюшкина какая-то сотрудница, а потом понемножку стали набирать сестер. К восемнадцатому году уже нас сто пять было... Тут в соборе беседы были духовные — митрополиты, архиереи участвовали... Ставили стулья в соборе, по лавкам народ и сестры... После вечерни воскресной... И тут проповеди читались, объяснения молитв... Такая у нас была духовная жизнь, это в честь Марии. А больница и все прочее — это в честь Марфы... А здесь Батюшка сфотографировался на своей квартире обительской. В скуфье вот на этом самом кресле сидит. Вот как-то уцелело кресло его и еще один вот этот молочничек. ММОМ — Марфо-Мариинская обитель милосердия... У нас вся такая посуда была... А кресло это так тут у него и стояло у окна. Сидит он на нем, бывало, старенький, а скуфья упадет и в ногах где-нибудь лежит. «Батюшка, — скажешь, — скуфья упала». — «Ну, вот, — скажет, — хоть скуфья смиряется, коли я не смиряюсь...» А это — церковь здешняя деревенская, какая она была. Сейчас-то вон погляди в окно, теперь что осталось — уголок один. Вон там в нише-то, ты, наверно, разглядишь, я-то уж не вижу, там икона еще —

Деисус... Как ее не выбили? Это чудо. Как тут престольный праздник — на Покрова и на девятую пятницу, так ребята пьяные начинают с утра в нее кирпичи швырять. А выбить не могут. А за ними и мальчишки маленькие... Только она пока не поддается... И так вот два раза в год тут празднуют. А ведь она — красавица была, погляди-ка. По проекту Казакова. До тридцать третьего года тут служили. Только уж тогда Батюшке ходить в нее запретили. Говорят, дескать, вы приходите, благословяете всех. Чтобы этого не было. Народ вас тут встречает, вы опасный человек... Он только что ходил по будням, лишь бы причаститься и помолиться. Чтобы никто его не видел. А народ к нему ходил все равно. У кого корова телится, у кого — что. Почитали его. Вот и на могилу к нему до сих пор все идут и идут. Уж мы и не знаем, кто, а все идут. А тогда ему НКВД тут и шагу ступить не давали... Они ведь, было дело, и меня вербовали. Еще в Тайнинке, в школе ко мне явились. Раз приходит ко мне директор школы и говорит: «Вам надо зайти в Красный уголок». Я удивилась, иду. Там сидят двое. Иван Тимофеевич и Николай Александрович. «У вас фамилия, — спрашивают, — немецкая?» — «Наверное, — говорю, — немецкая. Только у меня вся родня русская. И бабушка была русская. Не знаю, почему такая фамилия». — «Ну, — говорят, — как вы здесь живете? Может быть, вам трудно? Мы могли бы вам комнату в Москве дать. Картошкой вас обеспечим. А то ведь сейчас голодно». — «Спасибо, — говорю, — у нас все есть. Живем очень хорошо. Всем довольны». — «А то, — говорят, — вы для нас самый подходящий работник...» — «Нет, — говорю, — я и тут на хорошей работе». — «Ну, — говорят, — мы вам еще будем звонить». И позвонил мне этот, Иван Тимофеевич. Назначил мне свидание в метро «Дзержинская». Встретились мы с ним, и ведет он меня прямо на Лубянку. «Куда вы меня ведете?» — «А вы, — говорит, — не бойтесь». Входим в парадное. Там у них ковры. Зал,

стол во всю длину, стулья. Роскошь — зеркала, красивая обстановка. И виден ряд комнат. И там слышу крик. Кричит кто-то на кого-то. Ну, думаю, сейчас мне тоже будет... И у меня тут со страху сделалось расстройство желудка... Ну, а потом открывается дверь, и выходит Николай Александрович, этот — в военной форме. Приглашает в комнату. Там кровать такая аккуратненькая. Сели. «Вы знаете что-нибудь о Марфо-Мариинской обители?» — «Не только знаю, я там жила». — «Что же вы нам об этом не сказали?» — «А вы не спрашивали». — «Вот вы и напишите нам, что знаете об обители, о Батюшке, о Великой Княгине». — «Это было такое дело, так людям помогали, — говорю. — Жаль теперь нет...» — «Мы сами знаем». — «Ну, а знаете, так чего же вам писать?» — «А вы все-таки напишите...» А потом стали меня таскать, стали назначать дни. «Вот вы работаете в школе, последите за учителями, что они говорят». — «Что я — шпионка?» Обиделись: «Что это значит — шпионка?!» А потом он, главный-то, уехал куда-то, который меня допрашивал. И он говорит: «Будет у вас Иван Тимофеевич временно». Один раз назначил мне Иван Тимофеевич свидание в Александровском саду. Сели на лавочку. «Мы вас, — говорит, — еще не спрашивали про деревню Семеновку. Какое у вас знакомство с семеновскими?» Ну, я и говорю: «Они наши благодети были. Близкие нашей обители...» А он: «Почему вы все молчите? Все из вас надо выжимать...» Ну, а потом я уже уехала сюда, к Батюшке. А они долго в школе интересовались, куда я делась... А вот это фотография — Великая Княгиня. Тут уже она вдовой. Это Батюшке был подарок: «Елизавета. Память совместных трудов. 1904/5» Она ведь была принцесса Гессенская, внучка королевы Виктории... А когда еще совсем молоденькой девочкой была, там у себя в Германии, с детства она все стремилась помогать бедным. Ее прапрабабушка была тоже Елизавета совершенно необыкновенная. Она нищих любила, чудеса твори-

ла. А наша Великая Матушка очень много слышала об этой прабабушке, и вот с детства она тоже хотела служить бедным, главное, больным. А тут она девушкой еще была, и во дворце у них там мальчик, брат ее маленький, из окна выпал и разбился на смерть. Так она первая подбежала и на руках его окровавленного несла... И вот уж тут она окончательно себе обет дала не выходить замуж, а помогать бедным... А государь наш был друг ее отцу, Федору. И вот говорит он своему брату Сергею Александровичу: «Поезжай, сватай у герцога Федора дочь Елизавету». А Сергей Александрович тоже уже решил не жениться, но он не имел права отказаться от воли государя. Поехал он туда. Он приехал и поговорил с отцом. А герцог ему говорит: «Это я не могу решать, поговорите с ней самой». И вот они решили, Сергей Александрович с Елизаветой, чтобы не обидеть государя и не разбить их дружбу с императором всероссийским, и она, жалея отца, согласилась на то, что они будут муж и жена только для дома Романовых и для народа... А так будут хранить жизнь девственную. Она приехала сюда, и брак этот был совершен... Теперь они поселились во дворце в Кремле... А он был московский губернатор назначен. Тогда существовало это подпольное, у которого было решение убить Сергея Александровича. Его почему-то не любили... Или уже начиналось это, чтобы уничтожить весь дом Романовых?.. А Великая Княгиня получала такие письма, чтобы она с ним не ездила.. Потому что ее убивать не хотят, она делала много добра для народа. А она все время нарочно с ним ездила, оберегала его. Ну, в один прекрасный день — как раз они должны были куда-то поехать в коляске, две лошади, кучер их постоянный — и уже сели в коляску... Вдруг она говорит: «Ах, я забыла что-то...» Платочек там или еще какую-то мелочь... И побежала. И в это время случилось... Был убит и кучер, и лошади. Она только кусочки подбирала... И палец с обручальным кольцом нашла.

Потом ходила к нему в тюрьму. Говорит: «Зачем вы это сделали? Убили человека...» А он ей ответил: «Это не мое дело. Это мне приказали». Она тогда написала Николаю, просила простить. А Государь ответил ей, что помилование никогда не дается убийцам, кто убил из дома Романовых, и он ничего не может сделать... Его повесили потом или там — не знаю. И тут уж она сразу решила, что нужно начать какое-то дело... Вот поехала она в Орел. А она была шеф Черниговского полка, который там стоял, в Орле. А Батюшка наш был военным священником этого полка.. И он уже был священник знаменитый, он там особенно отличился. Родился-то он в Воронеже, в Воронежской губернии в семье сельского священника. Потом, кажется, на врача учился, а потом сразу повернул на священника. И вот он уже был в Орле, как-то во сне ему явился Святитель Митрофаний и ангел. Святитель говорит ему: «Стой и жди. Сейчас придет к тебе Божия Мать». Он, конечно, на колени, и явилась ему Богородица и говорит: «Ты должен выстроить церковь во имя Покрова...» И все ему подробно объяснила, какое устройство должно быть, где какие иконы... И вот он сделал все, как ему Божия Мать приказала. Денег-то у него не было, не хватало средств. Но он все сам-один собрал... И чудеса там тоже были. Там женщина в Орле жила, у которой кирпичный завод. И вот раз снится этой хозяйке сон, будто приходит к ней Прекрасная Женщина и говорит: «Как тебе не стыдно. Тут церковь строят, кирпича им не хватает... А ты каждый день два раза мимо едешь и не догадываешься дать кирпич... Не видишь, что у меня нет кирпича?» — «А кто вы?» — спрашивает. «А я, — говорит, — Хозяйка этого Дома...» Наутро она скорей бежит к Батюшке: «Сколько вам надо кирпича? Берите!.. А я-то по два раза в день мимо ездил и не соображу, что кирпича у вас нет...» И вот построил он церковь и стал служить, и столько всего у них было. И облачения неизвестно откуда

взялись, шестьдесят облачений было. Я спрашиваю его: «Что вам, Батюшка, жертвовали?» — «Не знаю», — говорит. А при церкви он библиотеку устроил, школу. В этой школе законоучителем стал. Сейчас храм, говорят, давно сломан, а школа так и стоит... Он вот и в Орле уже такие дела делал, обительские... А потом Великая Княгиня попросила его устав написать. В каком виде это будет обитель. Он и написал ей. Она тогда говорит: «Вы должны там быть настоятелем». А он не хотел из Орла, из своего храма уезжать. Очень любили его в Орле. Почитали. Вот и сейчас сюда еще из Орла его дети духовные приезжают... И вот было. Только он отказался ехать в Москву, обитель строить, у него страшно рука распухла. Врачи говорят: «Это что-то очень серьезное». Чуть не отнимать руку. Он тогда думает: «Может, мне это наказание?..» И согласился. Сейчас же рука прошла. Он опять отказался, опять распухла... И так до трех раз. Тут уж ничего не поделаешь... И вот устроили они с Великой Матушкой обитель такую, в которой можно было бы делать все виды добра, милосердия. А особенно больным помогать... Мы ведь там не монахини были, сестры милосердия главным образом. В монастырях вся жизнь внутри сосредоточивается, а у нас было служение миру. Это уж потом монашество приняли. Фрося приняла монашество тайное — наше тайное считается — по благословию старца Алексия в девятьсот пятом году... Это — в рясофор. А меня тогда не постригли. И уж в сорок седьмом году, за год до своей смерти, выходит Батюшка отсюда из комнаты. Видно, молился. «Скорей, скорей, — говорит, — я должен вас постричь. Готовьтесь...» Один день меня в рясофор, а потом в мантию вместе с Фросей. Фросю-то Любовью еще старец нарек... «А тебя, — Батюшка спрашивает, — как назовем?» А Фросе преподобный Онуфрий сказал во сне: «Надежда». Так и стала я — монахиня Надежда... А после, когда уж постриг, я в форме монашеской сидела за этим вот

столом, Батюшка и говорит: «Как это ты так говорила обеты? Их надо твердо говорить, а ты мямлила...» Вот за этим самым столом. Батюшка, бывало, как что поставит, так у него стоит годы — не меняется... И вот прислал он тогда после войны уже письмо. Не нам с Фросей, а своим родственникам, своей Матушки родственникам... У Матушки Батюшкиной случился паралич, а у него — жаба, и вот они вдвоем в этой избушке. Мы как узнали, Фрося загорячилась: «Бросай работу и сейчас же поезжай к Батюшке!» И сама отпросилась на день в школе. А мы у них только еще совсем недавно были — на именины, двадцать пятое сентября. А тут — пятое октября. Батюшка сидит на скамеечке около дома. Задыхается, бедненький, у него приступ жабы. И вдруг мы идем. «Что такое? Что это вы приехали? Что это значит?» — «А мы, — говорим, — прочли письмо». Фрося говорит: «Я к вам Зину определяю, пусть вам поможет». — «Что ты, Фросенька... Она сама больная, а мы такие тяжелые...» — «Ну, пока, Батюшка, позвольте. Дверь вам буду открывать... (А к нему народ целый день — все идут и идут, а он все бежит, дверь открывает.) Матушке помогу, стоговую... А обратно я не поеду, если не выгоните. А так прошу благословения мне тут пожить...» — «Но я так боюсь, ты ведь тоже больная... И Фрося там одна...» — «Нет, — говорю, — теперь вы у нас тут один, я должна вам тут послужить...» И вот Фрося уехала, а я осталась. Сначала ничего не знала, в деревне ведь никогда не жила. Как печки топить. Батюшка говорит: «Ты и самовар поставить не сумеешь, в трубу воду нальешь...» И так осталась я тут. Прожила недели две и привыкла. Уборку произвела у них тут, это я любительница. И к Батюшкиной Матушке я уже привыкла. Она лежачая больная была. Надо ее умыть, посадить, приготовить ей еду, завтрак дать. Только чашечку кофею с молоком и кусочек хлеба маленький с маслом, яичко... И все. Больше она целый день ничего не ест. А в постный

день вообще есть не станет. Только, может, хлеба кусочек и чашку чаю без молока... И вот говорит Батюшка Матушке: «Олюшка, как хорошо нам с Зиной...» Вот так вот стояла его кушетка, а я на печке спала... И вот утром строго он мне так говорит: «Сестра Зинаида, пойдите сюда...» Я испугалась, сейчас гнать будет. А он мне говорит: «Здесь у нас маленькая Марфо-Мариинская обитель. Я — старый настоятель... Матушка моя — больная монахиня. Можешь ты нам послужить?» А я: «Батюшка, как благословите. Если вы меня называете сестрой, я буду рада вам послужить. Я себя считаю недостойной...» — «Ну, тогда, — говорит, — ты здесь останешься до смерти. Только вот что я тебя с Фросей разлучил.. Ну, ничего, и Фрося здесь будет...» Тут я и осталась. Бывало, Матушку вымою. А он сам моется. Посадит меня сюда к окну: «Ты сиди тут и смотри в окно, не поворачивайся. Нельзя...» А Матушка с постели: «Можно, можно! Скорей можно!..» Это чтоб он оделся скорее, не простудился. А потом чай ему приготовлю, воду уберу. И он у меня чай пьет после бани. И так это хорошо мы зажили, то есть мне особенно хорошо... Фрося приезжала к нам часто. Крупы всегда привезет, сахару и всего — от семеновских, да и так. А я себе на печке обклеила, иконы, устроила себе уголок... Батюшка заглянет: «Тут у тебя келья»... А потом еще наша сестра — Поля — к нам приехала. И стала она по хозяйству и в огороде, и с печкой, а я при Батюшке... И вот заболел он у нас. И Матушка его болеет, и сам заболел — простудился, крупозное воспаление легких. Уже не вставал. Раз мы с Полей молились преподобному Сергию, акафист читали. Батюшка очнулся: «Что это вы такое там делаете? Благоухание какое-то?» — «А это мы, Батюшка, акафист преподобному Сергию читаем». — «А-а. Я и гляжу: Старец стоит...» А другой раз плохо ему стало: «Зина, читай отходную...» Я читаю, боюсь, а он и говорит: «Вот святитель Митрофаний подходит, благословляет...» А потом уж со-

всем плохо: «Надо причаститься... Дай мне Святые Дары...» Они у него тут хранились... Потом попросил зеркальце. У нас тут зеркала не было, Батюшка говорил, что у монаха зеркала не должно быть... Взял зеркальце, поглядел и говорит: «Еще жизнь есть...» А последние минуты днем наступали. «Давайте, — говорю, — Батюшка, переоденемся...» Переодели мы его, сел он поперек кровати. А я посуду мыла чайную. А он так тяжело дышит и на меня смотрит... Глаза такие большие... И вдруг как откинулся об стенку головой и... готов. Я схватила свечку, скорей молиться... А Матушка из-за занавески: «Что там такое?» — «Ничего... С.Батюшкой плохо...» Тут она встала и поглядела: «Что это? Все?...» Скорее узелок свой схватила и на кровать... А ей когда-то сказали, что она в один день с ним умрет. Было это двадцать третьего марта, на день Лидии. Народ к нему, конечно, шел. Платочки ему в гроб клали, полежат они там, и опять берут себе. Гроб такой громадный был, широкий... А так легко вынесли в эту дверь — все удивлялись. Погода была ужасная, дождь лил прямо на него. И Матушка тогда ехала, лошадь сзади шла. А его до кладбища на руках несли... Одна деревенская речь говорила: «Как нам не плакать? Кто это говорит, чтоб мы не плакали?... Все мы к нему прибежали, всем он нам советовал...» И так громко кричала, на все кладбище... Пришли мы с похорон. Матушка легла, забылась... И вдруг как закричит: «Что? Два года? Два года!...» — и заплакала. Это ей еще, значит, два года смерти ждать... «Так долго, так долго...» И прожила она у нас еще два с лишним года. Мы-то думали, она скоро за ним пойдет. А на вторую годовщину опять узелок свой взяла, ждала смерти... Потом расплакалась: «Скоро ли?» Умерла в сентябре, в день своего Ангела. Ночью очень мучилась. Я Псалтырь ей читала... Глядит на стенку, а тут этот портрет Батюшки и висел, она и говорит: «Скоро?! Скоро?! Скоро?!...» И схоронили мы ее в Батюшкиной могиле, рядом гроб положи-

ли... И вот после ее смерти Фросе во сне является Батюшка. И как стукнет посохом: «Сейчас же бросай работу, езжай живи к Зине!» Она ему: «Батюшка, мне пенсию надо отработать». — «Никакая тебе не нужна пенсия. Езжай к Зине!» И стали мы тут жить с Фросенькой. А потом и ее я схоронила. Она свою смерть предчувствовала. Ко всем за десять даже километров прощаться ходила. Насчет похорон все распорядилась, как поминки, как что... Это она нашим деревенским, а мне не велела говорить, и сама ничего не говорила. Жалела меня... Сердцебиение у нее было ужасное, врачи удивлялись... А все что-то делала, не могла без дела... Что-то делала в огороде, упала — сотрясение мозга... Потом простудилась — воспаление легких. Я ей вот тут кровать поставила, она так и лежала. И все, все терпела. Это как наш Батюшка говорил: «Не просто терпение, а благодарное и радостное терпение...» Первого марта — Антонины праздник был — пришли к нам две имянинницы Антонина и Евдокия. Блинов принесли, рыбы жареной... Масленица была. Фрося моя так хорошо блинков поела... Ну, ушли гости. Она лежит. «А ты, — говорит, — читай вечернюю молитву...» Я читаю, и все она что-нибудь видит. «Смотри, — говорит, — сколько ко мне гостей пришло... Марфа, Мария, преподобный Онуфрий, преподобный Сергей, Матушка Великая... Что это они тебя благословляют, а меня нет... Ах, вот и меня благословили... Батюшка, пришел Батюшка... А Зина как же?...» Тут она и заплакала. Это он, наверное, ей сказал, что я еще тут останусь... А на утро поднялась в шесть часов. Ходит по комнате, смотрит... Я ей: «Ну что ты встала?» Она — ни слова. Потом: «Зина, ты все хорошенько убери. Чтобы на комодке порядок был...» Подошла ко мне, к комоду, поглядела на меня и повалилась... Похоронили мы ее тоже с Батюшкой, гроб в гроб... Вот и осталась я тут одна.. А Батюшка еще при жизни говорил: «Я после смерти вас не оставляю. Буду иметь дерзновение у Господа. Буду о всех о вас забо-

титься...» Это ему Матушка Великая всех поручила, когда ее арестовывали... В восемнадцатом году. Приехали они в обитель во Вторник на Пасху, в третий день. «Мы должны вас увезти». Тут сразу вся обитель узнала, все сбежались. Она попросилась у них помолиться. Разрешили. Пошла она в больничную церковь. Батюшка к ней пришел. Сестры окружили... «Ну, — эти говорят, — надо ехать». А сестры тут: «Не отдадим мать!» Схватили ее руками. А они говорят Батюшке: «Мы ведь посланные. Мы должны это сделать, чтобы хуже не было...» Посадили ее и сестру с ней, келейницу ее Варвару... Она говорит Батюшке: «Оставляю вам моих цыпляток...» Была она и мать, и друг, и настоятельница была мудрая. И молитвенница особенная. Стояла, как изваяние, не шелохнется. Сколько раз в церкви заплаканную ее видела... И повезли ее... И сестры бежали за ней, сколько могли... Кто прямо падал по дороге... А я тут как раз пришла к обедне. Слышу, диакон читает ектенью и не может, плачет... И увезли ее в Екатеринбург, с каким-то провожатым и Варвара с ней. Не разлучилась... Потом письмо нам прислала, Батюшке и каждой сестре. Сто пять записочек было вложено и каждой по ее характеру. Из Евангелия, из Библии изречения, а кому от себя... Она всех сестер, всех своих детей знала... И потом еще посылка от нее пришла — булочки какие-то нам всем... Говорят, потом их всех в шахту бросили. А Варваре сказали: «Вас мы не хотим бросать. Вы к ихней фамилии не принадлежите». А она им: «Как с Матушкой поступаете, так и со мной...» Не разлучилась... А еще говорят, что в Святой Земле, в монастыре нашем, русском, есть гроба их серебряные — Матушки Великой и Варвары... Там она и легла, где хотела... А Батюшка еще Фросе во сне говорил: «Не тревожьтесь ни о чем. Все у вас будет в достатке». Я вот пенсию не получаю, хоть у меня стаж сорок лет... А живу — и никакой нужды... Дрова мне добрые люди бесплатно привозят... Огород копают, все сажают... За элект-

ричество с меня денег не берут... Хлеба всегда принесут, молока.. И деньги присылают... Мне тут один из города, из собеса, пришел воды напиться: «Что-то, — говорит, — я вас не знаю. Вы пенсию получаете?» — «Нет», — говорю. «Как так?» — «А вот так...» — «Я вам могу выхлопотать». — «А мне, — говорю, — она не нужна...» Так и живу тут, как Батюшка мне благословил, до смерти... А летом тут у меня народу много... Сестры бывают наши — Даша, Мария, Нина, Анна.. Приезжают хоть на денек к Батюшке на могилку. Дети его духовные из Москвы, из Орла — каждый год... Да мало уж нас в живых сестер-то осталось, штук, наверное, двадцать... Батюшка нам так сказал: «Здесь у вас маленькая обитель. Всех, кто приходит к вам, принимайте...»

Господи, до смерти моей не дай мне забыть — курчавые облака, небо, распахнутое над лугами и дальним лесом, речушка Малица, толпа старых берез с тучей птиц над ними, грачиное «Р» над полуброшенной деревней, развалины церквушки, избушка Батюшки, его огорода, где он копал картошку, его ель, которая так разрослась, его обительское кресло с потертой бархатной подушкой, кивот с безыскусными украшениями, лампадки, бумажные сытинские иконки, Святитель Митрофаний, Преподобный Онуфрий с бородою ниже колен, Преподобный Серафим согбенный и в такой же полумантии, как у Батюшки, и фотографии, фотографии — удивительное Батюшкино лицо, Великая Матушка с прямым носом и тонкими губами, Валентина Сергеевна, Батюшкина Матушка, Фросенька с цветами, и вечером тоненький голосок: «Се Жених грядет в полнощи...» и самая Матушка Надежда, и как она провожала меня, как мы шли с ней через рожь, и как она потом стояла возле кладбища, где Батюшкина могилка, худая и прямая, со своим посохом, и как смотрела мне вслед, и как я, уже не различая черт ее лица, все еще

чувствовал на себе ее взгляд несказанной доброты и кротости — все, что осталось в этом мире от Марфо-Мариинской обители милосердия.

июнь-июль 1971

Нет, нет, он не забыл, не забыл...

А я?..

А мне?...

А у меня?...

Да и откуда ей взяться, вере-то?

Елка на Рождество?

Куличи на Пасху?

Блины на масленицу?

В марте жаворонки?

И там где-то далеко-далеко моя няня — не Матрена — та, первая... И вынос Плащаницы... И слеза катится по рябой щеке...

Ах, зачем вы прогнали ее?..

Зачем не разбудили меня к Заутрене?..

Может быть, жизнь моя, вся моя жизнь пошла по-другому?..

Поздно теперь, поздно!

Чего и вспоминать...

Да и вера-то Твоя, вера-то вся ваша — все равно лажейка, все равно — сердобольная ямочка...

Нет!

Нет!

Не хочу!

Не хочу сердобольную ямочку!

Дави меня!

Дави!..

Слышишь?

Ты слышишь?!

Не хо-чу!..

А субботним утром, в канун Троицына Дня длится в церкви бесконечная вселенская панихида. Ясные снопы свечей, разноцветные блики лампадок, женские вздохи, приглушенное всхлипывание, дребезжащее старушечьё «по-ми-ии-луй», шелест записок с именами и монотонные голоса, изредка чуть возвышаемые на слове «новопреставленного».

И вот из этого полусшепота, из этой полумглы вырвался, взмыл к самому куполу четкий голос иерея:

ЯКО ТЫ ЕСИ ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИВОТ И ПОКОЙ
УСОПШИХ РАБ ТВОИХ:

ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЕЙШИХ ПАТРИАРХОВ,

ПРЕОСВЯЩЕННЫХ МИТРОПОЛИТОВ,

АРХИЕПИСКОПОВ;

ЕПИСКОПОВ,

АРХИМАНДРИТОВ,

ПРОТОИЕРЕЕВ,

ИГУМЕНОВ,

ИЕРОМОНАХОВ,

ИЕРЕЕВ,

ДИАКОНОВ,

КЛИРИКОВ,

И ВСЕХ СВЯЩЕННИЧЕСКОГО,

МОНАШЕСКОГО

И КЛИРИЧЕСКОГО ЧИНА,

БЛАЖЕННЫХ СОЗДАТЕЛЯ СВЯТАГО ХРАМА СЕГО,

СЛУЖИВШИХ В НЕМ БРАТИИ НАШИХ,

И ВСЕХ РАБОВ ТВОИХ ПЛОДОНОСИВШИХ И ДОБРОДЕЯВШИХ

В СВЯТЕМ И ВСЕЧЕМ ХРАМЕ СЕМ,

И ВО ВСЕХ СВЯТЫХ ТВОИХ ХРАМАХ И ОБИТЕЛЕХ,

ВО ВСЯКОМ НАЧАЛЬСТЕ И ВЛАСТИ

И СЛУЖЕНИИ БЛАГА РАДИ ОБЩАГО ПОТРУДИВШИХСЯ,

МИЛОВАВШИХ НИЩΙΑ,

ПОСЕЩАВШИХ БОЛЬНЫЯ,
ЗАСТУПАВШИХ НЕМОЩНЫЯ,
ПОДВИЗАВШИХСЯ ЗА ПРАВДУ,
СКОНЧАВШИХСЯ В ПЛЕНЕНИИ И ЗАКЛЮЧЕНИИ,
В ГОРЬКИХ РАБОТАХ, В РУДАХ,
В УЗАХ И ТЕМНИЦАХ,
ПОГИБШИХ ОТ МЕЖДУУСОБИЯ,
И ВСЕХ РАБОВ ТВОИХ ВНЕЗАПНОЮ
И НАСИЛЬСТВЕННОЮ СМЕРТИЮ СКОНЧАВШИХСЯ,
СЯ,
И ПРЕДСМЕРТНОГО ПОКАЯНИЯ
И ПРИЧАЩЕНИЯ СВЯТЫХ ТАИН НЕ СПОДОБИВШИХСЯ,
ПРАВОСЛАВНЫХ ВОИНОВ НА ПОЛИ БРАНИ УБИЕННЫХ,
СКОНЧАВШИХСЯ ВНЕ УМА И ПАМЯТИ,
ОТ РАЗБОЙНИКОВ И НАВЕТЧИКОВ ЖИЗНИ ЛИШЕННЫХ,
УМЕРШИХ ОТ ОГНЯ, ГРОМА И МОЛНИИ, ОТ МРАЗА,
ОТ ЯРОСТИ СКОТОВ И ЗВЕРЕЙ, ГАДОВ И ПТИЦ,
В МОРЕ, РЕКАХ, ЕЗЕРАХ И ИСТОЧНИКАХ УТОПИШИХ,
И ИНЫМИ МНОГОРАЗЛИЧНЫМИ ВИДЫ НЕЧАЯННЫЕ СМЕРТИ СКОНЧАВШИХСЯ,
ПО БЕДСТВЕННОЙ СМЕРТИ ПОГРЕБЕНИЯ ЛИШЕННЫХ,
СИРОТЫ И НИШИЯ,
УБОГИЯ, СТРАННИКИ И МЛАДЕНЦЫ,
ПРАОТЕЦ, ОТЕЦ, БРАТИЙ И СЕСТР НАШИХ,
И ВСЕХ ЯЖЕ ОТ ВЕКА И ДО НЫНЕ ТВОИХ РАБОВ
ОТ ЧЕТЫРЕХ КОНЕЦ ЗЕМЛИ В ПРАВОСЛАВНОЙ
ВЕРЕ СКОНЧАВШИХСЯ,
И ИЖЕ МЫ НЕ ПОМЯНУХОМ НЕВЕДЕНИЕМ,
ЗАБВЕНИЕМ ИЛИ МНОЖЕСТВОМ ИМЕН,

В СЕЙ САМЫЙ ЧАС,
ВОНЬ ЖЕ МОЛИМСЯ ТЕБЕ,
ОТ СЕГО ЗЕМНАГО ЖИТИЯ ОТХОДЯЩИХ,
ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ,
И ТЕБЕ СЛАВУ ВОССЫЛАЕМ
СО БЕЗНАЧАЛЬНЫМ ТВОИМ ОТЦЕМ
И ПРЕСВЯТЫМ И БЛАГИМ И ЖИВОТВОРЯЩИМ
ТВОИМ ДУХОМ
НЫНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ,
АМИНЬ.

11 марта 1977 г.

Москва

СЧАСТЛИВОЕ СВОЙСТВО ПАМЯТИ

Михаила Викторовича Ардова сегодня можно считать автором бестселлеров. Что меня лично чрезвычайно радует. И не только потому, что книги его читать интересно и весело, хотя и это немаловажно. Поговорим о другом. О воспоминаниях.

Память необыкновенный дар. От забвения и небытия человека спасает память, в известном смысле, помнить и значит жить. Беспамятство — род небытия.

И самосознание человека основано на памяти. Или “самостоянье”, говоря по-пушкински, то есть утверждение себя в мире.

Благодаря памяти человек соединяется с историей. Видит свою жизнь. Как часть истории и своей жизнью об истории свидетельствует. И если потеря памяти так страшна для личности, то что ж говорить об историческом беспамятстве. Историческое одиночество не менее страшно.

Человек всегда несет на себе (в себе) груз прошлого. Однако чем весомее груз, тем легче путь. Яснее, по крайней мере. К тому же прошлого всегда больше в жизни человека.

Память и говорит человеку, что прошлое неуничтожимо, а вполне реально и явственно. Воспоминание воссоздает, казалось бы, навсегда утраченное. Можно сказать и так: что вспоминается, помнится, то только и было. Для человека уж во всяком случае.

Переживаемый сегодня бум мемуаристики самого разного рода и отраден, и вполне объясним. Если угодно, то обилие появляющихся мемуаров, указывает на то, что худо ли бедно, но используется предоставленный историей шанс опомниться, что восстанавливается само чувство истории.

Другое дело, что воспоминание воспоминанию рознь. Воссоздавая словом прошлое человек заново творит свою жизнь и зачастую полностью пересоздает ее. Об истории я уж и не говорю. Но дело даже не в предвзятости или злом умысле. Мемуарист может быть настолько поглощен собой и своими переживаниями, что они заслоняют окружающий мир, хотя в любом случае доля субъективизма в воспоминаниях неизбежна. Существенно лишь количество и качество его.

В конечном счете, от этого зависит и читательское восприятие. Ведь чтение мемуаров в несравнимо большей степени, чем художественной литературы, зависит от читательского доверия.

Ардов относится к тем мемуаристам, которые сразу располагают к себе, чем не в последнюю очередь объясняется успех его книг “Легендарная Ордынка”, “Возвращение на Одынку”, непосредственным продолжением которых являются воспоминания “Вокруг Ордынки”.

Это воспоминания глубоко личные, хотя бы потому, что написаны о доме, в котором вырос автор. С рассказа о первых детских впечатлениях и начинается “Легендарная Ордынка”. Ардов свидетельствует о людях приходивших в дом, судит о них изнутри семейного уклада. Другое дело, что многие гости становились ордынскими жителями и в свою очередь уклад определяли. Ведь и “легендарной” Ордынка стала благодаря Анне Андреевне Ахматовой.

“Живут открытым домом” — говорили в старой Москве, что указывало не просто на характер московского гостеприимства, но именно на образ жизни, на московскую открытость, во многих домах сохранявшуюся даже в са-

мые страшные советские годы. Открытость, которую невозможно себе представить без старомосковских застолий, чаепитий, разговоров, рассказов, баек, историй, без особой московской памяти о родственниках, знакомых, родственниках знакомых и т. д. Инерция этой старомосковской бытовой культуры сохранялась довольно долго, и во многом из нее (конечно, с учетом артистической интеллектуальной, — но главное, что по духу совершенно не советской, — среды), из ее традиций вырастают воспоминания Ардова. И, прежде всего это чувствуется в особом внимании, в чуткости и любви к устному слову. Мемуары о Михаила тем и удивительны, тем и ценны, что доносят до нас живую речь. Вот где проверяется цепкость памяти. Как часто в воспоминаниях передается “впечатление” от бесед или шуток, что, разумеется, отнюдь не то же самое, нежели сама беседа. Здесь требуется не пересказ, а цитата. А уж по части цитат, у Михаила Викторовича нет соперников.

Если судить по названию частей “ордынской” (ардовской) мемуарной трилогии, то кажется, что автор движется из центра к периферии, от наиболее существенного, центрального в жизни Ордынки к менее значимому. Во всяком случае, на это может ориентировать название “Вокруг Ордынки”. Может быть, с точки зрения исторической значимости мемуаров, первоначальной и главной их цели (свидетельство об Ахматовой) так оно и есть. Но если все же принимать во внимание и фигуру мемуариста, то это не совсем справедливо. Третья часть воспоминаний наиболее лиричная, чтобы не сказать личная, и не случайно, именно в ней автор подробно пишет об отце, матери, о семье Ардовых. Мемуары приближаются к семейной хронике, и неизбежно меняется интонация, так же, как и стилистика: фрагментарность, мозаичность, анекдотичность (если иметь в виду жанр исторического анекдота) заменяется на портретность, а значит, и большую живописность.

Граница между мемуарами, автобиографией и художественной литературой сегодня кажется зыбкой, размытой. Модное выражение “нон фикшн” обозначает ту странную область, где документальная, “непридуманная” проза прикидывается (или хочет быть) беллетристической, и наоборот. Впрочем, сколь бы изощренны ни были теоретические обоснования, ничто не мешает читателю по старинке отличать художественный вымысел от исторической правды (или претензии на нее). Что бы там ни говорили, но разница между творением воображаемого мира и воссозданием в воображении, в памяти мира исторического все же есть.

Говоря же о литературном творчестве о. Михаила Ардова, с уверенностью можно утверждать, что основано оно, как и его мемуары, на том же внимательном отношении к миру, к голосам в нем звучащим. Автор “Легендарной Ордьнки” и “Мелочей архи..., прото... и просто иерейской жизни” виден и в “Триптихе” и уже угадывается в “Цистерне”. Здесь художественное сливается с исторически достоверным, и создается иллюзия, будто речь героев просто автоматически перенесена на бумагу. Именно иллюзия, поскольку писательская кухня Ардову хорошо знакома, хотя писательство как таковое и составляет для него проблему. Лучше самого Михаила Викторовича об этом не скажешь: “Анна Андреевна Ахматова говорила, что у Волошина, счастливая судьба: его поэты считали художником, а художники считали поэтом и те, и другие очень уважали. У меня положение в этом роде, но гораздо хуже, потому что меня попы считают писателем, а писатели попом, и никто своим не считает.

Тем не менее, я уже давно настоящий поп, но поскольку я был писателем и рос в писательской среде, естественно, слабость к изящной словесности у меня осталась. И надо сказать, что когда мне было лет 14-15, у меня были какие-то поползновения писать стихи. Но это было “задушено” присутствием в доме Ахматовой. Когда вы живете в

доме, где живет Ахматова, и к ней в гости приходит Пастернак регулярно, то стихи не попишешь. Кстати, мне примерно то же самое говорил Лев Николаевич Гумилев, который признавался, что не стал писать стихи, поскольку с ранней юности понял, что писать как родители он не сможет, а писать хуже не имело смысла. Но это относится к серьезной лирике, а вот что касается юмористических стихов, эпиграмм и пр. — то в нашем доме был своего рода культ подобного поэтического творчества”.

Следы этого культа читатель легко найдет и в мемуарах, и в художественной прозе Ардова. И здесь уже начало писательского ремесла. Словесная игра и игра словом, которые составляют существо большинства юмористических стихотворений, великолепный полигон для словесного творчества как такового. В этой игре начинают сверкать грани слова, развивается чувство языка и чуткость к речи. Однако важно и другое. Юмор избавляет от напыщенности и пафосности, позволяет освободить литературу от налета “сакральности”, духа “мессианства” и проч., чему впоследствии способствовала (хотя и совершенно иначе) религия:

“Хотя у меня действительно остались литературные страсти — я очень редко сейчас читаю беллетристику, если читаю, то, наверное, только Пушкина и Гоголя, — но вот чему меня научила религия, в определенном смысле. Правильному, нормальному отношению к литературе. В русской интеллигенции и читающей публике литература с какого-то времени стала — сейчас, слава Богу, это кончается — неким суррогатом религии. Чтение романов считается образцом духовности и пр. Так вот, перефразируя известное высказывание Базарова, мне хочется сказать, что литература не храм, а мастерская и человек в ней работник”.

Насколько свободно чувствует себя Ардов в этой “мастерской” можно увидеть уже в “Цистерне”.

С первых же страниц читателя буквально захлестывает многоголосая стихия, поток голосов, бурлящее слово со-

ветского провинциального городка: улица, больница, двор, торговцы на рынке, старухи на паперти, опохмеляющиеся работяги в столовой — все это говорит, кричит, ругается, сплетничает, пускается в откровенности. Это непричесанная речь, где словесный сор соседствует с меткой пословицей, где на прохожего, случайного встречного обрушиваются монологи, истории, исповеди, это кружение человеческих судеб, рассказанных здесь же, сейчас, мимоходом и второпях, это действительность, которую старательно приглаживала советская беллетристика, создавая искусственных героев, искусственный фальшивый язык, стилизованную народную “мову”, убогий жаргон передовиков производства и выхолощенную, безликую речь “интеллигенции”. У Ардова же само слово свидетельствует о неустроенности мира, испорченности, гниении жизненных основ. Это отравленный мир, что лишний раз подчеркивает сюжет.

Автор как будто с трудом справляется с “материалом” и признается в этом. Ведь найденная рукопись, которая выносится на суд читателя (или исполняется рассказчиком) не целостное произведение, не роман, а лишь материалы к роману, наспех, начерно собранные воедино. Причем, это рукопись оставленная, принципиально не завершенная. Пестрота слов и судеб не упорядочена, не организована сюжетом, хотя сам сюжет существует: на завод прибыла цистерна с метиловым спиртом. Спирт, несмотря на строжайшее запрещение, был разворован, и практически каждый из героев, сказавших свое слово в романе, отведал украденного смертельного напитка.

Сюжет более чем характерен, и не только потому, что случаи отравления метиловым спиртом в период “развитого социализма” были чуть ли не обыденностью. Примечательно и то, что одно из самых страшных произведений о советском режиме, пьеса Венедикта Ерофеева “Вальпургиева ночь” построена на той же самой фабульной основе.

Все же в “Цистерне” еще чувствуется молодой начина-

ющий литератор, одинаково влекомый и брошенным словом и рассказанной судьбой. Главное виден писатель не сложившегося, а складывающегося мировоззрения. А вот “Триптих” написан уже совершенно другим человеком и зрелым мастером.

Ардов отказывается от описаний, от сюжетного оформления чужого слова. Говорит о себе и за себя сама героиня, и только она. Автор растворяется в ее монологе.

Три эпохи человеческой жизни, как будто три разные судьбы. Простая речь, но зато какая! И какой характер. История псаломщица бабы-соломы просто заставляет вспомнить агиографический жанр. Здесь слово оказывается сильнее зол действительности и злобы дня, не подчиняется миру, а преодолевает его. Этим в частности объясняется и построение, композиция “Триптиха”: рассказ о детстве и жизни в монастыре, о годах революции, терроре и выжигании веры, выживании в лагере; воспоминания о голодных военных годах; наконец, новое обращением к детству, к дореволюционной жизни, к строгому и стройному жизненному укладу, осмысленному и освященному верой и сразу же вызывающему в памяти “Лето Господне” Ивана Шмелева, которому, кстати сказать, и посвящен “Триптих”. И то, что дошло, оказалось услышанным и сохраненным слово об этой пусть и навсегда утерянной эпохе — уже значимо.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОКРУГ ОРДЫНКИ

портреты 5

ТРИПТИХ

повесть. 141

ЦИСТЕРНА

повесть. 235

Н. Александров

Счастливое свойство памяти. 456

Ардов, Михаил

**А 79 ВОКРУГ ОРДЫНКИ / Мемуары, повести; — СПб.
ООО ИНАПРЕСС, 2000, 464 стр.**

ISBN 5-87135-096-8

Мемуары Михаила Ардова посвящены событиям, которые будут интересны, наверное, всем. Ведь в Москве, в доме, где родился и рос автор, на «легендарной Ордынке», подолгу жила Анна Ахматова в семье его родителей, своих ближайших друзей, там бывали выдающиеся писатели XX века, там велись важные и шуточные разговоры, там переживались трагические события, и шла своим чередом жизнь.

Перо Михаила Ардова даже в самом трагическом и безысходном «подчеркивает» жизнеутверждающее, находит смешное, являет героев минувшей культурной эпохи остроумцами и нестигаемыми личностями, снимает с них музейный лоск и глянец, насыщает живыми чертами.

МИХАИЛ АРДОВ

Вокруг Ордынки

мемуары

повести

Сдано в набор 15.05.99. Подписано к печати 11.12.99. Формат 70х100/32. Гарнитура Лазурьского

Печать офсетная. Усл.-печл. 14,5. Уч.-издл. 22. Тираж 3000 экз.

Заказ № 280

Издательство ООО ИНАПРЕСС СПб, Невский пр., 74

e-mail: inapress@vicom.ru

ЛР № 062759 от 04.07.1998 г.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГИПП «Искусство России»

198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная 38/2.



Фрагмент портрета работы А. Батталова. 1952 г.

Мемуары Михаила Ардова посвящены событиям, которые интересны, наверное, всем. В Москве, в доме, где родился и рос автор, на легендарной Ордынке», подолгу жила Анна Ахматова в семье его родителей, своих ближайших друзей, там бывали выдающиеся писатели XX века, там велись важные и шуточные разговоры, там переживались трагические события, и шла своим чередом жизнь.

Перо Михаила Ардова даже в самом трагическом и безысходном «подчеркивает» жизнеутверждающее, находит смешное, являет героев минувшей культурной эпохи остроумцами и нестигаемыми личностями, снимает с них музейный лоск и глянecь, насыщает живыми чертами.

